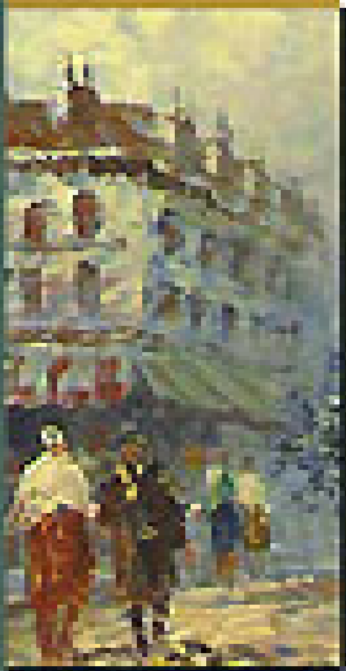
МЕРЕЖКОВСКИЙ



Юрий Зобнин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Творчество великого русского писателя и мыслителя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) является яркой страницей в мировой культуре XX столетия. В советский период его книги были недоступны для отечественного читателя. «Возвращение» Мережковского на родину совпало с драматическими процессами новейшей российской истории, понять сущность которых помогают произведения писателя, обладавшего удивительным даром исторического провидения. Книга Ю. В. Зобнина восстанавливает историю этой необыкновенной жизни по многочисленным документальным и художественным свидетельствам, противопоставляя многочисленным мифам, возникшим вокруг фигуры писателя, историческую фактологию. В книге использованы архивные материалы, малоизвестные издания, а также периодика серебряного века и русского зарубежья.

- Юрий Владимирович Зобин
  - НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО[46]
  - БИБЛИОГРАФИЯ[47]
    - I. МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ
    - II. СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
    - III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

○ 50

Юрий Владимирович Зобин
Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния

Александру Запесоцкому

Из Фраскатти в старый Рим
Вышел Петр Астролог.
Свод небес висел над ним,
Точно черный полог.

Он смотрел туда, во тьму,
Со своей равнины,
И мерещились ему
Странные картины.

Н. А. Морозов

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

В июле 1879 года тайный советник Сергей Иванович Мережковский, зная о стихотворных опытах четырнадцатилетнего сына Дмитрия и весьма одобряя его литературные пристрастия, повез юного поэта в Алупку к княгине Елизавете Ксаверьевне Воронцовой – той самой, с именем которой у всех поколений пушкинских читателей неразрывно связаны строки «Талисмана»:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман…

Теперь это была глубокая старуха, пережившая всех из блистательной плеяды золотого века и, самим существованием своим, почти неправдоподобная в преддверии века серебряного. «Я не знал, – признавался потом Мережковский, – что имею счастье целовать ту руку, которую полвека назад целовал Пушкин».

Мальчик читал стихи; Елизавета Ксаверьевна слушала – так и хочется добавить: *«слушала рассеянно, полузакрыв глаза».* Что она могла сказать своим «литературным визитерам»?

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
(А. С. Пушкин «19 октября [1825]»)

Митя Мережковский завершил чтение. Воронцова помедлила, затем вдруг, повернувшись в кресле, указала на одну из мраморных статуэток, украшавших кабинет:

Изобразил послушный мрамор в ней
Людскую душу в то мгновенье, как цепей
Плотских позор на волю покидая,
Она, в простор небес полет свой направляя,
Не сбросила еще свой саван гробовой,

Тяжелый саван суеты и лжи земной,
Но гонят уж лучи небесного сиянья
С чела следы борьбы и дольнего страданья…

(Д. С. Мережковский «На статуэтку, показанную мне княгиней Воронцовой…»[1])

– Вот – поэзия…

«Бывают в жизни каждого человека минуты особого значения, которые соединяют и обнаруживают весь смысл его жизни, определяют раз навсегда, кто он и чего стоит, дают как бы внутренний разрез всей его личности до последних глубин ее сознательного и бессознательного», – писал Мережковский, приступая к исследованию жизни Л. Н. Толстого. Для самого же будущего автора «Л. Толстого и Достоевского» миг откровения наступил тогда, 9 июля 1879 года: в болезненном мальчике, читающем по-детски неумелые подражания Пушкину и Некрасову, «волшебница» Воронцова уловила подлинно поэтическое свойство – необыкновенную **метафизическую чуткость души,** угадывающей за «земной суетой и ложью» – Незримый Свет, «небесное сиянье», преображающее косную плотскую тварь.

Мережковский проживет долгую жизнь и оставит грандиозное наследие: стихи, романы, рассказы, поэмы, философские эссе, литературоведческие и религиоведческие исследования – всего не перечислишь. История его духовных странствий сложна и во многом противоречива: кому-то он казался «русским европейцем», кому-то, напротив, «националистом», звали его и «ницшеанцем», и «декадентом», и – «Лютером от Православия», и «лжепророком», и «пророком непонятым»; на какое-то время он прослыл чуть ли не «серым кардиналом» Временного правительства; советская критика настойчиво вменяла ему даже фашистские пристрастия (последнее, слава Богу, сейчас уже отошло в область литературоведческой «мифологии»).

Однако для нас главным в Мережковском является то, что **он стал одним из инициаторов религиозного возрождения в среде русской интеллигенции XX века.** «Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему, – писал краткий союзник, а затем последовательный и принципиальный критик трудов Дмитрия Сергеевича – Н. А. Бердяев. – В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам… В час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного

из его предтеч в сфере литературной».

* * *

Начиная свое повествование, я приношу глубочайшую благодарность тем, без кого этот труд был бы невозможен: директору петербургского музея «Анна Ахматова. Серебряный век» Валентине Андреевне Биличенко, моей жене Антонине Михайловне Зобниной, моему свояку Юрию Михайловичу Слепушкину и его жене Ксении Валерьевне, моему другу Станиславу Вячеславовичу Нилову.

Санкт-Петербург,
Путинские ворота.
29 января 2006 года

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Семья Мережковских. – Детские годы. – Гимназия, первые литературные опыты

О своем детстве и отрочестве Мережковский достаточно подробно рассказывает в «Автобиографической заметке», помещенной в знаменитом сборнике С. А. Венгерова «Русская литература XX века» и в поэме «Старинные октавы».

Отец будущего писателя Сергей Иванович Мережковский был достаточно заметной фигурой в бюрократической машине правительства Александра II. Сын гвардейского офицера, участника Отечественной войны, внук глуховского войскового старшины, Сергей Иванович выбрал карьеру чиновника, прошел все ступени служебной лестницы и вышел в отставку в чине действительного тайного советника, вторым классом «Табели о рангах». Всё александровское царствование Сергей Иванович прослужил в придворной конторе при министре двора графе Адлерберге и, судя по свидетельствам современников, являл собою совершенный образец того, что ныне принято называть «аппаратным работником».

Очень работоспособный, аккуратный, педантичный, волевой, прекрасно разбирающийся в тонкостях внутриполитической интриги, Сергей Иванович смог сохранить в бурную реформаторскую эпоху репутацию здравомыслящего прагматика, в корректности и безупречной честности которого не сомневались ни друзья, ни противники. «Житейский ум, суровый и негибкий», слишком хорошо узнавший за время долгого и трудного восхождения к вершинам карьеры «жизнь и людей» и потому свято верующий только в «практический суровый идеал», – вот характеристика, данная отцу сыном. Образ отца, несомненно, ассоциировался у Мережковского с толстовским Карениным.

Подобно герою Л. Толстого, Сергей Иванович не считал нужным привносить в жизнь своего дома элемент «приватности» – здесь царил строгий, размеренный, жестко организованный быт, «казенная атмосфера присутствия», не располагающая к искренним родственным отношениям. Тон сознательно задавал отец. «Чиновник с детства до седых волос» и к тому же убежденный «англоман» по привычкам, он не терпел «нежности сердечной», почитая ее выражением слабости и безволия. Дело доходило до того, что мать и нянька тайком пробирались в

детскую, чтобы приласкать своих любимцев, – отец строго пресекал всякие излияния чувств, ограничиваясь лишь холодным «bonjour» или «bon nuit» – и поцелуем в щеку.

Сергей Иванович не терпел шума и беспорядка, детские игры и возня раздражали его, так что во избежание выговоров дети ходили у кабинета Мережковского-старшего на цыпочках и пользовались, вместе с прислугой, черным ходом, чтобы лишний раз не беспокоить отца звонком.

В доме – а Мережковские занимали огромную двухэтажную казенную квартиру в доме на углу набережных Невы и Фонтанки – был заведен режим строгой бережливости. Обстановка была самая простая, даже мебель для сохранности в будни зачехлялась, а все предметы роскоши, в изобилии накопленные за долгие годы службы, – меха, фарфор, украшения и т. п., – были заперты в коридорах в огромных березовых шкафах и являлись только по большим праздникам. Стол – за исключением торжественных случаев – не изобиловал; по крайней мере, Мережковский с удовольствием вспоминал, как после отцовских именин он три дня объедался холодными блюдами, оставшимися от праздничной трапезы. В обычные же дни лишней копейки не тратилось – жена и экономка обязаны были давать главе семейства ежедневный детальный отчет по хозяйственным суммам.

Карманных денег не полагалось. Любая, даже самая невинная и незначительная трата, выходящая за пределы хозяйственной необходимости, влекла за собой продолжительные и строгие выговоры. Мережковский рассказывал, как однажды тайком мать купила ему в кондитерской неожиданный подарок – картонного верблюда, внутри которого были бисквиты. Отец, разузнав о «расточительстве», обрушил на жену такой поток упреков, что испугал сына. Бисквиты пришлось есть «напополам с горькими слезами». В другой раз, играя, Дмитрий опрокинул отцовскую чернильницу и залил зеленое сукно на письменном столе. От страха с ребенком случился нервный припадок.

Вообще, даже спустя много лет, Мережковский не без содрогания вспоминал:

> …Упреки,
> Неумолимый гневный крик отца,
> На трату денег вечные намеки,
> И оправданья мамы без конца.

«Мне теперь кажется, – заключал рассказ об отце Мережковский, – что в нем было много хорошего. Но, угрюмый,

ожесточенный тяжелой чиновнической лямкой времен николаевских, он не сумел устроить семьи». И здесь опять-таки возникает каренинский мотив.

Как и его литературный двойник, Сергей Иванович, кажущийся в какой-то миг «живой машиной» и большей частью – «злой машиной», затем вдруг странно преображается так, что в нем, несомненно, ощущаются и человечность, и душевная глубина, и даже какая-то особая, стеснительная доброта.

Он действительно идеальный работник и идеальный семьянин. В отличие от большинства коллег по службе он не честолюбив, равнодушен к чинам и наградам, руководствуясь во всех своих действиях ясным сознанием чувства долга – начало, развитое в нем в высшей степени. Тем же чувством долга, но уже перед семьей, обусловлена его скупо-бережливая семейная «экономика»: он очень озабочен будущим своих чад.

«За нас отец готов был жизнь отдать», – говорит Мережковский; не учитывать *и это* было бы несправедливым.

В семье Мережковских девять детей – шестеро сыновей и три дочери.

В домашних строгостях, на самом деле доходящих порой до жесткости (чтобы не сказать – до жестокости), Сергей Иванович, несомненно, преследовал и вполне ясную *воспитательную* цель, подсказанную все тем же жизненным и большей частью горьким опытом. Считая источниками всех человеческих пороков мотовство, праздность и необязательность, Мережковский-старший прилагал все усилия, чтобы предотвратить развитие этих качеств в детях – с помощью спартанской простоты быта, суровой дисциплины, воспитания трудолюбия.

Да, он не «возится» с детьми, держится с ними подчеркнуто сухо, но он не жалеет времени и сил, чтобы войти во все подробности их детского *труда:* еженедельно по субботам он педантично просматривает гимназические дневники, пространно обсуждая успехи и неудачи. Прекрасный администратор, поднаторевший в знании человеческой природы, он прозорливо угадывает личные пристрастия и склонности каждого, незаметно и заботливо направляя усилия в правильное русло.

В конце концов, именно отец первым замечает литературное дарование Дмитрия. И, отметим, этот строгий и трезвомыслящий человек, менее всего склонный к поэтическим мечтаниям, всячески демонстрирует свою поддержку и поощряет юного поэта к творчеству. Беловые списки стихов Сергей Иванович по собственному почину отдал в придворную переплетную мастерскую – и вышел первый «стихотворный сборник», хотя и в единственном экземпляре, но в роскошных кожаных корочках, а

главное – с золотым тиснением: *«Стихотворения Дмитрия Мережковского»*. Интересно, что отец был счастлив не менее сына и с гордостью демонстрировал это самодеятельное «издание» своим знакомым.

Знакомства Сергея Ивановича также следует упомянуть в качестве неких побудительных импульсов, стимулирующих творческую деятельность будущего автора «Христа и Антихриста». О визите к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой и о его значении в жизни Дмитрия Мережковского уже говорилось выше. Огромное впечатление на начинающего литератора произвело и знакомство с Федором Михайловичем Достоевским, к которому опять-таки его привел отец (Сергей Иванович был вхож в салон графини Софьи Андреевны Толстой, вдовы известного поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого и доброй знакомой Достоевского в последние годы его жизни). Мережковский на всю жизнь запомнил маленькую квартиру в Кузнечном переулке, заваленную томами «Братьев Карамазовых», пронзительный взгляд бледно-голубых глаз Федора Михайловича. Дмитрий читал, «краснея, бледнея и заикаясь», Достоевский слушал «с нетерпеливою досадою» и затем вынес очень характерный для него «приговор»:

– Слабо, плохо, никуда не годится. Чтоб хорошо писать – страдать надо, страдать!

– Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! – испугался Сергей Иванович.

Последняя реплика, сохраненная в памяти сына, неожиданно приоткрывает в характере отца какую-то особую, сокровенную черту.

Мережковский вспоминал, что в детстве, ласкаясь к матери, он неоднократно замечал вдруг на суровом и недовольном лице отца что-то очень похожее на ревность и зависть. Сергей Иванович, сам сделавший все, чтобы не допустить никаких личных, дружеских отношений между ним и детьми, испытывал внутреннее страдание, переживая это «родственное отчуждение» как досадное недоразумение, непонимание со стороны самых близких ему существ.

Любовь – подлинная, всеохватывающая, исступленная – была ему знакома не понаслышке.

В семье Мережковских царил культ матери Варвары Васильевны, причем истоки этого культа были различны со стороны отца и детей. Для последних она была вечной заступницей перед суровым отцом, источником той человеческой теплоты, которую отец заменял жестким волевым диктатом:

В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне все дано, что в жизни я имею.

Сергей Иванович, женившись уже вполне зрелым человеком (в тридцать два года), вдруг обнаружил – вероятно, не без испуга – никогда не испытанную им ранее и какую-то иррациональную, необоримую зависимость от молодой жены. По крайней мере, изводя жену постоянными поучениями и придирками, он в то же время шагу не мог без нее ступить, требовал ее всегдашнего непременного присутствия рядом и даже получил у начальства особое разрешение для Варвары Васильевны сопровождать его в служебных командировках (хотя ей – болезненной и слабой – подобные частые разъезды были, конечно, очень тяжелы).

Варвара Васильевна, урожденная Чеснокова, дочь управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера, обладала редкостной красотой и ангельским характером. Тактичная, добродушная, остроумная, прекрасная хозяйка и заботливейшая мать, она также страстно любила мужа, относясь к его вечному брюзжанию и эгоистическим чудачествам (далеко не всегда безобидным) с той терпеливой мудростью, которая в подобных обстоятельствах одна только и могла сохранить мир в семье. Никогда не повышая голоса, всегда и во всем соглашаясь с Сергеем Ивановичем, она, как вспоминал Мережковский, «то хитростью, то лаской боязливой» в конце концов настаивала на своем, особенно если дело касалось детей. Такая многолетняя внутрисемейная «дипломатическая работа», роль постоянного посредника-миротворца, однако, гибельно сказались на ее и без того очень слабом здоровье – она страдала мигренью и лихорадочными припадками, которые и свели ее в могилу в 1889 году.

Сергей Иванович, проживший после смерти жены девятнадцать лет (он скончался 17 марта 1908 года, восьмидесяти восьми лет от роду, почти день в день со смертной годовщиной Варвары Васильевны), до конца жизни так и не смог смириться с кончиной своей «голубушки», как он всегда ее называл. Утрата сломила этого сильного и практичного человека: ко всеобщему удивлению, он все свое время стал уделять… спиритическим

сеансам, требуя от медиумов вызывать дух жены. Жил он совершенно один, устроив по возможности детей, зимой – в Петербурге, прочее время – в Париже, куда уезжал, как правило, внезапно, никому не оставляя адреса. Его окружали всевозможные шарлатаны, подсовывавшие ему письма от «голубушки» и фотографии вызванного «духа», которые он радостно демонстрировал детям во время редких визитов. Ни у кого не хватало решимости его переубеждать – это осталось единственным смыслом его жизни. Похоронить себя он велел рядом с женой на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, где купил себе место сразу после похорон Варвары Васильевны. На погребении присутствовали лишь двое из его многочисленного потомства. Мережковский получил телеграмму о смерти отца в Париже, ранним утром, и отнесся к этому очень спокойно. За завтраком, когда Зинаида Николаевна Гиппиус вдруг прослезилась, он удивленно посмотрел на нее: «Что с тобою? – а затем прибавил: – Ах, ты это, верно, об отце…»

* * *

Так случилось, что Мережковский, помимо матери, не чувствовал кровной, семейной связи ни с кем из ближайших родственников. Он сам сознавал в себе этот душевный «дефект», с горечью признаваясь в «Старинных октавах»:

Я не люблю родных моих, друзья
Мне чужды, брак – тяжелая обуза.
В томительной пустыне бытия
Гонимая, отверженная Муза —
Единственная спутница моя…

Здесь, конечно, существует некоторое драматическое преувеличение, и, как мы увидим далее, рассказ Мережковского о своем человеческом и творческом «одиночестве» требует от биографа известных уточнений. И тем не менее действительно ему подчас свойственно было странное, какое-то «ставрогинское» равнодушие к «человеческому, слишком человеческому» в отношениях между людьми, как бы «вежливая бесчувственность» к окружающим, которую одни принимали за необыкновенную гордыню, другие – за исключительную самоуглубленность, третьи – за способ самозащиты ранимой до истерии натуры.

Отношения с братьями и сестрами в отроческие и юношеские годы оказываются в этом смысле первой «горестной школой»

жизни, оставившей затем свой печальный след на личности художника.

«Нас было девять человек: шесть сыновей и три дочери, – вспоминает он. – В детстве мы жили довольно дружно, но затем разошлись, потому что настоящей духовной связи, всегда от отца идущей, между нами не было». Однако следует признать, что двое братьев – Константин и Александр – все-таки сыграли значительную роль в становлении личности Дмитрия Мережковского.

Константин, самый старший из братьев, играл в семье роль *infant terrible*. Любимец матери и надежда отца, студент юридического факультета, подававший блестящие надежды на правоведческом поприще, Константин Мережковский увлекся Спенсером и теориями Дарвина, перевелся на факультет естественных наук и, к ужасу отца, стал горячим сторонником самых радикальных политических учений. Обстановка в семье из-за частых столкновений сына с отцом стала невыносимо напряженной.

Отношения особенно обострились весной 1878 года, после того как Константин вместе с другими товарищами-студентами горячо приветствовал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных В. И. Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерал-адьютанта Ф. Ф. Трепова. Сергей Иванович, услышав об оправдательном приговоре, вынесенном Засулич, сначала не поверил своим ушам, а затем резко выбранил сына за «нигилизм». Возник спор, который вскоре принял настолько острый и оскорбительный характер, что только вмешательство матери предотвратило окончательный разрыв. Однако с этого момента вплоть до рокового 1 марта 1881 года между Константином и отцом наличествовала почти неприкрытая вражда. В день цареубийства произошло последнее столкновение: Константин ушел из дома.

Дальнейшая судьба Константина Сергеевича весьма своеобразна. Он достиг известных успехов на биологическом поприще, однако его народническо-социалистические убеждения трансформировались в проповедь свободы нравов в духе откровенной эротомании. Он написал и опубликовал футурологическую повесть «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (Берлин, 1903), в которой грядущий «золотой век» оказывается, по мнению автора, эрой евгенического отбора, абсолютного сексуального освобождения и торжества чувственно-звериного начала в человечестве. Этот скандальный текст некоторые консервативные критики приписывали позже Дмитрию Сергеевичу как яркое доказательство «ницшеанского и

упаднического» характера его творчества.[2]

В конце концов, Константин оказался замешанным в каком-то темном деле, связанном с растлением несовершеннолетних, вынужден был покинуть столицу и перебраться в дальнюю провинцию. После революции он, как и младший брат, эмигрировал; в 1921 году он покончил с собой в Швейцарии.

Этот странный, изломанный человек, в котором так болезненно выразилось все духовное неблагополучие научной и творческой русской интеллигенции второй половины XIX века, в конце семидесятых годов на некоторое время становится для младшего брата-гимназиста, как позднее выразился Мережковский, чем-то вроде «мудрого змия-искусителя» при «Адаме в райской сени»:

> Он все, во что я верил, разрушал…

Дмитрий тайком приходил к брату в университетскую лабораторию в здание «Двенадцати коллегий». Там при инфернальном голубоватом свете спиртовки, накаляющей шипящую колбу с опаловой дымящейся жидкостью, под сухой треск гальванической машины братья вели долгие страшные «карамазовские» разговоры. Константин, «волей тверд в добре и зле без удержу, без меры», «смеялся над чертом и над Богом», разворачивал перед «дрожащим» от чудовищных кощунств младшим братом жуткие теории социального дарвинизма и демонстрировал ему под микроскопом инфузорий, пожирающих друг друга, что, очевидно, было наглядной иллюстрацией к сказанному:

> И любопытство жадное влекло
> К опасности на крайние ступени,
> И в первый раз на детское чело
> Уже недетских дум ложились тени:
> Пленяет душу человека зло.

Впечатляющий и весьма важный для понимания юношеских исканий Мережковского биографический «сюжет»! Он дополнялся еще и тем, что Сергей Иванович после скандала вокруг истории с оправданием Засулич решил препоручить дело спасения старшего сына некоему «ученому попу», занимающемуся миссионерством (зная связи Сергея Ивановича, легко предположить, что это был кто-то из лучших православных мыслителей того времени). Священник, оказавшийся знатоком новейших естественно-

научных теорий и палеонтологии, был к тому же на редкость мягким и деликатным человеком. Он навещал Мережковских по субботам: «в лиловой рясе с золотым крестом» уютно располагался в гостиной, неспешно угощался чаем с баранками и между прочим в спокойной, дружеской застольной беседе, столь отличной от скандальных инвектив Сергея Ивановича, искусно опровергал дарвинистские постулаты Константина, толковал книги Моисея и доказывал наличие Провидения. Мережковский непременно присутствовал при этих «миссионерских чаепитиях»:

> И спорам их о Боге без конца
> Я с жадностью внимал, дохнуть не смея…

Если для старшего брата усилия священника, по-видимому, остались втуне, то младший, напротив, оценил встречу с «умным миссионером» как «маленькое чудо», сотворенное Богом лично для него по его молитвам как раз в тот момент, когда его слабый детский ум «изнемог в борьбе с мятежнымдухом, дьяволом науки». По крайней мере, рано испытав в беседах с братом *обаяние безбожия,* юный Мережковский столь же рано узнал и то, что его старший современник, великий русский мыслитель Константин Леонтьев называл *«мрачно-веселым обаянием Православия, глубокого для ума, простого для сердца»*.[3]

Александр, в отличие от Константина, играл в отношениях с младшим братом роль конфидента-собеседника. Это был мечтательный юноша, неуклюжий и молчаливый, целиком погруженный в свои фантазии, презирающий «тьмы низких истин» повседневности настолько, что по завершении гимназии всерьез собирался затвориться в монастыре. В отличие от других братьев и сестер Александр, видимо, был душевно открыт и весьма расположен к откровениям юного Мережковского. Во всяком случае, последний с теплотой вспоминал их разъезды на лодке по Средней Невке вдоль берегов Елагина острова, беседы «обо всем», когда «казался купол неба над водой лазурной опрокинутою чашей». Судя по всему, будущий поэт испытывал простое счастье, забывая как гимназические грамматики, так и прежние «теологические кошмары», навеянные беседами с Константином.

Однако вдруг возникшей дружбе не суждено было окрепнуть: романтик Александр по мере «воспитания чувств» пережил метаморфозу убеждений и монастырскому уединению предпочел должность чиновника особых поручений. Он уехал из Петербурга и перестал общаться с братом-писателем. Как подытожил Мережковский:

Немало в жизни всяких превращений!

Некоторое время после смерти матери Дмитрий поддерживал отношения с другим братом, Сергеем (они были погодки, учились в одном классе, но в гимназии недолюбливали друг друга, ибо Сергей был «насмешлив и хитер»), работавшим микробиологом в Медицинской академии; тот был дружен с сестрами Гиппиус и несколько раз летом гостил у Дмитрия Сергеевича и его жены на даче. Эта связь прекратилась сама собой, так что даже телеграмму о смерти отца в 1908 году дал Мережковскому не Сергей, которого не было при покойнике, а свояченицы.

Прочие родственники (братья Николай и Владимир, сестры Надежда, Елизавета и Вера) абсолютно незаметны в жизни Мережковского. Это большое и на первый взгляд столь благополучное семейство оказалось колоссом на глиняных ногах. Как только мать, жизнь положившая за сохранение мира в семье, тихо уснула смертным сном в квартире на Знаменской улице, служившей прибежищем для остатков семьи с 1881 года (после отставки Сергея Ивановича, изгнания Константина, замужества Надежды и отъезда Александра и Владимира из Петербурга), все узы, связывающие отца и детей, в одночасье истлели. В безнадежном мраке истории человеческих семейств от этой семьи осталась лишь печальным напоминанием странная привычка младшего брата к месту и не к месту повторять в своих статьях и романах скорбные слова Христа: *«Враги человеку домашние его».*

* * *

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге, в одном из флигелей Елагина дворца, где семейство Сергея Ивановича традиционно проводило летние месяцы. Он был поздним ребенком (младше в семье была только сестра Вера), и, как это часто бывает, симпатии родителей и старших детей по отношению к нему оказались обратно пропорциональны: первые явно благоволили к «младшенькому», вторые – особенно не жаловали. Впрочем, как мы уже знаем, и приязнь, и неприязнь в клане Мережковских воплощались в весьма своеобразные формы. К тому же и характер у маленького Мити оказался нелегким. Это был крайне возбудимый и впечатлительный мальчик, очень болезненный и хрупкий; здесь, очевидно, сказывалось материнское начало. Внешне же Митя пошел в отца – невысокий, хотя и изящно сложенный, с

неправильными чертами всегда очень бледного лица, характерными скулами, как бы «всасывающими» щеки (с годами эта фамильная схожесть становилась все заметнее).

Ребенок с самых первых лет пугал домашних необъяснимыми приступами панического страха – внезапно «белел как мертвец», замечая около себя *нечто,* и кричал, тыча пальчиком в углы, так что приходилось дежурить возле его постели и ярко освещать спальню лампами. Родители были крайне обеспокоены: мать пыталась унимать его сластями, отец, хоть и усмехался презрительно, глядя на расстроенную жену, тоже проводил все эти беспокойные ночи напролет в детской, пытаясь успокоить сына по-своему – издеваясь над его страхами и высмеивая их. Неизвестно, какая из родительских методик подействовала, но кошмары оставили Митю.

Маленький мальчик был очень религиозен, причем его религиозность сопровождалась какой-то неподдельной и явно не детской мистической экзальтацией. Тому немало способствовала нанятая няня – «почтенная старушка», любившая рассказывать своему питомцу сюжеты Четьих миней:

Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами
Они боролись в пустынях глухих.

Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес:
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грез,
От ужаса я «Отче наш» в кроватке
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.

Мережковский был замкнутым и нелюдимым ребенком, «угрюмым, как волчонок», во время визитов посторонних постоянно прятался по углам, дичился не только гостей, но и братьев. У него был собственный мир, в который претворяла «скучную казенную квартиру» его яркая фантазия, – мир сказочный, чарующе прекрасный и опять-таки пугающе страшный своей *таинственностью:*

…Чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных, —

Все навевало непонятный страх…

Он очень рано научился читать, и границы мира, созданного его фантазией, вдруг неимоверно расширились. Первым чтением, поразившим его настолько, что потом он был верен этой детской привязанности до конца дней, были сказки «Тысячи и одной ночи». Тогда, в детские годы, вырабатывалась единственная форма «непростительной праздности», от которой он, вечный труженик, не понимавший, что значит слово «отдых», никогда не мог отказаться: вечером стащить на кухне горсть конфет, засахаренных орешков и чашку горячего шоколада, залезть в глубокое кресло, зажечь лампу с обязательным зеленым абажуром, взять заветный истрепанный том – и часа два-три провести в компании «султанов, евнухов и жен Шахерезады».

К арабским сказкам позднее добавились романы Даниэля Дефо, Фенимора Купера, Жюля Верна и Густава Эмара.

Он был, в полном смысле этого выражения, «книжным мальчиком». Одиночество с книгой – его естественное состояние еще задолго до гимназических лет, когда, не имея товарищей (и не желая заводить знакомства), он целиком и полностью погрузится в мир литературы. Это было обусловлено еще и тем, что раннее его детство проходило без общения со сверстниками: у старших братьев и сестер (за исключением Сергея, совершенно противоположного по складу характера) были свои интересы, – и почти без общения с родителями: Сергей Иванович всю вторую половину шестидесятых годов находился в бесконечных разъездах, а Варвара Васильевна, хоть и скрепя сердце, вынуждена была, как говорилось, его постоянно сопровождать. Единственный человек, с которым он принужден был общаться ежедневно, – «бонна» Амалия Христофоровна, старая дева, беззаветно преданная семье Мережковских и почитавшая служение хозяевам единственным смыслом своей жизни. Добрый, но очень недалекий и запуганный строгостями Сергея Ивановича человек, она могла лишь обеспечить безупречный уход за многочисленными питомцами, сочетаемый с режимом строгой экономии и отчетности:

Я помню туфли, темные капоты,
Седые букли, круглые очки,
Чепец, морщины, полные заботы,
И ночью трепет старческой руки,
Когда она записывала счеты
И все твердила: «Рубль за башмаки…
Картофель десять, масло три копейки»…

И цифру к цифре ставила в линейки.

Книги с детских лет заменяли ему общение с людьми, литературные герои становились «вечными спутниками», реальность которых превосходила в его глазах реальность существующего окружения, и, главное, одиночество с тех же самых детских лет как бы «обживалось» им в качестве единственно комфортной формы существования. Малыш, гуляющий по Летнему саду, удивлял и даже пугал няньку тем, что упорно не желал играть со сверстниками, неспешно и важно кружил по аллеям, словно углубясь в беседу с самим собой. Чуть повзрослев, летом, когда семья жила на даче близ Елагинского дворца, Митя устраивал себе нечто вроде «воздушной кельи» – между ветвей корявой сосны над прудом он прибил доски и каждый день, «как белка», забирался в это «гнездышко», проводя часы (и, в общем, дни) в чтении и созерцании:

Стремясь туда, где нет людей, к свободе…

И затем – всю жизнь он будет во власти «темного ангела одиночества»:

И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей —
Звезды, небо, холодная, синяя даль
И лесов, и пустыни немая печаль…

Там же, на елагинской даче, уже в гимназические годы он испытает первую влюбленность, тоже очень «литературную», в духе сервантесовского Рыцаря печального образа – *двойную.* В роли Альдонсы здесь выступала местная прачка Лена – румяная, здоровая девка, вся в веснушках и «с глазами почти без мысли», Дульсинеей же была прекрасная незнакомка, встреченная в церкви, – «вся в белом кружеве». Разумеется, ни та ни другая не подозревали, что они обрели в маленьком гимназисте паладина *sans peur et sans reproche:* Лена стирала белье в огромном корыте, вынесенном во двор, и потом, развесив мокрые простыни сушиться, пила чай и болтала с кухарками, а «принцесса Белая Сирень», как оказалось впоследствии, любила по вечерам играть в крокет с юнкерами.

Первые годы учения в 3-й Петербургской классической гимназии мало что изменили в характере юного Мережковского –

он так же дичился одноклассников, как ранее – братьев и сестер, у него не было привязанности к наставникам (за исключением, возможно, учителя латыни Кесслера, поразившего воспитанника фанатической преданностью латинской грамматике, так что «неправильная форма падежа ему казалась личным оскорбленьем»). В младших классах гимназии Мережковский – примерный ученик, внешне очень спокойный и деловитый, дисциплинированный и работоспособный, к вящей радости Сергея Ивановича. Жизнь его однообразна: утром и днем – гимназические классы (гимназия располагалась недалеко от дома Мережковских, на Гагаринской улице), затем – одинокая прогулка и вечера напролет за учебниками. Никаких шалостей с одноклассниками, никаких провинностей. Единственный проступок – конфликт с учителем алгебры Поповым из-за расстегнутых пуговиц на мундире (за это Мережковскому пришлось отсидеть несколько часов в гимназическом карцере, чем он был несказанно горд, тут же вообразив себя подвижником первых веков христианства, брошенным язычниками в темницу).

Между тем в застенчивом, молчаливом и тихом подростке шла исключительно интенсивная внутренняя духовная работа.

Именно на этот период приходятся те самые «искусительные беседы» с Константином, о которых рассказывалось выше. К «теоретическим» колебаниям прибавилось и неожиданное сугубо личное переживание: гимназический священник, готовя класс к принятию Святых Тайн, рассказал воспитанникам назидательную притчу о нераскаянном грешнике, недостойно вкусившем от Причастия: язык кощунника, сожженный Христовыми Тайнами, обратился в змеиное жало. Слушая священника, мальчик вдруг вспомнил свои собственные *сомнения,* рожденные размышлениями над словами брата (и, вероятно, еще более усугубленные зрелищем пресловутых инфузорий-каннибалов). Несколько дней перед причащением он, по его собственному признанию, «ждал беды», веря, что его «накажет Бог», ибо при всех его усилиях он никак не мог отвязаться от этих *воспоминаний,* а следовательно, пребывал нераскаянным. Однако все «вышло просто, без чудес», и это, как ни странно, еще более поразило юного мыслителя – поразило настолько, что он похудел, как будто бы в болезни, стал плохо спать и есть и, отказавшись идти на пасхальные гуляния, бесцельно слонялся по комнатам, вызывая своим видом беспокойство родителей.

Рождалась в сердце вещая тревога.
И бес меня смущал…

Поразительно, что во всей истории ранних отроческих «сомнений» будущего апологета *«нового религиозного сознания»* содержится не только удивительно глубокое для ребенка личное переживание метафизического содержания таинства, но и то, что исходом этих «сомнений» стало не разочарование в религиозных чувствах, не утрата веры, как это часто бывает при переходе от наивного, младенческого мировосприятия в мир взрослых прагматических ценностей, а мощный импульс к новым исканиям, порожденный осознанным противоречием между незыблемым *сердечным* **убеждением в бытии Божием** и *рассудочным* скепсисом, внушаемым *«демоном науки».* Большинство сверстников Мережковского в ту пору с легкостью уступали в подобной ситуации логичным и внешне неотразимым доводам рассудка, доводам популярных материалистических учений.

Уместно вспомнить, что «общим местом» в истории русской интеллигенции XIX века стало утверждение *онтологического* неблагополучия ее духовного мира. Биография любого сколь-нибудь выдающегося ее представителя (тем более – представителя литературного «цеха») как-то сейчас и непредставима без рассказа о «духовном пути», «духовных исканиях», где **главнейшим является решение для себя и по совести вопроса о том, есть Бог или нет.** Даже Достоевский, уже прошедший каторгу, где он, по его словам, «себя понял, народ понял и Христа понял», признавался в письме Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».

Мережковский среди своих старших и младших современников – чуть ли не единственное исключение, ни о каких «духовных исканиях», порождаемых сомнением в **основе основ** личного исповедания веры, у него и речи не было. Гораздо позже, критикуя слишком рассудочную и «ученую» мистику Вячеслава Иванова, Мережковский обмолвится о личном опыте переживания присутствия Бога в мире: ***«Это** или совсем легко – «младенцам открыто», – или невозможно понять, так же, как не трудно, а невозможно слепому видеть».*

Для самого Мережковского «это» – было **«совсем легко».**

«Иногда взбираешься по скучной петербургской лестнице куда-нибудь на пятый этаж, – рассказывает он о природе собственных „эпифаний“,[4] – чувствуешь себя раздраженным уродливыми и глупыми житейскими мелочами. И вдруг на

повороте из приотворенных дверей чужой квартиры донесутся звуки фортепиано. И Бог знает, почему именно в это мгновение, как никогда прежде, волны музыки сразу охватят душу. Все кругом озаряется как будто сильным и неожиданным светом, и понимаешь, что никаких, в сущности, огорчений, никаких житейских забот нет, а есть в мире одно только важное и необходимое – то, о чем случайно напомнили эти волны музыки, то, что во всякое мгновенье может так легко и неожиданно освободить человеческое сердце от бремени жизни».

Вообще натура Мережковского являет странное сочетание бурной и часто хаотической динамики того, что называется «душевным», – и незыблемого покоя «духовного основания», как будто бы в высокой глубине небосвода вокруг недвижно сияющей Полярной звезды обращаются разнообразные созвездия. В Мережковском как бы «от рождения», изначально, присутствует не зависящее от чувственного и рационального опыта твердое духовное знание, сообщающее о мироустроении истину абсолютно позитивного характера, – **истину о том, что Бог есть.**

К его ранним гимназическим годам относятся и первые самостоятельные литературные опыты, столь восхитившие Сергея Ивановича. Конечно, такая реакция отца была обусловлена скорее родственной симпатией к автору, нежели художественными достоинствами самих текстов. По собственному признанию Мережковского, его первые стихи вполне соответствовали типу юношеских подражаний, интересных, правда, как яркие свидетельства увлечения творчеством Пушкина, его «южными» романтическими поэмами:

Я пел коварных дев красы Эдема
И соловья над розой при луне,
И лучшую из тайных роз гарема,
Тебя, которой бредил я во сне
И наяву, о, милая Зарема.
Стихи журчали, и казалось мне,
Что мой напев был полон неги райской,
Как лепет твой, фонтан Бахчисарайский!

Впрочем, осенью 1880-го Мережковского увлекают новые темы, наглядно свидетельствующие о том, что прошлогодняя беседа с Е. К. Воронцовой дала свои обильные плоды. В юном поэте пробуждается «живой интерес ко всем религиям, к буддизму, пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно» (З. Н. Гиппиус). Легенды и героические сказания всех времен и народов с их экзотической

мистикой и *пафосом тайны* становятся теперь для Мережковского – и будут оставаться до конца дней – неисчерпаемым источником поэтического вдохновения. Названия его стихотворений говорят сами за себя: «Тримурти», «Серапис», «Рамзес», «Смерть Клеопатры», «Из Апокалипсиса», «Колумб». Любопытно, что к первому из упомянутых стихотворений юным автором сделан комментарий, в котором как бы предвосхищается энциклопедическая основательность создателя «Тайны Трех»: «Тримурти по-индусски значит Троица; эта тема заимствует свой сюжет из Вед».

К этому же времени относится и *формальный* литературный дебют Мережковского: стихотворения «Тучка» и «Осенняя мелодия», посланные им в еженедельник «Живописное обозрение» А. К. Шеллера-Михайлова, были напечатаны в номерах 40 и 42 за 1880 год – к вящей радости автора-гимназиста и гордости родителей. Тому, что стихотворения эти – род перепевов А. С. Пушкина и И. С. Тургенева —

> Взглянешь на небо – туманы свинцовые,
> Тучи угрюмые, тучи суровые;
> Взглянешь на землю – толпою печальною
> Листья с песней бегут погребальною, —

оказались вполне приемлемы в беллетристическом разделе «Живописного обозрения», удивляться не стоит: стихотворная часть журнала была традиционно слабой.

Однако статус *печатающегося стихотворца* все-таки сыграл осенью 1880 года важную роль в жизни Мережковского.

Он знакомится – вероятно, с помощью Константина – с группой молодежи, затеявшей издание благотворительного литературного сборника в пользу неимущих студентов. Под названием «Отклик» книга появится в следующем году, редактором будет знаменитый впоследствии литератор и политкаторжанин П.Ф. Якубович (Мельшин). Грядущий 1881 год становится рубежом, отделившим детские и отроческие годы Мережковского от периода юношеских «бури и натиска».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1881–1888 годы в жизни Мережковского. – Похороны Достоевского. – Цареубийство 1 марта 1881 года. – Дружба с С. Я. Надсоном. – Сотрудничество в «Отечественных записках». – Окончание гимназии. – Университет. – Литературный кружок О. Ф. Миллера. – Создание «Северного вестника». – «Народничество» Мережковского. – Статья о Чехове. – Смерть Надсона. – Завершение университетского курса

Солнечным субботним утром 31 января 1881 года огромная толпа народа заполнила улицы и проспекты, примыкающие к Кузнечному переулку. Городское движение замерло.

В начале двенадцатого с колокольни собора Владимирской Божьей Матери раздался медленный и гулкий колокольный звон. И, как бы откликаясь на него, со стороны Кузнечного послышалось пение:

Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас…

На Владимирской площади толпа, крестясь и стаскивая шапки, расступилась: из переулка, высоко поднятый над головами притихших людей, проплыл гроб, обитый золотой парчой; следом два конюха в ливреях вели лошадей, покрытых попонами с гербами Александро-Невской лавры; пустые дроги, украшенные позолоченной бронзой, еле двигались среди бесконечных,

растянувшихся по всему переулку траурных делегаций с огромными венками. Вокруг гроба на три-четыре сажени во все стороны студенты поддерживали руками непрерывные гирлянды из свежих цветов.

Возле собора процессия остановилась: священники стали служить краткую литию.

Какая-то старушка, испуганно озираясь на невиданное шествие, спросила у высокого, седого как лунь, представительного старика, стоявшего рядом с гробом:

– Какого генерала хоронят?

– Не генерала, а учителя, писателя.

– То-то, я вижу, много гимназистов и студентов. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.

– Кого, кого? – не расслышал стоящий рядом мужик.

Один из студентов, несущих гирлянду, громко – чтобы все слышали – сказал:

– Каторжника хоронят, отец. За правду царь на каторгу сослал. А ты думаешь, мы бы стали генерала хоронить?!

– За правду-у? – раздумчиво повторил мужик и вдруг, как будто что-то сообразив, снял шапку и перекрестился: – Ну, коли так, царство ему небесное, мы это тоже понимаем…

Вновь со всех сторон загремело «Трисвятое»:

Святый Боже, Святый Крепкий…

Петербург прощался с Достоевским.

Среди этой бесчисленной толпы, охваченной, как вспоминали потом мемуаристы, каким-то особым, ни с чем не сравнимым *религиозным* чувством всеобщего единения, был и гимназист Митя Мережковский.

Он был потрясен.

Накануне, 29 января, когда петербургские газеты разнесли по городу скорбную весть, он запишет в стихотворной тетради:

Угас он… Погиб в непомерной борьбе.
Всю бездну людского страданья,
Все небо любови вместил он в себе,
Всю глубь бытия и сознанья.
Угас… это сердце, что билось так в нем,
Застыло навеки, не вспыхнет огнем.

(«На смерть Достоевского»)

Очевидно, что будущий автор «Л. Толстого и Достоевского» побывал в эти два скорбных дня в знакомой ему квартире в Кузнечном вместе с тысячами людей, день и ночь, непрерывным потоком проходившими перед гробом. Присутствовал он, видимо, и на воскресном погребении в Лавре – если не на самом Тихвинском кладбище (туда полиция пускала только специально приглашенных), то хотя бы у стен Духовской церкви. Если это так, то 1 февраля 1881 года здесь, на нескольких десятках метров, отделяющих паперть храма от кладбищенских ворот, разыгралась сцена, напоминающая гениальный трагедийный «пролог» к начинающейся творческой истории Мережковского: у гроба Достоевского сошлись почти все ее «главные действующие лица»: Анна Григорьевна Достоевская, Победоносцев, Плещеев, Михайловский – все они проходили перед маленьким гимназистом, оттесненным в толпе к низким стенам некрополя. И здесь же, среди зрителей, рядом с ним, еще незнакомые – Минский, Аким Волынский и, конечно, – Надсон:

> Не презирай толпы: пускай она порою
> Пуста и низменна, бездушна и слепа,
> Но есть мгновения, когда перед тобою
> Не жалкая раба с продажною душою, —
> А божество-толпа, титан-толпа!..

Эти надсоновские строки – именно о тех мгновениях.

С уверенностью можно предполагать, что весь последующий месяц проходил у Мережковского – равно как и у его бесчисленных сверстников по всей России – «под знаком Достоевского». И, конечно, перечитывая совсем недавно вышедших «Братьев Карамазовых», он не мог не ощущать себя именно тем «русским мальчиком», кому покойный писатель прочил великую и трагическую будущность.

– Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!

Страшную глубину этих слов он, вероятно, начнет немного понимать ровно месяц спустя, 1 марта 1881 года.

* * *

Не вызывает сомнения, что страшная гибель Александра II произвела на Мережковского тягостное, потрясшее его впечатление. Общее настроение тех дней очень точно выражено Н. Н. Страховым в письме Л. Н. Толстому: «…Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и

благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо!»

Для пятнадцатилетнего поэта цареубийство отозвалось прямо-таки фантастическим отголоском – его стихотворение «Завещание» («Вы могилу мне выройте, братья, / Далеко, далеко от людей, / Не прервал чтобы шум их суетный / Безмятежной дремоты моей»), находившееся в редакционном портфеле «Живописного обозрения», было вдруг, как наиболее подходящее по тону, опубликовано в траурной рамке на титульном листе по соседству с Высочайшим манифестом Александра III. Романтический лирический герой, созданный фантазией подростка, оказался, таким образом, *alter ego* убитого императора… Это, конечно, не могло не поразить воображение.

Однако для «томления духа» были и более серьезные причины.

Взрыв бомб Рысакова и Гриневицкого на набережной Екатерининского канала был слышен в доме у Прачечного моста. Сергей Иванович, срочно вызванный во дворец, приехал оттуда в слезах и рассказал домашним о смерти Государя:

– Вот плоды нигилизма, – повторял он. – И чего им еще нужно, этим извергам? Такого ангела не пощадили…

Константин, бывший тут же, счел невозможным из принципа не вступиться за «извергов». Это было последней каплей. Сергей Иванович выгнал сына из дома и, несмотря на мольбы жены (Мережковский позднее считал эту семейную трагедию одной из главных причин безвременной смерти матери), остался непреклонен – Константин до конца был для него окончательно «отрезанным ломтем»: ни общаться с ним, ни тем более помогать ему в устроении жизни Сергей Иванович не стал.

Что пережил за эти дни Мережковский, можно представить, если обратиться к удивительному тексту от 10 марта 1881 года, который сохранился в тетради стихов:

ПЛАЧ НАРОДА ПО ОСВОБОДИТЕЛЮ

Ох вы, горы, горы великий,
Содрогнулися от гнева, расступилися.
Ох вы, воды, воды зыбучие,
Поднимитесь злой непогодушкой.
Ох вы, тучи, тучи черные,
Гряньте громом, божьей молнией.

Что не солнышко закатилось красное,
Закатилось в море темное безвременно, —
Государь наш батюшка преставился…
Не своею смертию кончился он,
От лихой руки злодейския.
То не буря по-над степью носится,
Клонит, клонит буйну ковыль-траву:
По Руси несется весть недобрая,
Клонит, клонит ужасом головушки.
Плачет мать-земля родимая,
Льются, льются слезы горькие,
Чаще дождичка осеннего,
Шибче Волги многоводной.
То не ваше ли деянье лютое,
Нехристи, отступники, безбожники?…
Все зазналися, возгордилися:
В небесах не нужно Господа,
На земле не нужно Царя-батюшки…
Плохо, плохо, братцы, коли детище
Поднимает руку на родителя!
Он разбил, разбил нам цепи проклятые,
Свободитель, охранитель благостный!
На кого покинул нас горемычных!
За тебя ль мы не молили Господа
Со святыми Его угодниками:
Охрани его своей защитою,
Как хранил он нас своей царской милостью!
За грехи, знать, за великие
Покарал нас Господь казнью страшною!
Много, много горя, Русь, терпела ты,
Ты и это вытерпишь, родимая,
Ты снесешь и это горе лютое,
Только ввек оно не забудется,
Раною останется кровавою
На груди могучего богатыря,
Исполина Святорусского.

То не солнышко закатилося —
Государь наш батюшка преставился.

Это стихотворение, прямо-таки невозможное в контексте «канонической» творческой биографии Мережковского (сам он, гораздо позднее, оставит на страницах *juvenilia*[5] характерное

резюме: «Как я мог написать?») и, мягко говоря, далекое от художественного совершенства, очень показательно как человеческий документ, наглядно свидетельствующий о драматических метаморфозах души юного автора. Тихое обаяние детского сказочного мира с его добрым, нестрашным романтизмом завершается: история врывается в жизнь и творчество Мережковского – со всей ее суровой несправедливостью и кровью, с ее всегдашними *двумя правдами,* так очевидно и больно воплотившимися в его личной судьбе в «правду отца» и «правду брата». Чуть позднее он будет недвусмысленно склоняться на сторону последней, но во взглядах и принципах Сергея Ивановича, как теперь ясно, он тоже, несомненно, ощущал обаяние – то *благородство консерватизма* с его жертвенностью, чувством долга и высоким патриотизмом, отвергнуть которое без нравственного насилия над собой невозможно. История, жизнь и творчество вдруг переплетаются прямо на его глазах странным, неразрешимым образом, так что инвективы «плача», адресованные цареубийцам-народовольцам, рикошетом ударяют по самому родному и самому больному для него в это время:

Плохо, плохо, братцы, коли детище
Поднимает руку на родителя!

«Нехристь, отступник, безбожник», отринувший Бога и царя, «зазнавшийся и возгордившийся» – не его ли любимый брат Константин?

Плачет мать-земля родимая,
Льются, льются слезы горькие…

За этим ходульным, «лубочным» образом – реальные, обжигающие его душу «слезы горькие»: он не может спать, слыша каждую ночь приглушенные рыдания Варвары Васильевны.

Кошмар этих дней многократным эхом откликнется в его будущих романах.

«…Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости.

Царевич обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, и этот взор напомнил Петру взор темного Лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-

то молился Отцу мимо Сына и думал, содрогаясь от ужаса: «Что это значит – Сын и Отец?» И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением.

Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол.

Петр подошел к сыну.

Царевич лежал, закинув голову; губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у пятнадцатилетнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать.

Петр стал на колени, склонился к сыну и обнял голову его.

– Ничего, ничего, родимый! – прошептал царевич. – Мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем».

…Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!

В феврале – марте 1881 года пророчество Достоевского стало сбываться в жизни Мережковского.

Детство кончилось.

* * *

Два последних гимназических года многое меняют в жизни нашего героя. Его всегдашняя отчужденность от сверстников оказывается, наконец, преодоленной: возникают многочисленные *знакомства,* никогда, правда, не перерастающие в собственно *дружбу,*– особенность весьма любопытная, на которой стоит остановиться.

Всю свою жизнь – за одним только исключением, о котором будет сказано ниже, – он остается как бы органически неспособным к дружеской связи, подразумевающей обоюдный личный интерес и предельную личную же откровенность.

Мережковский почти никогда не позволяет себе откровений личного толка и в большинстве случаев остается если не глухим, то, по крайней мере, внутренне равнодушным к «личному» в жизни своих многочисленных знакомых. Представить его не то чтобы «сплетничающим», но даже сколь-нибудь живо интересующимся текущими обстоятельствами их *быта*– просто невозможно. Эта черта, вообще изначально симпатичная, в нем приобретает оттенок какой-то болезненности, тем более заметный на фоне традиционного русского тяготения к «разговорам по душам». Георгий Адамович, хорошо знавший

Мережковского в последний, эмигрантский период его жизни, писал о безотчетной, инстинктивной непримиримости ко всякому проявлению русского дружеского «панибратства», даже самого невинного: «…Наши отечественные рубахи-парни и души нараспашку всех типов неизменно шарахались от него, как от огня». «У него не было ни одного друга, – подтверждает Зинаида Гиппиус. – Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда – реже – сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Д‹митрия› С‹ергеевича› никакого „друга“ никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом».

Однако, странно нечувствительный к *личной* человеческой близости, он обладает огромной способностью к близости *интеллектуальной,* способностью заинтересовать, увлечь, привязать к себе людей не бытовым, но, так сказать, «бытийным» обаянием. «…Среди нас Д. С. был центром, – продолжает Гиппиус. – Но отнюдь не был он тем, кого называют „душой общества“. Никого он не „занимал“, не „развлекал“: он просто говорил весело, живо, интересно – об интересном. Это останавливало даже тех, кто ничем интересным не интересовался».

Уже в гимназии у него появляются не друзья, а «постоянные собеседники», проводящие многие часы в разговорах самого отвлеченного толка. В «Автобиографической заметке» Мережковский называет два имени – «очень благородного юношу» Ю. Н. Коррнбута-Кубитовича и Е. А. Соловьева, горячего поклонника Спенсера и Конта, убежденного скептика и материалиста (Соловьев станет впоследствии известным критиком и историком литературы, писавшим под псевдонимом «Андреевич»).

Отголоски этих «философических бесед» проявляются в гимназических сочинениях Мережковского. Так, в работе о Ломоносове он явно бравирует «либеральной» терминологией: «Значение писателя для современной ему эпохи определяется той долей общечеловеческого развития и просвещения, которую он приносит с собой; он может и должен быть не только поэтом, почерпающим свое откровение из отвлеченной области чистой красоты, но вместе с тем общественным деятелем, передовым бойцом истины и добра; могущество нравственного влияния, сила пламенного слова – вот его оружие; им пролагает он, как доблестный герой, свободный путь себе и своим последователям сквозь глубокий мрак коснеющего невежества, предрассудков и зла». Это невинное философское «фрондерство» привлекало сочувственное внимание как одноклассников, так и учителя

словесности Мохначева, у которого Мережковский становится «первым учеником». Впрочем, репутация «возмутителя спокойствия» вскоре подтверждается и еще более необычным образом.

В выпускном классе Мережковский увлекается мольеровскими пьесами и организует кружок энтузиастов для постановки на гимназической сцене «Тартюфа». Он сам проводит регулярные заседания, на которых делает пространные доклады, разбирая характеры персонажей, причем в таком остро современном и обличительном духе, что «мольеровским кружком» всерьез заинтересовались… агенты тайной полиции. Времена были смутные, всюду мерещились террористические заговоры. В конце концов, любителей Мольера вызвали повестками в известное здание у Цепного моста, где они долго разъясняли соответствующим чинам, что их пристрастие к «Тартюфу» не ведет к ниспровержению существующего строя. Деятельность кружка пришлось прекратить, а его руководитель получил первый в жизни наглядный урок того, что в России «слово воистину есть глагол».

Но, конечно, главным, что делало Мережковского популярной фигурой в глазах одноклассников, являлась его причастность к «большой литературе»: как уже говорилось, в 1880–1883 годах его стихотворения появляются в петербургской периодике. А для самого Мережковского вхождение в литературный мир было связано и с появлением в его жизни человека, который стал первым и *единственным другом* нашего героя.

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто бы ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора – и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Эти строки стали настоящим «символом веры» для поколения Мережковского.

Автор стихов – **Семен Яковлевич Надсон** – начинал свое стремительное восхождение к вершинам славы. Начало 1880-х годов – время ослепительного расцвета его популярности. Выпускник Павловского военного училища, молодой офицер кронштадтского Каспийского полка, обладающий помимо литературного таланта удивительным обаянием и

декламаторским даром, производил своими выступлениями в петербургских литературных аудиториях сенсацию. Его сравнивали с Лермонтовым. Его прочили в наследники Некрасова. В его честь устраивали балы и литературные вечера. Книга его стихов, появившаяся в 1885 году, получит Пушкинскую премию, разойдется за три месяца и будет многократно переиздана:

В больные наши дни, в дни скорби и сомнений,
Когда так холодно и мертвенно в груди,
Не нужен ты толпе – неверующий гений,
Пророк погибели, грозящей впереди.
Пусть истина тебе слова твои внушает,
Пусть нам исхода нет, – не веруй, но молчи…
И так уж ночь вокруг свой сумрак надвигает,
И так уж гасит день последние лучи…
Пускай иной пророк, – пророк, быть может, лживый,
Но только верящий, нам песнями гремит,
Пускай его обман, нарядный и красивый,
Хотя на краткий миг нам сердце оживит…

(С. Я. Надсон «В больные наши дни, в дни скорби и сомнений…»)

В то время в Петербурге нельзя было представить студента первых курсов, гимназистки старших классов или курсистки, которые не знали бы наизусть почти всех стихотворений Надсона. Доверие и симпатия к молодому поэту (Надсон родился в 1862 году) были у юных читателей настолько велики, что, встречая в его новых стихах упоминания о болезни, страдании или скорой смерти, многие, не скрывая слез, рыдали над этими строками, как если бы получили известие о несчастии, случившемся с родным существом. «Сознание болезненного бессилия, разочарование в утилитарных идеалах, страх перед тайной смерти, тоска безверия и жажда веры – все эти современные мотивы Надсона произвели быстрое и глубокое впечатление даже не столько на *молодое,* сколько на *отроческое* поколение 80-х годов». Автобиографизм этого замечания Мережковского очевиден. Впечатление, вероятно, было настолько «быстрым и глубоким», что «новообращенный» поклонник Надсона решается на письменную исповедь. «…Он мне прислал полное отчаянья письмо, – вспоминал Надсон, – вообще, он мой брат по страданию: у нас с ним есть на душе одно общее горе, и я рад был бы, если б мог хоть немножко его поддержать».

Завязывается переписка, перешедшая затем в тесное личное

общение, – и юный гимназический поэт надолго попадает под неотразимое обаяние личности Надсона («Я очень счастлив на друзей, – признавался Семен Яковлевич, – куда я не появляюсь, я всюду создаю их себе в самое короткое время. Говорят, в моем характере есть что-то открытое, детское, что привлекает к себе»). «…Мир – прекрасен, и, конечно, одна из лучших вещей в нем – дружба», – заключает Мережковский одно из писем к Надсону, а в другом трогательно просит поэта писать почаще: «Вы знаете, Семен Яковлевич, как бесцветна и уныла моя жизнь, Вы знаете, как я дорожу возможностью хотя на минуту отвести душу в дружественной беседе». Впрочем, одними «дружественными беседами» их общение не ограничивалось. Надсон, будучи сам новичком на петербургском литературном олимпе, все же принимает деятельное участие в творческой судьбе своего нового знакомца, и именно в качестве надсоновского «протеже» Мережковский входит в круг **«Отечественных записок».**

Если публикации в «Живописном обозрении» могли составить Мережковскому «имя» лишь в довольно нетребовательном кругу родных и знакомых, разделявших обязательное для тогдашнего российского общества благоговение к «печатающемуся поэту», то появление его стихотворений в «Отечественных записках» являлось уже серьезной заявкой на признание и в «профессиональной» литературной среде. Журнал «Отечественные записки», основанный Павлом Свиньиным в 1818 году, с 1839 года, когда его возглавил А. А. Краевский, являлся одним из главных органов «большой» русской литературы. Здесь публиковал свои статьи Белинский. Здесь сотрудничали Герцен и Грановский. Здесь начинали Некрасов, Достоевский, Григорович, Панаев. Ушедший затем, после появления в 1846 году «Современника», «в тень» журнал переживает «второе рождение» в 1868 году, когда Краевский отдал его в аренду Н. А. Некрасову, М. Е. Салтыкову-Щедрину и Г. З. Елисееву. Очень скоро после этого «Отечественные записки» уже располагали таким списком авторов, который ставил их вне конкуренции среди литературной периодики этого времени. В литературном отделе «Отечественных записок», помимо Некрасова и Салтыкова, публиковались Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, Г. И. Успенский, В. М. Гаршин, Ф. М. Решетников, П. Н. Златовратский, П. Д. Боборыкин. Отдел критики представляли Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов. Внутренние обозрения писали Г. З. Елисеев и Н. А. Демерт. Ничего подобного этому «созвездию имен» не было ни в одном из русских журналов 1870-х годов. В первой половине 1880-х «звездный ряд» авторов существенно поредел и журнал клонился

к своему концу, но авторитет его среди читателей продолжал «по инерции» оставаться исключительно высоким.

Мережковский с гордостью будет вспоминать, что ему довелось слышать «редакторский рык» Салтыкова-Щедрина, перемежающийся с судорожным, чахоточным кашлем. Но главным покровителем Мережковского в «Отечественных записках» стал секретарь редакции поэт Алексей Николаевич Плещеев, наставник и друг Надсона, весьма охотно откликнувшийся на просьбу последнего устроить еще одну «литературную судьбу».

С легкой руки Плещеева, который заведовал в «Отечественных записках» отделом поэзии, стихотворения Мережковского появляются в 1883–1884 годах на страницах последних номеров знаменитого журнала (в 1884 году он был прекращен). Плещеев же выступил с рекомендацией о включении Надсона и Мережковского в члены петербургского Литературного фонда. В маленькой квартире Плещеева, где Мережковский скоро становится «своим», бывал тогда весь литературный Петербург, и юный поэт впервые оказался в писательской среде, завязал первые «профессиональные знакомства». Однако главным и безусловным литературным авторитетом для него остается в эти годы Надсон.

Надсон, несмотря на весьма незначительную разницу в возрасте, оказывает сильное влияние на творческое самоопределение своего младшего друга; в частности, именно Надсону принадлежит открытие в Мережковском не лирического, а *эпического* дарования. Именно в это время появляются первые по-настоящему самостоятельные «баллады» Мережковского, своеобразные «рассказы в стихах», воскрешающие образы мировой истории и литературы, – стилизации из Тассо, Сервантеса, Данте:

Порой чета голубок над полями
Меж черных туч мелькнет перед грозою,
Во мгле сияя белыми крылами;

Так в царстве вечной тьмы передо мною
Сверкнули две обнявшиеся тени,
Озарены печальной красотою.

И в их чертах был прежний след мучений,
И в их очах был прежний страх разлуки,
И в грации медлительных движений,

В том, как они друг другу жали руки,
Лицом к лицу поникнув с грустью нежной,
Былой любви высказывались муки.

(«Франческа Римини»)

Присутствует в поэзии Мережковского этих лет и образ «поэта наших дней», в чертах которого без труда можно узнать Надсона:

Ты опоздал, поэт: твой мир опустошен, —
Ни колоса – в полях, на дереве – ни ветки;
От сказочных пиров счастливейших времен
Тебе достались лишь объедки…

Попробуй слить всю мощь страданий и любви
В один безумный вопль; в негодованье гордом
На лире и в душе все струны оборви
Одним рыдающим аккордом, —

Ничто не шевелит потухшие сердца,
В священном ужасе толпа не содрогнется,
И на последний крик последнего певца
Никто, никто не отзовется!

(«Поэту наших дней»)

Отголоски многочисленных разговоров и споров – подчас очень острых – угадываются как в надсоновской, так и в мережковской философской лирике. «Мы много спорили с ним о религии. Он отрицал, я утверждал».

Но было в отношениях этих юношей и нечто *по-человечески* большее.

«Он мой брат по страданью…»

В сохранившихся письмах Надсону настойчиво звучит *мотив некоего «рокового недуга», угнетающего Мережковского в эти годы.* В «борьбе с недугом» младшего поэта поддерживает и укрепляет пример старшего: Надсон, как известно, был болен наследственной чахоткой – отсюда и глубоко прочувствованный мотив страдания, столь ярко воплощенный в его лирике.

Но что за «недуг» имел в виду Мережковский, говоря *о себе,* – непонятно. Возможно, это было также подозрение на туберкулез (юношеская мнительность, помноженная на поэтический

темперамент, легко может придать подобной *гипотетической* угрозе реальный статус). Однако, как пишет сам Мережковский, речь идет о следствии некоего *«порока»,* порождении «мгновенных необдуманных действий». Произвольные догадки здесь вряд ли уместны, но сказать об этом необходимо, ибо в «Автобиографической заметке» Мережковский также упоминает о «некоторых тяжелых обстоятельствах личной жизни», которые в ранней юности обусловили его окончательный «поворот к вере».

В какой-то мере скудость сведений об этом важном эпизоде в биографии Мережковского компенсирует его поэма *«Смерть»* (1891). В ней рассказывается о духовном преображении героя, молодого петербургского «физиолога» Бориса Каменского, подчинявшего «порывы сердца» – «математическим законам»:

…Последний
Он вывод знанья принимал.
От всех покровов и загадок
Природу смело обнажал,
Смотрел на мировой порядок
В одну из самых мрачных призм —
Сквозь безнадежный фатализм.

Внезапная смертельная болезнь полностью разрушила его «позитивистский стоицизм», причем Мережковский подробно, в деталях, описывает смену психологических состояний больного по мере развития болезни. От раздражения на нелепость случившегося с ним, желания «уйти от людей» и гордо «умереть как жил – лишь с верой в разум», Борис под воздействием усиливающихся физических страданий переходит к паническим переживаниям, жалобам, капризам, и, наконец, все его существо оказывается захваченным лишь одним всепоглощающим чувством животного страха:

Больной о смерти думал прежде
По книгам, по чужим словам.
Он умирал в слепой надежде,
Что смерть – еще далёко, там
В грядущем где-то. Он сумеет
С ней помириться, он успеет
Вопрос обдумать и решить
И приготовиться заране…
И – вот он понял: жизни нить
Сейчас порвется. Не в тумане,
Не в дымке – подойдя к концу,

Он видел смерть лицом к лицу.
И стоицизм его притворный,
И все теории, как дым,
Исчезли вдруг пред бездной черной,
Пред этим ужасом немым.
И жизнь он мерит новой мерой.
Свой ум напрасно прежней верой
В науку хочет усыпить.
Он в ней опоры не находит.
Нет! Страха смерти победить
Умом нельзя… А жизнь уходит…
От всех познаний, дум и книг
Какая польза в страшный миг?

В конце концов, обессиленный долгой агонией, он просит любимую девушку, ухаживающую за ним, читать ему Евангелие:

«Я жизни хлеб, сходящий с неба,
И возалкавший человек,
Вкушая истинного хлеба,
Лишь Мной насытится навек.
Я жизнь даю: возжаждет снова,
Кто пил из родника земного, —
Но утоляет навсегда
Лишь Мой источник тех, кто страждет.
Я жизни вечная вода, —
Иди ко Мне и пей, кто жаждет».

«И то, чему не верил разум», в последние минуты жизни героя открылось ему, помимо сознания, «детским» проникновением в тайну Божественной Любви:

И что ж? Ни боли, ни испуга —
Не оставалось ничего
От побежденного недуга:
И тих, и светел бледный лик;
Покой в нем ясен и велик.

Разумеется, эту поэму, как и всякое художественное произведение, нельзя использовать как биографический документ. Нам остается только гадать, *насколько* переживания главного героя были *лирически опосредованы* личным опытом

самого Мережковского. Но то, что они *были* опосредованы таким опытом и «лирический элемент» в этом специфическом рассказе о «смертных переживаниях» присутствует, представляется весьма вероятным. По крайней мере, в той среде, в которой вращался Мережковский в 1880-х годах, более ожидаемым «литературным» финалом была бы «героическая» гибель Бориса Каменского, «не поступившегося» «научными», материалистическими ценностями из-за боли и страданий. Та версия, которую предлагает Мережковский, могла быть расценена большинством его сверстников как «капитулянтская», доказывающая лишь «слабость» героя поэмы. Между тем молодой Мережковский, отходя от литературных шаблонов предшествующей эпохи, говорит о безусловной *позитивной* ценности «смертного опыта» для человека – как личностной, так и метафизической:

Нам смерть, как в тучах – проблеск неба,
Издалека приносит весть,
Что кроме денег, кроме хлеба,
Иное в мире что-то есть.
Когда б не грозная могила,
Как самовластно бы царила
Несправедливость без конца,
Насилье, рабство и гордыня,
Как зачерствели бы сердца!

Психологически трудно представить, что молодой писатель, еще во многом зависимый от авторитета предшественников и «общего мнения» читательской аудитории, воспитанной на писаревской апологии «нигилизма», апологии Базарова («Умру, – из меня лопух вырастет!»), пошел бы «против течения», не имея *никакого* опытного знания о предмете своего повествования.

Так или иначе, но дружбу Мережковского с Надсоном соединяет, помимо творческих интересов, некая общая личная тайна, в основании которой – пережитой страх страданий и смерти и стремление к обретению действенной веры, способной этот страх преодолеть:

Долго муза, таясь перед взором моим,
Не хотела поднять покрывала И за флером туманным, как жертвенный дым,
Чуждый лик свой ревниво скрывала.

И богиня вняла неотступным мольбам
И, в минуту свиданья, несмело

Уронила туманный покров свой к ногам,
Обнажая стыдливое тело;
Уронила, – и в страхе я прянул назад…
Воспаленный, завистливый, злобный, —
Острой сталью в глаза мне сверкнул ее взгляд,
Взгляд, мерцанью зарницы подобный!..
Было что-то зловещее в этих очах,
Оттененных вокруг синевою…
Серебрясь, седина извивалась в кудрях,
Упадавших на плечи волною;
На прозрачных щеках нездоровым огнем
Блеск румянца, бродя, разгорался —
И один только голос звучал торжеством
И над тяжким недугом смеялся…

О, слепец!.. Красотой я сиять не могла:
Не с тобой ли я вместе страдала?
Зависть первые грезы мои родила,
Злоба первую песнь нашептала…

Стихотворение «Муза» – одно из самых страшных стихотворений Надсона – посвящено Мережковскому.

* * *

В 1883 году Мережковский завершает гимназический курс и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

Старший современник нашего героя вспоминает, что петербургское университетское студенчество тех лет являло собою особый, живущий по самостоятельным, освященным незыблемой традицией законам, «микрокосм».

Тон задавали студенты-естественники, почитающие «настоящими» только точные науки и с презрением относившиеся к филологии и философии, которые считались родом «умственного разврата». Впрочем, позитивистская философия была исключением – чтение Конта и Бентама поощрялось, поскольку их доктрины стремились свести идеальное начало к физиологии и математике. Разумеется, безусловным авторитетом пользовался дарвинизм, недвусмысленно связываемый с пафосом атеистического скепсиса. Традиционная для студенчества вообще интеллигентская фронда в эти годы была еще сильна: в

студенческой среде преобладали народнические настроения. Само слово «народ» вызывало самый неподдельный энтузиазм: стоило среди толпы студентов кому-то крикнуть: «Господа, *народ!»* – как все откликались на это бурными возгласами: «Да здравствует народ!»

Эстетические вкусы были односторонними: ценились «гражданские» стихи Некрасова и поэтов-«шестидесятников», штудировался роман Чернышевского, ценились тенденциозная беллетристика в духе позднего «Современника» с ее непременным пиететом к «мужику» как вместилищу «общинных добродетелей». На студенческих сходках пели:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал…

Университет сотрясали политические процессы – достаточно вспомнить дело Александра Ульянова, разразившееся в тот самый год, когда Мережковский переступал порог университета. Политическая лояльность не поощрялась: к студентам-«белоподкладочникам» относились с враждебностью, а неодобрение либеральных взглядов, высказанное вслух, могло повлечь за собой бойкот. В чести были бессребреничество и проповедь жертвенности: студенты щеголяли неряшливой, бедной одеждой и гордились «безбытностью» – имущество большинства составляли тюк с бельем да связка лекций. Зато к изучению наук здесь относились с необыкновенным старанием: считалось позором готовиться к экзаменам только по лекциям и учебникам, надо было освоить, как тогда говорили, «литературу предмета». Очень распространены были кружки самообразования, где шли оживленные дискуссии по поводу прочитанных книг.

Историко-филологический факультет, на который поступил Мережковский, был, как уже говорилось, в то время не в чести, причем это общее мнение разделяла и большая часть университетской профессуры. Так, на вопрос абитуриента, мятущегося между физико-математическим и историко-филологическим факультетами, профессор-естественник мог ответить, брезгливо поморщившись: «У каждого, милостивый государь, свои вкусы: одного влечет к точным знаниям, другой предпочитает копаться в куче навоза». На филологические науки переносилась антипатия к «классическому» образованию, выработанная у большей части воспитанников университета в гимназические годы. С другой стороны, и кадровый состав

историко-филологического факультета терялся перед созвездием ученых с мировым именем (Менделеев, Бутлеров, Сеченов, Вагнер, Бекетов), украшавших тогда факультеты естественных наук.

Судя по явно автобиографическим фрагментам, вошедшим в первую повесть в стихах «Вера», факультет произвел на Мережковского не самое благоприятное впечатление, хотя первые дни он с восторгом бродил по университету, с благоговением заглядывая в большие аудитории, лаборатории и библиотеки и предуготовляясь с прилежанием внимать лекторам. Последние быстро разочаровали: философию, историю, юриспруденцию здесь читали схоластически, не особенно заботясь о влиянии лекционного материала на слушателей. Отношения с товарищами тоже не наладились: подобно герою своей поэмы, Мережковский не мог узнать в них «студента добрых старых дней»:

Где искренность, где шумные беседы,
Где буйный пыл заносчивых речей,
Где сходки, красные рубашки, пледы,
Где сумрачный Базаров-нигилист?…
Теперешний студент так скромен, чист
И аккуратен: он смирней овечки,
Он маменькин сынок, наследства ждет,
Играет в винт и в ресторане пьет
Шампанское, о тепленьком местечке
Хлопочет, пред начальством шею гнет,
Готов стоять просителем у двери
И думает о деньгах и карьере.

(Поэма «Вера»)

Единственным по-настоящему сильным университетским переживанием этих лет оказалось посещение лекций профессора Ореста Федоровича Миллера – известного историка литературы, первого биографа Достоевского. На квартире у Миллера собирались самые ревностные ученики, составившие своеобычный «литературный кружок». За кружкой чая, в чаду табачного дыма здесь спорили «идеалисты» и «народники». Особый интерес вызывало толстовство, только-только начавшее распространяться в кругах интеллигентной молодежи. Среди самых читаемых книг Мережковского в ту пору – гектографированная копия толстовской «Исповеди». Особенно его привлекали идеи «опрощенья», возвращения к идеалу патриархальной жизни и толстовский идеализм, преодолевающий

религиозный нигилизм демократической интеллигенции. Но полного согласия со взглядами Л. Н. Толстого Мережковский никогда не ощущал:

…Блаженны те,
Кто жизнь проводят в тишине, в заботе
Об урожае, в сельской простоте,
В слиянии с народом и в работе.
Но если верить жизни, не мечте,
Но если дел искать, не грез, – увидишь сразу
В непротивленьи злу пустую фразу.

(Поэма «Вера». Курсив Д. С. Мережковского)

Мережковский-студент – классический образец мятущегося «русского мальчика», причудливо соединяющий в себе *все:* и «бунт» Ивана Карамазова, и благоговейную веру Алеши. «В студенческие годы я очень увлекался позитивистской философией – Спенсером, Контом, Миллем, Дарвиным. Но, с детства религиозный, я смутно чувствовал ее недостаточность, искал, не находил и безвыходно мучился».

Миросозерцание Мережковского формируется в эти годы под сильным воздействием литературных знакомств, прежде всего – под влиянием **Николая Константиновича Михайловского,** которого Мережковский всегда называл первым в ряду своих учителей.[6]

Выдающийся мыслитель и публицист, блистательный литературный критик Н. К. Михайловский становится в эти годы одним из самых влиятельных идеологов позднего народничества. Полагая сущностью прогресса развитие человеческой личности, Михайловский отрицал капиталистическую цивилизацию, ибо полагал, что при капитализме личная свобода, личный интерес, личное счастье «кладутся в виде жертвоприношения на алтарь правильно или неправильно понятой системы наибольшего производства». Буржуазный прогресс с его урбанизмом и развитием индустриализации объявлялся фикцией; лишь тогда, когда общество будет способствовать развитию индивида в подлинную личность, человечество действительно двинется вперед. В этом смысле, по мнению Михайловского, гораздо «прогрессивнее» капиталистической фабрики, где царствует «господин купон», – русская крестьянская община, ибо она, безусловно, нравственнее в своем отношении к человеку. Русская община виделась Михайловскому готовым народно-социалистическим институтом, ячейкой будущего народного

производства, что создаст справедливое общественное устройство, где «личность, повинуясь закону развития, борется или, по крайней мере, должна бороться за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего я».

Апология личности неожиданно сближает народническую социальную философию Михайловского с проникающим в эти годы в Россию «ницшеанством»: «сверхчеловеку» предлагалось возрасти на отечественных крестьянских подворьях.

В 1884 году, после закрытия «Отечественных записок», Михайловский был озабочен созданием нового журнала, целиком обращенного к проблемам крестьянства и – шире – к проблемам русской провинции, не затронутой еще большей частью «капиталистическим тлением». Название нового издания подыскалось быстро: *«Северный вестник».* Редактором согласилась быть одна из петербургских «литературных дам» – А. М. Евреинова. Секретарем стала А. А. Давыдова – давняя поклонница Михайловского. Первый номер «Вестника» увидел свет в начале следующего года. Естественно, что сотрудники «перешли по наследству» – от покойных «Отечественных записок».

Студент первого курса филологического факультета Императорского Петербургского университета Дмитрий Мережковский, стихи которого с конца 1883 года регулярно публиковали «Отечественные записки», был готов даже не к сотрудничеству – *к служению*…

«Народническая» проповедь Михайловского захватывает его настолько, что летом 1884 года он совершает своеобразное «паломничество» по русской провинции – путешествует по Волге и Каме, ходит пешком по деревням, беседует с крестьянами, записывает наблюдения. Тогда же навещает в Чудове автора другого народнического «катехизиса» – книги очерков «Власть земли» – Глеба Ивановича Успенского, который знакомит его с проповедником «истинной веры», «толстовцем до толстовства», крестьянином Василием Сютаевым. В Петербург Мережковский возвращается с твердым намерением по окончании университета «уйти в народ» и сделаться сельским учителем. Он переживает острое разочарование в современной цивилизации: капиталистический «дух машины» разрушительно действует на человеческое существо, убивает возвышенное переживание бытия:

О век могучий, век суровый
Железа, денег и машин,
Твой дух промышленно-торговый
Царит, как полный властелин.

Ты начертал рукой кровавой
На всех знаменах: «В силе – право!»
И скорбь пророков и певцов,
Святую жажду новой веры
Ты осмеял, как бред глупцов…

(Д. С. Мережковский. Поэма «Смерть»)

Разумеется, подобный энтузиазм неофита вызывал одобрение «учителя» – Михайловского. В новорожденном журнале обильно публикуются стихи Мережковского. Впрочем, Михайловский угадывает и критическое дарование молодого сотрудника и заказывает ему статью об образе крестьянина во французской литературе (у Бальзака и Мишле). Статья была написана, но восторга у Михайловского не вызвала.

«В народничестве моем было много ребяческого, легкомысленного…» – признавался Мережковский. Тесное общение с кругом Михайловского быстро охлаждало восторги «неофита». «Честный русский либерализм» образца 1880-х годов все более казался ему сектантски ограниченным, ибо, как замечал герой одной из его ранних поэм («Вера»):

…кроме мужиков
Есть воздух, солнце, аромат цветов,
Вся красота и все величье мира!

Заседания редакции «Северного вестника» удручали торжественной и однообразной «интеллигентской» скукой.

«Там собирались писательницы-дамы и только что прогремевшие беллетристы, и люди почтенного старого времени, талантливые и умные, – вспоминал Мережковский. – Тем не менее скука царствовала неодолимая. Все только притворялись, что делают серьезное, кому-то нужное дело, а в душе томились. Однажды принесли в редакцию простую детскую игрушку, бумажную муху. Надо было заводить пружинку, и муха, треща крыльями, летала по комнате. Как все были довольны, как хохотали и забавлялись! Угрюмые лица просветлели, и дамы хлопали в ладоши. С тех пор прошло лет шесть, но я помню очень ясно эту маленькую бытовую сценку, не лишенную местного колорита».

Разочарование от общения со «столпами» русского интеллигентского либерализма еще более усилилось после первой поездки за границу – летом 1885 года (Мережковский

побывал во Франции и Швейцарии). Контраст был разителен: «Без всяких политических и философских соображений, просто в бульварах, в толпе, в театрах, в рекламах, выставках, кафе – в этом непрерывном ропоте человеческого океана чувствуется, что т а м есть жизнь. Нигде, даже в России, не царствует такая скука, как в литературных кружках. Опять-таки без всяких высших философских и политических соображений, просто кажется, что здесь *нет жизни.* Когда сразу из европейского воздуха, из атмосферы напряженной деятельности и мысли перенесешься в один из этих притонов скуки, в одну из несчастных петербургских редакций, с каким горьким недоумением слушаешь унылые разговоры унылых сотрудников».

Статья *«Крестьянин во французской литературе»,* которую Мережковский, как и было условлено, представил по возвращении в «Северный вестник», заставила Михайловского насторожиться: «ученик» позволил себе некоторые вольности, могущие быть истолкованы как склонность к «мистицизму» (чего сам Михайловский боялся как огня). В результате, к неописуемому огорчению и недоумению Мережковского, его работа была забракована (она появилась много позже в журнале «Труд» – издании не самом авторитетном в столичной периодике).

Еще более показательна для характеристики отношений Мережковского с ранним «Северным вестником» (прежде всего, конечно, с его идейным руководителем Михайловским) история с публикацией статьи о творчестве Чехова – *«Старый вопрос по поводу нового таланта».*

Для «Северного вестника» Чехов был, что называется, «своим автором»: на страницах журнала в разные годы увидели свет «Степь», «Огни», «Именины», «Иванов», «Скучная история». Однако в «эпоху Михайловского» отношение к Чехову в редакции было двойственным, ибо, как точно сформулировал в своей статье Мережковский, «перед каждым произведением, в котором не слишком резко обозначена общественная тенденция, дающая повод хоть о чем-нибудь поговорить и поспорить, „критики“ останавливаются в полном, беспомощном недоумении».

Суть статьи Мережковского весьма проста: *ценность произведения искусства определяется не столько содержащейся в нем идейной проповедью, сколько эстетическими достоинствами, способностью вызвать у читателей сильные эмоциональные переживания.*

Собственно, с этим и в 1880-е годы вряд ли мог кто-нибудь всерьез спорить, кроме разве что совсем фанатических сторонников «тенденциозности» в искусстве в радикальном,

«писаревском» духе. Но в рассуждениях Мережковского был один внешне неприметный нюанс, и ставший «гвоздем» статьи. Не отказываясь от понимания искусства как средства выявления некоей «полезной человечеству истины», Мережковский высказывал робкое предположение, что «истине» общественно-политической и моральной в подлинно художественных произведениях обязательно сопутствует некая *другая Истина,* относящаяся к таким сферам человеческой жизнедеятельности, которые не поддаются строгой рационализации:

«Статуя, картина, музыкальная пьеса ‹…› по-видимому, совершенно бесцельные с точки зрения деятельности ‹…› стремящейся к непосредственному достижению общественной пользы, содействуют прогрессивному усовершенствованию эстетического вкуса и впечатлительности, которые приносят нам такую массу высоких и благородных наслаждений… И разве тем самым они не раздвигают пределов человеческой чувствительности, не обогащают ее основного фонда, подобно тому, как научная деятельность ‹…› расширяет границы человеческого знания?»

Несмотря на изобилие стандартных для народнической критики тех лет формул, которыми молодой автор стремится смягчить «революционность» постановки вопроса (сам Чехов упрекал Мережковского в «смешении различных понятий» и «туманности»), «ересь» была мгновенно опознана. Михайловский мог легко простить выпады против литературных начетчиков, прикрывавших убожество творческого дара «правильной» либеральной риторикой (он и сам неоднократно проходился в своих статьях по этому адресу), но оставить безнаказанным и, тем более, принять (хотя бы как «повод для размышления») посягательство на святая святых критического реализма – на идею примата «общественного» начала в литературе – он не мог…

Впоследствии Мережковский полагал, что появление статьи в журнале в 1888 году объясняется только тем, что Михайловский либо находился тогда в отъезде, либо тем, что в это время уже началось его охлаждение к «Северному вестнику» (после острого конфликта с А. М. Евреиновой). Однако статья Мережковского была все-таки снабжена «вдогонку» странным «примечанием редакции»: «Статья г. Мережковского, расходясь с мнением некоторых наших сотрудников лишь в подробностях эстетических воззрений на искусство, в основных своих принципах настолько приближается к этим мнениям, что мы сочли возможным дать ей место на страницах „Северного вестника“». Невнятицу сего «примечания» не преминул заметить иронически-педантичный Чехов: «…Примечание редакции… я, хоть убей, не понимаю. Про

каких там сотрудников говорится? Кто не согласен, тот может писать особую статью, а делать вылазку из оврага не подобает». Замечание справедливое. Михайловский, впрочем, не ограничился только «вылазкой из оврага», но и прислал Мережковскому возмущенное письмо. Отношения «учителя» и «ученика» были испорчены, и впоследствии их общение носило подчеркнуто деловой и формальный характер.

Самым печальным в этой истории для Мережковского было то, что и Чехов отнесся к нашумевшей статье без особого энтузиазма. «Главный ее недостаток – отсутствие простоты», – писал он А. Н. Плещееву. Это впечатление окажется решающим: впоследствии Чехов мягко, но неукоснительно пресекал все попытки Мережковского обрести в нем если не единомышленника, то хотя бы собеседника. Хрестоматийно-известным стал диалог «о слезинке замученного ребенка», затеянный Мережковским; выслушав все рассуждения о метафизических безднах теодицеи, Антон Павлович задумчиво проговорил: «А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку – превосходно готовят, – да не забудьте, что к ней большая водка нужна».

«Мне было досадно, почти обидно, – признавался Мережковский, – я ему о вечности, а он мне о селянке».

Они говорили на разных языках. Впрочем, почти то же самое можно сказать и об отношениях Мережковского со всеми тогдашними «маститыми» литераторами. Помимо Чехова он достаточно коротко общался с В. М. Гаршиным, В. Г. Короленко, Г. И. Успенским, Н. С. Лесковым, Я. П. Полонским, А. Н. Плещеевым, П. И. Вейнбергом, однако «старшее» поколение относилось к нему более чем сдержанно.

Единственным, с кем он мог в университетские годы «отвести душу», продолжал оставаться Надсон. Тот уже вышел в отставку и целиком погрузился в литературную работу. В марте 1885 года появился первый сборник его «Стихотворений» тиражом шестьсот экземпляров. Мнительный Надсон опасался, что этот тираж слишком велик для автора-дебютанта, но все разошлось за три месяца. Уже в январе 1886 года вышло второе издание – тысяча экземпляров, а в марте – третье! Это небывалый успех, которому, по словам С. А. Венгерова, «равного нет в истории русской поэзии». Надсон получил Пушкинскую премию и… мог расплатиться с долгами.

Увы! Все его доходы теперь уходили только на безнадежные попытки если не вылечить, то, по крайней мере, приостановить стремительно развивающийся процесс в легких. Кровь шла

горлом, и он уже не мог выступать с чтением своих стихов. Первая книга Надсона оказалась и последней!

Завеса сброшена: ни новых увлечений,
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди;
Покой оправданных и сбывшихся сомнений,
Мгла безнадежности в измученной груди…
Как мало прожито, как много пережито!
Надежды светлые, и юность, и любовь…
И все оплакано… осмеяно… забыто,
Погребено – и не воскреснет вновь!

(С. Я. Надсон «Завеса сброшена: ни новых увлечений…»)

Ни всероссийская слава, ни жертвенная любовь многочисленных поклонников и поклонниц не помогали. В Петербурге Надсон бывал наездами, жил за границей (Мережковский навещал его в Беатенберге) или на юге – в Киеве и Ялте, но это уже была лишь тень недавнего обаятельного и талантливого любимца петербургских литературных собраний. Чахотка истощила не только тело, но и волю Надсона. Во время встреч с Мережковским он говорил теперь только о смерти.

В январе 1887 года Семен Яковлевич Надсон, «брат по страданью», умер в Ялте. Ему только-только исполнилось двадцать четыре года. По всей России передавались из рук в руки списки надсоновского четверостишия, созданного в самый канун гибели:

Не говорите мне: «он умер». Он живет!
Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана – она еще цветет,
Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает!..

И вдруг оказалось, что не только гимназисты, студенты-первокурсники и курсистки любили Надсона. Начальник Юго-Западной железной дороги Сергей Юльевич Витте (будущий премьер-министр) приказывает выделить для перевозки тела поэта из Ялты в Петербург специальный литерный состав, и траурный поезд совершает скорбный и триумфальный путь с юга на север России. По всему маршруту вдоль колеи стоят толпы почитателей поэта, и *состав идет по цветам!* Гроб Надсона встречает вся молодежь Петербурга. Огромная процессия

сопровождает его после отпевания в Троицкой церкви на Литераторские мостки Волкова кладбища. На вечере памяти Надсона, состоявшемся после похорон, Мережковский читает одно из лучших своих стихотворений:

Поэты на Руси не любят долго жить:
Они проносятся мгновенным метеором,
Они торопятся свой факел потушить,
Подавленные тьмой, и рабством, и позором.
Их участь – умирать в отчаянье немом;
Им гибнуть суждено, едва они блеснули,
От злобной клеветы, изменнической пули
Или в изгнании глухом.

И вот еще один, – его до боли жалко:
Он страстно жить хотел и умер в двадцать лет.
Как ранняя звезда, как нежная фиалка,
Угас наш мученик-поэт!
Свободы он молил, живой в гробу метался,
И все мы видели – как будто тень легла
На мрамор бледного, прекрасного чела;
В нем медленный недуг горел и разгорался,
И смерть он призывал – и смерть к нему пришла.
Кто виноват? К чему обманывать друг друга!
Мы виноваты – мы. Зачем не сберегли
Певца для родины, когда еще могли
Спасти его от страшного недуга.

Мы все, на торжество пришедшие сюда,
Чтобы почтить талант обычною слезою, —
В те дни, когда он гас, измученный борьбою,
И жаждал знания, свободы и труда,
И нас на помощь звал с безумною тоскою,
Друзья, поклонники, где были мы тогда?…
Бесцельный шум газет и славы голос вещий —
Теперь, когда он мертв, – и поздний лавр певца,
И жалкие цветы могильного венца —
Как это все полно иронии зловещей!..

Беспристрастный историк литературы, читая эти строки, вряд ли признает инвективы Мережковского справедливыми. Чахотка Надсона была наследственной: от этой болезни скончалась его мать, а у него самого первые признаки начавшегося в легких процесса проявились в семнадцать лет, так что в момент его

первого триумфального выступления на вечере Пушкинского кружка 30 сентября 1882 года он, по всей вероятности, был уже обречен. При резком обострении болезни в 1885 году друзья и почитатели не только не «оставили» поэта, но сумели собрать 3500 рублей, которые и позволили ему лечиться у специалистов за границей. Ссудил деньги на лечение Надсона и Литературный фонд, правда, не к добру – Надсон очень тяготился положением «должника» и эти переживания сыграли в трагедии его последних месяцев свою разрушительную роль;[7] но хотели-то как лучше…

Однако Мережковский и не стремился к исторической достоверности. В эти дни в нем впервые пробуждается вдохновенный оратор и он создает стихотворную речь, призванную не *разъяснить* слушателям, что произошло, а *выразить* их общее эмоциональное состояние:

> Поймите же, друзья, он не услышит нас:
> В гробу, в немом гробу он спит теперь глубоко,
> И между тем как здесь все нежит слух и глаз,
> И льется музыка, и блещет яркий газ, —
> На тихом кладбище он дремлет одиноко
> В глухой, полночный час…
> Уста его навек сомкнулись без ответа…
> Страдальческая тень погибшего поэта, Прости, прости!

* * *

Смерть Надсона начинает длинную череду потерь, неудач и разочарований, которые будут преследовать Мережковского на рубеже 1880-1890-х годов, и Провидение, ведя его особыми путями и как бы предвосхищая грядущие испытания, предваряет их *даром – встречей,* которой суждено будет стать событием в истории русской культуры XX века.

Весной 1888 года он защищает дипломное сочинение о Монтене, кончает университетский курс и едет путешествовать по Крыму и Кавказу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Южное путешествие 1888 года. – «Боржомская история». – Свадьба в Тифлисе. – Первые месяцы семейной жизни в Петербурге. – Смерть матери. – Мережковский и Зинаида Гиппиус

«По окончании университета я уехал летом на Кавказ, встретился там случайно в Боржоме с З. Н. Гиппиус, очень скоро сделал ей предложение, в ту же зиму в Тифлисе женился на ней и вернулся с нею в Петербург», – лаконично перечисляет Мережковский события весны 1888-го – зимы 1889 года в «Автобиографической заметке».

Кавказское путешествие – настолько важная эпоха в жизни Мережковского и, главное, настолько *метафизически* содержательная, что строгая форма документального повествования никак не подходит для подробного рассказа. Все эти недели он постоянно чувствует некое необъяснимое волнение, переходящее подчас в исступленный восторг, экстатическое переживание «трансцендентального» ощущения полноты бытия, непосредственного присутствия Провидения. «Ночь. Я один на палубе, – описывает он одну из подобных „епифаний“ в письме Н. М. Минскому 4 мая 1888 года. – Что я пережил – не передать никакими словами. Звезды, звезды без конца. Звезды – серебряные, исполинские грозди, сердце мое – бесконечно глубокий кубок, лучи звезд, нет, струи божественного нектара, проникают в глубину моего существа, и сердце-кубок все полней и полней звездным сиянием, и вот, когда оно переполнилось до краев, я почувствовал опьянение, опьянение миром, мировой жизнью, соком звездных гроздий, опьянение, доступное лишь богам и поэтам!..»

В поэме *«Вера»,* автобиографический характер которой не вызывает сомнений, Мережковский отправляет своего героя, Сергея Забелина, в подобное же путешествие-паломничество на Кавказ и заново переживает – два года спустя – непередаваемое сухой прозой чувство *приближения к тайне:*

Теснились думы чудные в уме,

Следил он, смутной радостью объятый,
Как выступали звезды в синей тьме
И как с чертой великой горизонта
Сливалась даль темнеющего Понта.
Он видел раз: над морем в небесах

Повисло ожерелье из алмаза.
Оно мерцало в утренних лучах,
И сердце сжал какой-то чудный страх:
То были вечные снега Кавказа,
Они внимали шуму волн морских,
И холодом повеяло от них…

…Душой смирясь,
Перед лицом природы необъятной,
Он чувствовал свою живую связь
С какой-то силой вечной, непонятной,
И в глубь небес глядел, без слов, молясь,
Как будто чем-то пристыжен, безгласен;
Он думал: «Господи, как мир прекрасен!..»

Поэма «Вера», изданная Мережковским в журнале «Русская мысль» в 1890 году и затем вошедшая в книгу «Символы» (1892), явилась одним из первых значительных произведений нарождавшегося тогда русского символизма. На литературную молодежь 1890-х годов – будущих теоретиков и классиков «новой школы» в отечественной поэзии – она производила ошеломляющее впечатление именно силой и подлинностью запечатленных в ней мистических переживаний, резко отличавшихся от рефлексий на гражданские темы, свойственных «народнической» литературе.

«Читаю „Веру“ и умиляюсь», – записывает в дневнике двадцатидвухлетний В. Я. Брюсов, только-только ступивший на литературное поприще. «Как раз в 1890 г. – в год начала моей литературы – Мережковский напечатал свою довольно большую… поэму „Вера“ с главным героем из молодежи, который должен был являть собой тип „героя времени“ – новейшего Онегина или Печорина. Поэма эта, написанная по внешней форме очень умело и даже изысканно, привела меня в полный восторг», – вспоминал поэт, критик и известный издатель-популяризатор русского модернизма П. П. Перцов, иронически замечая далее, что в его юношеском сознании «Вера» Мережковского «далеко превосходила» «скучного и устаревшего Пушкина». И все же,

несмотря на юношеский максимализм в оценках тогдашних читателей Мережковского, следует признать, что в поэме молодого поэта (в 1890 году ему исполнилось двадцать пять лет) действительно открывались какие-то новые горизонты поэтического мировидения – тем более впечатляющие, что они явились результатом подлинного «откровения», пережитого автором.

Так «южное путешествие» Мережковского оказалось, преломленное в художественном мире «Веры», помимо прочего, событием, способствовавшим возникновению символистского движения в России.

Судьба влечет охваченного мистическим восторгом Сергея Забелина по божественно-прекрасным горным дорогам Кавказа туда, где *будет встреча,* – так, как некогда она влекла самого Мережковского:

…Исчез
Батумский берег; запах нефти, лес,
Под солнцем в лужах буйволы, дремотой
Объятые, туманный свод небес,
Стоячая вода, тростник, болото,
Имеретины в серых башлыках
И зелень кукурузы на полях.

Сурам. Долины, сосны, водопады;
В лицо пахнула свежая струя,
Меж гор цветущих – снежные громады,
И сладостен, как трели соловья,
В тени жасминов звонкий шум ручья.
А там, на скалах, в думы вековые
Погружены развалины седые.

Сергей на тройке мчится; вот Боржом…

Здесь увлекающее героя движение вдруг прерывается.

В приведенном отрывке безошибочно опознаются черты романтического «бегства от цивилизации» в «далекий край», каковым для русских романтиков традиционно являлся Кавказ:

Отступник света, друг природы
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

(А. С. Пушкин «Кавказский пленник»)

Мережковский не только не скрывает своей зависимости от этой традиции, но демонстративно насыщает повествование о путешествии своего героя бросающимися в глаза пушкинско-лермонтовскими реминисценциями:

О, если вы из городов бежали,
Чтоб отдохнуть от жизни и людей, —
Туда, под сень дубрав, туда скорей!..
Там шум лесной баюкает печали,
Там можно спать под пологом ветвей,
На свежем мху, на шелковой постели,
Как только спят в родимой колыбели.

В письмах Н. М. Минскому, повествующих о перипетиях путешествия 1888 года, тема романтического противопоставления «природы» и «цивилизации» становится важнейшей, возникая уже в первом письме (2 мая), отосланном из Одессы – обычного «исходного пункта» всех русских романтических паломников XIX века.

«Море, море, я еще на берегу, но уже чувствую его свежее дыхание, и земля, и люди, и муравейники-города кажутся мне такими ничтожными, достойными презренья, несчастными, грязными и дрянными, особенно – Ваш подлый, омерзительный Петербург. А ночи, какие здесь ночи! Теплее, чем днем… Море делается черным, суровым и неподвижным, и если бы не дрожали звезды от неги и любви, если бы они не улыбались и не сияли ему, море мертво и неумолимо – оно задумывает бурю…

Одесса – город кокоток, шкиперов и купцов, сама Одесса-кокотка красива, но как-то пошло, продажно красива. Толпа – не интеллигентная, плотоядная, даже не скучающая, а бесконечно блаженная деньгами, аферами и своей пошлостью. Как Пушкин мог восхищаться Одессой? Но красивых женщин, действительно, подавляющее количество, здесь и честные женщины принимают кокоточный характер в манерах и костюмах. Разврат, по-видимому, невозможный. Это как будто устроено богами, что Одесса такой пошлый город. Еще больше контраста с морем. Утомленные суетой и неискренностью человеческого муравейника, вы с еще большей радостью кидаетесь к морю, оно нежно и весело, прекрасное, величавое, буколическое».

В том же неоромантическом духе, обозначаемом контрастным сопоставлением «пошлости» человеческого общежития и «величия» стихийно-естественной природы, выдержано и

описание морского путешествия из Одессы в Сухум: «Я должен подчиняться правилам рейсов речного пароходно-торгового общества, обедать по звонку (и притом – с волчьим аппетитом – благодаря морскому воздуху), а, главное, проводить время с пошлейшей публикой, вежливо с ней разговаривать, не выказывая самого естественного отвращения. Мой сосед по каюте – какой-то армяшка, плоскодонное, пошлейшее двуногое существо, переполненное сквернословием, жизнерадостностью и неприличными анекдотами. Психопатки, чахоточные, жирные, откормленные субъекты, которых при малейшей качке рвет за столом, провинциальные барыни с грязными зубами и гигантскими турнюрами и купцы, купцы, купцы. Впрочем, повторяю, для контраста с морем это хорошо, но положительно наслаждения природой так сильны, так живучи во мне, что я могу сделаться мизантропом вовсе не из-за пессимизма, но из-за бешеного, фанатического обожания природы ‹…›. Море утешило, да, кажется, и нет горя, от которого бы оно меня не утешило. Сегодня оно так трогательно. Небо подернуто млечно-белыми, ровными облаками, солнце сквозь них печально улыбается. А море зеленое, зеленое, с прелестными, трогательными матовыми отмельками. Сегодня нет восторга, но есть растроганная благодарность… По зеленому морю с большими, грустными, шумными волнами под млечно-белым небом несутся корабли с надутыми парусами, как снежные призраки с полной женской грудью».

И вот, наконец, «страна обетованная», «восток», не знающий еще противоположения человека – природе (письмо из Кутаиси от 11 мая): «Сухум до такой степени прекрасен, что то, что я теперь вижу, меньше на меня действует. Представьте себе: после сухумской сумасшедшей растительности знаменитые кутаисские сады не поражают меня. Но город оригинальный. Все здесь дышит востоком, как в Тифлисе. Очень хороши многобалконные полусгнившие дома с галереями, повисшие над бешеным, шумным Рионом, лижущим седые камни. Город утопает в зелени, которая безбрежным цветущим океаном простирается до голубого Абхазского хребта с грозными снеговыми морщинами, обвитыми тучами». «Лучше и глубже того, что я теперь переживаю, право, нелепо в жизни найти», – подытоживает Мережковский впечатления от своего путешествия, и нам понятен его искренний, юношеский восторг: наконец-то романтик по крови, томившийся в народнических «тенетах» солидных и скучных петербургских редакций, собраний, визитов, попадает в «родную стихию», в мир, принимающий его целиком, со всеми духовными и эмоциональными глубинами, прежде, в «подлом,

омерзительном Петербурге», тщательно скрываемыми как нечто неуместное, недопустимо-наивное и даже предосудительное.

Впрочем, мажорный неоромантический пафос, присущий всем произведениям Мережковского, связанным с путешествием 1888 года, имеет и другие, более сложные мотивы.

В эпоху Мережковского бегство в «экзотические страны», на лоно первозданной природы из «неволи душных городов» (Пушкин) приобретало особый смысл: наивная натурфилософская мистика романтиков начала XIX века теперь осложнялась, связываясь в сознании современников с широко известной в петербургских литературных кругах «египетской» эскападой философа-мистика Владимира Сергеевича Соловьева.

Осенью 1875 года, во время работы Соловьева в Британском музее, ему, молодому тогда философу, было некое видение, повелевшее предпринять путешествие в Египет, к пирамидам, где произойдет его свидание с *Подругой Вечной:*

…Однажды – к осени то было —
Я ей сказал: «О божества расцвет!
Ты здесь, я чую, – что же не явила
Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово, —
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова —
Одно ее лицо – оно одно.

«В Египте будь!» – внутри раздался голос.
В Париж! – и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал, как идиот.

На Льон, Турин, Пьяченцу и Анкону,
На Фермо, Бари, Бридизи – и вот
По синему, трепещущему лону
Уж мчит меня британский пароход.

(В. С. Соловьев «Три свидания»)

Действительно, к изумлению родных и знакомых, Соловьев без денег, походного платья и припасов уехал из Лондона в Каир, поселился (в долг) в гостинице «Аббат» и стал *ждать знака:*

Я ждал меж тем заветного свиданья,

И вот однажды в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я – иди туда за мной».

«…Он отправился в пустыню в костюме, непривычном для ее детей: высокий цилиндр, из-под которого выбивались волнистые, густые волосы, просторная крылатка и тонкие бальные ботиночки, – рассказывал о египетском приключении Соловьева его друг, поэт В. Л. Величко. – Бедуины приняли его за шайтана, для верности скрутили ему руки и отвели его подальше в пески, где и пришлось заночевать неосторожному туристу. „И бысть ему видение“:

И долго я лежал в дремоте жуткой.
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг».
И я уснул. Когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела Ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки, —
Все обнял тут один недвижный взор.
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было:
Один лишь образ женской красоты!
Безмерное в его размер входило…
Передо мной, во мне – одна лишь Ты.

Очевидно, во внутреннем мире нашего философа за время его пребывания в Египте произошло нечто решающее и таинственное, о чем он впоследствии часто любил вспоминать, но говорил и с музой, и с друзьями лишь намеками».

То, что история соловьевского паломничества была известна Мережковскому, вхожему в конце 1880-х годов в те же петербургские редакции, литературные кружки и салоны, что и ставший «притчей во языцех» философ, – не вызывает сомнений. Юный поэт отнесся к «анекдоту» весьма серьезно. Недаром, упомянув о «каирском эпизоде» в статье 1908 года, посвященной

выходу воспоминаний М. С. Соловьевой-Безобразовой, Мережковский, пытаясь ответить на вопрос, «прилично ли приват-доценту философии в Петербургском университете расхаживать по пескам пустыни у подножья Хеопсовой пирамиды в черном сюртуке и цилиндре, ожидая условленной встречи с каким-то „розовым виденьем“», вспоминает некое личное впечатление от давних встреч с Соловьевым: «Кто помнит глаза его, с их тяжелым до слепоты близоруким, как бы вовнутрь обращенным взором, тот согласится, что это взор человека, у которого были галлюцинации, или „видения“, ибо справедливо замечает Достоевский, что у нас, может быть, и нет вовсе точного мерила, чтобы отличить галлюцинацию от видения. Болезнь? Но кто знает, не есть ли болезненная повышенная чувствительность, недоступная людям здоровым, живущим более грубой животной жизнью, необходимое *нормальное* условие для мистического опыта, для «прикосновения к мирам иным»?»

Во время пребывания в Кутаиси в мае 1888 года Мережковский, подобно Соловьеву, также делает одинокую ночную вылазку на место, располагающее к медитациям, вроде «мистического свидания», изображенного в соловьевской поэме.

«Вблизи города есть чудесные развалины собора Баграма в грандиозном византийском стиле, – сообщал Мережковский Минскому в письме от 11 мая. – …Вчера только я отправился с некоторой опасностью сломать себе шею, чтобы взглянуть на развалины при луне. Это лучшее, что я видел в архиромантическом вкусе. Было хорошо и страшно, здесь, в действительно настоящих развалинах, а не на оперных декорациях, испещренных именами туристов, декорациях, которыми усеян берег Рейна. Луна то пряталась, то выглядывала из-за подвижных облаков, похожих на тонкие, прозрачные слои перламутра. На земле была мертвая тишина. Ступая почему-то тихо и осторожно, как будто боясь кого-то разбудить, я вошел в развалину. Высокие молельни справа, множество гробовых плит с грузинскими письменами, обломки колонн и капителей с тонкой, изящной византийской резьбой. Вокруг поднимались громадные, ветхие стены с полукруглыми сводами и арками. Там, где лучи света падали из черной широкой бойницы, обвитой плющом, камни резко выступали из мрака в зеленовато-белом фосфорическом сиянии, каждый выступ и неровность бросали черную, длинную тень. Особенно хороша была одна выдающаяся часть стены: она подымалась высоко в ночное небо и вокруг ее мрачного, унылого силуэта мерцали тихие звезды, и, казалось, они вели таинственную беседу о чем-то нездешнем с древними камнями развалин. Колокольчики, чертополох и развесистые

кустарники фигового дерева недвижно дремали в вышине в расщелинах под самым куполом. Была там мертвая, беспредельная тишина, которая царит только в гробницах и развалинах. Кроме звездных лучей ничто не шелохнется. Какой-то странный, едва уловимый звук порой слышался – какой-то тихий шелест, – или это мое собственное дыхание? Ящерица зашуршала миртовой травой, я вздрогнул, и снова огромная, неодолимая тишина – только порой доносился шум далекого гремучего Риона…»

Вряд ли эта ночная экскурсия – «с некоторой опасностью сломать себе шею» – была *сознательным* подражанием ночному же походу Соловьева к пирамидам. Однако нельзя не отметить общий у Соловьева и Мережковского *стиль поведения* – и там, и здесь путешествие в экзотические, южные страны осмысляется как *духовное странничество,* предпринимаемое неофитом для откровения Истины. Впрочем, для Мережковского в 1888 году близка и прямо соловьевская *эротическая* интерпретация подобного путешествия-паломничества.

«Необыкновенный» любовный роман, бывший для поэтов начала столетия – для Пушкина и Лермонтова в том числе – лишь *одним из атрибутов* романтического «бегства от цивилизации», превратился для неоромантиков серебряного века в *цель* всего предприятия, а «дикая дева», предмет страсти Алеко или Печорина, – в Неведомую Подругу, ожидающую «жениха». Знаменательно, что еще в Петербурге, ранней весной 1888 года, Мережковский начинает испытывать некое «томление духа», тесно связанное с эротическим переживанием:

Уж дышит оттепель, и воздух полон лени,
Порой на улице саней неровный бег
Касается камней, и вечером на снег
Ложатся от домов синеющие тени.
В груди – расслабленность и кроткая печаль;
Голубка сизая воркует на балконе,
Меж колоколен, труб и крыш, на небосклоне
Янтарные пары куда-то манят в даль,
И капли падают с карнизов освещенных;
Из городских садов, обвеянных весной,
Уж пахнет сыростью и рыхлою землей;
И черная кора дубов уж разогрета.
Желанье смутное – в проснувшейся крови;
Как семя под землей, так зреет стих любви
В растроганной душе поэта.

(«Уж дышит оттепель, и воздух полон лени…»)

«Метафизический» характер этой эротики, с трудом осознаваемый в прозаическом мартовском Петербурге, проясняется для Мережковского, созерцающего южные звезды в мае, в ночном Черном море, на палубе парохода. Недаром описание «опьянения звездным вином» – в цитированном письме Н. М. Минскому от 4 мая – продолжается повествованием о «вдруг» возникшей влюбленности: «…Близ Ялты (какая ночь, Боже мой, какая ночь!!) я ровно на три четверти часа влюбился в одну чудную барышню, с которой по несчастию не успел сказать ни слова, так как она была окружена почти неодолимыми препятствиями в виде 1) отца-адмирала, 2) матери – кочергообразной старушенции, 3) женихом или обожателем – саженным, плечистым бревном с восточной физиономией. Но барышня была такая, что я, кажется, сейчас бы сделал предложение (и как она улыбалась): серые, совсем детские глаза с черными, грозными точечками, похожими на черные точки на горизонте, которые превращаются в тучи, потом в бурю, ураган, смерч! Губы немного увядшие – как томные лепестки розы, утомленные слишком теплой ночью, губы *страстно-огорченные* – не знаю, поймете ли Вы эту интимную черточку… Я было готов был за нею следовать, когда она высадилась, что, похоже, было бы донельзя глупо, хотя вполне похоже на меня…»

Читая эти строки, почти невозможно удержаться от сразу возникающих ассоциаций с Блоком:

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

За восемнадцать лет до появления блоковской «Незнакомки» Мережковский уверенно набрасывает абрис «куртуазного сюжета» грядущих символистских баллад на мистико-эротические темы. Явление «чудной незнакомки» происходит внезапно, среди будничной суеты, чья пошлость особенно ярко выступает в контрастном соположении со знаками «вечно-женственного» совершенства, присущими облику героини. В то же время, «вочеловечивание» идеала неизбежно ведет к известной «профанации» его, грубая и пошлая «материя» сопротивляется «неземному свету», пытаясь уродливо преломить его в чувственно-эротическом вожделении. Это порождает сомнение в душе героя, который, одновременно, *и хочет верить, и боится быть обманутым.* Отсюда специфическая «защитная» *ирония,* непременно присущая «куртуазной» тематике в русском символизме (по меткому определению Николая Гумилёва, герой символистского мистериального романа «то безумно тоскует о Прекрасной Даме, то безумно хохочет над нею»).

Любопытно однако, что для Мережковского весной 1888 года вся эта сложная «трубадурско-соловьевская» эротическая стилистика настолько органична, что явление ее происходит не в ходе работы над *художественным* произведением, предполагающей кропотливое выстраивание поэтического оформления, постепенное насыщение текста «словами-сигналами», а походя, так сказать, автоматически, в частном письме, написанном впопыхах на промежуточной остановке парохода кругового рейса (Мережковский и обрывает свое повествование о встрече с «незнакомкой» непринужденно-изящным извинением: «Спешу отправить письмо, пока мы не подняли якоря в Керчи. Я вижу отсюда холм Митридата и посылаю ему наш общий привет. Но всего не пересказать»).

Сомнений, таким образом, не остается: опьяненный красотами путешествия и роскошью девственной кавказской природы, Мережковский, следуя в мае в Боржом, был вполне готов к «мистическому свиданию», *внутренне ждал его.* И потому любой привлекательный женский образ, *вдруг* явившийся на его пути, мог с легкостью «абсолютизироваться», подобно соловьевскому «розовому видению»:

Все видел я, и все одно лишь было
Один лишь образ женской красоты!
Безмерное в его размер входило…
Передо мной, во мне – одна лишь Ты.

* * *

«Встретил его Боржом неприветливо, – здесь мы впервые даем слово героине нашего рассказа, – это было в мае, – и шел непрерывный дождь. Серое небо, сырость, а гостиницы в тогдашнем Боржоме были ужасные. Да Д‹митрий› С‹ергеевич› еще и не попал в лучшую, „Кавалерскую“, а в какой-то просыревший барак. Он хотел уже уезжать. Пошел на почту, спросить, нет ли писем из Vishy, от матери, да и лошадей до станции Михайлово там же заказать можно было. Начальником почтовой конторы был ‹…› молодой латыш Якобсон… Стихотворная и вообще литературная зараза ‹…› очень его коснулась, он вообразил себя тоже писателем… К этому-то Якобсону и попал Д. С., спрашивая письма на имя Мережковского. Наш знаток литературы имя петербургского поэта знал и очень обрадовался случаю: как, уезжать? Сезон начинается, вы увидите, что такое Боржом. В гостинице вам плохо, переезжайте ко мне. У него была своя уютная и благоустроенная дачка, куда он и перетащил своего нового пленника, за которым стал всячески ухаживать».

Этот Якобсон стал позднее прототипом главного героя раннего рассказа Зинаиды Гиппиус «Голубое небо», так что мы с большой долей вероятности можем видеть в подробном описании места службы и дома Антона Антоновича Зайцева, «начальника почты и телеграфа», – сведения о случайном боржомском пристанище Мережковского:

«За парком дорога разделяется: одна идет правее и кончается мостом через Куру, а другая, левее, поднимается в гору. Подъем совсем не крутой. Шагах в пятидесяти от парка, по этой верхней дороге, стоит небольшой одноэтажный дом. Он почти скрыт садом впереди.

Широкий балкон обвит диким виноградом. Виноград разросся так густо, что на балконе всегда темно. Впрочем, там никто и не сидит никогда, через балкон только ходят.

С другой стороны домика – длинная галерея и двор, где в одном углу лежат в куче белые фарфоровые чашечки с телеграфных столбов. Эти чашечки вначале кажутся слишком большими, и только когда глаз привыкнет к ним – видишь, что и на столбах они не меньше. По двору часто пробегают озабоченные чиновники в мундирах с желтым кантом.

Здесь – главное почтово-телеграфное отделение и квартира начальника.

Все служащие были довольны своим начальником. Требователен, но справедлив, строг, но добр. Молодой человек, всего двадцати восьми лет, а порядок завел на диво. Подчиненный должен быть аккуратен – начальник сам пример показывает – в приемной чистота, а над небольшим окошком, где принимаются телеграммы и заказные письма, красиво сплетены из сухих трав и листьев цифры, означающие время приема корреспонденции.

Квартира начальника состоит из трех комнат.

Одна из них, зала, узкая и длинная, оклеена белыми обоями. Это – парадная комната; в ней стоит диван, стол, несколько кресел, окна большие и выходят в сад. Две другие комнаты гораздо меньше. Спальня устроена на восточный манер, по стенам висят ковры, халаты и оружие, а на потолке почему-то голубой фонарь. В маленькой столовой за столом господин начальник обычно занимается».

Помимо того, из рассказа мы узнаем, что герой, намереваясь жениться, «решился пристроить к своей квартире со стороны залы еще одну комнату и даже с балконом. Работы были начаты ранней весною и теперь уже близились к концу». Вероятно, в эту-то пристройку и поселил Якобсон нового столичного знакомца: если это так, то история наша вновь обнаруживает «провиденциальный» характер – *ведь будущей невестой своей, для которой и затевалось строительство, Якобсон полагал… Зинаиду Николаевну Гиппиус.*

Согласно легенде, донесенной до нас секретарем Мережковских Владимиром Ананьевичем Злобиным, Якобсон, не поясняя гостю свои виды на Зинаиду Николаевну, продемонстрировал Мережковскому ее фотопортрет, очевидно, находившийся в комнате. «Какая рожа!» – якобы воскликнул Мережковский, лишний раз демонстрируя при этом, что человек предполагает, а Бог располагает. Сам Мережковский в художественной версии «боржомской истории», созданной в поэме «Вера», подобную *«бытовую* символику» игнорирует: просто его герою Боржом является в ореоле некоего нездешнего света, обнаруживающего присутствие *тайны:*

Сергей на тройке мчится; вот Боржом;
Как с братом брат, обнялся с Югом нежным
Здесь наш родимый Север, и в одном
Они сплелись лобзанье безмятежном.
Улыбка Юга – в небе голубом,
А милый Север – в воздухе смолистом,
В бору сосновом, темном и душистом.

Кура гудит, бушует, и волнам
Протяжно вторит эхо по лесам,
И жадно грудь впивает воздух горный,
И стелется роскошно по холмам
Сосна да ель, как будто бархат черный,
Как будто мех пушистый, и на нем
Лишь стройный тополь блещет серебром.

Здесь нужно вспомнить, что в романтическом сознании реалии географические легко наполняются символическим содержанием. «Север» оказывается обозначением «цивилизованного мира» и в более общем смысле – мира «посюстороннего», соотносимого с «будничным», «повседневным» существованием, тогда как «юг» – знаком «экзотического края» и затем – сферы «ноуменального», запредельного бытия. Под пером Мережковского-романтика Боржом, таким образом, превращается в *мистический топоним.* Образ реки с его устойчивым мифологическим значением «рубежа между мирами» завершает характеристику местности, где герой *ожидает встречи.*

Сергей Забелин живет в Боржоме уединенной, простой жизнью, проводя время в мечтательных одиноких прогулках по окрестностям:

Он утром пил две чашки молока
И с грубой палкой местного изделья,
Здоровый, бодрый, уходил в ущелье.
Листок, былинка, горная река,
Молчанье скал и шорох ветерка
О смысле жизни говорили проще,
Чем все его философы; и в роще

Бродя весь день, он не был одинок;
Как будто друг забытый и старинный,
Что ближе всех друзей, в глуши пустынной
С ним вел беседу, полевой цветок
Он целовал; хотел – и все не мог,
Когда глядел на небо голубое,
Припомнить что-то близкое, родное.

Вряд ли времяпрепровождение автора поэмы в начале «боржомских дней» 1888 года отличалось от времяпрепровождения героя.

Между тем Якобсон, в восторге от того, что компанию ему составляет «настоящий поэт», сочинял эффектный сценарий представления петербургского гостя «литературному кружку», собирающемуся на лето в Боржоме и состоявшему из гимназистов, молодых чиновников и офицеров, отдыхающих на водах, а также из «литературных барышень». Особая роль в этом сценарии отводилась Зинаиде Николаевне Гиппиус.

Дело в том, что имя Мережковского было уже ей знакомо. «… Я отмечу странный случай, – пишет она в своей книге о муже, вспоминая предшествующий знакомству год. – Мне помнится петербургский журнал, старый, прошлогодний… Там, среди дифирамбов Надсону, упоминалось о другом поэте и друге Надсона – Мережковском. Приводилось даже какое-то его стихотворение, которое мне не понравилось. Но неизвестно почему – имя запомнилось».

Зинаида Николаевна имеет в виду стихотворение «Будда» («Бодисатва») в первом номере «Вестника Европы» за 1887 год. Обратившись к этим стихам, мы понимаем, почему они «не понравились», но «запомнились» юной, беззаботной и полной радужных надежд «невесте Якобсона»:

Все живое смерть погубит,
Все, что мило – смерть возьмет,
Кто любил тебя – разлюбит,
Радость призраком мелькнет.

Нет спасенья! Слава, счастье,
И любовь, и красота
Исчезают, как в ненастье
Яркой радуги цвета.
Дух безумно к небу рвется,
Плоть прикована к земле;
Как пчела в сосуде бьется
Человек в глубокой мгле.

В цвете жизни, в блеске счастья
Вкруг тебя – толпы друзей.
Сколько мнимого участья,
Сколько ласковых речей!
Но дохнет лишь старость злая,
Розы юности губя,
И друзья, как волчья стая,
К новой жертве убегая,
Отшатнутся от тебя.

Ты, отверженный богами,
Будешь нищ и одинок,
Как покинутый стадами,
Солнцем выжженный поток.
Словно дерево в пустыне,
Опаленное грозой,
В поздней старческой кручине
Ты поникнешь головой.

Пробил час – пора идти!
В этот пламень необъятный
Мук, желаний и страстей
Ты, как ливень благодатный,
Слезы жалости пролей!

Здесь все грядущие темы Гиппиус и, даже более того, вся ее дальнейшая судьба предвосхищаются с какой-то неестественной точностью. «О ее детстве и первых юношеских годах мы не знаем почти ничего, – пишет биограф. – Время, в котором она родилась и выросла – семидесятые-восьмидесятые годы, не наложило на нее никакого отпечатка. Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли ни с пеленок решением „вечных вопросов“. Она сама над этим смеется в одной из своих пародий, писать которые мастерица:

Решала я – вопрос огромен —
Я шла логическим путем,
Решала: нумен и феномен
В соотношении каком?»

«В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи (причем очень верила в „вдохновение“ и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги), – сообщала сама Гиппиус В. Я. Брюсову. – Стихи мои всем казались „испорченностью“, но я их не скрывала… Должна оговориться, что я была нисколько не „испорчена“ и очень „религиозна“ при всем этом… Вот вам сердце – в теле одиннадцатилетней девочки, едва прочитавшей Пушкина и Лермонтова – потихоньку!»

Действительно, если судить по приведенным тут же детским стихам —

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью,

Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю… —

«сердце» их автора было, как говорили тогда, «отравлено ядом декадентства». «Я с детства ранена смертью и любовью», – пишет Гиппиус. Эта формула дает право В. А. Злобину заключить свои рассуждения о творческом и жизненном пути Гиппиус следующим итогом: «Все, что она знает и чувствует в семьдесят лет, она уже знала и чувствовала в семь, не умея это выразить. „Всякая любовь побеждается, поглощается смертью“, – записывала она в 53 года… И если она четырехлетним ребенком так горько плачет по поводу своей первой любовной неудачи, то оттого, что с предельной остротой почувствовала, что любви не будет, как почувствовала после смерти отца, что умрет».

Можно теперь представить, *какими* глазами она смотрела на строки неведомого ей «друга Надсона»:

Пробил час – пора идти!
В этот пламень необъятный
Мук, желаний и страстей
Ты, как ливень благодатный,
Слезы жалости пролей!

Реакция самого существа ее, вероятно, была подобна реакции тончайшего камертона, вдруг попавшего в потрясающе-сильную резонансную волну, и следствие неожиданного гибельного содрогания – паника человека, увидевшего средь веселья —

…Виденье гробовое,
Внезапный мрак иль что-нибудь такое…

(А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»)

В воспоминаниях о Мережковском Гиппиус подчеркивает, что после чтения злополучного стихотворения она никогда не слышала о Мережковском и никогда о нем не думала. Однако, вероятно, тематика, заданная «Буддой», против воли прорывалась в беседах со знакомыми, особенно «литературными». Если совершить этот смысловой допуск, сразу становится ясна психологическая подоплека упомянутого выше «сценария» представления Мережковского Гиппиус, придуманного Якобсоном (равно как понятна и последующая реакция самой Гиппиус).

«Вдохновившись Буддой, – вспоминает она, – Якобсон придумал довольно глупую фантазию: попросил гимназиста поэта Глокке ‹…› сказать мне, что у него живет *буддист из Индии,* ходит в халатах и ни с кем не разговаривает… И вот тут-то произошла странность, которую я сама не могу объяснить: когда Глокке со своими подробностями рассказал мне про буддиста у Якобсона, я вдруг сказала: все это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у Ивана Григорьевича просто Мережковский. Глокке опешил: кто вам сказал? Но мне никто ничего не сказал…»

И действительно:

Пробил час – пора идти!

Что же тут еще говорить?

В эти нюансы «заочного знакомства» с будущей героиней «боржомской истории» Мережковский был, видимо, не до конца посвящен. В поэме «Вера» герой просто переживает миг *узнавания:*

По праздникам устраивался бал
В курзале. Гул Боржомки заглушая,
Оркестр военной музыки играл;
За парой пара, вихрем пролетая,
Кружится в легком вальсе; блещет зал;
И после света кажется темнее
Глубокий мрак каштановой аллеи.

Однажды на таком балу, случайно
Сергей увидел девушку.
Она Была блондинка, высока, стройна…
Предчувствием, почти боязнью тайной
В нем сердце сжалось…

Старался не глядеть – и все глядел;
И как порой страшит и манит бездна,
Не взор, не прелесть юного чела, —
К ней сила непонятная влекла.

В «документальном» свидетельстве Гиппиус (в общем совпадающем с «художественной версией») уточняются некоторые подробности этой встречи. То, что Мережковскому казалось случайным, было со стороны Гиппиус заранее подготовленным и, надо думать, загодя срежиссированным действом, благо она была

хорошо осведомлена о взглядах и привычках «буддиста».

«К залу боржомской ротонды примыкала длинная галерея, увитая диким виноградом, с источником вод посредине, – описывает она „декорацию“, в которой происходило свидание. – По этой галерее гуляют во время танцевальных вечеров или сидят в ней не танцующие, да и танцующие – в антрактах. Там, проходя мимо с кем-то из моих кавалеров, я увидела мою мать и рядом с ней – худенького молодого человека небольшого роста с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский. ‹…› Я была уверена (это так и оказалось), что Глокке и Якобсон уже говорили обо мне Мережковскому (о нашей „поэтессе“, как меня тогда называли), и, может быть, тоже с восторгом, Глокке даже, может быть, читал ему мои стихи. Думала также, что Мережковский их восторга, как я о нем, не разделял. Не последнее, а все это вообще мне было неприятно. Потому, должно быть, когда в зале ротонды, после какой-то кадрили, меня Глокке с Мережковским познакомил, я встретила его довольно сухо, и мы с первого раза стали… ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне стихи его казались гораздо хуже надсоновских, что я ему не преминула высказать… Однако после первой встречи мы стали встречаться ежедневно, в парке, на музыке и у Якобсона… Но почти всегда разговор наш выливался в спор».

С этого момента события начинают стремительно развиваться сразу в нескольких, так сказать, смысловых плоскостях, синхронно наслаиваясь одно на другое. Разобраться в их сложнейшей, качественно разнородной, «достоевской» мотивации непросто: в эти первые летние дни 1888 года коллизии выстраиваются не на года даже – на десятилетия.

Первое, что оказывается отмеченным во всех источниках, сохраняющих свидетельства об этих днях, – безоговорочное признание сразу возникшей исключительной «интеллектуальной совместимости»: друг друга находят идеальные *собеседники.* Значение этого события как для Мережковского, так и для Гиппиус трудно переоценить.

Мережковский до сего момента был отнюдь не избалован не то что «поклонницами», но даже и просто «слушателями», – его смутные мечты о «новом искусстве» для «новых людей» не находили радушного приема даже в ближайшем петербургском окружении. Сейчас же он обрел единомышленника, *понимающего с полуслова* то, в чем даже он и сам не был до конца уверен (до символистского «бунта», напомним, оставалось еще три года).

Что касается Гиппиус, то для нее явление Мережковского среди мирной и косной провинциальной жизни, по-видимому,

имело *«онегинский»* характер – до того все ее «романы» кончались горестной записью в дневнике: «Я в него влюблена, но ведь я же вижу, что он дурак».

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)

В «онегинских» реминисценциях подается рассказ о пробуждении в героине чувства к столичному гостю и в поэме Мережковского:

Ей нравился его свободный ум,
Непримиримый, дерзкий и печальный.
У них так много было общих дум;
Поклонники, интриги, сплетен шум —
Ей чуждо все в глуши провинциальной.
Так лилия порой грустит одна
Среди болот, чиста и холодна.

В. А. Злобин, несколько пристрастный в отношении Гиппиус, дает следующую характеристику завязки «боржомской истории»:

«Гиппиус… лишь по неопытности – ведь ей всего девятнадцать лет – не чувствует внутренней слабости за внешним блеском, которым он ослепляет „литературный“ Боржом (его ослепить, кстати, было нетрудно). Его восприимчивость, его способность ассимилировать идеи граничит с чудом. Он „слушает порами“, как она говорит, и по сравнению с ним она – груба. Но у нее – идеи, вернее, некая, еще смутная, не нашедшая себе выражения реальность, как бы ни на что не похожая, даже на рай, – новая планета: „Какие живые, яркие сны!“ – это все, что она может сказать.

Он к ее стихам прислушивается внимательно и недаром так дорожит утренними с ней прогулками по боржомскому парку. Любит их и она. В этих прогулках, разговорах, даже ссорах – начало их сближения, того «духовного брака», потомство от которого будет «как песок морской»».

Замечательно, впрочем, что беседы эти сразу же приобретают конспиративный характер: не сговариваясь, оба демонстрируют на людях отчуждение чуть ли не враждебное, но встречаются

тайно и уединенно – для *собеседования,* принимающего характер любовного свидания, или для любовного свидания, облеченного в форму беседы. «Елецкий (Мережковский) не гулял в главном парке, на музыке, вместе со студентами и гимназистами, но Людмила (Гиппиус) не переставала с ним видеться, – пишет Гиппиус в „Голубом небе“. – Часто днем, в жаркую пору, или вечером они бродили вдвоем по красивым и глухим тропинкам, говорили подолгу искренно и просто. Между тем отношения у них были странные. Они сходились во многом, говорили обо всем, но никогда друг о друге. И Людмила боялась думать о Елецком, боялась делать слишком хорошие выводы из его слов и мнений, которые так часто отвечали ее собственным мыслям».

«…говорили обо всем, но никогда друг о друге», – замечает Гиппиус, заставляя далее своих героев расстаться навсегда *до* возможного любовного объяснения: «Мы чужие. Бог весть, что будет после. *Но так хорошо, как теперь, как сегодня, не будет.* Хочу, чтобы это воспоминание осталось нетронутым… Не испортим действительностью, какова бы она ни была, наши мечтания». Мережковский тоже, пользуясь правом художника, *«корректировал»* в «Вере» «боржомскую историю»: увлекшись поначалу героиней, Сергей затем охладевает к влюбленной в него девушке и уезжает в Петербург. Последняя их встреча через несколько лет происходит лишь в канун смерти Веры, так что *истинное* чувство пробуждается в герое только после сознания тяжести утраты:

И сделалась любовь великой силой,
Всю жизнь согрела теплотой своей, —
Он чувствовал, что не изменит ей,
И многому страданье научило:
Он стал сердечней, проще и добрей.

Если «душевная» сторона действий героев «боржомской истории» более чем благополучна, то *в плоскости «житейской», бытовой, подобной гармонии не было и в помине* – прежде всего, конечно, по вине Мережковского. Он легко сочетал романтическое томление по идеалу с охотой к курортному флирту, благо возможностей для последнего у молодого поэта, успевшего осознать себя в боржомском обществе «столичной штучкой» и «литературной знаменитостью», было предостаточно. Юная собеседница и постоянный спутник в «тайных» утренних прогулках, занимавшая его наивно-вызывающим пересказом полудетских «живых, ярких снов», никак не ассоциировалась в его сознании с «вечно-женственным» видением («Губы, немного

увядшие, – как томные лепестки розы, утомленные слишком теплой ночью, губы страстно-огорченные…»).

Поведение его никоим образом не напоминало куртуазное поклонение «рыцаря бедного» – Прекрасной Даме.

Регулярные свидания-собеседования с Гиппиус отнюдь не мешали Мережковскому наслаждаться благами курортной жизни и, кстати, завязать параллельный любовный роман с другой «боржомской поэтессой», Соней Кайтмазовой, «которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке», – как не без раздражения замечает Гиппиус, добавляя, что «эта барышня, очень действительно, скромная и милая, кажется, была чеченка» и «раздражала» «живой характер» Мережковского «тупым молчанием». (В «Голубом небе» она выведет ее под именем Манлиевой – «декадентствующей» дамы, читающей на литературном вечере «прозу», озаглавленную «Размышления над трупом».) «Заветные прогулки» и споры, которые имели столь большое значение для Гиппиус, самим Мережковским воспринимались *тогда* скорее в виде коллизии курортного романа, могущего впоследствии стать «сюжетом для небольшого рассказа» – по слову одного из действующих лиц еще не написанной, знаменитой в будущем пьесы. Так «играет» с Верой Сергей Забелин, намеренно раззадоривая собеседницу «словесным поединком», «сарказмами, иронией своей»:

Забелин увлечен игрой бесплодной.
Он очень мало с чувствами знаком,
А, между тем, исследует умом
Свою любовь с жестокостью холодной.

Можно, конечно, возразить, что эта характеристика – плод художественного вымысла. Однако спустя всего два месяца, осенью 1888 года, пребывая в качестве счастливого жениха, Мережковский в преамбуле к статье о Флобере достаточно ясно сформулирует уже от «первого лица» свое понимание проблемы: «Честный человек, когда клянется женщине в любви, верит в искренность своих клятв – ему и в голову не придет сомневаться, *любит ли он в самом деле так, как воображает, что любит.* Поэт по внешности более, чем другие люди, кажется способным отдаваться чувству, верить, увлекаться, но на самом деле в душе его, как бы она ни была потрясена страстью, всегда остается *способность наблюдать за собою,* за действующим лицом романа или драмы, следить, даже в минуты полного опьянения, *пристальным взором за тончайшими, неуловимыми изгибами своих ощущений и беспощадно анализировать их».*

Врожденная прозорливость Гиппиус не отменяла летом 1888 года естественной возрастной наивности восемнадцатилетней провинциальной барышни, ослепленной столичным блеском «настоящего литератора» и, подобно барышням своего круга, склонной мыслить в категориях более сказочно-фантастических и сентиментальных, нежели практических и здравых. Так, прощаясь с женихом, уезжающим для устройства свадебных дел в Петербург, она снабжает его соответствующими стихами:

Осенняя ночь и свежа, и светла
В раскрытые окна глядела.
По небу луна величаво плыла,
И листья шептались несмело.
Лучи на полу сквозь зеленую сеть
Дрожали капризным узором…
О, как мне хотелось с тобой умереть,
Забыться под ласковым взором!
В душе что-то буйной волною росло,
Глаза застилались слезами,
И было и стыдно, и чудно светло,
И плакал Шопен вместе с нами.

(«Осенняя ночь и свежа, и светла…»)

Стихи, конечно, от совершенства далекие, но милые и, главное, вполне узнаваемые по тону:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Потом она будет писать несколько иначе – и опыт семейной жизни с *«поэтом»* немало посодействует тому:

В своей бессовестной и жалкой низости
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.

Своими кольцами она, упорная,

Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная – моя душа!

(«Она»)

«Я уже больше не ребенок, наивный, избалованный, податливый и мягкий», – напишет Гиппиус в одном из писем начала 1893 года. И все же именно этого «наивного ребенка», а точнее – провинциальную русскую барышню с детской верой в сказку, – она будет всеми отпущенными ей свыше силами, человеческими и поэтическими, отстаивать в себе всю жизнь. Пушкинская Татьяна будет надежно скрыта у нее за спасительными масками «декадентской мадонны», «белой дьяволицы» *et cet.* – для того, чтобы при первом знаке *ослепительной надежды* явиться вдруг вновь и вновь – бесплодно, смешно и страшно. «Неужели надо мной никто не сжалится, ну Бог, что ли, и не пошлет мне, моему физически больному сердцу два-три тихих месяца, без историй, без мучительств, без всяких оскорблений жизни!» – в ужасе восклицает она, оказавшись в очередной раз в пошлейшем и глупейшем положении. «Легче скорей умереть, чем тут задыхаться от зловония, от того, что идет от людей, окружает меня – и даже не окружает, – довольно, если я знаю… Любовь! Я потратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда все истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что ее нет. Нет – или есть, как Бога нет или есть».

Увы! Следует признать, что первой в ряду «оскорблений жизни» для Гиппиус, не умевшей – коль скоро речь идет о любви – не воображать себя «Клариссой, Юлией, Дельфиной», стала «боржомская история» 1888 года, ибо:

…наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Между тем «утренние прогулки вглубь ущелья, почти уже мирные, всегда интересные разговоры» постепенно, как бы помимо желания обоих «собеседников», переходили в нечто большее, нежели просто «знакомство». Впоследствии и Мережковский, и Гиппиус будут говорить о «провиденциальном» характере происшедшего. Сама судьба довлеет над их поступками – они только сомнамбулически подчиняются неумолимому ходу

вещей. «Она уже бывала, и не раз, влюблена, – комментирует воспоминания Гиппиус В. А. Злобин, – знала что это, а ведь тут совсем что-то другое. Она так и говорит: „И вот, в первый раз с Мережковским здесь у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее“».

Это «ни на что не похожее» происходит *само собой* 11 июля 1888 года. Лунной ночью, во время детского танцевального вечера в боржомской ротонде, она и Мережковский как-то незаметно оказываются вдвоем на дорожке парка, на берегу Боржомки. «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, – описывает она эту достопамятную ночную прогулку. – Самое странное – это, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, „предложение“, еще того чаще я слышала „объяснения в любви“. Но тут не было ни „предложения“, ни „объяснения“. Мы, и, главное, оба – вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо».

Почти полгода – вплоть до венчания в январе 1889-го – она находится в состоянии «не то спокойствия, не то отупения», события происходят без всякого участия ее воли, «как во сне». Мережковский же, решив так неожиданно и скоро судьбу свою, счастливо избегает совсем уж романтической «кавказской дуэли» (которую ему предложил было отвергнутый Якобсон), уже на правах жениха входит в семью избранницы, в сентябре провожает всех в Тифлис и оттуда отправляется в Петербург устраивать дела ввиду предстоящей свадьбы. Особой уверенности в благополучном исходе он не испытывал, поскольку реакцию Сергея Ивановича на подобную самодеятельность младшего сына (двадцати трех лет и без определенных видов на будущее; невеста же, едва достигшая девятнадцати лет, являла собою классический образчик «бесприданницы») нетрудно было себе представить. Надежда была на мать («Будет тебе твоя цаца!» – пообещала сыну Варвара Васильевна). И ей действительно после длительных «переговоров» удалось уломать мужа благословить молодых и, главное, дать несколько тысяч «на обзаведение».

В конце ноября – раньше намеченного – Мережковский возвращается «со щитом» в Тифлис. 8 января 1889 года в тифлисской церкви Михаила Архангела состоялось венчание.

«Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон на всю церковь, – пишет Гиппиус. – На розовую подстилку мы вступили вместе… Когда давали нам пить из одного сосуда поочередно, я во второй раз хотела кончить, но священник испуганно прошептал: „Не все! Не все!“ – кончить должен был жених. После этого церемония

продолжалась с той же быстротой, и вот – мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.

– Мне кажется, что ничего и не произошло особенного, – говорю я одному.

Тот смеется.

– Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное!»

* * *

Уже в сознании современников образ Мережковского утратил, так сказать, жизненную конкретику, застыв известным «кабинетным» фотопортретом «на фоне Распятия», рядом с массивными фолиантами на циклопических книжных полках, с раскрытой книгой в руках, – портретом парадным, конечно, нарочно и сделанным для «презентативной» цели (им иллюстрировались раздел материалов о Мережковском в венгеровской «Русской литературе XX века» и целый ряд прижизненных публикаций). Нельзя, впрочем, сказать, чтобы «прочтение» этого портрета говорило безусловно в пользу героя: роль «кабинетного мыслителя», почтенная в благополучной Европе, в России, как правило, особого сочувствия не вызывает. Так, например, К. И. Чуковский трактовал Мережковского как «книжника», которому «до страшных пределов чужда душа человеческая и человеческая личность», а Иванов-Разумник и вовсе объявил его… «мертвым писателем», «великим мертвецом русской литературы, душу которого все больше и больше подтачивает гробовой червяк». Последнее определение, конечно, даже и для недоброжелателя слишком забористо, но, хотя бы и исключая критические оценки радикального характера, мы не можем не признать: ни собственно *человека,* ни, тем более, *человека страдающего* современники в Мережковском не разглядели и *по-человечески* же ему не верили.

Для самого Мережковского подобное положение вещей, больно задевавшее его в первые годы литературной деятельности как некое досадное «недоразумение», со временем превратилось в то, что можно назвать «привычной трагедией». Причем в первую очередь он был склонен винить в этом себя.

«Я страшно стыдлив, неимоверно робок, до глупого застенчив, – сокрушенно признается он в одном из писем самого „лирического“ из его эпистолярных циклов – переписке с Л. Н. Вилькиной. – И от этого происходит то, что Вам кажется моей неискренностью. О самом моем глубоком я совсем, совсем не могу говорить». «Я чувствую, – продолжает он ту же тему в

другом письме, – что мог бы сделаться „неосторожным“ и даже, пожалуй, „беззащитным“. Но для этого нужно, чтобы Вы мне поверили, второе – чтобы Вы поверили в меня, в мое существование, поверили, что *я есть*. А до сих пор Вы в это не верили. Вы писали мне, что меня совсем не знаете. Почему же Вы не хотите узнать меня? Неужели я так мало любопытен, даже помимо моего отношения к Вам, просто как человек, ну хотя бы просто как писатель? Поймите, я хочу, чтобы Вы увидели меня, а для этого нужно посмотреть на меня. Вы же до сих пор смотрели мимо меня, сквозь меня – на другое, что за мною. Я для Вас – пустое место. Это грустно…»

Действительно, если преодолеть сомнительную историко-литературную традицию, отрицающую в Мережковском-писателе и особенно в Мережковском-мыслителе – Мережковского-человека, если посмотреть, говоря его словами, *прямо на него,* – многое из того, что находится *«за ним»,* в том же двадцатичетырехтомном собрании сочинений 1914 года, предстанет в несколько ином свете.

Вместо *maitr'a* русского «религиозного ренессанса», огражденного стенами «министерского», по выражению Андрея Белого, кабинета в знаменитой квартире в доме Мурузи на Литейном, «нового Лютера», подобно настоящему Лютеру в Вартбургском замке витающему мыслью в высших, недоступных простым смертным сферах, – мы увидим легко узнаваемый тип российского неприкаянного художника-неудачника, полунищего, бесправного, целиком зависящего от поденной работы, случайных гонораров, прихоти издателей и меценатов, очень неуверенного в себе, вечно мятущегося, подчас – нелепого, подчас – наивного и сверх меры наделенного сугубо русским талантом – хроническим «неумением жить».

«В эти два дня чувствовал себя больным, слабым, старым и смешным и беззащитным ребенком. Тут начинается мой „страх смещенности“ (ridicule). Боюсь, к Вам когда приеду, показаться смешным и жалким, и некрасивым, и „скучным“ – это хуже всего. Вы еще не знаете всего уродства моего и позора. И я не хочу, чтобы Вы увидели его. Не хочу причинять Вам этого ненужного страданья». Это написано в начале 1906 года, в зените славы, уже по выходе первой «трилогии», исследования о Толстом и Достоевском, после триумфа Религиозно-философских собраний и шумного европейского признания.

«Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать…» – пророчил ему Достоевский.

Мережковский – страдал.

В детстве и отрочестве – от странного взаимоотчуждения

родителей, братьев и сестер.

В ранней юности – от призрака какого-то «рокового недуга», вдруг появившегося перед ним (вспомним письма Надсону). Сам Мережковский так опишет свое состояние в то время:

…От всех порывов, колебаний
И от надежды – ни следа.
И нет любви, и нет желаний!
В его душе, в его очах —
Теперь один безмолвный страх.

(Поэма «Смерть»)

Внезапное «выздоровление» (или – неподтверждение диагноза?) он, наверное, расценивал как чудо; по крайней мере, именно с этим пребыванием «бездны мрачной на краю» связано его окончательное самоопределение как литератора в 1883 году: «…Всю свою жизнь (если только буду жив), все свои силы (если таковые найдутся) посвящу я литературе (не смею сказать „поэзии“); чем я буду в этой области – поэтом ли, публицистом, издателем, книготорговцем, переводчиком или просто наборщиком, – это предоставляю решить моей счастливой или несчастливой звезде» (письмо Надсону). Сквозь призму такого юношеского опыта все последующие рассуждения Мережковского о смерти и воскресении видятся не только отвлеченными упражнениями «декадентствующего» ума.

В самом начале творческого пути он переживает две страшные утраты.

В 1887 году умирает его единственный друг – С. Я. Надсон.

В 1889 году внезапно умирает мать…

«Он никогда мне не рассказывал, а я не расспрашивала, как, когда это случилось… – писала об этих трагических днях Мережковского З. Н. Гиппиус. – Об этом нельзя, не надо было с ним говорить, так чувствовалось… Вспоминая потом о смерти матери Дмитрия Сергеевича – странная мысль о какой-то уже нездешней заботе о нем приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись *совершенно один,* то есть если бы он, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил бы ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его».

Зинаида Николаевна Гиппиус тогда, в марте 1889 года, пребывала в качестве жены Мережковского лишь третий месяц. И громкий литературный успех, и скандальная репутация «декадентской мадонны» – все еще было впереди. Пока еще она

оставалась «ребенком наивным, избалованным, податливым и мягким». Живая картинка жизни молодых супругов нарисована в рассказе Гиппиус «Простая жизнь» (сказовое повествование ведется здесь от лица героини, прототипом которой была горничная Мережковских Паша).

«Молодая такая барыня, точно девочка; платьице короткое и коса светлая за спиной. Барин… тоже молоденький еще, маленький, черноватый; только нос длинный и виден. Курточка синяя надета. Посмотрел на меня – вижу, ничего, веселый барин… Вставали поздно; напьются кофею, – сейчас барин в свою комнату, двери кругом запрет и начнет наискось, от угла до угла бегать, бегает, а сам громко ворчит и руками размахивает… Придет барыня, сядет – и сейчас же он ей что-то выпевать начнет; мало понятно, гул один. Кончит – и спрашивает барыню:

– Ну как, хорошо ли?

Та скажет: «хорошо», а иной раз: «нет, говорит, мне это не нравится, вот тут-то и тут-то плохо».

Барин сейчас же книжечку об пол, сам на диван ничком и кричит:

– Что же теперь?! Ну, что делать? Нет, вижу, ничего я не могу, ничего!

Потом уладится как-нибудь, барыня в гостиную уйдет, а он опять бегает и ворчит про себя… А так – они веселые были, бегают по комнатам, ловят друг друга, смеются – точно дети».

В эти первые месяцы совместной жизни в маленькой, неудобной, но уютной квартире на Верейской улице, 12, снятой и обставленной лично молодоженом в канун свадьбы, Мережковский – нежнейший супруг. А после смерти Варвары Васильевны, когда прежние родственные связи распались – отец уехал за границу, братья и сестры мало интересовались друг другом, – всю родственную приязнь он переносит на молодую жену. Лишь появившись в Петербурге, Гиппиус сразу же с головой окунается в бурную литературную жизнь столицы: юная чета неразлучна. «Куда только не возил меня Д‹митрий› С‹ергеевич›, кого только не показывал!» – вспоминала Гиппиус. По ее воспоминаниям об этом времени мы можем судить о постоянном круге общения Мережковского в конце 1880-х годов.

Разумеется, это прежде всего руководители «Северного вестника»: Анна Михайловна Евреинова – «нерасстанная с любимой своей мопсихой, седые волосы подстрижены, старая малиновая бархатная кофта на плечах и непрерывное пребывание „в трех волнениях“», – и Александра Аркадьевна Давыдова, в квартире которой Гиппиус в первый и последний раз видела Михайловского, «сидевшего в кресле, окруженного толпой

сидящих около него – на ковре – молоденьких курсисток». «В редакции [„Северного Вестника“], – пишет Гиппиус, – я познакомилась и с Плещеевым ‹…› и с Мар‹ией› Вал‹ентиновной› Ватсон, верной, на всю жизнь, поклонницей Надсона, и со многими людьми, о которых ничего не помню».

Описывает Гиппиус и салон баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон Гильдебрандт, издательницы и меценатки («Мгновенно влюбилась в эту очаровательную женщину, с первого свидания, да иначе и быть не могло»), и литературный кружок О. Ф. Миллера, «удивительно приятный», напомнивший юной жене Мережковского недавний кружок ее знакомых тифлисских «поэтов-гимназистов». В первые месяцы семейной жизни Гиппиус побывала с мужем и в «Живописном обозрении», где их радушно принимал редактор журнала, маститый романист Александр Константинович Шеллер-Михайлов, и на вечерах Литературного фонда, на председателя которого, поэта и историка Петра Исаевича Вейнберга, прославившегося в 1860-х годах сатирами, подписанными псевдонимом «Гейне из Тамбова», красота Гиппиус произвела неотразимое впечатление.

«Но мне казалось, – добавляет Гиппиус, – что Д‹митрий› С‹ергеевич›, хотя всюду был вхож, но среди шестидесятников ‹…› чужой».

Это было действительно так. В его привязанности к Гиппиус есть нечто отчаянное, болезненное – страх от возможности оказаться в полном и окончательном одиночестве после всех утрат конца 1880-х годов. Когда в следующем, 1890 году Гиппиус переносит тяжелую болезнь – возвратный тиф, Мережковский «совсем потерял голову». «Зине вот уже третий день сделалось гораздо хуже. Вчера температура доходила до 40 градусов! – заполошно пишет он в записке к М. В. Ватсон. – Доктор уверяет, что это рецидив брюшного тифа, вызванный ее неосторожным поведением… Я не выхожу даже по самым необходимым делам и буквально ни на одну секунду не оставляю Зины…»

Я только чувствую, родная,
Что жизни нет, где нет тебя, —

напишет он чуть позже в стихотворении «Любовь-вражда».

Союз Мережковских – удивительное явление в истории русской культуры. Современники не отделяли их друг от друга, воспринимая неким единым существом. «…Мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе ни разу, ни на один день», – напишет Гиппиус, начиная свои воспоминания о муже. О необыкновенно плодотворном

творческом, духовном взаимовлиянии Мережковских написано много.

«Что было бы с ним, если б они не встретились? – гадает секретарь Мережковских Владимир Злобин. – Он, наверное, женился бы на купчихе, наплодил бы детей и писал бы исторические романы в стиле Данилевского. Она… о ней труднее…

Может быть, она долгое время находилась бы в неподвижности, как в песке угрузшая, не взорвавшаяся бомба. И вдруг взорвалась бы бесполезно, от случайного толчка, убив несколько невинных младенцев. А может быть, и не взорвалась бы… и она продолжала бы мило проводить время в обществе гимназистов и молодых поэтов… На эту тему можно фантазировать без конца. Но одно несомненно: ее брак с Мережковским, как бы к этому браку ни относиться, был спасителен: он их спас обоих от впадения в ничтожество, от небытия метафизического».

И все же, если говорить о собственно личных, человеческих переживаниях, брак Мережковского нельзя назвать счастливым: очень скоро его жизнь с Гиппиус превратится в «любовь-вражду»:

О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя – оба одиноки,
Враждуя – близки навсегда.

С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.

(«Любовь-вражда»)

Тот же Злобин, утверждая, что они были «созданы друг для друга», уточняет: «Но не в том смысле, в каком это обычно принято понимать, то есть – не в смысле романтическом. Сравнивать их с Филемоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей или с Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной можно лишь по наивности или незнанию».

Очень скоро Гиппиус, пережившей первые успехи как на литературном поприще, так и – гораздо более бурные – в петербургских литературных салонах, стало казаться оскорбительным ровное, лишенное «романтических» аффектов чувство Мережковского. «Я загораюсь, я умираю от счастья при

одной мысли о возможности… любви, полной отречения, жертв, боли, чистоты и беспредельной преданности… – пишет она в 1894 году Н. М. Минскому. – О, как я любила бы героя, того, кто понял бы меня до дна и поверил бы в меня, как верят в пророков и святых, кто сам захотел бы этого, всего того, что я хочу… Вы знаете, что в моей жизни есть серьезные, крепкие привязанности, дорогие мне, как здоровье. Я люблю Д. С. – вы лучше других знаете как, – без него я не могла бы жить двух дней, он необходим мне, как воздух… Но это – не все. Есть огонь, доступный мне и необходимый для моего сердца, пламенная вера в другую человеческую душу, близкую мне, – потому что она близка чистой красоте, чистой любви, чистой жизни – всему, чему я навеки отдала себя».

В поисках «человеческой души… близкой чистой красоте» Гиппиус в 1890-е годы заводит несколько тайных любовных романов, содержание которых она подытожила осенью 1897 года в письме З. А. Венгеровой: «Подумайте только: и Флексер, и Минский, как бы и другие, не считают меня за человека, а только за женщину, доводят до разрыва потому, что я не хочу смотреть на них, как на мужчин, – и не нуждаются, конечно, во мне с умственной стороны столько, сколько я в них… Прихожу к печальному заключению, что я больше женщина, чем я думала, и больше дура, чем думают другие».

Реакцией Мережковского на «искания» Гиппиус стало холодное *личное* отчуждение. «В жизни каждого человека бывают минуты страшного одиночества, когда вдруг самые близкие люди становятся далекими, родные – чужими, – пишет он одной из своих „конфиденток“ и опять повторяет роковое: – *«Враги человеку – домашние его»*».

«Знаешь ли ты, или сможешь ли себе ясно представить, – пишет Зинаида Николаевна в 1905 году Дмитрию Владимировичу Философову, – что такое холодный человек, холодный дух, холодная душа, холодное тело – все холодное, все существо сразу? Это не смерть, потому что рядом, в человеке же живет ощущение этого холода, его „ожог“ – иначе сказать не могу». «Дмитрий таков есть, что не видит чужой души, он ею не интересуется… Он и своей душой не интересуется. Он – „один“ без страдания, естественно, природно один, он и не понимает, что тут мука может быть…» А уже после смерти мужа, когда скрывать и перед людьми, и, главное, перед собой было уже нечего, Гиппиус в исповедальной поэме «Последний круг» пишет, как дух одного из адских грешников, попавшихся на пути «новому Данту», рассказывает, что величайшим злом, совершенным им в земной жизни, стало отсутствие любви к той, которая судьбой

была дана ему в подруги:

Я о любви говаривал так много!
Не любящих судил особо – строго.
Любил ли сам? Как дать себе ответ?
Казалось – да. А может быть, и нет.
Но очень много о любви мечтал.
Мечтал, что близок час, – его я ждал, —
Когда заветный этот час придет, —
А он не может не прийти! – и вот
Я встречусь с той, которую любить
Мне суждено любовию священной,
Единственной, святой и неизменной,
Пока же лучше без любви прожить,
Не жалуясь, что и от той далек,
Что издавна в подруги мне дана,
Пусть любит с верностью меня она,
Но что же делать? С ней я одинок.
Ей не нужны мои живые речи,
Не слушает она моих поэм…
Нет, буду ждать иной и новой встречи,
Когда уж полюблю – совсем.

Жить с одной женщиной, мечтая в то же время о другой – идеальной, «грядущей», – это, пожалуй, один из самых верных способов свести жену с ума и превратить семейную жизнь в «тихий ад». Сочувствие здесь, конечно, на стороне Гиппиус, ибо —

Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

(А. С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан»)

«Любовь, подобная вражде» – формула неутешительная, но куда более определенная и жесткая, нежели бессильные рассуждения некоторых биографов о «необычной любви и необычном браке». Увы! История была *слишком обычной* – с той лишь поправкой, что «защитная реакция» Гиппиус оказывалась, в силу ее богатой художественной фантазии, более впечатляющей, нежели поведение в подобных случаях женщин *обыкновенных*.

«Этих хочу любить и не могу», – пишет в 1904 году, после визита Мережковских в Ясную Поляну Лев Николаевич Толстой,

вряд ли посвященный в подробности петербургских богемных пересудов, но всегда «по-толстовски» предельно остро чувствующий недоговоренность и фальшь в поведении собеседников. Странная искусственность, обращающаяся подчас в болезненную и неприятную игру, – вот первое впечатление от Мережковских, донесенное до нас многими мемуаристами, причем все без исключения отводят здесь Мережковскому второстепенную, пассивную, а то и «страдательную» роль: «режиссером» и «главным исполнителем» всюду оказывается его жена.

«Странное это было существо, словно с другой планеты, – вспоминает Злобин. – Порой она казалась нереальной, как это часто бывает при очень большой красоте или чрезмерном уродстве. Кирпичный румянец во всю щеку, крашеные рыжие волосы, имевшие вид парика… Одевалась она сложно: какие-то шали, меха – она вечно мерзла, – в которых она безнадежно путалась. Ее туалеты были не всегда удачны и не всегда приличествовали ее возрасту и званию. Она сама из себя делала пугало. Это производило тягостное впечатление, отталкивало».

«З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов „пленительницы“ (перо Обри Бердслея), – более подробно и беспощадно сообщает Андрей Белый, – ком вспученных красных волос (коль распустит – до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаясь пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подставке; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блеском пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленявшую сатану».

К этому следует прибавить вызывающую манеру поведения, особенно среди неподготовленной и потому очень остро реагирующей на все ее эскапады публики. «Голос у нее был ломкий, крикливо-детский и дерзкий. И вела она себя как балованная, слегка ломающаяся девочка: откусывала зубами кусочки сахару, которые клала „на прибавку“ в стакан чаю гостям, и говорила с вызывающим смехом ребячливо-откровенные вещи» (Л. Я. Гуревич). «Она вообще любила мистифицировать – черта мало кому в ней известная, – свидетельствует Злобин. – Недаром говорили о ней в шутку, что она – англичанка, мисс Тификация».

Примеры «мистификаций», приводимые Злобиным, сочувствия не вызывают – чего стоит хотя бы телефонное

хулиганство: регулярные звонки знакомым по вечерам и разговоры на «тарабарском языке» на нелепые темы. И. В. Одоевцева приводит рассказ самой Гиппиус об еще одной «мистификации»: «Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннобородому и длинноволосому иерарху Церкви: „Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!“ Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уже никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали».

Думается, не у одного только «длиннобородого и длинноволосого иерарха Церкви» после знакомства с «шалостями» Гиппиус появлялось непреодолимое желание «никогда больше не садиться рядом» с Зинаидой Николаевной – и не столько из-за «этической», сколько из-за «эстетической» брезгливости: уж слишком здесь откровенны безвкусица и дурной тон!

Но Мережковский-то вынужден был «сидеть рядом»!

«Мережковский – европеец, воспитанный человек в том лучшем образе, в каком мы представляем себе иностранца», – свидетельствует М. М. Пришвин. Более пространно пишет о том же М. А. Алданов: «Личное обаяние, то, что французы называют спагт'ом, у него вообще было очень велико… Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом… Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику». Сочетать это с «марсианскими» одеяниями и «жареными младенцами» – сложно, а с нелепо-грязными историями, которыми часто оборачивались «мистификации» Гиппиус, – вообще психологически невозможно. Никакого сочетания и не было – был конфликт и, насколько можно судить по дошедшим до нас свидетельствам, весьма болезненный конфликт:

С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.

(«Любовь-вражда»)

Примечательно – и опять-таки *слишком обычно* во всем этом, – что «вечная вражда» супругов нисколько не отменяла взаимную любовь несомненную, а у Гиппиус – доходящую до исступления. В письме В. В. Розанову от 14 октября 1899 года

Мережковский признавался: «Зинаида Николаевна… не другой человек, а я в другом теле». «Ведь мы – одно существо», – постоянно объясняла знакомым Гиппиус. «Это и непонятно, и неприятно, но за этим определенная реальность, – пояснял ее слова Злобин. – И если представить себе Мережковского как некое высокое древо с уходящими за облака ветвями, то корни этого древа – она. И чем глубже в землю врастают корни, тем выше в небо простираются ветви. И вот некоторые из них уже как бы касаются рая. Но что она в аду – не подозревает никто».

Победу в подобном, говоря словами Тютчева, «поединке роковом» могла принести какой-либо из «противостоящих сторон» только смерть. Именно это и предсказывает Мережковский в финале стихотворения о «любви-вражде»:

Когда другой сойдет в могилу,
Тогда поймет один из нас
Любви божественную силу —
В тот страшный час, последний час!

Мережковский же и «победил».

«…Когда я получаю однажды телеграмму (в утро Перл-Харбора): „Merejkovsky desede…“, мне кажется, что это плавное завершение чего-то, чему давно пора было завершиться, что это естественно, а ее четыре года существования без него – неестественно, ненужно, мучительно для нее и для других», – пишет хорошо знавшая Мережковского и Гиппиус в годы их «второй» (и окончательной) эмиграции Н. Н. Берберова. «Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! – восклицает Злобин. – Это нельзя себе представить… Но к постигшему ее удару Зинаида Николаевна относится по-человечески – не по-Божьему, – и переживает его как незаслуженную обиду. Ей даже кажется, что духовно умерла и она: „Пишу теперь, когда моя жизнь кончена. Это я ощущаю со знанием“, – записывает она через 10 месяцев после 7 декабря 1941 года… Богу она смерти Дмитрия Сергеевича не прощает… Но в этом бунте много детски-беспомощного. Перед лицом смерти она – беззащитна, как малое дитя, которое неизвестно кто и за что обидел:

Не знаю, не знаю, и знать не хочу.
Я только страдаю и только молчу».

* * *

«Жил в Эфесе, во дни Траяна, старец такой древний, что не только ровесники его, но и дети и внуки их вымерли давно, а правнуки уже не помнили, кто он такой; называли его просто „Иоанном“ или „Старцем“, Presbyteres, и думали, что это тот самый Иоанн, сын Завведеев, один из Двенадцати, „которого любил Иисус“… Слова его берегли, как зеницу ока; чем и как почтить его, не знали, облекали в драгоценные ризы и надевали на лоб его Мельхиседека, царя-первосвященника, не рожденного, не умершего, таинственный знак, золотую звезду-бляху, Pentalon с Неизреченным именем… Когда он ослабел и уже не мог ходить, ученики носили его на руках в собрания верующих, а когда те просили наставить или вспомнить что-нибудь о Господе, он только повторял все одно и то же, с одной и той же улыбкой, одним и тем же голосом:

– Дети, любите друг друга, любите друг друга!

Это, наконец, так наскучило всем, что ему однажды сказали:

– Что это, учитель, ты повторяешь все одно и то же?

Он помолчал, подумал и сказал:

– Так Господь велел, и этого одного, если только исполнить, – довольно…

И опять:

– Дети, любите друг друга!» (Д. С. Мережковский «Иисус Неизвестный»).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мережковский в начале 1890-х годов. – Русский европеец». – Религиозно-философская система Мережковского. – Мережковский и символизм. – Трилогия «Христос и Антихрист». – Мережковский – литературный критик и историк культуры. – «Любовный треугольник» 1897 года. – Разрыв с «Северным вестником»

Осенью 1889 года Мережковский, побывав летом с женой в Крыму, на Кавказе и в Подмосковье (здесь, в деревне По-варово, снимали дачу мать и сестры Зинаиды Николаевны, переехавшие к этому времени из Тифлиса в Москву), уступает квартиру на Верейской улице отцу и незамужней сестре Лизе и вселяется в дом Мурузи. Это был огромный доходный дом вычурно-мавританского стиля на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, близ Преображенского собора. На современной «литературной» карте Петербурга дом Мурузи занимает одно из самых почетных мест. Здесь находилась общедоступная читальня, которую содержала бабка поэта и переводчика Владимира Пяста (Пестовского), близкого друга Александра Блока. В начале 1920-х годов по инициативе Николая Гумилёва здесь создается петербургский Дом поэтов. В 1960-е годы здесь же проживал молодой Иосиф Бродский. Однако открывают «литературную биографию» дома Мурузи именно Мережковские. Дом Мурузи оставался их постоянным пристанищем на протяжении всего последнего десятилетия XIX столетия и начала XX. В общей сложности они прожили здесь, меняя квартиры, двадцать три года.

Первые месяцы и годы в доме Мурузи могли запомниться Мережковскому лишь лавиной нахлынувших на него «частных» событий, большей частью – озадачивающих. Жизнь профессионального литератора поворачивалась сейчас

неприятной стороной: семейные расходы явно превышали его литературный заработок. Между тем период творческих исканий для него еще не завершился, более того – в зимний сезон 1889/90 года он переживает нечто вроде творческого кризиса. Созданная под впечатлением от чтения Кальдерона «фантастическая драма» «Сильвио» (он начал работу над ней еще в приснопамятные «боржомские дни» 1888 года) печатается с февральского по майский номера «Северного вестника» за 1890 год, но ожидаемого успеха не имеет. О провале речи нет, однако мнительный, как и все авторы в канун публикации первой «большой вещи», Мережковский склонен преувеличивать сдержанность критики. К тому же он все больше увлекается прозой, охладевая, по мере этого увлечения, к поэзии. А в «Северном вестнике» еще памятны скандалы вокруг его статей о крестьянстве и о Чехове, и на страницах своего «главного» журнала он может выступать лишь как поэт и переводчик.

«Северный вестник» вообще переживал не самые лучшие времена: редакцию раздирали внутренние конфликты и это, естественно, сказывалось как на отношениях между постоянными сотрудниками, так и на качестве новых номеров (и, увы, на размере гонораров). С 1889 года Мережковский вынужден расширить сотрудничество с периодическими изданиями: помимо «Северного вестника» он публикуется в «Труде», «Русской мысли», «Русском обозрении», «Вестнике Европы», «Наблюдателе». Список, как мы видим, пестрый, объяснимый лишь тем, что Мережковскому в это время не до литературной «политики»: он печатается там, где печатают.

И все равно бюджет молодой семьи, что называется, «трещит по швам»!

Летом 1890 года он садится за свой первый роман – «Юлиан Отступник» (первоначальное название – «Отверженный»). Это было решение столь же дальновидное (ибо именно романы принесут ему как русскую, так и европейскую славу), сколь и парадоксальное, – если учитывать скудость наличных средств. Надежда была только на его исключительную работоспособность (спасибо суровой «школе» Сергея Ивановича!), да еще на беллетристические способности, вдруг обнаружившиеся у Зинаиды Николаевны.

В начале того же 1890 года Гиппиус, под впечатлением разыгравшейся у нее на глазах маленькой любовной драмы, главными героями которой были горничная Мережковских Паша и «друг семьи», поэт и публицист Николай Минский, пишет небольшой рассказ «Простая жизнь» (в первой публикации – «Злосчастная»). Неожиданно для обоих супругов этот рассказ

приняли в журнал «Вестник Европы» (к Мережковскому этот журнал тогда не благоволил). Успех окрылил Гиппиус, которая к этому времени уже успела завязать массу полезных знакомств в литературном мире столицы, – в отличие от своего замкнутого и нелюдимого мужа Зинаида Николаевна обладала прекрасными дипломатическими способностями. В 1890–1891 годах она наводняет своей беллетристикой редакции таких журналов, как «Живописное обозрение» или «Наблюдатель». «Романов этих я не помню, – честно признается Гиппиус, рассказывая об этом занятном периоде своего творчества, – даже заглавий, кроме одного, называвшегося „Мелкие волны“. Что это были за „волны“ – не имею никакого понятия и за них не отвечаю. Но мы оба радовались необходимому пополнению нашего „бюджета“, и необходимая Д‹митрию› С‹ергеевичу› свобода для „Юлиана“ этим достигалась».

К весне 1891 года молодые супруги уже мечтали о путешествии на юг, в Италию. Особенно нуждалась в этом Гиппиус: она постоянно болела, никак не могла оправиться от перенесенного ею в июле-сентябре 1890 года возвратного тифа. Помимо того, в отличие от Мережковского, Гиппиус до замужества не выезжала за пределы России. В первых числах марта они покинули Петербург. «Смешно сказать, – вспоминала Зинаида Николаевна, – с какими капиталами мы пустились в путь! Мне самой не верится! У нас было скоплено на это – 400 рублей. По тогдашнему курсу – около 1200 франков. Но это нас не смутило, все ведь так дешево».

Маршрут Мережковских пролегал через Варшаву и Вену (последняя Гиппиус не понравилась, возможно, из-за подхваченной в пути простуды) – в Венецию, которая поразила обоих. «…Вот уже пять дней, как мы на берегу Адриатического моря, – писал 26 марта 1891 года Мережковский Н. М. Минскому. – Первые дни были восхитительны. Венеция – какой-то волшебный сон, воплотившийся в мраморе. Мы в нее просто влюбились и думали уже было нанять квартиру в палаццио, где жила Дездемона, – в самом деле верхний этаж там сдается. Я непременно напишу поэму „Венеция“, но только не теперь». В Венеции же произошла встреча, превратившая эту поездку из обычного семейного путешествия в «событие», весьма существенное как для истории творческого развития раннего Мережковского, так и для истории грядущего серебряного века.

«Представьте себе, – пишет далее Мережковский Минскому, – в соборе св. Марка я встретил Чехова в обществе Суворина. Нечего делать. Чтобы не быть невежливым, пришлось познакомиться и быть представленным Сув‹орину›.

Он оказался очень милым и неглупым человеком. У нас были пресерьезные споры, которые я когда-нибудь расскажу. Вот какой странный кружок на берегу Grand Canal – Чехов, Зина, я и Суворин. Но все-таки эти люди – Ч‹ехов› и С‹уворин› не подходят к Венеции!»

Последнее замечание может рассматриваться как запоздалый эксцесс молодого писателя-либерала и «ученика Михайловского», попавшего, подобно многим и многим, в неотразимое «лучевое поле» суворинского обаяния (писатель И. Л. Щеглов называл подобный эффект «сувориншмейр-цен», «заболевание» Сувориным).

Алексей Сергеевич Суворин, великий журналист, издатель популярнейшей газеты «Новое время» и глава первой отечественной «издательской империи», организованной по последнему слову европейской технологии, был одним из самых талантливых и могущественных противников либерального общественного движения. Для той петербургской интеллигенции, в среде которой вращался в 1880-е годы юный Мережковский, имя Суворина было окружено едва ли не сакральным негативом: его ненавидели исступленно и истово, так что любая причастность к «нововременским кругам» была для «честной русской мысли» поводом к остракизму.

Сила Суворина заключалась в его интеллектуальной и личной (прежде всего – материальной) независимости от всякой – как левой, революционной, так и правой, охранительной, идеологической конъюнктуры. Еще в 1866 году он озадачил как «левую» критику, так и правительственных экспертов, издав книгу «Всякие. Очерки современной жизни», тем, что изображенные в ней представители революционно-демократического движения не походили ни на карикатурных героев «антинигилистических» романов, ни на идеальных «новых людей» Чернышевского и его последователей. Поскольку Суворина арестовали, а книгу его сожгли, он *de facto* оказался в числе «прогрессивных» литераторов-шестидесятников и в таковом качестве стал известен как автор политических памфлетов, направленных против представителей консервативной журналистики – М. Н. Каткова и князя В. П. Мещерского.

Однако «Незнакомец» (под таким псевдонимом Суворин печатал свои «воскресные фельетоны» в «Санкт-Петербургских ведомостях») не менее резко выступал и против «левого» экстремизма и революционного доктринерства. Его освещение «нечаевского дела» на процессе 1870 года, а также патриотические выступления во время Балканской войны вновь обострили отношение к нему либеральной интеллигентской

аудитории. В конце концов все интеллигентские «партийные» круги оказались для него закрыты, а сам он усвоил стойкое отвращение к любому общественному «идеализму». Тяжелые события личной жизни, в результате которых он лишился горячо любимой жены – единственного существа, к которому был искренне привязан с юности (она была убита «другом семьи», оказавшимся ее тайным любовником), – окончательно разрушили его этические ценности. Уже в качестве владельца «Нового времени», самого успешного и влиятельного русского издательского деятеля 1880-х годов, он, будучи одним из умнейших людей своей эпохи, придерживался при этом скорбного, «всепонимающего и всепрощающего» мировосприятия, основанного на глубочайшем презрении к людям. По блестящей характеристике современного издателя суворинских дневников Д. Рейфилда, его позднее творчество являет собой «удивительную смесь беспощадности и жалости, жестокости и мягкости, консерватизма и свободной мысли и в приватных беседах, и в печатных выступлениях… ‹…› Глубоко убежденный в порочности всех, он прощал своих врагов так же легко, как ругал их. Грубо браня свою семью и своих друзей, он в то же время уступал им во всем, чего бы они не просили. Кстати, своих рабочих Суворин опекал, как никто среди русских работодателей. Он их жалел, но так, как он жалел животных». Если к этому прибавить искренний интерес Суворина к художественно одаренным, сильным личностям, умение расположить к себе и «разговорить» самого предубежденного собеседника и своеобразное внутреннее благородство, помноженное на уверенность в силе стоящих за ним «капиталов», то истоки «суворинштмейрцен» понять можно.

Чехов был главным «открытием» позднего Суворина: с 1886 года и вплоть до смерти писателя их связывала самая тесная дружба, деловая и человеческая. Для интеллигентных читателей Чехова (включая и нынешнее поколение) его близость к «страшному» Суворину казалась труднообъяснимой прихотью, что Чехова, впрочем, мало волновало (в прагматизме, основанном на знании людской натуры, он нисколько не уступал Суворину). Здесь, в Италии, они не без удовольствия разыгрывали каждый свою, изначально взятую роль: Суворин «показывал другу Венецию», «тыкая его носом», по выражению Гиппиус, «и в Марка, и в голубей, и в какие-то „произведения искусства“. Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно „ничему не удивлялся“, чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину».

Много лет спустя, размышляя над опубликованными письмами Чехова к Суворину, Мережковский будет сравнивать

воздействие Суворина на своего корреспондента с чарами Лесного Царя из баллады Жуковского:

Неволей иль волей, но будешь ты мой!

Неизвестно, насколько такое сравнение верно по отношению к Чехову, но то, что вызвано оно было не в последнюю очередь личным опытом общения автора статьи с Алексеем Сергеевичем в марте 1891 года, несомненно (Мережковский и сам пишет об этом). Представленные Чеховым Суворину и «из вежливости» чуть задержавшиеся в его компании молодые супруги сразу же «утонули» в суворинском радушии, очарованные его неповторимой «журналистской» манерой непринужденно включать собеседника в оживленную, захватывающую беседу.

«Последние дни в Венеции мы провели почти вместе, – вспоминает Гиппиус. – Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить „фалерно“ в роскошно длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными зеркалами и люстрами со сверканием стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех – Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и… вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:

– А черт его знает! Может, оно все и не так.

‹…› Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я – впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский. Пока мы продолжали наш спор, и Суворин горячился, и отлетают полы его коричневой размахайки, – Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку» – quanto?[8] Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему: «Cinque»[9]…»

Иных речей в обществе Мережковского, который уже раз напугал его в Петербурге своей горячей проповедью о «слезинке ребенка», от Чехова было ожидать трудно: раз составленное о человеке мнение – в данном случае явно нелестное – он обычно не менял (и к тому же надобно было соответствовать принятой на себя роли «русского циника»). Гораздо интереснее было бы узнать, о чем, горячась и размахивая полами своей размахайки, спорил с Мережковскими в эти дни Суворин. Но, увы! В

воспоминаниях Гиппиус о содержании их бесед не говорится практически ничего, а Мережковский своего обещания «как-нибудь рассказать» об этом не сдержал (или эти письма Минскому до нас не дошли). Тем не менее кое-какие предположения на этот счет можно высказать, если вспомнить, что книга стихотворений и поэм Мережковского «Символы», с которой, по мнению многих исследователей серебряного века, и следует начинать разговор о русском символизме, вышла через год с небольшим после этой встречи в «издательстве А. Суворина».

Более чем вероятно, что беседы с Сувориным в Венеции подействовали на Мережковского-литератора, воспитанного «Отечественными записками» и «Северным вестником» Михайловского, приблизительно так же, как некогда подействовали на Мережковского-школьника, с благоговением внимавшего рассказам гимназического священника о Страшном суде, «биологические» беседы с братом Константином в лабораториях здания Двенадцати коллегий:

> Он все, во что я верил, разрушал…

Как и тогда, так и сейчас Мережковский сумел удержаться от увлекающего радикализма в «переоценке ценностей», но то, что он «принял к сведенью» разрушительные инвективы Суворина по адресу литературных традиций, все еще накрепко связанных с «народничеством» предшествующих десятилетий, – несомненно, иначе ни о каком дальнейшем сотрудничестве с «нигилистом» не могло бы идти и речи. Предоставляя на следующий год в распоряжение Суворина книгу, ставшую сразу по выходе одной из главных примет нарождающегося в русской литературе «декадентства», Мережковский наверное знал, что это «декадентство» будет сочувственно встречено издателем.

Из Венеции в Пизу Мережковские выехали в одном купе с Сувориным и Чеховым (речь в пути шла о памятных выпадах «нововременца» Буренина против больного Надсона, и Суворин виновато пожимал плечами и говорил: «Да черт его знает… Нехороший человек [Буренин], нельзя сказать, чтобы хороший…»), но, по словам Гиппиус, «начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять»: «Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике – Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна – от цветных стекол – на белом мраморе. Опять живой и

быстрый Суворин, медлительный Чехов… Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где-нибудь „на травке полежать“».

Вслед за ними собрались в обратный путь и Мережковские, но «чудеса» этого фантастического путешествия продолжались, и в канун отъезда из Италии они получили письмо от Плещеева: старый поэт звал их в Париж.

Алексей Николаевич Плещеев сыграл важную роль в литературной судьбе Мережковского в годы его литературного дебюта. Как реликвию он хранил в своем архиве краткую записку:

> «Предлагаю в члены [Литературного] общества Семена Яковлевича Надсона (Кронштадт, угол Козельской и Кронштадтской, дом наследников Никитиных, квартира Григорьева)
>
> Дмитрия Сергеевича Мережковского (Знаменская, 33, квартира 9)
>
> *А. Плещеев».*

Плещеев был для поколения Мережковского живым символом рыцарственного русского литературного «свободомыслия» незапамятных «дореформенных» времен: еще в 1846 году, учась на историко-филологическом факультете Петербургского университета, Плещеев создал строки, которые студенческая молодежь тут же окрестила «русской Марсельезой»:

> Вперед! без страха и сомненья
> На подвиг доблестный, друзья!
> Зарю святого искупленья
> Уж в небесах завидел я!
>
> Смелей! дадим друг другу руки
> И вместе двинемся вперед.
> И пусть под знаменем науки
> Союз наш крепнет и растет.

(«Вперед! без страха и сомненья…»)

Вместе с Ф. М. Достоевским и Н. А. Спешневым Плещеев был в кружке М. В. Петрашевского, пережил арест, заключение в Петропавловской крепости и инсценировку расстрела на Семеновском плацу. Плещеев был отправлен на каторгу, замененную затем, «во внимание к молодым летам», солдатской службой в Оренбургском корпусе «с лишением всех прав

состояния». Служил Алексей Николаевич храбро, так что за мужество, проявленное им при штурме кокандской крепости Ак-Мечеть, его произвели из рядовых в унтер-офицеры, затем присвоили офицерское звание, а в 1857 году ему было возвращено потомственное дворянство. После этого он вышел в отставку и вернулся к общественной и литературной деятельности.

В Москве, где Плещеев в бурные, «реформаторские» шестидесятые годы служил в Государственном контроле, а затем, с 1872 года, – в Петербурге, где он вел жизнь профессионального литератора, работая секретарем «Отечественных записок», поэт держал себя независимо, сохраняя верность высокому гуманистическому «шиллеровскому» идеализму, усвоенному в юности. Родовитый, как мало кто среди русских литераторов, – в его жилах текла кровь святого Алексия Московского, великого собирателя Московской Руси, – Плещеев с мужественной простотой «принца-изгнанника» выносил постоянную нужду этих лет, ютился со своим многочисленным семейством в крохотных квартирках, но ни на йоту не поступался ни своей гражданской, ни литературной совестью. Зато его неизменно окружали уважение и любовь читателей и, конечно, прежде всего – литературной столичной молодежи:

Растет полночный мрак, и душит нас темница;
В цепях влачатся дни без веры, без надежд,
И над развенчанной поэзией глумится
Толпа бессмысленных невежд…
Но в этой мертвой мгле высоко перед нами
Под серебристыми кудрями
Твой благородный лик так ярко озарен,
Так кротко светится последними лучами
Иных, прекраснейших времен.
Ты дорог нам, что не одним лишь словом,
Но всей душой своей, всей жизнью ты поэт,
И в эти шестьдесят тяжелых, долгих лет —
В глухом изгнании, в бою, в труде суровом —
Ты чистым пламенем повсюду был согрет.
Но знаешь ли, поэт, кому ты всех дороже,
Кто горячее всех привет тебе пошлет?
Ты лучший друг для нас, для русской молодежи,
Для тех, кого ты звал: «Вперед, вперед!»
Своей пленительной, глубокой добротою,
Как патриарх, в семью ты нас объединял, —
И вот за что тебя мы любим всей душою,

И вот за что теперь мы подняли бокал!

Эти стихи Мережковского, прочитанные им «от имени молодежи» на юбилейных торжествах 22 ноября 1885 года, отражают и личное отношение к Плещееву. Но в эти годы Мережковский был «заслонен» для Плещеева гораздо более яркой фигурой Надсона. К последнему секретарь «Отечественных записок» испытывал почти отцовские чувства и гордился им как своим лучшим учеником. Безвременная кончина Надсона сблизила его осиротевших друзей: старый поэт, сокрушенный утратой «преемника» в деле служения «высокому», обратил все свое внимание на юного друга покойного.

Плещеев был первым из литературного окружения Мережковского, с кем тот познакомил молодую жену по возвращении из Тифлиса. В ответ Алексей Николаевич посетил их «семейное гнездышко» на Верейской улице, очаровав двадцатилетнюю Гиппиус, которую Мережковский везде представлял как «поэтессу», тем, что принес с собой стихотворения из редакторского портфеля «Северного вестника» (как и в «Отечественных записках», Плещеев заведовал в «Вестнике» отделом поэзии) – на ее «суд строгий».

– Это, – пояснял Алексей Николаевич, – настоящие поэты. Льдов – молодой, но уже печатался. Аполлон Коринфский… А это – не знаю, всякие, в редакцию присланы…

Гиппиус с восторгом согласилась ему «помочь», и сразу же начался горячий спор: стихотворение Льдова —

И грезят ландышей склоненные бокалы
О тайнах бытия, —

требовательной Зинаиде Николаевне не понравились. Мережковский возразил, что Льдов настоящий поэт, что у него есть «дивные стихи». В доказательство он тут же процитировал на память:

Как пламя дальнего кадила,
Закат горел и догорал.
Ты равнодушно уходила,
Я пламенел – и умирал.[10]

Слушая перепалку супругов, Плещеев улыбался в усы: добродушный и снисходительный к литературной юности, он был

не против и «бокалов-ландышей». Он был необыкновенно добрый человек, несмотря на все лихие каторжные и солдатские десятилетия сохранивший детскую веру в чистоту и благородство человеческой натуры, и всегда был склонен преувеличить дарование очередного поэта-дебютанта. «Он – большой, несколько грузный старик, с гладкими, довольно густыми волосами, желто-белыми (проседь блондина), и великолепной, совсем белой бородой, которая нежно стелется по жилету, – передает свое первое впечатление от Плещеева Гиппиус. – Правильные, слегка расплывшиеся черты, породистый нос и как будто суровые брови… но в голубоватых глазах – такая русская мягкость, особая, русская, до рассыпанности, доброта и детскость, что и брови кажутся суровыми – „нарочно“».

У лесной опушки домик небольшой
Посещал я часто прошлою весной.

В том домишке бедном жил седой лесник,
Памятен мне долго будешь ты, старик.

На своем крылечке сидя каждый день,
Ждет, бывало, деток он из деревень.

Много их сбегалось к деду вечерком;
Щебетали точно птички перед сном:

«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток».
«Дедушка, найди мне беленький грибок».

«Ты хотел мне нынче сказку рассказать».
«Посулил ты белку, дедушка, поймать».

«Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!»

И, смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые, как лен.

(А. Н. Плещеев «Старик»)

Эти дивные плещеевские стихи, которые уже больше ста лет «щебечут» в детских садах и школах русские детишки, как нельзя лучше подходят к облику самого Алексея Николаевича.

С этого момента началась, по словам Гиппиус, их «усиленная

дружба» с Плещеевым. Мережковские бывали у него запросто (Плещеевы жили в двух шагах от дома Мурузи, напротив Спасо-Преображенского собора). Плещеев также приходил к ним «обедать или так», чтобы «поболтать о стихах и о чем придется». Эти непринужденные беседы были порою очень интересны: старый поэт являлся настоящим «свидетелем истории». Гиппиус вспоминает, как однажды он рассказывал о чтении ему Некрасовым только что написанного «Рыцаря на час», – Николай Алексеевич читал так, что, когда дошел до обращения к матери:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви, —

и чтец, и слушатель плакали. «Плещеев рассказывал об этом очень просто, – пишет Гиппиус, – но когда рассказывал, – было понятно, что и нельзя иначе, и что сам ‹ты› в ту минуту, верно, так же бы плакал».

Финал плещеевской жизни необычен. Словно вознамерившись наглядно опровергнуть циническую сентенцию о неизбежном крушении литературных донкихотов, подобных Плещееву, судьба вместо пресловутого «чердака», где, по всему, и должен был завершиться путь «бедного поэта», – уготовила ему роскошные апартаменты парижского отеля «Mirabeau», ничуть не уступающие суворинскому салону с венецианскими зеркалами и сверкающими стеклянными подвесками в гостинице на берегу *Grand Canal.* Плещеев неожиданно получил огромное наследство и, обосновавшись в Париже, звал туда своих молодых друзей: «… Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май – лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу…» Плещеев «почтеннейше просил» принять от него «аванс» на проезд – тысячу рублей.

Разумеется, Мережковские не могли отказаться от такого приглашения и, вместо того чтобы, как планировали, вернуться в начале мая в Петербург, оказались во французской столице, только привыкающей к совсем еще новенькой Эйфелевой башне, воздвигнутой к Всемирной выставке 1889 года.

«Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною – скромная золотая вывеска „Worth“, – вспоминает Гиппиус. – Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позвякивают бубенчики фиакров.

– Правда, хорошо? – спрашивали нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж. – А как вас папа ждал!»

Алексей Николаевич, хотя и похудевший от начинавшейся уже болезни, мало изменился с петербургской поры. Огромное богатство, вдруг свалившееся на него «с неба», он принял с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади.

– Что мне это богатство, – говорил он. – Вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью.

Он гулял с Мережковским и Гиппиус по бульварам, водил в кафе «Ambassadeur», где блистала Иветт Жильбер, и заказывал каждый раз роскошный обед. Однажды, слегка разомлев, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в assommoir![11]» – и тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:

– Тьфу ты, я хотел – в ascenseur![12] А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в ассомуар!..

Дни, проведенные с Плещеевым в Париже, странно контрастировали с фантастическим «бегством наперегонки» по Италии за Мефистофелем-Суворинym и Фаустом-Чеховым. В этом наглядном контрасте для Мережковского, еще переживающего суворинские соблазны, был, несомненно, большой, возможно, – провиденциальный смысл. Глядя на спокойный и ясный плещеевский «закат», слушая неторопливую беседу старика, неколебимо уверенного в правоте своего безоблачного гуманистического, «детского», интеллигентского идеализма, Мережковский получал противоядие от взвинченного, насмешливого и разрушительного напора нравственного и эстетического нигилизма, которым заражал Суворин, «глубоко убежденный в порочности всех». Вновь, как в гимназические годы, перед Мережковским, стоящим на самом пороге грядущего серебряного века, отрицательный «тезис», ведущий к декадентской «переоценке ценностей», осложнялся не менее сильным «антитезисом».

Плещеев в Париже стоил Суворина в Венеции!

Осенью вернувшиеся из своего «дачного» Вышнего Волочка в Петербург Мережковские уже не застали здесь семью Плещеевых. Здоровье Алексея Николаевича стало резко ухудшаться, и он остался лечиться во Франции и Швейцарии, чувствуя, впрочем, что все усилия лучших докторов уже бессильны против неумолимой старческой немощи. Но с исчезновением плещеевских домашних «вечеринок», объединявших в квартирке на Преображенской литераторов «с именем» и студентов, в жизни Мережковских оставались «пятницы» **Якова Петровича Полонского.**

В отличие от Плещеева Полонский, которого Мережковский знал также с университетских времен, не был расположен к свободному общению. Полонский весьма ценил свой статус «живого классика» и с гордостью говорил, что если Достоевский ввел в русский язык слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную ночь». Слава Полонского действительно была велика: вместе с Фетом и Аполлоном Майковым они составляли в глазах читателей поколения Мережковского поэтический «триумвират», утвердивший в русской поэзии XIX века идеал «чистой красоты». Мережковский даже отдавал Полонскому предпочтение перед Фетом: по его мнению, «в лучших песнях» Полонского «больше сумеречного, безглагольно-прекрасного, похожего на откровения природы, чем в искуственно-филигранной и довольно слащавой лирике Фета». В своих пейзажных стихотворениях юный Мережковский учился у старшего поэта, «одного из немногих современных людей, сохранивших с природою древнюю, священную и таинственную связь». Перу Мережковского принадлежит обстоятельный разбор творчества Полонского.

Мережковский входит «в орбиту Полонского» уже в бытность того достаточно крупным «литературным чиновником»: с 1860 по 1896 год он служил в Комитете иностранной цензуры и в Совете Главного управления по делам печати. Статус «официального лица» (очень ему шедший) налагал отпечаток «респектабельности» на его быт и вкусы: нравы «литературной богемы» Полонский не терпел. Несмотря на то, что его имущественное состояние мало чем отличалось от «гордой нищеты» Плещеева в конце 1880-х годов («…Так же не богат, как Плещеев, – отмечала Гиппиус, – и даже в квартире, чуть получше плещеевской, почти такие же низкие потолки, – только и разницы, что она на самой вышке, на пятом этаже, а плещеевская совсем на тротуаре. И у Полонского в семье молодежь – юная дочь, сыновья студенты…»), он предпочитал приватным разговорам «по душам» – домашние литературные собрания, проанонсированные загодя в петербургских газетах, с обязательными «почетными гостями» (среди которых был и всесильный обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев) и запланированными выступлениями.

Мережковские становятся постоянными посетителями на этих знаменитых на весь город «пятницах» в квартире Полонского на углу улиц Знаменской и Бассейной, причем их принимали в кругу «избранных», в отдельной зале – как «печатающихся» литераторов (для прочих молодых гостей, преимущественно студентов и барышень, знакомых детей хозяина, выделялась другая комната).

«Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! – вспоминает Гиппиус. – Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре, в конце декабря, в день рождения Полонского, бывало столько любопытного народа, что казалось, „весь Петербург“ выворотил свои заветные недра».

Постепенно Полонский проникся расположением к молодой чете, особенно выделяя Гиппиус, которой как-то даже, в приливе откровенности, пожаловался на то, что современники не оценили его прозаические опыты, ничуть не уступающие (по его, Полонского, мнению)… тургеневским повестям и романам.

Оказалось, что он считал себя непризнанным прозаиком!

– Что – стихи! И Тургенев любил писать стихи. Прескверные, положим…

Тяжело поднявшись, опираясь на костыли, Яков Петрович подошел к книжному шкафу и достал неразрезанные экземпляры своих романов и повестей.

– Прочтите, прочтите, – ворчал он, делая на всех книгах нежные надписи. – Вот, сами судите. А как прочтете, – я вам и другие томы дам. И напишите мне, что думаете.

Гиппиус прочла: проза Тургенева – увы! – была много лучше. Однако написать это престарелому поэту она, конечно, не решилась. А он, воспряв духом, при виде такой заинтересованности со стороны «молодого поколения» действительно досылал в дом Мурузи новые неразрезанные «томы», сопровождая посылки длинными обстоятельными письмами, в которых излагалась история очередного романа вперемешку с негодующими жалобами на то, что и этот роман оказался недостаточно оценен.

Полонский был одним из немногих «старших» литераторов, который безоговорочно приветствовал выход первой книги стихов Мережковского «Символы» в 1892 году. Он даже прислал восторженное письмо в стихах! Эта поддержка дорогого стоила на фоне ядовитых критических отзывов, звучавших отовсюду (автора «Символов» обвиняли в «декадентстве» и «мистике»). «Этими стихами, – писал Мережковский в ответном письме, – Вы вознаградили меня за весь труд, который я употребил на книгу. Я сохраню этот листок, как драгоценность, дорогой Учитель!»

Сохранилось чудесное письмо, которое Мережковский и Гиппиус послали старому поэту, когда один из «вечеров-монстров» из-за болезни хозяина был отменен.

«Дорогой Яков Петрович! – писал Мережковский. – Мы

прочли в газетах, что у Вас вечер сегодня отменяется. Да к тому же и сам я болен – посылаю Вам следующие стихи:

Якову Петровичу Полонскому
26 декабря 1892 г.

Желаю от души, Полонский, мой Учитель,
Чтоб радость тихая вошла в твою обитель,
И сына Фебова, Асклепия, молю
Да немощь исцелит докучную твою.
Еще тому легка преклонных лет обуза,
С кем разделяет путь пленительная Муза —
Бессмертно-юная, и трижды счастлив тот,
Кто гимн свой до конца восторженно поет…
Чреду златых годов без горя и тревоги
Пошлите Якову Петровичу, о боги!..
Я верю, из друзей поэта ни один
Не позабудет дня священных именин!

Д. Мережковский».

Под этим приписано рукой Гиппиус: «От души поздравляю Вас, дорогой Яков Петрович, желаю Вам всего лучшего. Ваша сердцем Зин‹аида› Н‹иколаевна› Мережковская».

Возвращаясь к нашему повествованию, скажем, что весь новый осенне-зимний сезон 1891/92 года был у Мережковского целиком заполнен упорной работой над романом. Дело шло очень медленно, ибо та форма, которую избрал Мережковский для своего рассказа о событиях IV века, требовала огромной подготовительной работы с источниками. Подавляющая часть его публикаций этого времени – стихотворения и переводы в «Русском обозрении», сборниках «Нивы», «Труде». «Северный вестник», где также появились несколько стихотворений, почти не фигурирует в его жизни: в редакции шел процесс «смены власти», в котором Мережковский за неимением времени и желания участия не принимал (в 1893 году его публикаций в этом журнале не будет вовсе). Единственная крупная вещь – перевод «Антигоны» Софокла – появилась в четвертом номере «Вестника Европы» за 1892 год. Из сказанного можно сделать вывод о материальном положении нашего героя. Единственная надежда была на Гиппиус, усердно поставляющую беллетристическую продукцию для популярных журналов, и на отца, который, появляясь в Петербурге наездами, время от времени «подпитывал» скудный бюджет литературной четы. Отец же

весной 1892 года дал Мережковскому небольшую сумму, позволившую ему вновь вывезти жену, как всегда разболевшуюся в слякотное петербургское межсезонье, за границу на юг, на этот раз – в Ниццу.

Здесь, в отеле «Beau Rivege» они вновь встретились с семейством Плещеевых. «Вот уже больше месяца, как мы живем в Ницце в том же отеле, где и Плещеевы, – писал Мережковский 8 (20) апреля 1892 года П. И. Вейнбергу. – Время прошло лучше, чем мы ожидали. Делали множество прогулок в окрестностях. Все цветет. Было несколько совершенно теплых летних дней, теперь сделалось похолоднее. ‹…› Алексей Николаевич кряхтит и охает, и ходит с палкой, но, в сущности, его здоровье все по-прежнему. Разве что оглох и стал дряхлее. Его домашние скучают в Ницце, никуда не ездят ‹…› и рвутся в Россию». Это были последние «домашние» встречи Мережковских с Плещеевым. 26 сентября следующего, 1893 года Алексей Николаевич скончался в Париже без страданий, внезапно. Тело его было перевезено в Москву, где Плещеев и нашел вечное упокоение.

Но сейчас, в апреле 1892 года, жизнь «русской Ниццы» по-курортному беззаботна. Мережковский и Гиппиус побывали в гостях «в прелестной вилле эпикурейца-профессора Максима Ковалевского». Здесь они столкнулись с молодым человеком, студентом Петербургского университета Дмитрием Владимировичем Философовым. Гиппиус обратила между прочим внимание на то, что молодой человек был замечательно красив. Однако эта мимолетная встреча вскоре изгладилась из памяти. В Ницце Мережковские встречались также с известным беллетристом Петром Дмитриевичем Боборыкиным, только что издавшим свой самый знаменитый роман «Василий Теркин», и с популярным фельетонистом, редактором юмористического журнала «Осколки» (в нем начинал Чехов) Николаем Александровичем Лейкиным. Последний в компании трех «диких» купцов следовал в Венецию, что позабавило Мережковского («Лейкин – в Венеции – какое сочетание!»).

Сами Мережковские решили возвращаться в Россию морем – через Грецию (Афины) и Турцию (Константинополь) – в Одессу. Это была авантюра, конечно, – денег на такой «средиземноморский круиз» у них не было, и из Константинополя им пришлось ехать уже не на пассажирском, а на грузовом «угольном» пароходе. Но впечатления, которые Мережковский получил в двух древних мировых столицах, бывших к тому же местом действия его романа, с лихвой компенсировали все трудности морского пути.

А ведь поначалу «древняя земля Эллады» едва не

разочаровала его! «Меня встретили довольно противные лица туземцев, пыль, вонь и жара, – вспоминал он первую высадку на Корфу (очерк „Акрополь“). – Пошли непонятные драхмы, лепты и оболы вместо понятных и благородных франков. Я сразу почувствовал, что из Европы попал в Азию, но не в настоящую дикую Азию, а в полукультурную, то есть самую неинтересную. Черномазые греки напоминали мне петербургских продавцов губок в Гостином дворе. Солнце палило несносно. Я чихал и кашлял от белой, знойной пыли и был рад, когда опять выехал в открытое море и вольный ветер освежил мне лицо». В Афинах было не лучше. Мережковский упоминает «уродливые железные броненосцы, закоптелые от каменноугольного чада торговые пароходы, конторы, бюро, громадные сараи» в гавани Пирея, «душный вагон железной дороги, соединяющей Пирей с Афинами», «грязный, зловонный» афинский вокзал и невыносимую жару. «Кажется, – заключает Мережковский, – если бы я увидел теперь не только Акрополь, но собрание олимпийских богов, я бы остался бесчувственным и разве попросил бы бога-тучегонителя затмить это солнце».

Измученный и несчастный, он увидел священный холм Акрополя.

«Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял – скалы Акрополя, Парфенон, Пропилеи, и почувствовал то, чего не забуду до самой смерти.

В душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. Смешной заботы о деньгах, невыносимой жары, утомления от путешествия, современного, пошленького скептицизма – всего этого как не бывало. И – растерянный, полубезумный – я повторял: «Господи, да что же это такое».

Вокруг не было ни души. Сторож открыл ворота.

Я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным как никогда. Под отвесными лучами солнца надо было подниматься по раскаленной каменной лестнице между раскаленными стенами. Но это были те самые ступени, по которым шествовали в Акрополь панафинейские праздничные феории.

И, когда двери закрылись, мне показалось, что все мое прошлое, все прошлое человечества, все двадцать болезненных, мятущихся и скорбных веков остались там, позади, за священной оградой, и ничего уже не возмутит царящей здесь гармонии и вечного покоя. Наконец-то настало в жизни то, для чего стоит жить! И странно: как во всех очень важных, единственных обстоятельствах жизни, мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах. Я

смотрел и вспоминал. Все было родным и знакомым. Я чувствовал, что так и должно быть и не может быть иначе, – и в этом была радость.

Я всходил по ступеням Пропилей, и ко мне приближался чистый, девственный, многоколонный на пыльной побледневшей лазури полуденного неба, несказанно прекрасный – Парфенон…

Я вошел, сел на ступени портика под тенью колонны. Голубое небо, голубое море и белый мрамор, и солнце, и клекот хищных птиц в полдневной высоте, и шелест сухого, колючего терновника. И что-то строгое и сурово божественное в запустении, но ничего печального, ни следа того уныния, чувства смерти, которое овладевает в кирпичных подземельях палатинского дворца Нерона, в развалинах Колизея. Там – мертвое величие низвергнутой власти. Здесь – живая, вечная красота. Только здесь, первый раз в жизни, я понял, что такое – красота. Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался, – я был спокоен».

Два белых осколка мрамора с акропольского холма будут теперь всегда лежать на письменном столе Мережковского как напоминание об этом торжественном мгновении его жизни.

После лета, проведенного опять в «Глубоком», Петербург вновь встретил Мережковского изматывающей деловой суетой. Работа над романом вступала в завершающую стадию, и надо было думать, куда пристроить с таким трудом «выношенное» им «детище». Помимо того, были и статьи, и стихи, и переводы, которые все труднее «проходили» в редакции мало-мальски авторитетных изданий. Вокруг Мережковского в литературном мире Петербурга, где продолжали задавать тон «народнические» журналы, возникала незримая полоса отчуждения: выход «Символов» в издательстве Суворина, да еще с «вызывающим» эпиграфом из Гёте —

> Alles Vergangliche
> Ist nur ein Gleichniss, —

не прошел даром для репутации автора.

«Все преходящее, есть только Символ…» Это было непонятно читателям, воспитанным на реалистической поэзии предшествующей эпохи. «Трудно вообразить себе большую путаницу идей и понятий; на каждом шагу – противоречия, самые вопиющие, самые непростительные» – вот общий, не подлежащий обжалованию приговор критики начала 1890-х годов каждому вновь появляющемуся произведениюдекадента Мережковского. Это словечко «декадент», «упадник» тогда входило в моду: им

клеймили литературных «изгоев», забывающих славные традиции отечественной классики XIX века и ищущих, как полагало консервативное большинство читателей, легкой скандальной славы.

В этих трудных обстоятельствах неоценимую помощь оказывал Мережковскому председатель Литературного фонда – одной из самых влиятельных писательских организаций того времени – **Петр Исаевич Вейнберг.**

Вейнберг имел менее «звучное» литературное имя, нежели Плещеев и Полонский, однако его почитали, уважали, знали.[13] Это был, по словам Гиппиус, «душа всех литературных вечеров, хранитель „честного“ литературно-общественного направления»: «Настоящая, исконная „литературная среда“, хотя существовали тогда уже разные кружки, Шекспировский и „понедельничное“ Литературное общество, – была все же только у Вейнберга. Он жил один, очень скромно. В его „подвале“ на Фонтанке – маленькой квартирке у Аничкова моста – кого не встретишь! И не в отдельных писателях дело, а именно в атмосфере литературной, в среде».

«Но Вейнберг, так нежно, так верно любивший литературу старую, – продолжает Гиппиус, – так знавший и ценивший ее традиции, даже быт, интересовался и новым, и, пожалуй, более других. Он пытался схватить и понять, как умел, движение литературы во времени». Будучи председателем Литературного фонда, Вейнберг приглашал на его ежегодные вечера «декадентов» – Мережковских. «Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, „старую“ молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость, – пишет Гиппиус. – Примешивая к старикам более молодых, Вейнберг приучал к ним, мало-помалу, публику».

Петр Исаевич был одним из немногих литераторов «старой школы», оценивших первый роман Мережковского. У себя на квартире он устроил чтение глав из «Юлиана» – несомненный «жест» по адресу молодого «новатора». Поддерживал Вейнберг и другие литературные начинания Мережковского этого времени. «Дорогой Петр Исаевич, – писал Вейнбергу Мережковский, —

Я посылаю Вам «Медею».
О том весьма, весьма жалею,
Что «Антигоны» нет как нет.
«Отступник» шлет Вам мой привет.
«Эдип» внушает мне заботы,
Но не забуду я Субботы!

Ваш Д. Мережковский.

P. S. Пожалуйста, пригласите на вечер Субботний сегодня у Спасовича, если Вы ничего против этого не имеете, Кавоса (он весьма этого желает) и Флексера, который мне важен, как редактор».

Вейнберг приглашал, устраивал, ходатайствовал. В его покровительственных хлопотах за молодую литературную чету была, как замечала Гиппиус, доля старческого лукавства перед консервативной публикой: «Вот вам, не одни мы, послушайте-ка и новенького!»

«Новенъкое» впервые обрело свой собственный «голос» в той же зале Соляного городка, где проходили и вечера Литературного фонда. 8 и 15 декабря 1892 года Мережковский, решив окончательно «объясниться» с читателями и критиками по поводу «декадентства», прочитает здесь лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».

Эти дни и станут началом серебряного века.

* * *

В начале 1890-х, в первые годы своей жизни в доме Мурузи, Мережковский окончательно вырабатывает тот жизненный и творческий стиль, которого затем он неукоснительно будет придерживаться в любых обстоятельствах.

Он пишет по утрам – рано встает и после завтрака запирается в кабинете до полудня. Ровно в 12 часов – по выстрелу петропавловской пушки – бросает перо (Андрей Белый шутил, что пополудни неоднократно собственными глазами видел недописанные слова в рукописи Мережковского) и в любую погоду идет гулять. Два часа в одиночестве он кружит по городу; его маршруты постоянны и обязательно включают в себя Летний сад. После обеда – опять «кабинетное время», но теперь он готовится к завтрашнему утру: читает необходимую литературу и делает выписки. Книги он заказывает из Публичной библиотеки, университета и Академии наук. Объемы – гомерические, часто курьеры не справляются и вынуждены делать несколько ходок в день (за границей, в Германии, фолианты по истории Древнего мира будут возить ему на тачках). Предварительные заметки к его книгам и статьям в десятки раз превосходят окончательный текст. Очень скоро за ним прочно закрепится титул «короля цитат»: всё, написанное им, особенно – его исторические романы – уникальный сплав художественного и научного мышления.[14]

Вечером – визиты, гости, иногда театр или литературные собрания. На людях он подчеркнуто корректен, подтянут, собран. Затем – ужин и ранний сон.

Привычки его постоянны, и распорядок дня упорядочен настолько, что по нему можно проверять часы. В быту он очень нетребователен, но исключительно аккуратен и до педантичного точен: неряшество и неорганизованность его раздражают. Непрошеных визитеров он не переносит, препоручая все незапланированные контакты с «внешним миром» жене: «Зина! Ко мне пришел какой-то человек. Поговори с ним, я с ним говорить не могу». Вообще Гиппиус скоро оказывается *de facto* в роли его доверенного лица, управляющего, референта и секретаря, причем к ее собственной (и очень интенсивной) литературной работе он относится с патриархальной эгоистичностью – сказывается отцовская кровь.

Английская мудрость «мой дом – моя крепость», к сожалению, мало востребованная на русской почве, находит редкого приверженца в Мережковском. Это, впрочем, странным образом аукнулось ему уже во мнениях современников.

«Восторженный и чистый душою Мережковский, – пишет Суворину Чехов в 1892 году, – хорошо бы сделал, если бы свой quasi-гётевский режим, супругу и „истину“ променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше». Если уж Чехов, отнюдь не симпатизирующий «богеме», высказывал подобные рекомендации, что же говорить об остальных. И стоит ли удивляться тому, что Василий Васильевич Розанов, в общем расположенный к Мережковскому, весьма изящно объяснил «странности» «друга Мити» тем, что Мережковский не русский, а *европейский* писатель.

Это понравилось, и с легкой руки Василия Васильевича по бесчисленным страницам критических статей и литературоведческих исследований пошло гулять определение, ставшее своего рода «палочкой-выручалочкой» для каждого, натыкавшегося на «трудные моменты» в судьбе и творчестве Мережковского: он же европеец, а с европейца в России и спрос иной. Что возьмешь с европейца?

В конце концов возмутилась Гиппиус.

«Он был очень далек от типа русского писателя, наиболее часто встречающегося, – пишет она в воспоминаниях о муже. – Его отличие и от современников, и от писателей более старых выражалось даже в мелочах: в его привычках, в регулярном укладе жизни и, главное, работы. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью… я бы сказала – ученого. Он исследовал предмет, свою тему со всей возможной широтой, и

эрудиция его была довольно замечательна… Ему, конечно, много помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере – было полное отсутствие лени. Он, кажется, не понимал, что это такое. Все это вместе взятое и отличало его от большинства русских писателей, заставляло многих из них звать его „европейцем“. Гениальный самородок – писатель В. Розанов, русский из русских до „русопятства“ (непереводимый термин), для которого писание, как он говорил, было просто и только „функцией“, уверял даже, что, видя Мережковского на улице, когда он гуляет, каждый раз думает: вот идет „европеец“. Да, таким русским, как Розанов, сыном „свиньи-матушки“ (как называл Россию), – Мережковский не был. Но что он был русский человек прежде всего и русский писатель прежде всего – это я могу и буду утверждать всегда. Могу – потому что знаю, как он любил Россию, – настоящую Россию, – до последнего вздоха своего, и как страдал за нее…»

В этом споре о «русскости» или «европообразности» Мережковского (споре очень громком и по сей день), конечно, на первый взгляд немало странного. Действительно, можно ли, по крылатому суворовскому выражению, ставить под сомнение то, что Дмитрий Сергеевич «не немец, а природный русак», – потому лишь только, что он не пил запойно, много и систематически работал, обладал широким кругозором и знанием языков? И потом, нужно ведь учитывать: всю жизнь Мережковский живет своим трудом, все его благополучие (и не только личное, но и благополучие жены и ее родных) прямо зависит от его гонораров. А между тем, вплоть до конца 1900-х годов, его отношения с издателями, мягко говоря, не самые лучшие, так что литературное «ремесло» долгое время едва позволяло ему сводить концы с концами. «Это был русский – и, можно сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший – в крайней бедности», – пишет Гиппиус. Если судить по сохранившимся эпистолярным свидетельствам, особого преувеличения здесь нет.

«Теперь мы в ужасном, небывалом положении, – сообщает Гиппиус в одном из писем 1894 года. – Мы живем буквально впроголодь вот уже несколько дней и заложили обручальные кольца» (в следующем письме она сетует, что… не может пить прописанный врачами кефир, – нет денег).

Сам Мережковский, все время занимавший и перезанимавший мизерные суммы у состоятельных знакомых, искренне ликует, получив значительную ссуду у П. П. Перцова: «Теперь, по крайней мере, благодаря Вашей помощи я могу спокойно работать несколько месяцев, а это уже много для меня

значит». В письме издателю «Скорпиона» С. А. Полякову он, оговорив условия, застенчиво прибавляет в конце: «…Нельзя ли мне выслать по возможности все деньги за обе книги или теперь же в июле, или в течение августа… Дело в том, что я собираюсь поехать на сентябрь в Крым, чтобы немного отдохнуть и поправиться, и эти деньги мне нужны для поездки… Пожалуйста, окажите мне эту услугу! А я со своей стороны готов всячески стараться для „Скорпиона“» (заметим, что писано сие в 1903 году, когда Мережковский становится известен не только в России, но и за рубежом).

«Он очень радовался, когда удавалось пристроить ту или иную книгу в какой-нибудь стране, – пишет Гиппиус, – радовался и тому, если за нее хорошо было заплачено (постоянной нашей бедностью он очень тяготился, выдавать его за особого героя или святого, довольного своей нищетой, я вовсе не намерена)».

Он живет своим трудом, количеством написанного, но, заметим, не превращается в ремесленника, более того – никогда не позволяет себе работать «на публику», заниматься тем, что сейчас называют туманным словом «конъюнктура», а в добрые советские времена звали попросту «халтурой».

«Литературная политика создавала ему врагов, особенно в петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видел писателя менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще» (М. А. Алданов). Он всегда искренно увлечен разрабатываемой тематикой, может часами говорить о том, над чем сейчас работает. (Чем, кстати, также раздражает «братьев-писателей». Это сразу заметил во время своих первых визитов в петербургские литературные салоны проницательный Брюсов, не без злорадства фиксировавший в дневнике: «…Говорят, это… лучший вечер, ибо не было Мережковского. А то он терроризирует все общество… Старики молчат, боясь, что он забьет их авторитетами и цитатами, ибо они не очень учены, старички-то; молодежь возражать не смеет и скучает…») «Работник он был необыкновенный, – вспоминает Алданов. – Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень редко позволял себе две-три недели отпуска, где-нибудь в теплых краях». «Его производительная способность феноменальна», – подтверждает и В. А. Злобин.

Нет, конечно, было бы странно отказывать Мережковскому в «русском начале» только потому, что он умел и любил работать, и если бы только в этом было дело, то о жупеле «европейца» не стоило бы и говорить. Однако очень существенно, что за насмешками над «quasi-гётевским режимом» Мережковского

скрывается и неприятие идейной позиции, которую он занимал в 1890-е годы.

А это куда серьезнее.

Этот «интеллектуал» и «европеец» неоднократно конфликтовал с окружавшей его творческой интеллигенцией, как «традиционалистской», так и «декадентской», из-за излишнего, по общему мнению… «русофильства». «Я глубоко Русский, Вы глубоко Еврей, – пишет он в 1891 году А. Л. Волынскому. – Существует какая-то странная, необъяснимая и, как Вл. Соловьев верно говорит, „зоологическая“ сила, которая отталкивает семитическую и арийскую расы и вместе с тем притягивает их друг к другу. Поймите: Евреи как великий, страдальческий и несправедливо гонимый народ привлекает меня, как мне чуждый, далекий и вместе с тем бесконечно близкий: своей мистической верой в Божественную Тайну… Но когда дело касается темперамента, литературных вкусов и суждений, не содержания, а формы мыслей, тех прирожденных симпатий и антипатий, неуловимых и бесконечно значительных оттенков духа, которые определяют национальность, я чувствовал, что Вы от меня уходите, я чувствовал, что мы чужие, мне казалось, что мы говорим на двух разных языках и это мне тем более прискорбно, тем более меня раздражало, что другой стороной Вашего существа Вы были мне близки». Конфликты «на национальной почве» у него возникали даже с Гиппиус, в общем, весьма далекой от «интернационализма» русской демократической интеллигенции, – отсюда и странный «грех патриотизма», вменяемый ею герою «Последнего круга»:

Равно я все народы ненавидел,
В их поведенье разницы не видел,
Один лишь только признавал я – свой.
И как иначе? Это был ведь мой.
Всему, что в нем, искал я оправданья:
Войне, жестокости и окаянству,
В которое, от духа рабства, впал он.
Я говорил: ведь это от незнанья.
А все же прав он, и в большом и малом,
Пускай мы с ним разделены пространством,
Я знаю, что он прав, как прав и я.

Последние слова Мережковского, сказанные на земле, – завершение вечернего спора с женой о России и свободе: «Мы с тобою по-разному любим. Я как Блок: „Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне“. Ты этого не понимаешь». О

«патологическом патриотизме», «извращенной, неразумной, слепой» любви к родине он много пишет, конечно, не понаслышке, в книге о Данте. А много раньше, в эпоху «первой эмиграции» в 1906 году, узнав о решении Л. Н. Вилькиной вернуться из Парижа в Петербург, он радостно приписывает в послании к ней: «Мне нравится, что Вы так любите Россию, несмотря ни на что. Тут Вы хотя и „жидовка“, а настоящая русская». «Комплимент», конечно, что и говорить, – весьма сомнительный, но очень в духе Мережковского.

В его критических статьях, посвященных творчеству современников, – постоянные упреки в «беспочвенничестве». «Ах, шутники, шутники! – восклицает он по адресу Вячеслава Иванова и „мистических анархистов“. – С луны свалились, что ли? В России ли жили, знают ли, что такое Россия? А если знают и все-таки верят в то, что говорят, то, видно, знать не хотят, – нет им до нее никакого дела: погибай Россия…» («Асфодели и ромашка»).

Вплоть до мировоззренческой катастрофы 1905 года его позиция – твердый, здравый патриотизм русского интеллектуала-государственника, равно далекий как от верноподданических шовинистических восторгов, так и от интеллигентского анархического нигилизма. Как наследник великой культуры, созданной русским народом, он знает себе цену именно в качестве «русского человека» и «русского писателя», он обладает национальным достоинством в лучшем смысле этого слова.

Среди радикалов всех мастей – от оголтелых «русофилов» до не менее оголтелых «русофобов» – подобная позиция, конечно, вызывала раздражение (в этом Мережковский прямо повторяет судьбу Достоевского).

Но было и еще более глубокое расхождение Мережковского с большей частью его современников.

* * *

В 1903 году Чехов, отклоняя предложение С. П. Дягилева о сотрудничестве в журнале «Мир искусства», среди существенных аргументов отказа приводит следующий: «…Как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

Если «русская тема» у Мережковского вызывала в его отношениях с коллегами и читателями «драматические» коллизии, то его христианство порождало коллизии трагедийные.

Зинаида Гиппиус утверждает, что сознательный «поворот к христианству» начался в Мережковском уже в период работы над романом «Юлиан Отступник» (то есть – в 1890 году), и далее поясняет: «…Все работы Дмитрия Сергеевича, отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны – плоский материализм старой „интеллигенции“ (невольно и меня толкавший к воспоминаниям о детской религиозности), все это вместе взятое, да, конечно, с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., – не могло не привести его к религии и к христианству». Уместно вспомнить и свидетельство А. Н. Плещеева в письме к Суворину от 16 февраля 1891 года: «Мережковский делается все скучней и скучней – он не может ни гулять, ни есть, ни пить без того, чтобы не разглагольствовать о бессмертии души и о разных других столь же выспренних предметах».

«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге… Что ж делать, если говорится о Боге?… Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?… Нет, умники не смутят меня тем, что я не достоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет на это право». Приведя эти гоголевские строки, Мережковский в своем «исследовании» 1906 года («Гоголь и черт») пишет: «Вот и до сей поры никем не опровергнуты: неопровержимая правда, правота Гоголя. **Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действенно – так, как еще никто никогда не говорил в русском светском обществе.** Правду или не правду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего, русского всемирного спасения. «Дело идет теперь не на шутку», – предостерегает он, и для него это действительно так. Мудрость ли это или безумие – он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил. В духовном завещании обращается к «друзьям своим», то есть ко всем русским людям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Это последние слова Гоголя, обращенные к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью».

К этому мы, в свою очередь, можем добавить, что смысл жизни самого Мережковского также полностью раскрывается теми же словами.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; **ибо без Меня не можете делать ничего»** (Ин. 15, 4–3) – вот что понял в русской литературе сразу вслед за Гоголем Мережковский, не «умом», разумеется, только, а, наверное, всем существом, «порами», как он сам говорил.

В знаменитом открытом письме Н. А. Бердяеву – статье «О новом религиозном действии» (1905) – Мережковский говорит о двух взаимосвязанных элементах своей «проповеди», двух ее «тайнах»: **тайне религиозного сознания и тайне религиозного действия.**

«Первая тайна» «почти две тысячи лет тому назад сделалась откровением; но откровение это ныне для нас опять сделалось тайной; это откровение и тайна в том, что человек Иисус, распятый при Пилате Понтийском, был не только Человек, но и Бог, истинный Богочеловек, Единородный Сын Божий, что „вся полнота Божества обитала в Нем телесно“ и что „нет иного имени под небом, коим надлежало бы нам спастись“». **Исповедание Иисуса Назарянина Христом – основа «нового религиозного сознания» Мережковского.**

Чтобы ясно представить «новизну» этой «тайны Мережковского» для его интеллигентных современников, стоит вспомнить письмо Достоевского Н. Д. Фонвизиной, содержащее знаменитое *credo* Федора Михайловича: «…Бог посылает мне минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа‹ти›чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Необыкновенная эмоциональная сила выражения, завораживающая любого читателя Достоевского, мешает видеть допущенную им смысловую ошибку при проставлении на место имени Иисуса – слова «Христос», являющегося в догмате определением. Человек Иисус может быть «вне истины», но вочеловечившийся Бог (то есть – Христос) вне истины быть не может, ибо Он Сам и является воплощенной Истиной. Вряд ли Достоевский хотел сказать, что при возможном доказательстве, обнаруживающем Истину вне истины, ему, Достоевскому, «лучше

хотелось бы оставаться с Истиной, нежели с истиной» – в силу очевидной нелепости подобного высказывания. Очевидно, речь шла о том, что этическая и эстетическая привлекательность человека Иисуса для Достоевского столь велика, что даже при обнаружении Иисусовой идейной неправоты Достоевский все же оставался бы с Иисусом. Такая позиция Достоевского делала его «религиозную проповедь» вполне открытой для «секу-лярных» интеллигентских споров о том, кто из «учителей жизни» **более прав** – Герцен, Бакунин, Нечаев, Маркс или… Иисус из Назарета. **Христианство виделось подавляющему большинству современников Мережковского этической доктриной и, естественно, в качестве таковой обладало относительным, «дискуссионным» характером.**

Ставя прежде всего в христианстве исповедание Иисуса – Христом, Мережковский сразу же сжигает тем самым все привычные мосты, ведущие к диалогу с интеллигентным читателем. Не в том дело, «симпатичен» ли нам Иисус или не «симпатичен», «принимаем» ли мы «с высоты» нашего бытового, политического, научного опыта Его заповеди или «не принимаем», – а в том, что вне Него собственно жизнь как человека, так и человечества не состоится ни «метафизически», ни «эмпирически», ни «там», ни «здесь». **«Другой» жизни, «жизни без Иисуса Христа» – нет, а есть только смерть: «там» – ад, «здесь» – ад земной, то есть не жизнь, а агония, «помойка», «мерзость запустения», начинающаяся в историческом, земном времени, а затем продолжающаяся в вечности.**

«Вторая тайна» Мережковского есть сугубо практический вывод, обращенный ко всем, устрояющим в «прогрессивном» XX веке свое и других существование: коль скоро хотя бы «здесь», в земном бытии, – о жизни вечной, всегда тайно желаемой нами, уместнее будет целомудренно умолчать, – вы хотите жить, а не «агонизировать», любые ваши действия должны воцерковиться. **Все позитивные творческие усилия в любой сфере жизнедеятельности – от повседневного быта до большой политики – должны быть прежде всего направлены на воцерковление предпринимаемого шага.** Иначе, как и предупреждал Христос, никто не сможет «делать ничего». Все будет с безнадежной неизбежностью превращаться в ужас и тлен, и самые благие намерения, безукоризненные как с «этической», так и с «эстетической» стороны, окажутся пресловутыми камнями, мостящими дорогу в ад.

Весь смысл «проповеди Мережковского» заключается в настойчивом повторении предупреждения: **грядущая эпоха крайне опасна!** Успехи науки и техники дают в руки человека XX

века огромную, невероятную мощь, но духовное состояние его удручающе неразвито. Христианская Церковь чем дальше, тем больше воспринимается прагматическим массовым сознанием как «пережиток старины», а Ее учение – учение Христа – отвлеченным идеализмом, неприменимым к разрешению насущных проблем повседневной жизни. Понятие «греха», влекущего за собой обязательное наказание, утрачивается. Еще немного – и появятся безбожный политик, сосредоточивший в своих руках необъятную власть благодаря невиданным общественным технологиям, безбожный ученый, имеющий доступ к беспредельно-мощным энергиям, безбожный военный, располагающий оружием, затмевающим все прежние средства поражения, безбожный торговец, оперирующий мировыми финансовыми структурами. И не надо строить иллюзий: никакой «альтернативной» христианству позитивной идеологии человечество «из себя» не выработает. Альтернатива христианству только одна – сатанизм, облеченный в самые разные идеологии и политические доктрины, но ведущий всегда к несправедливости, насилию и гибели.

В 1848 году гоголевское восклицание – «Соотечественники! Страшно…» – прозвучавшее со страниц «Выбранных мест из переписки с друзьями» после подобных рассуждений и как естественный итог наблюдений писателя над состоянием дел в России, вызвало у «соотечественников» саркастический смех, ибо сколько-нибудь внятных оснований для «страха» никто, кроме самого Гоголя, не видел. В эпоху Мережковского иронизировать стало труднее – печальный опыт переустройства российской жизни «вне Христа», по разумению передовой интеллигентской общественности, приведший в конце 10-х – начале 20-х годов XX века к прямым кошмарам в духе Босха и Пикассо, значительно убавил ее гуманистический оптимизм. По крайней мере, Г. П. Струве, создавая свою историю «русской литературы в изгнании», упомянул среди прочего и о том, что у Мережковского «были некоторые основания смотреть на себя, как на пророка, которого просто не услышали».

«А мир-то все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и, как знать, не останется ли Он в ужасном одиночестве? – говорил мне намедни умный и тонкий человек, до мозга костей отравленный чувством Конца, но, кажется, сам того еще не знающий, хотя постоянно уже думающий о Христе или только кружащийся около Него и обжигающийся, как ночной мотылек, о пламя свечи; говорил, как будто немного стыдясь чего-то, – может быть, смутно чувствуя, что говорит просто пошлость, – вспоминал Мережковский в прологе к „Иисусу Неизвестному“. – Ах, бедный друг мой, ночной мотылек, обжигающийся о пламя свечи, вы

только подумайте: если нам суждено увидеть новую победу над христианством человеческой пошлости и глупости, а самого Христа в еще более „ужасном одиночестве“, то кем надо быть, чтобы покинуть Его в такую минуту; не понять, что ребенку понятно: все его покинули, предали, – Он один, – тут-то с Ним и быть; тут-то Его любить и верить в Него; кинуться к Нему на встречу, Царю Сиона кроткому, ветви с дерев и одежды свои постилать перед Ним по дороге и, если люди молчат, то с камнями вопить:

ОСАННА! БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДУЩИЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!»

* * *

«Поворот к христианству», происшедший в творчестве Мережковского в начале 1890-х годов, и размышления над проблемой «нового религиозного действия» привели его к изменению взглядов на задачи художественного творчества. Как уже было сказано, грядущая эпоха, сочетающая техническое могущество с духовной скудостью, отчетливо виделась ему апокалипсическим кануном всемирной истории: отпавшее от христианства, духовно «одичавшее» человечество двигалось, по мнению молодого писателя, к мировой катастрофе, тотальному взаимоуничтожению. Катастрофу эту предотвратить было можно, единственно изыскав средства к реальному возрождению и активному действию христианства в общественной жизни. Церковь должна стать действенным и главным орудием в организации общественного бытия. Но для этого христианское вероучение должно вновь стать актуальным в сознании масс, должно быть адаптировано к повседневным проблемам быта.

Эту грандиозную духовную работу по изменению отношения общества к Церкви, работу по «воцерковлению» современного постиндустриального мира и должно было, по мысли Мережковского, взять на себя искусство нарождающегося XX века, причем – именно русское искусство.

«Русским людям нового религиозного сознания, – писал он, – следует помнить, что от какого-то неуловимого последнего движения воли в каждом из них – от движения атомов, может быть, зависят судьбы европейского мира, что как бы они сами себе ни казались ничтожными… – все-таки от наследия Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевского нельзя им отречься безнаказанно именно теперь, когда это наследие всего нужнее…»

Русскому искусству, таким образом, ставились новые и воистину грандиозные задачи. До сего момента отечественный

художник если и видел себя «учителем жизни» (как, например, Белинский или «шестидесятники»), то преимущественно в сугубо социальном и национальном масштабе. Теперь же русское искусство становилось средством духовной агитации, инициируя процесс возрождения «нового христианского сознания» во всем мире.

Это была воистину модернистская постановка вопроса: серебряный век русской литературы начинался.

Впервые о новых задачах русского искусства Мережковский заговорил в лекциях, объединенных общим (и весьма «наукообразным») названием – «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Читаны эти лекции были, как уже говорилось, 8 и 15 декабря 1892 года в аудитории Соляного городка (в здании нынешней Государственной художественно-промышленной академии имени барона А. Л. Штиглица). Даты, конечно, выбраны не случайно – поклонник декабристов Мережковский ощущал себя революционером, «выходящим на площадь», чтобы сказать «новую истину».

Свое выступление (в начале 1893 года текст будет опубликован в одноименном сборнике критических работ Мережковского) он начал с констатации того факта, что интерес русских читателей к современной литературе в целом – резко падает. Происходит это потому, что отечественные литераторы не понимают (и, большей частью, не хотят понять) высшее, провиденциальное назначение русского искусства, угаданное великими предшественниками – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, – быть инициатором и организатором позитивного идеального бытия личности, пробуждать в читателях «высокие порывы духа», ведущие, как это легко понять, к действенной религиозности. Главными темами для великой русской литературы минувшей эпохи всегда были темы духовные – сейчас же «все поколение конца XIX века носит в душе своей… возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце». Следовательно, художник, желающий преодолеть «упадок», возникший в российской культуре, должен сознательно, говоря словами Мережковского, расширить свою «художественную впечатлительность», перейти от тем «бытовых» к «высоким», связанным с «непознаваемым мировым началом» (религиозную терминологию Мережковский, по понятным причинам, заменяет нейтрально-философской).

Произведения «новой литературы», утверждал Мережковский, должны быть мистическими по содержанию. О чем бы ни говорил писатель, он должен видеть за внешним, случайным, частным

присутствие вечного идеального бытия, отношение к которому в конечном счете и решает судьбу как отдельного человека, так и всего мира. В области же формы такое произведение должно быть символическим, ибо передать информацию о «непознаваемом», «идеальном» можно только способом косвенного обозначения, намеком, иносказанием.

Так, с легкой руки Мережковского, в русский обиход был пущен термин **«символизм»,** которым очень скоро начали активно пользоваться как сторонники, так и противники «нового искусства».

Доклад Мережковского наделал много шума: о «символизме» заговорили как в столичной, так и в провинциальной печати, причем, как это всегда бывает, большинство было настроено весьма консервативно. Либерально-демократический лагерь тут же опознал в программе Мережковского элемент «мракобесия». В петербургских литературных салонах к молодому писателю относились презрительно-насмешливо – как к чудаку или мистификатору, вздумавшему эпатировать общество («Здесь многие считают его даже немного тронутым», – сообщал одному из своих друзей юный тогда П. П. Перцов, будущий издатель журнала «Новый путь»). Некоторые издания позволяли себе откровенное хамство, рассуждая о «дурачках четвероруких, карабкающихся на кафедры, чтобы нас учить…».

Но у Мережковского в начале 1890-х годов был и круг сторонников, хотя и немногочисленных. Прежде всего это относится к так называемой «молодой редакции» «Северного вестника».

На рубеже десятилетий в этом журнале, – где, как мы помним, Мережковский был «своим автором» еще с момента основания, – произошел настоящий переворот.

Прежние издатели, рассорившись с Н. К. Михайловским (тот перешел из «Вестника» в журнал «Русское богатство»), в конце концов, растеряв большинство подписчиков, вынуждены были объявить о продаже журнала. Этим воспользовалась группа молодых литераторов, активно сотрудничавших в журнале в конце 1880-х годов – и с мая 1890 года «Северный вестник» переходит в руки группы «пайщиков»: Б. Б. Глинского, А. А. Кауфмана, М. И. Свешникова и др. «Контрольный пакет» принадлежал дочери известного петербургского педагога, писательнице и переводчице Л. Я. Гуревич, которая передала свои права философу и критику **Акиму Волынскому.**

Это решило дело.

Волынский (настоящее имя – Хаим Лейбович Флексер) развил вполне макиавеллистскую деятельность, в результате которой Б.

Б. Глинский (впоследствии – известный «нововременский» публицист), занимавший сначала место редактора, в 1891-м вынужден был уйти из «Северного вестника», оставив в подшивке документации элегическое четверостишие:

Где порывы исполинские?!
Мне судьбина доказала,
Что, увы, отнюдь не Глинские
Создают успех журнала.

Место Глинского заняла Л. Я. Гуревич, и Волынский получил журнал в полное и безраздельное владение.

Аким Волынский был одним из самых выдающихся мыслителей «первого поколения» писателей серебряного века. Юрист по образованию (он завершил Петербургский университет со степенью кандидата права), Волынский еще в студенческие годы увлекся философией и литературной критикой, активно участвовал в работе кружка О. Ф. Миллера (где и познакомился с Глинским и Мережковским), был знатоком Спинозы и Канта и в то же время – убежденным сторонником «левых» взглядов. По его мнению, крушение революционных попыток интеллигенции в «эпоху реформ» и торжество консервативных настроений в царствование Александра III было обусловлено односторонностью прогрессивной идеологии, косностью позитивизма и материализма 1860 – 1870-х годов. Своей главной задачей он считал углубление первооснов русского прогрессизма за счет введения в обиход идеалистических концепций немецкой философии. Говоря иначе, Волынский пытался соединить «фригийский колпак и Евангелие», революционную идеологию и религиозную метафизику. Л. Я. Гуревич была его восторженной поклонницей.

В обновленном «Северном вестнике» Волынский выступил с целой серией статей (позже составивших его книгу «Русские критики»), в которых подверг решительной ревизии взгляды прежних отечественных идеологов «партии прогресса» – Белинского, Добролюбова, Чернышевского и Писарева. По ядовитому замечанию Г. В. Плеханова, Волынский устроил для вождей русской демократической интеллигенции нечто вроде «философского трибунала», допрашивая их:

1. Всегда ли признавал подсудимый некоторые философские понятия «известного идеалистического типа»?

2. Всегда ли он был достаточно твердо убежден, что критика должна быть философской, а не публицистической?

«Если за подсудимым оказываются кое-какие проступки на

этот счет, – иронизировал Плеханов, – то с нашим автором немедленно начинается истерика. Он на разные голоса кричит о Боге, о небе, о вечности, об истине, о красоте, о поэтической идее и прочих возвышенных предметах».

Эффект от выступлений Волынского был совсем не тот, какого ожидал автор. Вместо благодарности «реформатору» деятели либеральной демократии (прежде всего – Н. К. Михайловский, по иронии судьбы и пригласивший некогда Волынского в журнал) подвергли его бойкоту. Зато «идеалисты и метафизики» всех мастей, отвергнутые либеральной прессой, стали стекаться под знамена «Северного вестника».

Волынский тяжело переживал происшедшее недоразумение. В письме А. А. Давыдовой он писал о «интриге, недостойной порядочных людей», которую ведут против него «г. Михайловский и его друзья»: «Мне обидно за тех русских писателей, которые вместо того, чтобы помогать, руководить, вдохновлять, занимаются позорной травлей людей, воспитывавшихся на их собственных произведениях». Однако *de facto* журнал Волынского и Гуревич становится своеобразным форпостом русского модернизма. Постоянными сотрудниками журнала были Н. М. Минский, З. А. Венгерова, Федор Сологуб, К. Д. Бальмонт. В «Северном вестнике» были опубликованы знаменитый дневник Марии Башкирцевой, переводы д'Аннунцио, Мориса Метерлинка, Гауптмана, Ибсена.

В этом контексте Мережковский с его проповедью новых задач русского искусства до поры до времени выглядел вполне органично. «От всей души благодарю Вас, любезный Борис Борисович, за Ваше любезное приглашение, которым, конечно, с удовольствием воспользуюсь, – писал 15 июля 1890 года Мережковский Б. Б. Глинскому, приславшему приглашение о сотрудничестве в обновленном журнале. – В настоящее время я занят большой поэтической работой, так что маленьких вещей у меня не имеется, но при первой возможности пошлю Вам что-нибудь. Вообще буду считать за честь быть в числе сотрудников Вашего журнала. Жена моя поручила мне поблагодарить Вас за Ваше приглашение: она тоже непременно даст что-нибудь».

Доклад «О причинах упадка…» был признан в кругах литераторов «Северного вестника» «манифестом», а понятие «символизма» стало девизом, объединяющим в 1890-е годы всех «борцов за идеализм» (по выражению Волынского).

Однако очень скоро выясняется, что, сходясь на формуле: символизм – литература, которая говорит о религии и религиозной проблематике, большинство символистов «Северного вестника» (а также и примкнувшая вскоре к ним

«московская группа» во главе с В. Я. Брюсовым) вкладывают в эти понятия содержание, отличное от того, что имел в виду Мережковский.

Так, например, поэт и философ Н. М. Минский – старый знакомец Мережковского, некогда автор нашумевших «гражданских» стихотворений и поэм, а теперь адепт «чистого искусства» – полагал единственно возможной для образованного человека в эпоху научно-технического прогресса религиозность, близкую к учению гностиков, с его пониманием Бога как «абсолютного небытия», «мэона». Федор Сологуб тяготел к шопенгауэровскому учению о внечеловеческой «мировой Воле», отрицающей традиционные представления христианской этики. Брюсов и Бальмонт исповедовали «ницшеанский» эгоцентризм, которому придавали сакральное значение. Даже Гиппиус отнюдь не разделяла «увлечение Мережковского Христом» (по ее собственному выражению). «Минский сотворил себе кумира из себя, – пишет она З. А. Венгеровой, подытоживая споры, которые велись в это десятилетие в кругах „Северного вестника“. – Это полное безбожие и провал. Дмитрий Сергеевич сотворил себе кумира из Христа. Это близко к правде, ибо Бог – не я, это его первое условие. А я не хочу творить кумира, я ищу одна это направление от меня и не ко мне, а ко Христу иду лишь как к Учителю, и Он идет со мной».

Таким образом, Мережковский, изначально связывающий мистику символизма с христианством, оказывается и здесь в одиночестве. Справедливости ради надо сказать, что на первых порах существования «новой школы» русского искусства его понимание христианского вероучения было достаточно «умозрительным», мало связанным с практикой реального бытия какой-либо христианской конфессии (православной, католической или протестантской).

* * *

Идейная эволюция Мережковского в 1890-е годы получила очень яркое отражение в его художественных произведениях этой поры, прежде всего в его знаменитой «трилогии» «Христос и Антихрист» (романы «Юлиан Отступник», 1895; «Леонардо да Винчи», 1900; «Петр и Алексей», 1904).

Знаменательно, что непосредственно в канун начала работы над «трилогией» (первые наброски романа о Юлиане относятся к лету 1890 года) Мережковский переживает «жанровый кризис». Поэзия больше не привлекает его: за книгой «Стихотворений»

(1888) и «Символами» (1892) в появлении стихотворных сборников следует шестилетний перерыв – до «Новых стихотворений» (1896), очень небольшой по объему книжки, составленной в основном из философской лирики. Позже он признается В. Я. Брюсову, что с некоторых пор ему «стихи чем-то лишним кажутся. Мне пищу для души подавай, а стихи что, детское».

На рубеже 1880-1890-х годов он вдруг увлекается переводами древнегреческой драматургии, «отдыхает душой», как сам признается в письмах актрисе М. Н. Ермоловой.

«Я только что перевел „Ипполита“ Еврипида… – сообщает ей Мережковский летом 1892 года. – Если бы Вы знали, что это за красота!.. Что бы там ни было, я верю, что возможно истинное возрождение греческого театра… Мы живем накануне упадка реалистического искусства, накануне нового, еще невиданного великого идеализма. Реализм утомил всех, он дошел до абсурда – до грубого, бессердечного и, главное, скучного натурализма… Нужен какой-то необычайный, великий порыв, чтобы спасти Красоту, Искусство от того варварства и пошлости и самодовольной позитивной тупости, которые надвигаются на нас.

И вот греки – величайшие идеалисты… Они так же сильны, так же глубоко знают жизнь, и сердце человеческое, и ужас жизни, и бездну сердца человеческого, как и Шекспир.

Воскресить Греческий Театр (который до сих пор – тайна) – значит воскресить идеализм, чистейший и бессмертный идеализм среди царства… оперетки».

Однако понимания ни у издателей, ни у постановщиков он не встретил: как выразился один из редакторов, на суд которого был представлен в 1891 году свежепереведенный «Скованный Прометей», переводы Мережковского были «слишком ярким классическим цветком на тусклом поле современной русской беллетристики».

– Но тем лучше, что яркий! – удивился Дмитрий Сергеевич.

– Помилуйте, мы в общественной хронике все время боремся против классической системы воспитания, и вдруг целая трагедия Эсхила…

Впрочем, античные переводы Мережковского все-таки были востребованы тяготеющим к «академизму» «Вестником Европы» и ныне составляют гордость русской школы художественного перевода.

Но уже с конца 1891 года, по мере «углубления» Мережковского в работу над «Юлианом Отступником», и переводы, как и ранее стихотворения, постепенно отступают на второй план.

Мережковский находит свою художественную форму и, главное, находит своего героя.

До сих пор не совсем ясно, каким образом его заинтересовала эпоха, почти невозможная, невиданная в тематике отечественной словесности, – Византия, IV век по Рождеству Христову (возможно, опять-таки помогли греческие переводческие штудии).

Император Юлиан, внук Константина Великого, царствовал всего три года (он погиб во время парфянской войны в 363 году), однако это царствование вошло в историю как самая яркая попытка волевого действия «против течения» исторического хода вещей: Юлиан, один из образованнейших людей своего времени (он прошел курс наук в Афинском университете и обладал блестящим литературным дарованием), попытался восстановить в Восточной империи эллинское язычество, потесненное торжествующим после миланского эдикта 313 года христианством. Попытка эта, заранее обреченная на провал, принесла Юлиану прозвище «Апостаса» (отступника), а его предсмертные слова «Ты победил, Галилеянин!» – вошли в свод «исторических речений».

Юлиан в романе Мережковского (заметно отличающийся от своего исторического прототипа) был идеальной фигурой для изображения той ситуации, в которую на рубеже 1880-1890-х годов попадает наш герой. Признавая высокую духовную красоту христианской проповеди, Юлиан не может принять ее, ибо практическое воплощение заповедей христианства кажется ему тотальным отрицанием чувственной, «плотяной» жизни, организация которой в языческой античной культуре достигла высокой гармонии. Трагизм его положения в том, что любой из возможных вариантов выбора между «духовностью» христианства и «плотской» гармонией язычества, по совести, не может принести ему полного удовлетворения. Его идеал – синтез духа и плоти, такое состояние бытия, при котором плотская жизнь была бы одухотворена настолько, что духовные идеалы могли бы беспрепятственно воплощаться в повседневности. Величие Юлиана – как следует из романа – в том, что он нашел в себе силы попытаться этот идеал осуществить на практике. Ничтожество же – в его непонимании чудесной природы подобного синтеза, неосуществимого только человеческими силами, без помощи того Бога, борьбу с Которым Отступник сделал своей главной задачей. Это понимает мудрая подруга императора Арсиноя. «Я знаю, – говорит она Юлиану во время их последней встречи, – ты любишь Его. Молчи, – это так, в этом проклятье твое. Какой ты враг Ему? Когда твои уста проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против

имени Его, – ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто твои враги, а не Он».

Позже «духовными близнецами» Юлиана в поисках гармонии «духа» и «плоти» «на земле, как на небе» станут все, без исключения, главные персонажи Мережковского: Леонардо, Петр, Александр I, Рылеев, Пестель, Наполеон, Франциск Ассизский, Жанна д'Арк, Августин, Павел, фараон Эхнатон, Лютер, Кальвин, святая Тереза Авильская, святой Иоанн Креста и, наконец, героиня последнего (неоконченного) романа – Маленькая Тереза Сердца Иисусова.

Это не однообразие и «самоповторение», как часто упрекали Мережковского его строгие (и большей частью) пристрастные критики. Это – сознательное настойчивое стремление укоренить в мировом литературном контексте XX века образ, который, как считал Мережковский, символизирует собой деятельную практическую христианскую религиозность – единственное, что может противостоять надвигающемуся одичанию «цивилизованного мира».

«Метафизическое» содержание этого образа восходит к христианскому провиденциализму.

Провиденциализм – христианская философия истории – говорит об историческом процессе как о возможном, но не обязательном состоянии человечества. **Человек создавался Богом не для исторического бытия с его жестокостью, страданиями и неизбежной смертью.** Назначение человека – прославление своего Творца в вечной любви к Нему. Родина человечества – рай, находящийся вне времени и пространства. Однако первые люди, наделенные главным даром Творца, поставившим их выше всех других творений, – свободой, употребили этот дар для того, чтобы ослушаться Бога, для грехопадения. Тогда-то и возникла история: люди были изгнаны из вечного и бесконечного рая в «земное» время и пространство, в страдания и смерть. Сделано это было для того, чтобы люди научились пользоваться даром свободы правильно. Человек свободно смог ослушаться своего Создателя. Теперь же он точно так же свободно, на основании своего личного опыта, должен прийти к убеждению, что Богу все-таки надо повиноваться. Только как средство получения этого опыта – как каждым отдельным человеком, так и всем человечеством в целом – историческое бытие имеет смысл.

В романе мы видим конкретизацию провиденциалист-ских постулатов: **главное содержание жизни человека в истории – страдание,** которое проистекает от того, что в человеческом существе присутствуют два взаимоисключающих начала:

«духовное» и «плотское». Эти два начала порождают две системы ценностей, и, естественно, все то, что любит «дух», отрицательно сказывается на «плоти», а все «плотское» ужасает «духовное». Какое-то время человеку кажется, что он сам в состоянии разрешить это противоречие, создать «собственный рай», «рай на земле», однако ужасные последствия, к которым приводят подобные попытки (писано это, заметим, за четверть века до «великого эксперимента» коммунистов в России), заставляют наглядно убедиться в том, что вне помощи Творца человек воистину не может «творить ничего» – ничего хорошего. Здесь уместно вспомнить и замечательные слова апостола Павла (героя одной из будущих книг Мережковского): «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но что бы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 7. 18–25).

И все же в первом романе трилогии, как уже говорилось выше, существует некоторая неопределенность в понимании молодым художником как христианской проповеди, так и смысла деятельности Церкви, которая в романе сводится исключительно к пропаганде аскетического жизнеотрицания. «Когда я начинал трилогию „Христос и Антихрист“, – свидетельствовал позже сам Мережковский, – мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе… Но теперь я также знаю, что мне надо было пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину».

Как мы видим, сам автор трилогии тоже разделил судьбу своих героев.

Урок, который, по Божьей воле, преподает отпавшему от Творца человеку история, – страшный урок. **Тот, кто хочет жить «во имя свое», кто горделиво считает себя в силах своею волею решить все проблемы расколотого исторического бытия, запутывается в лабиринте ужасных, нелепых и кровавых противоречий.** Это показано в исторических романах

Мережковского с такой силой, что некоторые критики упрекали его в садическом цинизме и кощунстве. «Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов, – пишет один из самых непримиримых (и самых талантливых) противников Мережковского И. А. Ильин, – суть неустойчивые, колеблющиеся времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито, – вон он языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вот сущая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии – язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. А вот эпоха просвещения и языческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна, – там истинно вожделенное пастбище для Мережковского. ‹…› Вот благочестивая, искренно-верующая христианка – от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря – он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот святой мученик – с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают, как бы им вырезать всех язычников. От руки найденного идола совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое – „из почтения к Богоматери“. Человек имеет две ладанки – с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, – а в Распятии у него Венера. ‹…› Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку – это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва – на колдовское заклинание ‹…›. Вы начинаете озираться – и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить, и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского все двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко, все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно – по средневековому выражению, все есть scandalum – скандальный соблазн. Все – душевное, духовное, умственное – таково, что невольно начинаешь молиться – не введи же меня в искушение – и откладываешь книгу».

Яростная критика Ильина вряд ли может быть признана справедливой – не Мережковский же выдумал «двусмысленные и раздвоенные» исторические эпохи! Но итог филиппики неожиданно говорит в пользу Мережковского: **для того он и громоздит в своих книгах исторические ужасы друг на друга,**

чтобы, ужаснувшись, читатель «невольно начал молиться». Сам человек, повторим, не сможет сделать в истории ничего. «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие – в них же нет спасения», – недаром поется в начале православной литургии.

* * *

К историософской художественной прозе Мережковского идейно примыкают его эссе и историко-литературные «исследования» этого периода.

Уже с первых шагов Мережковского – историка мировой культуры, с появления в 1888 году в «Северном вестнике» статьи «Флобер в своих письмах» и вплоть до конца 1890-х годов, когда многочисленные отдельные очерки составили органичное единое целое – книгу «Вечные спутники» (1897), каждое из его выступлений в этом роде вызывает в отечественной периодике эффект скандала. Издатель «Спутников» П. П. Перцов, близко знавший Мережковского в эпоху «рубежа столетий», вспоминал, что как критик, вообще как теоретический писатель, Дмитрий Сергеевич был настоящий «литературный изгнанник», вынужденный сотрудничать с второстепенными изданиями: «Такие, совершенно объективные и мастерски написанные статьи, как о Гончарове и Майкове, могли быть напечатаны только в захудалом „Труде“ – ежемесячном приложении к еженедельной „Всемирной иллюстрации“, то есть где-то на задворках литературы. В парадных покоях их новизна шокировала». «Вообще в русской литературе встречали меня недоброжелательно, – сдержанно замечает Мережковский в автобиографии 1914 года, – и недоброжелательство это до сих пор продолжается. Я мог бы справить 25-летний юбилей гонений безжалостных».

Главной причиной неприятия очерков Мережковского была их жанровая новизна. Во вступлении к «Вечным спутникам» автор объяснял, что цель его работы заключалась не в том, чтобы «дать более или менее объективную, полную картину какой-либо стороны, течения, момента во всемирной литературе» (как это было принято в предшествующей традиции русской литературной критики), а в том, чтобы выявить специфику отношений между «классиком» и самим Мережковским – «представителем известного поколения». Мережковский называл это «критикой субъективной, психологической, неисчерпаемой по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в

своем духе, под своим углом зрения». В современном понимании «субъективная критика» Мережковского является не чем иным, как **литературно-философским эссе.**

Эссеистика Мережковского девяностых годов XIX века – едва ли не первая попытка привить на русскую почву этот популярный в культуре грядущей эпохи жанр (В. В. Розанов обращается к форме эссе чуть позже). И хотя наш герой испил горькую чашу всех новаторов – «бранить Мережковского», как вспоминала Гиппиус, на какое-то время стало чуть ли не «традицией», – все же он победил: «… В последние годы перед войной 14 года эта книга [„Вечные спутники“] была особенно популярна и даже выдавалась, как награда, кончающим средне-учебные заведения». Мережковский писал, что все герои его очерков, такие различные внешне (Марк Аврелий, Плиний Младший, Сервантес, Гёте, Монтень, Достоевский, Пушкин и др.), оказываются связаны внутренним единством в отношении к современному читателю, ибо «они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели… Для каждого народа они – родные, для каждого времени – современники, и даже более – предвестники будущего».

Легко представить себе, что «таинственная цель», которую «предвозвещают в будущем» «вечные спутники» Мережковского, – уже знакомый нам по «трилогии» итог мирового провиденциального действа, чудесное разрешение антиномии «плоти» и «духа» в человеке, завершение истории и возвращение человечества в райское бытие. Таким образом, под пером Мережковского символизм утрачивал «национальный» и «временной» характер: союзниками русских символистов становились величайшие гении всех времен и народов.

Вообще, вплоть до конца 1900-х годов Мережковский-мыслитель предпочитает не обращаться к читателю непосредственно. Учение о «новом религиозном сознании» и «новом религиозном действии» оказывается как бы «зашифрованным» в масштабных историко-литературных «исследованиях», появившихся вслед за «Вечными спутниками». Так, учение об антиномии «духовного» и «плотского» начал в человеке и ее провиденциальном смысле содержится в грандиозном труде «Л. Толстой и Достоевский», над которым Мережковский работал около трех лет (1899–1902). Учение о диалектике «мистического действия» личности, проходящей путь от гуманистической гордыни к подлинному смирению и примирению с Творцом, иллюстрируется примерами из жизни и творчества Лермонтова («Поэт сверхчеловечества», 1908). Уникальное место в наследии Мережковского занимает

«исследование» «Гоголь и черт» (1903–1906), в котором излагается его «демонология».

Если высшим смыслом исторического бытия (как уже говорилось выше) оказывается достижение свободного подчинения «твари» – Творцу, то, очевидно, что сила, пытающаяся противостоять Божественному замыслу, должна препятствовать самой истории. Однако, коль скоро история с точки зрения провиденциализма – это мучительное изживание эгоистической самонадеянности в человеке, отпавшем от Бога, то отрицание ее – это в первую очередь отрицание страданий, отрицание творческой неудовлетворенности и желания «изменить мир». «Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий, – постулирует Мережковский. – Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благополучной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом». **Самым главным и страшным диавольским соблазном, по мнению Мережковского, оказывается соблазн… комфорта.**

«Так называемый „комфорт“, то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукою силы природы – звук, свет, пар, электричество, – все изобретения, все искусства», – этот самый бытовой комфорт в высшем смысле является в системе Мережковского не чем иным, как диавольской «пародией на рай», «недоделанным раем», «раем» в одной отдельно взятой квартире, доме или стране. Диавольская «механика» этой подмены проста, но весьма эффективна: «вместо блаженства – благополучие, вместо благородства – благоприличие… Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний предел счастья – а лишь серединное благополучие, умеренная сытость духа и тела…». В результате же жизнь человека, поддавшегося иллюзии комфорта и «не воспитанного страданием», оказывается обессмысленной, «внеисторичной» и потому как бы и не осуществленной, призрачной. «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и

наг» (Откр. 3. 14–17).

Отказ от страданий и стремление к комфорту в понимании Мережковского – не что иное, как отказ от Креста, и, следовательно, отказ от спасения, то есть самое страшное, что может произойти с человеческим существом. И здесь снова возникает «достоевский» биографический мотив:

– Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!

Можно добавить – и чтобы хорошо жить.

* * *

Девяностые годы завершаются для Мережковского огромной личной катастрофой, резко изменившей все обстоятельства его жизни.

Согласно старой истине, погребальный звон раздался над головой нашего героя в момент ликования.

В 1896–1897 годах Мережковский наконец добивается достаточно серьезного и прочного признания. «Юлиан Отступник», появившийся в 1895 году на страницах «Северного вестника», заинтересовал читателей и критиков. Последние, хотя и ругали «ницшеанца Мережковского» (это словосочетание на некоторое время приобрело характер устойчивого определения при упоминании нашего героя в отечественной периодике), все же вынуждены были констатировать популярность первого русского символистского исторического романа среди самых широких кругов читательской публики. Впрочем, идеологические «тонкости» для большинства читателей были непонятны, тогда как блестящее знание эпохи, доселе им неизвестной, виртуозное владение языком, напряженная и занимательная интрига выгодно отличали «Юлиана» от исторической беллетристики той поры, ведущей свое начало от романов Данилевского. Очень скоро в массовом сознании Мережковский стал фигурировать в качестве «русского Эберса» (хотя это сопоставление с почтенным и плодовитым немецким египтологом и автором любимых русской публикой научно-популярных повестей и романов, комплиментарное в устах рецензентов, самого Мережковского только раздражало). И, разумеется, среди последователей «новой школы в русской литературе» явление романа Мережковского было триумфальным, – как писал Брюсов, выражая общее мнение «сподвижников»: «"Отверженный" – роман, созданный для вечности!»

Весьма важно было и то, что «Юлианом» заинтересовались зарубежные издатели. Русская парижанка, горячая поклонница

Мережковского, Зинаида Васильева в 1899 году по своей инициативе сделала перевод романа на французский и настойчиво пристраивала его в парижские журналы. Старания ее в конце концов увенчались успехом: в 1900 году «Юлиан Отступник» был опубликован в «Journal de Debates», а несколькими месяцами спустя вышел в Париже отдельным изданием. Это было началом европейской славы Мережковского.

В 1897 году, как уже говорилось, с легкой руки П. П. Перцова, выходят отдельной книгой «Вечные спутники». И опять вспыхивает полемика, причем тон авторов критических статей радикально меняется: вместо прежних насмешек и глумления даже в отрицательных откликах (таких, например, как резкая статья В. Д. Спасовича) – глубокий и аргументированный разбор позиции автора и его «субъективного метода». К голосу молодого петербургского литератора все более внимательно прислушиваются недавние оппоненты; слово «символизм» перестает быть «декадентской экзотикой», и в глазах ищущей литературной молодежи Мережковский становится чем-то вроде *maitr'a.*

Сразу же по окончании работы над «Юлианом» Мережковский приступает к работе над вторым романом: замысел «трилогии» уже вполне определился. Он всецело захвачен изучением эпохи Возрождения, а поскольку вместе с популярностью появилась и некоторая материальная обеспеченность, в 1896 году Мережковский вместе с Гиппиус совершают большое европейское «турне» – по маршрутам Леонардо да Винчи, главного героя будущего романа.

Супругов сопровождал в поездке Аким Волынский, с которым в годы символистского «бунта» против реалистической эстетики Мережковский сходится особенно близко.

Эта поездка стала роковой для всех троих.

Как уже говорилось, одной из примечательных черт в характере Зинаиды Николаевны Гиппиус было пристрастие ко всевозможным «платоническим» романам, каковые она заводила с необыкновенной легкостью, ибо обаяние этой удивительно красивой, умной и ироничной женщины, одаренной к тому же блистательным литературным дарованием, было, судя по всему, неотразимо (злые языки поговаривали даже, что Гиппиус специально «влюбляла» в себя женатых мужчин для того, чтобы получить от них в доказательство страсти… обручальные кольца, из которых потом делала ожерелье). Дело, однако, всегда ограничивалось изящным и очень «литературным» флиртом, обильными эпистолярными циклами и «фирменными» шуточками Зинаиды Николаевны, примером которых может служить записка,

посланная мужу во время одного из публичных выступлений Мережковского:

«Адрес: На углу Б. Мережковской и М. Минской
Стихи совсем свободные, почти нецензурные

«Плоть и дух равно священны», – восклицаешь
Ты в экстазе неохристианском.
Почему ж мне запрещаешь
Увлеченья в стиле анти-пуританском?

Живая женщина».

Волынский познакомился с Гиппиус в первый же вечер по приезде молодоженов в Петербург зимой 1889 года – Мережковский, обживая приятную роль «главы семейства», пригласил коллег из «Северного вестника» на торжественный ужин. «Помню первое мое впечатление от З. Н. Гиппиус, – пишет Волынский в неопубликованных воспоминаниях. – Передо мной была женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста, гибкая и сухая, как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег. Глаза серые с бликами играющего света. Здороваясь и прощаясь, она вкладывала в вашу руку детски мягкую, трепетную кисть с сухими вытянутыми пальцами».

Даже спустя тридцать четыре года (воспоминания писаны в 1923 году) Волынский не смог (да, верно, и не считал нужным) скрыть нежность и любовь, которую он пронес через всю свою нескладную и бедную жизнь. Однако шесть лет с момента первой встречи Гиппиус и Волынский – не более чем коллеги по «Северному вестнику», интересные собеседники и изысканные корреспонденты, обменивающиеся длинными письмами, насыщенными философскими пассажами из Канта, Спинозы и Чернышевского (Волынский упоминает о свойственной Гиппиус «философской серьезности» и «редкой в женщине способности к созерцательно-логическому мышлению»). У него в эти годы – долгий и сложный роман с издательницей «Северного вестника» Л. Я. Гуревич, у нее – статус «жены Мережковского» и многочисленные «духовные» связи (в том числе – с Н. М. Минским, близким другом Волынского). И вдруг, в 1895 году, воистину – волею судеб!..

«Дружок, радость моя, люблю вас бесконечно, умираю от того, что вы не едете, не приедете до субботы, что не увижу, не могу, не могу!.. Ради Бога, скорее, скорее, и будем жить в радости, в мире и любви. Я только этого и хочу. Честное слово, у меня внутри что-то рвется, когда вам так несправедливо

печально. Ведь люблю, люблю вас, неужели это мало? Неужели за это нельзя быть около меня, не покидать меня на три дня, не мучить так Зину, вашу Зину, совсем вашу».

«Знакомство мое с Гиппиус… заняло несколько лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой… Вообще Гиппиус была поэтессой не только по профессии. Она сама была поэтична насквозь».

Между тем их роман начинался, по крайней мере для Зинаиды Николаевны, едва ли не как очередное «увлечение в стиле антипуританском» – в пику влюбленной в Волынского «Любе», как именуется в письмах Гиппиус Любовь Яковлевна Гуревич, и в назидание Н. М. Минскому, умудрявшемуся сочетать рыцарское служение «даме сердца» с многочисленными любовными интригами с окружающими Гиппиус «литературными» дамами и даже – с ее собственной горничной. Однако, как это часто бывает, в права вступила любовь и события пошли по непредсказуемому и настоящему пути. «Николай Максимович, – безнадежно-отчаянно пишет Гиппиус Минскому, – я, наконец, сказала всю правду Зине (З. А. Венгерова, ближайшая подруга Гиппиус в 1890-е годы. – *Ю. З.)* – скажу ее теперь вам, и да будет отныне все безнадежно ясно: я люблю Флексера, люблю большой любовью, умираю, больна оттого, что не вижу его, не живу им. Я месяцы проводила в борьбе с собою, я пыталась забыть его всеми способами, я… но все равно, что я делала для этого… Конец всему. Мне выбора нет. Это все похоже на шутку, потому что слишком правдиво. Иду к нему. Унижений для меня больше не существует».

А что же Мережковский?

Увы, он пребывал в блаженном неведении, являя собой, если говорить прямо, классический образец водевильного мужа-рогоносца. Трагикомический характер происходящего усугублялся еще и тем, что Волынский – фактический руководитель «Северного вестника» – начинал все более явно «давить» на соперника в любви, используя (если здесь можно использовать этот юридический термин) свое служебное положение – к полному недоумению Мережковского. Ситуация приобретала характер «comedie de l'art».[15] Гиппиус металась между мужем и любовником, оказываясь поминутно – коль скоро речь заходила о профессиональных интересах – в положении «слуги двух господ». «Аким Львович! – умоляет Гиппиус в одном из таких полуделовых, полуличных писем. – Пишу эти строки в дополнение к записке Д. С., против которой я была и которую, по крайности, должна пояснить, во избежание оскорбительных недоразумений. Если предположить, что Д. С. читал ваше ко мне

письмо и знает его в подробностях, то можно подумать, что он испугался потери ваших милостей и ввиду этого просит прощения. Я не хочу и не могу, чтобы вы это думали, и спешу заявить, что письма вашего я Д. С. читать не дала, будучи заинтересована в хороших отношениях между вами, видя, что вы по недоразумению говорите слова, которые, будучи переданы, могут оставить неизгладимые следы на этих отношениях».

Бред! И роль Гиппиус сочувствия отнюдь не вызывает!

Это не могло не кончиться скандалом. И скандал разразился – опять-таки полной неожиданностью для Мережковского! – во время итальянского путешествия 1896 года.

Странное это было путешествие! Впрочем, для Мережковского все было ясно и просто: он наслаждался странствием, собирал материалы в обществе жены и друга. По замыслу Мережковского, путешественники, посетив Флоренцию и Милан, должны были затем в точности повторить маршрут Леонардо, сопровождавшего Франциска I: Фаэнци, Форли, Римини, Пезаро, Урбино, Равенна, Мантуя, Павия, Симплоне. Завершить путешествие предполагалось в замке Амбуаз, в «маленькой темной комнате со стенами, обшитыми деревом», где Леонардо скончался. «Вы спрашиваете – хорошо ли мое путешествие, – писал Мережковский в эти дни П. П. Перцову. – И очень хорошо, и очень дурно. Хорошо тем, что много и плодотворно работаю, дурно тем, что денег мало и благодаря этому я не могу работать так плодотворно, как бы мне этого хотелось. Вчера я был в селенье Винчи, где родился и провел детство Леонардо да Винчи. Я посетил его домик, который принадлежит теперь бедным поселянам. Я ходил по окрестным горам, где в первый раз он увидел Божий мир. Если бы Вы знали, как это все прекрасно, близко нам, русским, просто и нужно. Как это все освежает и очищает душу от петербургской мерзости».

Однако Гиппиус, в отличие от мужа, путешествие скорее раздражало. «Дождит, вообще погода подгуляла, – фиксирует она тогда же в „Итальянском дневнике“. – Дмитрий пошел лизать тюрьму (Цезарь! Цезарь!) и промочил ноги». Подавленное настроение Зинаиды Николаевны вполне естественно: она очень скоро поняла всю опрометчивость приглашения Волынского в спутники. Волынский не хотел смириться со своим двусмысленным положением и требовал откровенного объяснения. «Каждая ваша, малейшая даже, неприятность, неловкость с Д. С., – писала она Волынскому, вспоминая об этих днях, – ест всю мою душу, как самый сильный яд, и, конечно, ни на вас, ни на него она не действует с такой силой, как на меня, словом – для меня это хуже всего на свете». И действительно,

ослепленный страстью Волынский день ото дня становился все более неадекватен ситуации. Сопровождая Мережковских в их походах по музеям и памятным местам, он впадал в прострацию, «не умел отличить статую от картины» (по выражению Гиппиус), а в разговорах с Мережковским отвечал невпопад. Дмитрий Сергеевич *(sancta sim-plicitas![16]),* заметив рассеянное состояние «друга», участливо посоветовал ему «заняться какой-либо темой»: – Вот, например, Макиавелли!..

Все-таки жизнь подчас создает сюжеты покруче Мольера и Гольдони: с этого дня Волынский всюду таскался за супругами с огромным томом макиавеллиевского «Государя», который демонстративно читал, не выходя из экипажа даже в виду самых прелестных пейзажей и самых интересных достопримечательностей, – к вящему недоумению Мережковского и тайной ярости Гиппиус.

В конце концов Волынский не выдержал и, устроив Мережковскому и Гиппиус невразумительную сцену, покинул спутников во Флоренции.

Дальше, после возвращения в Петербург, начался кошмар, растянувшийся для Мережковского более чем на год. Волынский, отбросив все приличия и условности, требовал от Гиппиус разрыва с мужем (некоторое время она жила с Волынским в известной петербургской артистической гостинице «Пале-Ройяль» на Пушкинской улице, где помещалась и редакция «Северного вестника», но после вернулась).

Еще хуже было то, что обезумевший от ревности Волынский начал вытворять нелепые и демонстративно недопустимые с точки зрения редакторской и авторской этики вещи: Мережковский был исключен из числа сотрудников «Северного вестника» и вместо запланированного к публикации романа на страницах журнала появились… статьи самого Волынского на ту же «леонардовскую» тему. В этих статьях, без упоминания имени Мережковского, обильно использовались его «итальянские» материалы («…Флексер пишет в „Северном вестнике“ „В поисках за Леонардо да Винчи“ – не упоминая, что это поиски по следам Д. Мережковского», – ошеломленно прокомментирует возникший «казус» наш герой в письме Перцову).

В 1897–1898 годах последовал ряд взаимных публичных обвинений. Мережковский чуть ли не открыто обвинил Волынского в плагиате. Волынский ответил Мережковскому страшным письмом (которое перед отправкой читал в редакции «Северного вестника»): «Эти строки я пишу только с тем, чтобы сказать Вам, что Вы поступаете как непорядочный человек, уклоняясь от объяснений при свидетелях и, в то же время,

направляя против меня дерзкие выражения. Если Ваше первое письмо давало мне право назвать Вас лгуном, то второе дает мне право назвать Вас негодяем».

«История с Флексером принимает размеры нежелательные, – писала в это время Гиппиус З. А. Венгеровой. – Дм‹итрий› С‹ергеевич› в очень спокойном и взвешенном письме утром просил ему больше не писать, предупреждая, что будет возвращать письма. Сейчас, к изумлению, принесли новое письмо под… расписку. Дм. С. не расписался и возвратил письма, согласно предупреждению. Мы оба думаем, что на этом не кончится, что будет какая-то невероятная гадость, которая перевернет все. Не удивлюсь, если Флексер пришлет Минского как секунданта или наймет кого-нибудь бить Д. С.».

Итог своих отношений с Волынским Мережковский подвел в письме П. П. Перцову: «Знаете ли, что с Флексером мы совсем не видимся. Он надоел З‹инаиде› Н‹иколаевне› своей риторикой и ложью, а мне уже давно опостылел».

Как водится, скандал с живым интересом обсуждался в литературных кругах Петербурга, причем многие знакомые Мережковских не могли отказать себе в удовольствии принять в развитии событий посильное участие. К Мережковским стали наведываться непрошеные визитеры, вроде Н. М. Геренштейна («темная личность, зачем-то подлаживающаяся к литературе», как охарактеризовал его Перцов), который под предлогом «издательского проекта» пытался осуществить некую «посредническую» (если не сказать – сводническую) миссию. Юный поэт «Северного вестника» Иван Коневской-Ореус, приятель Вас. В. Гиппиуса (родственника нашей героини) и протеже Н. М. Минского, вдруг внезапно проникнулся к Мережковским беспричинной ненавистью и по ночам стал пробираться на лестницу дома Мурузи и подбрасывать к дверям их квартиры… бранные памфлеты на Зинаиду Николаевну. Сам же Минский, позабыв о прежней «платонической страсти», начинал беседы о бывшей «даме сердца» с любопытствующими общими знакомыми словами: «Я вам про нее такое расскажу, что у вас волосы встанут дыбом!»

«Легче скорей умереть, чем тут задыхаться от зловония, от того, что идет от людей, окружает меня – и даже не окружает, довольно, если я знаю… – в ужасе признавалась Гиппиус в одном из писем 1897 года. – Я совершенно твердо решила отныне и до века не впустить в свою жизнь не только что-нибудь похожее на любовь, но даже флирта самого обычного». В конце концов Гиппиус слегла и проболела всю вторую половину этого несчастного года (врачи то подозревали тиф, то предполагали

иные диагнозы – вплоть до подозрения на чахотку).

Мережковский переносил все это со стоическим терпением. Помимо чисто личных неприятностей, как это всегда бывает, пришли и неприятности материальные: надежда на авансирование «Леонардо да Винчи» и публикацию в «Северном вестнике» исчезла, все только-только достигнутое благополучие рассыпалось как карточный домик. «Не знаю, где я буду печатать Леонардо, и это меня очень беспокоит, – признается он в письме своему единственному в то время конфиденту – Перцову. – Неужели такой громадный труд не даст мне материального покоя и отдыха хоть на несколько времени? Вообще надо иметь мужество, чтобы так жить, как я теперь живу».

В эти месяцы у него появляется навязчивая идея – уехать из Петербурга и России, однако средств на это не было. «Если бы я мог в сентябре занять у Вас не 400, а 800 рублей (сумма неимоверная и безбожная – вижу сам), – писал он Перцову, – то я бы приехал к 1 октября во Флоренцию и пожил бы с Вами в Италии… до января. Эта мечта меня, главным образом, пленяет – не прелестью путешествия (я все время буду писать), а возможностью физически отдохнуть и избавиться от страшной петербургской осени, о которой я без трепета подумать не могу… Ну да не стоит говорить, – я чувствую, что это в самом деле невозможно». Деньги действительно удалось раздобыть значительно позже, и Мережковские смогли (очень ненадолго) вырваться из морока Петербурга лишь в следующем, 1898 году…

Все эти печальные события завершают целый этап в жизни Мережковского. Вскоре «Северный вестник», и без того уже закрытый как для него, так и для Гиппиус, внезапно, в силу невероятного стечения обстоятельств, прекратил свое существование.[17] Немалую роль в смерти недавно процветающего журнала сыграло, конечно, отсутствие Мережковского. Это признал и сам Волынский. «Не я, а именно Д. С. Мережковский был эоловой арфой тогдашней России…» – напишет он много лет спустя, вспоминая крушение «Северного вестника», конечно, очень больно задевшее его («Больно присутствовать при этом несвоевременном угасании журнала, в который ушла моя душа…» – признавался он матери в августе 1898 года).

* * *

Новый роман Мережковского, завершенный в тяжелейшее время 1897–1899 годов, «повис в воздухе», ибо печатать его

«традиционные» журналы не решались (в итоге «Леонардо да Винчи» увидел свет на страницах журнала «для семейного чтения» «Мир Божий» – более чем странное место для публикации модернистского произведения). Старые связи распались, новые – в первую очередь с участниками так называемого «дягилевского кружка», молодыми художниками, артистами и писателями, затеявшими в 1899 году издание первого чисто модернистского журнала в России, – только-только налаживались. Мережковский счел за благо сделать и для себя и для жены (которую продолжал любить, несмотря ни на что) передышку.

Осенью 1899 года они уезжают из России на целый год.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На рубеже столетий. – П. П. Перцов. – «Воскресенья» у В. В. Розанова. – Кружок Дягилева и «Мир искусства». – Союз с православием. – «Отлучение» Льва Толстого. – Религиозно-философские собрания. – Поездка на Светлое озеро. – Журнал «Новый путь». – Духовный кризис 1903–1904 годов. – Вячеслав Иванов и салон на «башне». – Возникновение «троебратства»: Мережковские и Д. В. Философов. – Революция 1905 года

С осени 1899 года до лета 1900-го Мережковский и Гиппиус пребывают в «прекрасном далеке» (Рим, Сицилия, Флоренция, позже – германский Бад-Гомбург, где Мережковскому особо нравились хвойные леса, «похожие на Россию») – положение во всех отношениях самое благотворное для русского художника в эпоху личного и творческого кризиса. С отечеством они поддерживают лишь эпистолярную связь, не требующую особых душевных трат, благо круг корреспондентов (особенно у нашего героя) достаточно ограничен. Есть время и возможность для самых общих, глобальных размышлений, по слову Гиппиус, «о человеке, любви и смерти»; у нас же есть время сказать, не торопясь, несколько слов о новом круге знакомств Мережковского.

В первую голову стоит вспомнить уже неоднократно встречавшегося нам ранее **Петра Петровича Перцова.** Молодой провинциальный журналист, уроженец Казани, Перцов написал наивное и восторженное письмо Мережковскому, прочитав в 1890 году поэму «Вера» и (да будет прощен мне этот каламбур!) воистину уверовав в пророческое дарование петербургского поэта. (После Перцов с юмором вспоминал, что в своей рецензии на полюбившуюся поэму в «Волжском вестнике» он объявил, что

Мережковский «окончательно завоевал себе среди наших молодых поэтов первое место после Надсона», искренно полагая, что это «место» – нечто вроде Лермонтова после Пушкина – по принятой тогда «классификации».)

Два года спустя, завершив Казанский университет и перебравшись в Петербург (дядя его, А. П. Перцов, был сенатором, благоволившим к литературным занятиям племянника, ибо, как он говаривал, «Краевский и Глазунов нажили на литературе большие деньги»), Перцов, подвизавшийся у Михайловского и Короленко в «Русском богатстве», лично познакомился с Мережковским и поразил того (уже вплотную занятого тогда размышлениями о Христе и христианстве) неожиданно полным «единомыслием души». «То, что Вы так глубоко, проникновенно поняли мои слова про Новую Церковь – меня тронуло… – растроганно признавался Мережковский в 1893 году. – Меня окружает такое безнадежное одиночество, такая скучная и мертвенная злоба, что иногда мне кажется, что все, что я делаю, бесполезно, и мною овладевает отчаяние. Но такие слова, как Ваши, – живая вода в пустыне. Верьте, я никогда не забуду Вашего умного и возвышенного привета, мой друг, мой новый брат в Неведомом Боге!» И действительно, более чем на двадцать лет с этого момента Перцов становится самым доверенным лицом в обширном круге «литературных знакомств» Мережковского.

Он идеально подходил на эту роль.

Бескорыстно преданный идее «нового искусства» и «нового идеализма» (под которым он разумел нечто очень близкое «новому религиозному сознанию» Мережковского), обладавший безупречным литературным вкусом и обширными гуманитарными познаниями, безукоризненно честный, тактичный и скромный до застенчивости (чему способствовал природный недостаток – врожденная глухота), Перцов выгодно отличался от шумной и не всегда нравственно разборчивой плеяды «декадентов» «Северного вестника». Этот человек воистину мало говорил, но много делал. Именно Перцов становится издателем фундаментальных антологий, впервые наглядно представивших образцы творчества «в новом роде» (до их выхода о «символизме» говорили лишь в умозрительном плане). Перцов подвигает Мережковского на написание статей о Пушкине, а затем – на публикацию «Вечных спутников» (причем тогда, когда обескураженный язвительным критическим «хором» Мережковский совсем было собрался опустить руки). Точно так же, незаметно и несуетно, Перцов способствует формированию нового круга общения Мережковского – как раз в тот момент,

когда обстановка в «Северном вестнике» обостряется до предела.

В апреле 1897 года именно Перцов знакомит Мережковского с В. В. Розановым, большим поклонником которого (а впоследствии – и издателем) является.

Василий Васильевич Розанов, тогда еще лишь вынашивавший идею своей феноменальной, ни на что не похожей ни в русской, ни в европейской литературной традиции «исповедальной» философской эссеистики, но уже завоевавший себе «имя» как исследователь Достоевского, полемический противник В. С. Соловьева и талантливый «нововременский» публицист, смело обращавшийся к рискованным проблемам истории религии, – второе весомое «приобретение» Мережковского в канун «рубежа столетий». Однако, при схожести устремлений к утверждению в русской культуре «идеальных» начал, Перцов и Розанов оказывались лично полными антиподами.

«Как они дружили – интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? – недоумевала Гиппиус. – Непонятно, однако, дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: „Голубчик, голубчик, да что это право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом!“

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои – не сердился, не отвечал».

По словам самого Мережковского, у Розанова, в маленькой квартирке в четвертом этаже огромного нового дома на Шпалерной, близ церкви Всех скорбящих, в эти последние годы уходящего века «собиралось удивительное, в тогдашнем Петербурге, по всей вероятности, единственное общество: старые знакомые хозяина, сотрудники „Московских ведомостей“ и „Гражданина“, самые крайние реакционеры и столь же крайние, если не политические, то философские и религиозные революционеры – профессора духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи – и настоящие „люди из подполья“, анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались апокалипсические беседы, как будто выхваченные прямо из „Бесов“ или „Братьев Карамазовых“. Конечно, нигде в современной Европе таких разговоров не слышали. Это было в верхнем слое общества отражение того, что происходило… в глубине народа». Здесь, на розановских «воскресеньях», за обыденным домашним чаепитием – за длинным чайным столом, под уютно-семейной висячей лампой – как-то очень *уютно,* естественно и органично вызревала идея будущих Религиозно-

философских собраний.

И наконец, тот же Перцов сводит Мережковского с **Сергеем Павловичем Дягилевым** и его окружением.

Это было странное сообщество молодых эстетов – художников, театралов и музыкантов, среди которых выделялась «великолепная пятерка» – сам Дягилев, **Дмитрий Владимирович Философов, Вальтер Федорович Нувель, Лев Самойлович Бакст и Александр Николаевич Бенуа** (или – Сережа, Димочка, Валечка, Лёвушка и Шура – как именовали себя сами будущие «творцы, классики и основоположники»). К этому «ядру», связанному самыми тесными дружескими узами, примыкали А. П. Нурок, В. А. Серов, К. А. Сомов и некоторые другие яркие представители петербургской литературно-художественной богемы.

Тон задавал Дягилев, обладающий прирожденным организаторским даром и безукоризненным эстетическим вкусом. По выражению А. Н. Бенуа, теоретика и летописца «дягилевского кружка», за что бы ни брался Сергей Павлович, всюду он умел создавать «романтическую обстановку работы». И кружок талантливой молодежи, начав с дружеских собеседований, стараниями Дягилева очень органично перешел к практике общественной деятельности, приобрел организационную «морфологию» – и на свет в 1897 году явилось движение, навсегда вошедшее в историю мировой культуры XX века под именем «Мир искусства».

Они начинали с выставок и музыкальных вечеров, поражавших патриархальную русскую публику открытым демонстративным «западничеством», отрицанием традиций «шестидесятнического» реализма и жадным интересом ко всему, что являлось порождением новой, нарождающейся на глазах цивилизации (последнее, впрочем, причудливо сочеталось с культом изысканной стилизации, обращенной в экзотические для русского искусства эпохи). В 1898 году встал вопрос о постоянном печатном органе: рождался журнал «Мир искусства».

С некоторыми участниками «Мира искусства» Мережковский был знаком и ранее, однако с осени 1898 года характер отношений качественно меняется – начинается сотрудничество, тем более тесное, что Д. В. Философов, разрабатывающий концепцию литературного отдела будущего журнала, отводит Дмитрию Сергеевичу главное место (некоторое время речь вообще шла о выделении из «Мира искусства» отдельного литературного приложения, негласным редактором которого должен был стать Мережковский; за недостатком средств от этого пришлось отказаться).

Новый художественно-литературный журнал, в котором было возможно постоянное гарантированное участие, стал, после провала «Северного вестника», воистину подарком судьбы для Мережковского. Горемычная история с публикацией «Леонардо да Винчи», растянувшаяся на два года, весьма наглядно показала всю шаткость положения художника-новатора, рискнувшего взяться за большие прозаические жанры. Последовательно предлагая неприкаянный роман во все петербургские «толстые» журналы (и получая всюду отказы), Мережковский дошел в конце концов до совсем уже противоестественного (и крайне невыгодного) сотрудничества с новоиспеченным ежемесячником… «легальных марксистов» – «Началом». «Смесь марксизма с декадентством», по ироническому замечанию старого знакомца Мережковского П. Ф. Якубовича, оказалась, впрочем, нежизнеспособной – после выхода четвертого номера журнал был закрыт. Публикация же «Леонардо» в «Мире Божьем» состоялась лишь благодаря давним – еще с эпохи «старого» «Северного вестника» – личным дружеским связям Мережковского с семьей его издательницы А. А. Давыдовой (в ее дочь Лиду Мережковский был в студенческие годы влюблен). Однако инородность религиозно-философского романа общему контексту материалов, помещаемых в «журнале для юношества», придерживающегося к тому же стойкого «либерального» направления, была очевидна.

Между тем Мережковский задумывает грандиозную работу – в 1899 году он приступает к созданию «Л. Толстого и Достоевского», «исследования», где, как уже говорилось, подытоживались почти десятилетние размышления Мережковского над метафизикой «душевного» и «плотского» начал в христианской антропологии. Найти издателя, который бы сумел «вместить» пятисотстраничный трактат, сколь-нибудь достойно оплатив при этом «страшное время и неимоверный труд» автора, было в тогдашней периодике практически невозможно. Все тот же неутомимый Перцов предлагал Мережковскому сотрудничество с «Русским обозрением», перешедшим тогда в руки А. Ф. Филиппова, убежденного сторонника славянофилов (там же намеревался участвовать и Розанов). Мережковский, хотя и робко, попросил Перцова «пощупать» Филиппова («А ну как совсем реакционная шельма вроде Грингмута и Мещерского? Черт их всех знает. Ведь иногда то, что у нас в России называется „славянофильством“ и куда Розанова приглашают, так смердит, что нос зажмешь»), согласился. Однако дело кончилось совсем уж фантастическим образом: в самый разгар подготовки первого номера Филиппову

был предъявлен… алиментный иск от некоей девицы Пирамидовой, обязывающий его платить 40 рублей ежемесячно. Расстроенный славянофил ликвидировал дело («Сорок рублей смотрят на нас с вершины той „пирамиды“», – грустно прокомментировал эту трагикомическую ситуацию один из несостоявшихся «обозренцев» – Влас Дорошевич).

В такой обстановке Дягилев, умевший вести дела и, особенно на первых порах, весьма благожелательно относящийся к Мережковскому, был незаменимым союзником. Решительный и волевой, он преодолел чрезвычайные трудности первого года издания «Мира искусства» (известные меценаты С. И. Мамонтов и К. И. Тенишева, бывшие в 1898 году учредителями журнала, на следующий год отошли от дел, и с 1900 года Дягилев, заручившись с помощью В. А. Серова поддержкой… императора Николая II, сам становится редактором-издателем). В отличие от «Северного вестника», эклектически сочетавшего под своей обложкой репертуар традиционного «толстого» журнала с элементами модернизма, «Мир искусства» открыто и последовательно ориентировался на новейшие культурные веяния, игнорируя конъюнктуру и нисколько не считаясь с «консервативной» критикой. Сбить Дягилева было трудно, да и шутить с ним было накладно: всем был памятен пример Буренина, позволившего в «нововременском» фельетоне, неудачно появившемся в Страстную пятницу 1899 года, назвать Сергея Павловича «недоучкой, не понимающим искусства» и «декадентским шарлатаном», взявшимся за издание журнала в «шарлатански-коммерческих интересах». В отличие от робких поэтов и прозаиков, привыкших к буренинским грубостям и смирившихся с ними как с неизбежным злом, Дягилев отреагировал мгновенно и бурно. Прямо в пасхальную ночь, перед самой заутреней, он явился на квартиру к Буренину – во фраке с белоснежным пластроном, в высоком цилиндре, с щегольской тростью – и прямо в дверях, не снимая белых перчаток, без лишних слов… набил незадачливому критику морду (иного выражения и не подобрать). После этого тема «Мира искусства» исчезла со страниц «Нового времени».

Впрочем, со своими противниками дягилевский журнал вполне справлялся и не прибегая к боксерским способностям редактора-издателя: для этого он располагал блестящим составом критиков-полемистов всех калибров – от язвительного и эксцентричного Альфреда Нурока до академичного Александра Бенуа, который мог на глазах изумленных читателей невозмутимо и методично разгромить в пух и прах самого Илью Ефимовича Репина, вздумавшего сделать вылазку против

«мирискусников» со страниц патриархальной «Нивы».

Таков был журнал, с которым три года (с 1899 по 1902 год) будет связан наш герой.

* * *

Год «европейского одиночества», заполненный работой над «Л. Толстым и Достоевским», был временем окончательного определения Мережковским специфики той «миссии среди интеллигенции», которая как бы «предугадывалась» им в предшествующее десятилетие. Как мы помним, уже в 1895 году он упоминает в письме П. П. Перцову о необходимости «Новой Церкви»; в 1899–1900 годах этот мотив становится в их переписке ведущим.

«Я только теперь понял окончательно и безоговорочно, что спасение всей Европы, всего мира (то есть Земного шара) в нас, русских, и только в нас, и может быть именно в нас, немногих (до ужаса немногих!) законных наследниках Русской Культуры – Петра, Пушкина и Достоевского, Святой Софии Премудрости Божией, Третьего Русского Рима – „четвертого же не будет вовеки“», – признается Мережковский в сентябре 1899 года, в первом из целого ряда «безумных» (по его собственному определению) писем этих лет. «…Нам ужасно много дано и с нас много спросится, – развивает он эту же мысль в майском письме 1900 года. – Ведь нам дано большее сознание, чем Л. Толстому и Достоевскому и Ницше. Мы уже видим то, что за ними, дальше них. И это неимоверно увеличивает нашу ответственность. Да, вот что меня ужасает, что не дает мне покоя – жжет, как живая рана, – ответственность ужасающая. Слишком многое от нас зависит, от наших слов и действий. И не на кого (даже в Западной Европе) сложить эту ответственность. Как нам душу свою спасти – вот о чем я все думаю; нам нельзя спасти душу свою, не ответив на те вопросы, которые нам сейчас поставила русская и всемирная культура, нам нет спасения в одном ожидании религии, потому, повторяю, что мы уже слишком ясно увидели ее возможность, ее необходимость; „кто не за Меня – тот против Меня“, что если эти именно слова сделаются нашим последним приговором. А мы до сих пор были ни за Него, ни против Него». «И как нам спастись без Второго явления Христа. При нашем теперешнем сознании – это уже невозможно: нельзя же быть только философом, только ученым, только художником. Мы через это перешагнули. Нам много дано (даже сравнительно с Пушкиным, даже с Достоевским!), и с нас многое спросится. Как бы не оказаться

„ленивыми рабами“».

Подобные выписки можно множить и множить. Все это – вехи, позволяющие достаточно точно представить тот «маршрут», по которому двигался Мережковский в духовной работе, необыкновенно интенсивной в отшельнической обстановке «европейской пустыни». «И величайшие перевороты, – констатирует он, – совершаются невидимо и подходят как тать в нощи. И что мне думать, совершится ли при моей жизни второе пришествие, когда я знаю, что во мне оно уже совершается?… Но чувствую, что все это я говорю неясно и неточно. Видите, не умею писать, да и говорить об этом почти не умею. Тут есть тайны, о которых и нельзя, и не надо говорить даже на ухо, даже самому себе…»

Однако молчать он уже не может, «церковная идея» захватывает его настолько, что даже откровенно бытовые, камерные и сугубо «светские» известия он преломляет в ее освещении (так, узнав, что Перцов оставил университет, он восклицает: «Нам нужно думать о Новой Церкви, а не о старых Университетах!»).

Но что конкретно вкладывает в эти годы Мережковский в понятие «Новая Церковь»?

«…Идея Дмитрия Сергеевича ‹…› идея христианства, была, в то же время ‹…› идея церкви, – четко формулирует Гиппиус. – В открытом обществе мы, говоря „люди религии“, не могли не разуметь представителей данной русской церкви (исторической) … **Подлинность и святость «исторической» христианской церкви никем из нас не отрицалась.** Но вопрос возникал широкий и общий: включается ли мир-космос и мир человеческий в зону христианства церковного, то есть христианства, носимого и хранимого реальной исторической церковью?» Для Мережковского, как мы видим, понятие «новизны» применялось не к вероучению (что вело бы к ереси), а к церковному домостроительству, то есть к практике современных ему священнослужителей (прежде всего – священнослужителей Русской православной церкви). С точки зрения Мережковского, эта практика игнорировала слишком большой круг «низменных, земных» проблем – от общественных до сугубо личных – чтобы стать актуальной для подлинного «воплощения христианства».

Гиппиус вспоминает, что средоточием всех интересов Мережковского становится в этот период вопрос «об охристианении земной плоти мира, как бы постоянном сведении неба на землю, – по слову псалма – „истина проникнет с небес, правда возникнет с земли“». Мережковский утверждал, что эта идея уже заключена в догматах, которые не суть застывшие

формулы, какими считают их все «"исторические" церкви, но подлежат раскрытию соответственно росту и развитию человечества».

Все это, впрочем, можно сказать совсем просто: **Мережковский искал возможные способы преодоления застарелого и губительного для России конфликта между русской интеллигенцией и русским православием, способы действенного воцерковления жизни образованного, общественно активного русского человека XX века.**

* * *

Для него тогда это было и очень личной проблемой. За всеми «высокими» рассуждениями Мережковского не нужно забывать и то, что ему порядка тридцати пяти лет. Это время, когда любой человек инстинктивно оглядывается на пройденный жизненный путь:

Nel mezza del camin di nostra vita…[18]

Взгляду Мережковского открывалась печальная картина: ни «литературная», ни собственно «личная» жизнь его – увы! – не были сколь-нибудь привлекательными. В литературном плане – утрата всех прежних «союзников», непонимание даже ближайших «единомышленников», положение «знаменитого изгоя» и вечная «жизнь в долг» – вряд ли утешительное состояние для человека, подводящего итог своей профессиональной деятельности.

В личном же плане – роль мужа «модной жены» (намерение Гиппиус «не впускать в свою жизнь не то что любовь, но даже легкий флирт» осталось, увы, лишь благим намерением), а главное – катастрофическое отсутствие собственно семьи, тех отношений, к которым Дмитрий Сергеевич был приучен в детстве старанием незабвенной Варвары Васильевны Мережковской. Поразительную картинку рисует в воспоминаниях Б. К. Зайцев, познакомившийся с Мережковским у Ремизовых в 1905 году: «Вхожу в комнату Ремизовых – комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва ли не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка… (Только недоставало, чтобы он пеленки Наташе менял…) Шестьдесят лет прошло, а как вчерашнее помнится. И до сих пор

непонятно, какая связь могла существовать между крохотным, беззащитным младенцем, полустихией еще, и бесплотно-многодумным Мережковским. Но вот случай выпал».

Свою печаль боимся мы измерить.
С предчувствием неотвратимых бед,
Мы не хотим и не должны мы верить,
Что счастья нет!

В письмах Перцову из Таормины (весна 1900 года) Мережковский замечает: **«Именно здесь, в пустыне я чувствую, что нет нам всем спасения в одиночестве.** А хоть мы и видим друг друга, мы не знаем друг друга. Мы все – одни». Преодоление же одиночества он видит в церковной соборности: «…Найти Его можно только **вместе».** Самая богемная неустроенность жизни «декадентов» кажется Мережковскому (вполне в соответствии с его провиденциализмом) необходимым «прологом» к личному осознанию необходимости «нового религиозного действия». Об этом – несомненно, под непосредственным воздействием Мережковского – писал в статье «Национализм и декадентство», открывшей в 1900 году литературный отдел «Мира искусства», Д. В. Философов. «Упадочное» мироощущение русской интеллигенции «конца века» объявлялось здесь непременной ступенью на пути к религии: «декадентством» надо было «переболеть», чтобы дойти до идеи религиозного устроения жизни.

И наконец, «клерикальные» интересы Мережковского были обусловлены тем, что ему, как русскому православному человеку, было далеко не безразлично, в каком состоянии находится его Церковь.

Внешне это была мощная организация. В начале XX века православными считали себя 117 миллионов человек. В стране было 48 тысяч приходских храмов, свыше 50 тысяч священников и диаконов и 130 архиереев в 67 епархиях. Однако, как указывает один из современных историков русской Церкви (см.: *Кашеваров А. Н.* Государство и Церковь. СПб., 1995), ее внешнее и внутреннее положение было «весьма неблагоприятно». Авторитет Церкви значительно упал даже среди «широких слоев населения» – рабочих и крестьян. Образованные же светские круги России видели в Церкви, возглавляемой обер-прокурором, «специфическое ответвление государственности, „православное ведомство“». Введенная Петром Великим синодальная система управления Церковью действительно полностью подчиняла ее бюрократическому аппарату и формально лишала собственной

позиции (например, права «заступничества» перед государем за гонимых), делая ее ответственной за все несправедливости государственной системы.

Очень важно отметить, что внутри самой русской Церкви на рубеже столетий наметилось недвусмысленное стремление преодолеть очевидные несообразности своего бытования. И поиск путей к союзу с интеллигенцией был здесь важной составляющей. Целая плеяда выдающихся пастырей и богословов православия XX века, среди которых и будущие Патриархи Тихон (Белавин) и Сергий (Страгородский), активно пыталась взаимодействовать с виднейшими представителями творческой элиты той поры. Церковь усиленно стремилась преодолеть застарелый внутренний организационный кризис, обусловленный неестественным подчинением ее светской власти, и перейти от синодальной формы управления к канонически правильному самоуправлению с Патриархом во главе. Уже с 1906 года велась подготовка к Поместному собору, для чего было создано Предсоборное присутствие (с 1912 года превращенное в Предсоборное совещание).

Таким образом, идеи «воцерковления» интеллигенции, обновления православной мысли, создания идеологии, способной практически консолидировать русское общество, что называется, «витали в воздухе», и Мережковский лишь с наибольшей среди современников силой и активностью стремился претворить их в жизнь. Обе стороны если не умом, то сердцем ощущали крайнюю необходимость в согласии – как для собственного существования, так и для судеб всей России. Уже в эмиграции, пережив кошмар 1917–1919 годов, Зинаида Николаевна Гиппиус писала, что если бы союз интеллигенции и Церкви тогда, на рубеже веков, в России был заключен, то, «может быть, Церковь не находилась бы сейчас в столь бедственном положении, а интеллигенция не вкушала бы сейчас горечь изгнания».

* * *

23 февраля 1901 года Россию и мир потрясло «Определение Святейшего Синода за № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом».

«В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности жев пределах дорогого Отечества нашего, – говорилось в „Определении…“, – он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры

христианской. ‹…› Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне, о сем свидетельствуем пред всею Церковию к утверждению правостоящих и вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого».

Ответ Толстого Синоду также был предельно жесток и категоричен: «То, что я отрекся от Церкви, называющей себя Православной, это совершенно справедливо». Толстой пишет, что он «убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».

В 1901 году конфликт между автором «Исповеди» и «Царства Божия…» и Церковью достиг кульминации. Начав с попыток «воцерковления» и пережив на рубеже 1870-1880-х годов глубокое разочарование в православном вероучении и духовной практике, Толстой в 1890-е годы пришел к открытому «бунту».[19] Он ругал Церковь (и современную православную, «греко-российскую», в частности, и все «исторические» конфессиональные ее проявления в общем) и устно, и письменно, и за дело, и огулом. Он громил христианские догматы Троичности и Боговоплощения, таинства, церковнославянский язык, нравы священства, иконописные стили, политические пристрастия Синода, микеланджеловские росписи Сикстинской капеллы, покрой русских священнических одежд, храмостроительную архитектуру, благотворительные общества *et cet.* – и в конце концов, как известно, написал свое собственное «евангелие от Толстого».

Сочувствие подавляющего большинства среди отечественной интеллигенции в этом конфликте оказывалось на стороне Толстого. После выхода «Определения…» Ясная Поляна была засыпана телеграммами и письмами в поддержку «великого старца». Столичная и провинциальная периодика пестрела двусмысленными фельетонами, в нелегальной прессе необыкновенную популярность приобрела тема «инквизиции». В карикатурах появились изображения обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева в мантии Торквемады, поджигающего костер, на котором стоял, прикрученный к столбу, Лев Николаевич в колпаке еретика. «Его

имя было у всех на устах, – вспоминал П. П. Перцов, – все взоры были обращены на Ясную Поляну; присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно». В этот год А. С. Суворин записывал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии».

История с «отлучением Толстого» приобрела совсем фантастический характер, когда в июле 1901 года писатель тяжело заболел и ввиду его возможной кончины вдруг встал вопрос: можно ли будет покойника… отпевать? Масла в огонь подлило открытое письмо петербургскому митрополиту Антонию от графини Софьи Андреевны Толстой: «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или „непорядочного“, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?» Ошеломленный Антоний осторожно напоминал о своеобразном отношении мужа Софьи Андреевны к «собранию самых грубых суеверий и колдовства»: «… Я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения?»

Многие связывали ухудшение здоровья Толстого с «отлучением», и по адресу его инициаторов, прежде всего – по адресу «Торквемады»-Победоносцева, в радикальной студенческой среде произносились вполне определенные угрозы. «Теперь в Москве головы помутились у студентов по случаю ожидаемой смерти Толстого, – сдержанно писал одному из своих московских корреспондентов Константин Петрович. – В таких обстоятельствах благоразумие требует не быть мне в Москве, *где укрыться невозможно».*

«Толстовский» 1901 год стал тяжелым испытанием для Мережковского, ибо, как несколько витиевато высказался автор «Л. Толстого и Достоевского» в письме председателю Неофилологического общества А. Н. Веселовскому, договариваясь об очередной «толстовской» лекции: «Мое отношение к Толстому, хотя и совершенно цензурное, но не враждебное, а скорее сочувственное». В переводе на общепонятный язык это означало, что **Мережковский стоял в этом споре Толстого с Церковью на**

стороне Церкви, хотя и не испытывал к «еретику» никаких враждебных чувств и по-человечески сочувствовал ему. Если учесть, что обер-прокурор Святейшего Синода (второе лицо в государстве) как раз в это время собирался «укрываться» от особенно горячих поклонников «яснополянского старца» в петербургских тайных убежищах, – то положение Мережковского, который отнюдь не располагал возможностями Победоносцева для обеспечения безопасности, было, скажем так, тревожным.

Его трактат *«Л. Толстой и Достоевский»,* который год публиковался на страницах «Мира искусства», уже после выхода первых частей вызывал стойкое раздражение в «консервативных» кругах читателей, считавших взгляды Мережковского на русскую классику недопустимо «вольными»:

«В „Мире искусства“ тянется бесконечная „критическая“ статья г. Мережковского о Льве Толстом и Достоевском, которая, как и все критические статьи г. Мережковского, представляет из себя характерную кашу, состоящую из меда и дегтя. На этот раз г. Мережковский, впрочем, превзошел самого себя. Говоря об „Анне Карениной“, г. Мережковский пытается определить место героине этого романа в ряду других созданий Толстого, для чего и сравнивает Анну Каренину с… лошадью Вронского „Фру-Фру“. Это чудовищное сравнение, это „сходство 'вечноженственного' в прелести Фру-Фру и Анны Карениной“ г. Мережковский доказывает следующим образом:

> У Анны маленькая рука «с тонкими на конце пальцами», «энергическая» и нежная. Кости ног Фру-Фру «ниже колен показались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя с боку». У них обеих одинаковая стремительная легкость и верность, как бы окрыленность движений, и вместе с тем слишком страстный, напряженный и грозный, грозовой, оргийный избыток жизни…

Вронскому и при виде Фру-Фру, и при виде Анны «и страшно и весело»:

> Фру-Фру, как женщина, любит власть господина своего и, как Анна, будет покорна этой страшной и сладостной власти даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда. И над обеими совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса.

Хорошо пишут в «Мире искусства»!» (Северный курьер. 1900. № 299).

(Кстати, если оценивать художественный анализ произведений Толстого, сделанный Мережковским, с точки зрения современного литературоведения, «писали» в «Мире искусства» действительно «хорошо». До работ Мережковского литературный критик обычно «присваивал» тексту разбираемого автора некоторое «значение», опираясь на биографические документы, позволяющие сформулировать «взгляды писателя», и видел в его произведениях (точнее – в их «идеологически значимых» фрагментах) точно такие же «биографические свидетельства». Мережковский же обращается к «тексту как таковому», пытаясь извлечь его «значение» из элементов его эстетической структуры, анализируя стиль высказывания того же Толстого. В сущности, в «Л. Толстом и Достоевском» впервые в истории отечественного литературоведения были применены герменевтические методы.)

Однако «эстетические» претензии «честной русской мысли» к автору «исследования» уступили место претензиям «общественно-идеологическим» после того, как незадолго до выхода «Определения…», 6 февраля 1901 года, Мережковский прочел доклад *«Отношение Льва Толстого к христианству»* в Философском обществе при Петербургском университете.

Доклад, состоявшийся в зале Совета Петербургского университета, вызвал бурные прения, затянувшиеся за полночь, причем эмоции выступающих явно преобладали над разумом. В. В. Розанов писал в отклике на выступление Мережковского (Серия недоразумений // Новое время. 1901. № 8970), что «собственно о смысле доклада г. Мережковского догадался только последний оппонент, поднявшийся уже около 12 часов ночи». Этим «последним оппонентом» был С. Ф. Годлевский, который, ссылаясь на тексты Священного Писания и в особенности на «Послание к коринфянам» апостола Павла, доказывал, «что с философской точки зрения христианское миросозерцание – чистейший спиритуализм, выраженный в Новом Завете иносказательно, символически и догматически. Философскую сущность христианства и надлежало выяснить прежде всего докладчику [Мережковскому], тогда стало бы ясно, что граф Толстой, несмотря на кажущийся аскетизм некоторых своих положений, расходится с христианским учением главным образом в том, что он в основу своих этических воззрений полагает идею земного счастья и благополучия, к которому, по его мнению, должно привести всеобщее торжество любви и

непротивления злу. Христианство же помышляет о смерти во Христе, о воскресении и о „вечной жизни“. Г. Мережковский ‹…› очень ошибается, утверждая, что „в учении Христа нет поглощающего преобладания духа над плотью“, в котором повинен будто бы граф Толстой, „а есть совершенное соединение, равновесие, гармония духа и плоти“». Против этого положения доклада и возражал С. Ф. Годлевский, ссылаясь на тексты Священного Писания и на изречения Христа о вере, двигающей горами, и о том, что земля и небеса исчезнут, а слова, то есть дух учения Спасителя, останутся (см.: Новое время. 1901. № 8972).

Но большая часть аудитории, собравшейся в зале университетского Совета, была явно не готова к подобному уровню дискуссии. Вся «богословская» часть прений сводилась к риторическим восклицаниям («Неужели же в грандиозных эпопеях, переданных Толстым с таким совершенством, нет намека на истинное понимание христианства? Неужели же в галерее типов русской жизни, так полно им охваченной, нет ничего подобного братьям Карамазовым и старцу Зосиме? Остановимся хотя бы на Каратаеве» и т. п.). В интеллигентской среде Мережковский явно «шел против течения», это было сразу усвоено и вызвало немедленную негативную реакцию. В нюансы его критики «религии Толстого» никто не вникал.

Сразу же после доклада Мережковского в печати появилась гневная отповедь бывшего издателя «Леонардо…», редактора «Мира Божия» М. А. Протопопова, растиражированная не только столичной, но и провинциальной периодикой. Протопопов торжественно отрекался от прежнего сотрудника:

«Скверное впечатление производит этот реферат. Можно любить и не любить Толстого, можно соглашаться с ним и не соглашаться, но разделывать Толстого „под орех“, пересыпать критику толстовских взглядов словами „лжет“, „цинизм“, „навоз“, „безобразие“, „опошлено“, „бесстыдство“, „мразь“ и т. д. – это уж, „тае… тае…“, напоминает басню о слоне и моське. Хотя г. Мережковский и „известный“ писатель, но все-таки нелишним будет сказать о нем несколько пояснительных слов. Родился г. Мережковский всего 35 лет назад. Окончив историко-филологический курс, г. Мережковский быстро попадает в „хорошее общество“ – печатает свои стихи в „Вестнике Европы“ и др. хороших журналах. За оригинальными и переводными стихами следуют критические статьи и исторические романы. Из подражателя Надсона г. Мережковский делается народником, потом символистом, наконец – почитателем „чистой красоты“ и ницшеанцем, а в самое последнее время, по-видимому, и ницшеанству дает отставку… С. А. Венгеров характеризует г.

Мережковского как человека, особенно склонного „вдохновляться книжными настроениями“:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

Таков разделыватель под орех Толстого» (цит. по перепечатке статьи в «Одесских новостях». 1901. № 5241).

Против Мережковского в либеральной прессе была развернута настоящая травля, с личными оскорблениями и нелепыми, но эффектными «историческими параллелями», – так, например, «Восточное обозрение» сравнило доклад Мережковского с призывом к новой… Варфоломеевской ночи (1901. № 85). Протестуя против травли, Мережковский разослал в редакции столичных газет письмо, в котором указывал на недопустимое давление, оказываемое на него, – на «гнет общественного мнения». Письмо, разумеется, не помогло, но вызвало новую волну издевательств: «В одном из рассказов Гаршина выводится ящерица, которой отдавили хвост „за ее убеждения“. Г. Мережковский с его протестом очень похож на эту ящерицу, с той лишь разницей, что „хвост“ г. Мережковского целехонек: на целость его никто даже не посягает» (Новости. 1901. № 149).

Между тем были сделаны и практические «выводы». Литературный фонд, например, отказал Мережковскому в намечавшейся лекции «Лев Толстой и Наполеон-Антихрист», ибо «фонд, не преследующий никаких тенденций в своей деятельности ‹…› поступил бы крайне неосторожно, выступив с лекцией, в которой резко бы проводился вполне определенный и враждебный взгляд на деятельность одного из уважаемейших русских писателей. Таким неосторожным поступком фонд ввязался бы в партийную борьбу, что никоим образом не отвечало бы его задачам. Поэтому отказ комитета фонда, после того как он ближе ознакомился из первой лекции г. Мережковского с взглядами и тенденциями его и с манерой выражения, доказывает только похвальную осторожность комитета и правильное понимание им задач и целей фонда» (Новости. 1901. № 149).

Уже после всех потрясений, связанных с выходом «Определения…» Синода, осенью 1901 года Мережковский развил положения знаменитого «реферата», прочитанного в Философском обществе, в докладе *«Лев Толстой и Русская Церковь»* и во «Вступлении» ко второму тому «Л. Толстого и Достоевского». Мережковский рассматривал историю с определением Синода о Толстом **как знак того, что Русская**

православная церковь оправляется от «паралича», в который она, по слову Достоевского, была погружена «с Петра Великого» (превратившего ее знаменитым «Регламентом» 1721 года в некий идеологический придаток государственного аппарата), **и начинает вновь сознавать себя собственно Церковью, то есть мистическим организмом, не терпящим компромиссов догматического характера.**

«Следуя за Л. Толстым в его бунте против Церкви, как части всемирной и русской культуры, до конца, – чеканит Мережковский, – русское культурное общество дошло бы неминуемо до отрицания своей собственной русской и культурной сущности; оказалось бы вне России и вне Европы, против русского народа и против европейской культуры; оказалось бы не русским и не культурным, то есть ничем. В толстовском нигилизме вся постпетровская культурная Россия, по выражению Достоевского, „стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной“. Думая, что борется с Церковью, то есть с историей, с народом, за свое спасение, – на самом деле борется она за свою погибель: страшная борьба, похожая на борьбу самоубийцы с тем, кто мешает ему наложить на себя руки».

Однако, безусловно солидаризуясь с Синодом в частном эпизоде с «Определением…», Мережковский очень четко формулирует два «проклятых вопроса», от ответа на которые, по его мнению, зависит дальнейшая история «взаимодействия» Церкви и интеллигенции – «о возможном соединении двух противоположных полюсов христианской святости – святости Духа и святости Плоти» и «об отношении Церкви к Государству». Толстой решил эти вопросы отрицательно – уничижив Плоть и отвергнув Церковь вместе с Государством. Поэтому «нельзя было Церкви не засвидетельствовать об отпадении Л. Толстого как мыслителя от христианства». Однако «Определение…» Синода, по мысли Мережковского, «имеет огромное и едва ли даже сейчас вполне оценимое значение» еще и потому, что «это, в сущности, первое, уже не созерцательное, а действенное, и сколь глубокое, историческое соприкосновение Русской Церкви с Русской Литературой перед лицом всего народа, всего мира. **И хотя соприкосновение это пока лишь обоюдно отрицательное, но уже и теперь кажется предвидима возможность иных, гораздо более глубоких и действенных, обоюдно утверждающих соприкосновений».**

В сущности, выступления Мережковского о Толстом явились своеобразным «заявлением о намереньях» – в них легко угадывается программа *Религиозно-философских собраний.* Однако

Собрания еще принадлежали будущему (хотя и недалекому). Пока же вся эта история стала хорошим поводом для либерально-демократической критики раз навсегда рассчитаться с декадентами, «заигрывавшими с Церковью». Самое талантливое выступление в этом *«обобщающем»* духе принадлежит перу А. Яблоновского – фельетон:

«Сон гна Мережковского

В литературной пещере, куда никогда не проникал ни один луч солнца, где по стенам поросла зеленая плесень, а гнилой воздух давит грудь, мешая дышать, уже давно спасается пустынножитель Мережковский.

Много лет назад, искушаемый бесом славолюбия, он забежал сюда, не помня себя, и с тех пор принял образ отшельника.

Он наг, но стыда не знает; на ногах его болтаются тяжелые вериги декадентства, и питается он только акридами собственной поэзии и диким медом собственной же философии.

Однажды к пещере Мережковского пришли три странника-декадента, чтобы поклониться великому учителю и поучиться декадентскому уму-разуму. Они уселись рядком против входа, положили на землю свои посохи и в один голос сказали:

– Радуйся, величайший из людей!

Из глубины пещеры, не стыдясь наготы своей, показался отшельник и сказал:

– Мир вам, братие. Зело ли добре протекает житие ваше на земли?

Странники-декаденты переглянулись между собой и в один голос спросили:

– Отчего, величайший, ты вдруг заговорил языком уездного диакона? Почему говоришь по-славянски, а не по-русски?

Величайший же улыбнулся, как улыбаются старики на вопросы наивных детей, и сказал:

– Точию, братие, славолюбия ради моего. Аз бо не есмь убо диакон, но есмь избранник, и не лепо мне глаголати, якоже прочие соотечественницы глаголют. Сего ради оставих язык русский и прилепися к церковно-славянскому.

Странники-декаденты в восторге переглянулись меж собой и воскликнули в один голос:

– Величайший! Ты указываешь нам новые пути к славе. Скажи же, надолго ли ты «прилепился»?

– Дондеже не отлеплюся.

Декаденты еще раз переглянулись, и каждый с завистью подумал: «Дает же Господь столько изобретательности одному человеку! Отчего не я выдумал этот новый шаг к завоеванию славы?»

И, невольно подражая «величайшему», они тоже заговорили по-славянски.

– Равви, поведай убо нам, како набрел еси на сию великую мысль?

Величайший снова улыбнулся, как старик, слушающий лепет детей, и, усевшись так, чтобы ученики видели наготу его, благодушно сказал:

– Сею нощью, братие, видеста духовныя очи моя сицевый сон: предста ми диавол в образе змия-искусителя и рече: «Мережковский! Хощеши ли прославити имя свое?»

Аз же, отвещая, рек: «Еще бы!»

Тогда диавол обрати ко мне главу свою и рече гласом велиим: «Изрыгай же хулу на Толстого Льва и тем убо превознесешься».

Аз же, внимая словесем его, рек в сердце своем: «Чорта пухлого!» И, обратясь ко диаволу, отвечал: «Како поверю словесем твоим, егда и прежде соблазнял еси ми славою? Не ты ли загнал еси мя в пещеру сию? И что же? Двадесят лет подвизаюся зде, а прославился ли среди человеков? Ничесо же, окромя смеха людьска, не видех».

Диавол же рек: «Подыми главу твою, Мережковский, и уныние свое побори, маловерный! Истинно глаголю ти: изрыгни хулу на Толстого и превознесен будеши в людех!»

Аз же и на сей раз не дал веры словесем диавольским и рек: «Нашел дурака! Како верити мне, егда уже столько раз надувал еси мя. Не ты ли, соблазняя мя славою, увещевал: 'Мережковский! Не ходи на ногах, яко же и вси человецы ходят, но подвизайся на руках, имеяй ноги горе – и возложат на главу твою людие венец славы'. По малом же времени, егда способ сей возбуди в людех смех, не ты ли, утешая мя, глаголал: 'Не ходи на руках, Мережковский, но скачи днесь на единой ножке'. Егда же и сей способ ничего же, окромя сраму, не принесл, – ныне увещеваеши мя изрыгнуть хулу на Толстого. Како-же имать веру словесем твоим и како уберегуся, дабы и на сей раз не познати 'кузькину мать'?»

Диавол, посрамленный, отврати от мене главу свою. Аз же рек: «Аще ли не дашь ми знамения, не поверю тебе николиже».

«Зри же, маловерный!»

И се диавол на един миг прия образ Арсения Введенского и вопроси: «Днесь вериши ли?» «Днесь верю».

«Изыди же из пещеры твоея и гряди в философское общество и тамо сквернымi и срамными словесы поноси честное имя Толстого, да сотвориши славу себе и станеши одесную мене».

Аз же, видяй чудо дивное, восхищен бых душею и не мог воздержатися, дабы не вопросити: «Како надлежит поносити, дабы прославитися во един день?»

«Яко же ломовой извощик, – отвеща диавол и присовокупи: Будеши ли поносити, яко ломовой?»

Аз же рек: «Постараюсь».

«А наторел ли еси, – вопроси бес, – в писменах и к грамматийскому художеству вдавал ли еси себе? Знаеши ли писание?»

Услышав же сие, аз упадл духом и рек: «Ни бельмеса». Бес же рече: «Тем лучше», – и расточися. Отшельник кончил свое повествование а декаденты-странники, затаив дыхание, спросили:

– Как же ты решил, величайший, пойдешь ли? Отшельник же обвел их вдохновенным взором и воскликнул:

– А какого же черта не идти? – и, спохватившись, сию же минуту опять перешел на церковно-славянский язык:

– Заутра, братие, гряду в философское общество и тамо посрамлю еретиков и, яко звезда многосветная, весь мир облистаю, возложив на главу мою венец славы. Тако декаденты да утрут нос супротивникам».

* * *

Религиозно-философские собрания – кульминация «нового религиозного действия» Мережковского – начинались как обыкновенные домашние сходки тех, кого Мережковский считал (подчас весьма опрометчиво) «единомышленниками»: преимущественно это были участники «Мира искусства». Александр Бенуа, вспоминая об одном из первых подобных «вечеров», рассказывает, что никакой загодя оговоренной «программы» не было. Говорили о том, что волновало, о злобе дня; когда же речь зашла о взглядах Мережковского на специфику современной личной религиозности, он предложил вместе почитать Евангелие. Получив общее согласие, он тут же, не откладывая, стал читать. «Однако хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подобающего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда „Зиночка“ самым

обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: „Лучше пойдемте пить чай“. Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения („навинченного“? надуманного?): лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы все же обрели бы нечто истинное».

Гиппиус вообще достаточно скептически относилась к внезапному «клерикализму» мужа, сдержанно упоминая, что, большей частью, эти вечерние посиделки 1899 года превращались в одни «бесплодные споры», не имеющие какого-либо смысла, ибо большинство «мирискусников» были весьма далеки от религиозных вопросов. «Но Дмитрию Сергеевичу казалось, что почти все его понимают и ему сочувствуют», – добавляла она.

В «заграничной пустыне» Мережковский продолжает развивать идею Собраний, участники которых формировали бы «новое религиозное сознание» творческой интеллигенции. «Рад, что Вы стали ближе к тому, о чем мы говорили, – пишет он Перцову в феврале 1900 года. – А як этому тоже все ближе и ближе. Куда от этого уйти. И если есть уже содержание, то будет и форма. Отчего бы нам ее не поискать? И разве уже не дана некоторая вечная форма в Тайной Вечере, – в приобщении к Его истинной Плоти и Крови. Стоит есть хлеб и пить вино всем вместе (или даже двум) – вот уже форма, уже символ. Как долго об этом думаешь, как будто забудешь, и втайне надеешься, что это все вздор, все мечты, а как опять вдруг вспомнишь, – оказывается, что это истиннее, нужнее, неизбежнее, чем когда-либо, – даже страшно станет…»

Очевидно, что под «формой» здесь подразумеваются так называемые *«агапы»,* «трапезы любви» у первохристиан, совершаемые *вне* богослужения и служащие элементом *бытовой* организации общин ранней Церкви: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян. 2. 42–47).

Другим очевидным источником для Мережковского являлись малороссийские православные братства эпохи унии (начало XVII века) – своеобразные коммуны сторонников Московской патриархии в Перемышле, Слуцке, Минске, Могилеве и других

местах, имевшие самоуправление, школы и типографии. Братства с успехом противостояли католической экспансии и были очагами православного просвещения, воспитавшими таких апологетов православия, как Леонтий Карпович, Мелентий Смотрицкий, Кирилл Став-ровецкий.

Очень важно понимать, что **в момент возникновения Собраний они не мыслились Мережковским вне Русской православной церкви; это было, по его идее, не более чем развитие приходского устроения, являющееся формой воцерковления интеллигенции.** Ни собственной иерархии, ни тем более восполнения православных таинств Собрания не предполагали. Мережковский вообще полагал, что те вопросы, которые ставят перед собой участники его «группы», нельзя предложить ни одной из современных христианских конфессий, кроме православия – «благодаря его внутренней свободе по сравнению хотя бы с церковью римской», как поясняет Гиппиус. «Подобные Собрания, – пишет она, – и такое откровенное высказывание на них ‹…› невозможны были бы, если бы это была церковь не православная, а католическая. „И даже лютеранская“, – говорил тогда Дмитрий Сергеевич. Позднейшие его исследования христианских церквей укрепили в нем эти мнения…» Гиппиус же и предложила **придать Собраниям легальный «общественный» статус, испросив благословение петербургского митрополита и получив официальное разрешение Синода.**

– По-моему, – доказывала мужу Зинаида Николаевна, – нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем – я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном, крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение – зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были… ну, чиновники, деньги, дамы, чтобы оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились, и чтобы…

Исторический разговор происходил осенью 1901 года, на даче под Лугой, где супруги завершали летний сезон. Мережковский вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Идея Собраний получила, таким образом, последний, завершающий «штрих».

8 октября 1901 года в доме Мурузи имело место быть последнее совещание организаторов Собраний перед походом в Александро-Невскую лавру на аудиенцию к митрополиту.

Помимо Мережковского в таковом качестве пребывали: Розанов, Минский, Философов, Бакст, Александр Бенуа, а также – Валентин Тернавцев, богослов-эрудит, преподаватель Петербургской духовной академии. Решался последний вопрос: как подходить под благословение владыки Антония, ибо компания, по выражению Бенуа, подобралась пестрая: два еврея (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» (Розанов) и один католик (сам Бенуа).

Из Лавры возвращались в ликующем, приподнятом настроении, как после удачно сданного экзамена. Грозный митрополит (его подпись, кстати, была первой на уже известном нам «Определении…» о Толстом) оказался деликатнейшим, умнейшим и, главное, очень простым человеком. «Иноверцев» он обильно потчевал чаем с плюшками и баранками, подробно выслушал Мережковского и обещал свое полное содействие.

Оставалось получить согласие обер-прокурора Синода, всесильного Константина Петровича Победоносцева. Разговор получился бурный. Убежденный консерватор и противник нововведений (особенно – в духовной сфере), Победоносцев был настроен скептически.

– Да знаете ли вы, что такое Россия?! – веско заметил обер-прокурор. – Ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек!

Мережковский вспылил и достаточно неосторожно заметил, что «ледяную пустыню» из России делают ее власти. Неизвестно, подействовала ли эта вспышка или Победоносцев – человек великого ума и огромной хитрости, «крепкий человек», по выражению Гиппиус, – имел какие-то далекоидущие планы, но вопрос был решен положительно (правда, вполне в стиле Константина Петровича: начинайте, мешать не буду, а там посмотрим…).

29 ноября 1901 года Религиозно-философские собрания были торжественно открыты в зале Императорского Географического общества на Театральной улице.

Успех превзошел все ожидания.

На первом заседании присутствовал весь цвет столичного духовенства – митрополит, настоятели крупнейших храмов, профессора и доценты Академии. Владыка Антоний сдержал слово: доступ на заседание был свободный для всех – присутствовали даже академические студенты и семинаристы. Степень свободы была невероятной для тогдашней России – не было даже обязательного для всех публичных заседаний полицейского.

Председательствовал ректор Духовной академии, митрополит Ямбургский Сергий (Страгородский), будущий Патриарх, один из

лучших духовных писателей своего времени. Во вступительном слове он обещал «искренность и доброжелательность» со стороны Церкви и призвал к тому же находившихся в зале представителей интеллигенции.

С основным докладом выступил В. А. Тернавцев. Доклад носил простое название *«Интеллигенция и Церковь»*.

– Внутреннее положение России в настоящий момент сложно и, по-видимому, безвыходно, – жестко говорил докладчик. – Полная неразрешимых противоречий, как в просвещении, так и в государственном устройстве своем, Россия заставляет крепко задуматься над своей судьбой…

Тернавцев утверждал, что «невозможны никакие улучшения без веры в Богозаветную положительную цену общественного дела» и потому «религиозное противление» интеллигенции только лишь «заведет ее, куда она сама не ожидает и не хочет». С другой стороны, русская Церковь крайне нуждается в деятельных общественных силах, ибо ей «придется скоро лицом к лицу встретиться с силами уже не домашнего, поместно-русского порядка, а с силами мировыми, борющимися с Христианством на арене истории».

«Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе – вот о чем свидетельствовать теперь наступило время» – этими словами Тернавцев завершил свое выступление.

Как бы ни относиться к Собраниям, нельзя не признать, что все происходившее на них и вокруг них, в сущности, *единственная **реальная** попытка мирного соглашения всех группировок образованного общества дореволюционной России.* «Да, это воистину были два разных мира, – вспоминала Гиппиус. – Знакомясь ближе с „новыми“ людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, – все это было другое, точно другая культура… Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Собраний, значение „встречи“».

Всего за время существования Собраний в 1901–1903 годах было проведено двадцать два заседания.

Мережковский переживал «звездный час». В какой-то миг ему начинает казаться, что взятая им на себя «миссия» посредничества между «властью» и Церковью – и противостоящей им до сего момента интеллигенцией – выполнена и теперь начинается некий новый этап истории России. «Помоги нам русская Церковь, помоги нам русский Царь», – взывает он, завершая журнальный вариант «Л. Толстого и Достоевского», а в

разговоре с Брюсовым вдруг заявляет: «Я… может быть, избран орудием, голосом. Я – бесноватый. Через меня должно быть все это сказано. Может быть, сам я не спасусь, но других спасу…»

«В монастыри не ездил, хотя имел письмо от епископа Антония к настоятелю Валаама и приглашения в Оптину и в другие. Вообще, попы меня возлюбили», – сообщает он не без удовольствия П. П. Перцову в конце 1901 года. На следующий год он все-таки воспользуется благоволением Синода и совершит поездку на Светлое озеро, где, вместе с миссионерами-священниками, будет участвовать в полемике со староверами-раскольниками. Впечатление от поездки сформулирует Гиппиус: «…То, что пришлось видеть и слышать, так громадно и прекрасно – что у меня осталась одна лишь печаль – о людях, вроде Ник‹олая› Макс‹имовича› (Минского. – *Ю. З.),* декадентов… Розанова – «литераторах», путешествующих за границу и пишущих о неприложи-мой философии и ничего не знающих о жизни, как дети».

Мережковский также был в восторге от поездки, упомянув даже в краткой «Автобиографической заметке», что «ездил для изучения быта сектантов и староверов за Волгу, на Керженец, в г. Семенов и на Светлое озеро, где находится, по преданию, невидимый Китеж-град. Здесь провел ночь на Ивана Купала в лесу, на берегу озера, в беседе с богомольцами и странниками, учителями разных вер, которые сходятся сюда в эту ночь со всей России. Потом узнал, что некоторые из них сохранили обо мне добрую память». З. Н. Гиппиус так пишет об этом эпизоде:

«Совсем стемнело. Огоньки удвоились, учетверились. Мы стали спускаться вниз кое с кем из народа, как вдруг к спутнику моему подошел молодой мужик и тронул его за рукав:

– Барин! Пойдем на ту гору. С тобой народ желает поговорить.

Под деревом густая толпа, громадная и все увеличивающаяся. Мы прошли и сели в середину. У самого дерева сидели старики… Подальше молодые парни, бабы, девки. Тотчас же стало от тесноты душно, сперто, – но мы уже привыкли.

– О чем, братцы, вы хотели бы поговорить? – спросил мой спутник.

Иван Игнатьевич, плотный рыжеватый старик, тотчас же степенно ответил:

– Да вот, о вере. Слышно, ты не миссионер. Думаем спросить тебя, как полагаешь, где правду-то искать? И какой, слышь, самый-то первый вопрос, самый-то важный?

Спутник мой сказал, что, по его разумению, самое важное – это чтобы все люди соединились в одну веру; говорил о церкви –

истинной…

Беседа продолжалась, заговорили о конце мира, о втором пришествии. Радуются, понимают с полуслова наш неумелый, метафизический, книжный язык, помогают нам, переводят на свой, простой. Обо всем, о чем мы думали, читали, печалились, – думали и они у себя в лесу, и, может быть, глубже и серьезнее, чем мы. Но им легче, их много, они вместе, – а мы, немногие, живем среди толпы, которая встречает всякую мысль о Боге грязной усмешкой, подозрением в ненормальности или… даже нечестности. И мы стыдимся нашей мысли даже здесь – но, видя, что они не боятся, не стыдятся, – становимся смелее – и радуемся».

Впрочем, собственно содержание речей Мережковского этих «народных мистиков» не удовлетворило, а богословский экскурс в историю догмата троичности был прерван решительным:

– О сем престани!

Впечатления, полученные в эту фантастическую ночь на берегах Светлояра, определили колорит «раскольнических» глав романа «Петр и Алексей» (последнего, «русского» романа трилогии «Христос и Антихрист»), к работе над которым Мережковский сейчас приступал.

Поездка в Семенов стала памятна также и приемом у ярославского губернатора Б. В. Штюрмера, на котором присутствовал и проезжающий в то время по провинции о. Иоанн Кронштадтский. В очерке Гиппиус он описан с большой теплотой: «всероссийский батюшка» с чистой и детски простой верой.

Через четырнадцать лет Штюрмер станет приверженцем Распутина и его ставленником на посту премьер-министра.

О. Иоанн вскоре будет обличать «ересь Мережковских».

Судьба готовила странные развязки сюжетов этих лет.

* * *

По возвращении в Петербург Мережковские осенью 1902 года возобновляют Собрания, а в ноябре появляется первая книжка журнала *«Новый путь»*.

Работа над созданием собственного журнала началась еще зимой 1901/02 года; необходимость его определялась успехом Собраний. Именно отчеты о заседаниях (начиная с первого, все они были стенографированы) становились главным организующим началом нового издания. С другой стороны, собственная печатная трибуна стала необходимой Мережковскому и его «группе», ибо отношения с редакцией «Мира искусства» к этому времени существенно расстроились. «Эстетская» часть сотрудников была явно недовольна вторжением религиозной тематики на страницы журнала, посвященного изначально проблемам «чистого искусства». Почти двухгодичная эпопея публикации «Л. Толстого и Достоевского» вызывала у многих раздражение, которое выражалось своеобразным образом: последние разделы «исследования» Мережковского в номерах 1901 года вдруг стали иллюстрироваться… «приапической» эротической графикой Обри Бердслея и гротесками Гойи, которые помещались в самых неподходящих, патетических фрагментах текста.

Изменилось и отношение Дягилева к Мережковским (это была личная распря, о ней – далее).

Энтузиастом проекта «Нового пути» на первых порах был П. П. Перцов – именно он нашел средства на предприятие (правда, весьма скромные). Секретарем издания в подготовительный период был Брюсов, уступивший затем место Е. А. Егорову (публицисту и переводчику, обладающему великим даром обходить цензурные рогатки; впоследствии он заведовал иностранным отделом «Нового времени»). Постоянными сотрудниками нового журнала становятся, помимо Мережковских, Розанов, Минский, Федор Сологуб (позже – в 1903 году – к ним присоединится Философов).

Формирование круга сотрудников «Нового пути» помогло Мережковскому завязать целый ряд новых и очень важных литературных знакомств.

Во время визита в Москву в декабре 1901 года по приглашению Московского психологического общества (Мережковский выступил здесь с рефератом *«Русская культура и религия»* – московская интеллигенция была к этому времени

достаточно заинтригована слухами о заседаниях Собраний) у постоянной корреспондентки Гиппиус О. М. Соловьевой (золовки философа) супруги знакомятся с Борисом Николаевичем Бугаевым – сыном известного математика, декана естественно-математического факультета Московского университета. Знакомство это, конечно, позабылось бы, но вскоре в Петербург пришло письмо, подписанное *«студентом-естественником».* Автор признавался, что чтение «Л. Толстого и Достоевского» было одним из главных побудительных мотивов в его духовном самоопределении.

Растроганный Мережковский оставил текст в редакторском портфеле «Пути» (он был опубликован позднее), а прозорливая Гиппиус, сразу по получении корреспонденции, запросила у Соловьевой справку о возможном авторе послания. Во время следующего визита в Москву Мережковский очаровал юного неофита «нового религиозного сознания» рассуждениями о Люцифере и белом христианстве последних времен, а в марте 1902 года Гиппиус уже усиленно зазывала его погостить в Петербург, прямо указывая в письмах на «пророческую… почти гениальность его мыслей». В двадцать два года устоять против таких комплиментов невозможно – и с этого времени «Боря Бугаев» – постоянный гость у Мережковских.

В историю русской и мировой литературы он входит под псевдонимом **Андрея Белого.**

Даже в своих поздних воспоминаниях, во многом несправедливых и пристрастных к художникам «начала века», Белый не скрывает огромной роли общения с Мережковскими в становлении его творческой индивидуальности. А в «Арабесках» (1911) Белый создает панегирик нашему герою: «О нем говорит Европа, им восхищается Ферстер-Ницше, видевшая страдания своего великого брата. А мы его читаем и говорим: „Мережковский опять написал о Достоевском“. Да. В метелях вставал передо мной облик Мережковского в дни моей юности: и я его еще не знал лично. Его сочинение „Толстой и Достоевский“ было для меня призывом февральской вьюги предвесенней, поющей о дне восстания из мертвых».

Если верить воспоминаниям Белого, уже во время их московской встречи 1901 года он читал Мережковским стихи неизвестного тогда супругам **Александра Блока.**

– Как можно увлечься таким декадентством? – удивилась якобы Гиппиус. – Писать такие стихи – старомодно, туманы… давно изжиты!

Сама Гиппиус утверждает, что впервые с именем Блока и его стихами она встретилась в одном из писем Соловьевой: «Они

были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их – было блоковское, которое не оставляло его и после и давало ему своеобразную прелесть».

Так или иначе, но когда ранней весной 1902 года Александр Александрович пришел к Мережковским записаться на билет на лекцию, прием, ему оказанный, был неожиданно-радушным:

– Как ваша фамилия?

– Блок…

– Вы – Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки…

В тот первый раз Блок просидел у Мережковских до вечера; с этого дня он стал их частым гостем и постоянным сотрудником «Нового пути». Он дебютирует в журнале в 1903 году стихотворным циклом «Из посвящений» и с тех пор всегда будет называть «Новый путь» своей «литературной родиной», а знакомство с Мережковскими – одним из «событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших» на его развитие. Каждый из номеров журнала Блок прочитывал с карандашом в руке – по изобильным пометам на полях можно с уверенностью заключить о его самом живом интересе к проблематике журнала.

Вообще поэтический отдел «Нового пути» блистал целым «созвездием» имен, соединявшим несколько поколений русских модернистов. Здесь печатались Фофанов и Случевский, Сологуб и Минский, Брюсов и Белый, Блок и Вяч. Иванов. Немаловажным нововведением была публикация стихов целыми подборками – в несколько десятков стихов, – которые позволяли (по идее, выдвинутой Гиппиус) составить достаточно полное впечатление о художественном мире поэта в целом. Менее удачным был раздел прозы – здесь, за исключением романа Мережковского «Петр и Алексей» (он был «гвоздем» номеров 1904 года), нескольких рассказов Гиппиус, Зайцева, Ремизова и Арцыбашева, печатались авторы в большинстве «случайные». Причина отсутствия качественной беллетристики была весьма прозаичной и простой: не было денег на выплату «солидных» гонораров.

– Могу я спросить, сколько вы платите? – спрашивали потенциальные авторы у секретаря Егорова.

Тот не задумывался:

– А мы очень много платим… если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.

Критикой и публицистикой в журнале ведали прежние «мирискуснические» авторы – Мережковский, Минский, Розанов, Философов; позже, в последние месяцы существования журнала, в конце 1904 года к ним присоединились Бердяев, Сергий Булгаков,

Франк, Лосский и другие представители русского «философского ренессанса».

* * *

На рубеже 1902–1903 годов звезда Религиозно-философских собраний, так высоко стоявшая, вдруг начала стремительно закатываться. Этому предшествовали странные, пугающие события.

Перед началом одного из заседаний в зале Географического общества Александр Бенуа, взглянув на грифельную доску, стоявшую в углу помещения, вдруг заметил за ней… рога. Он осторожно заглянул за нее и остолбенел. За доской стояло страшное чудовище – рогатый языческий идол с искаженной яростью клыкастой рожей (очевидно, трофей какой-то этнографической экспедиции). Отвратительнее всего было то, что голова и туловище его были оклеены настоящей шерстью – черной и густой. Бенуа подозвал Мережковского и продемонстрировал свою находку. Мережковский изумился, потеребил бородку и потом вполголоса сказал, криво улыбнувшись:

– Ну, разумеется! Это – он! Надо было ожидать, нечего и удивляться…

Однажды на совещании организаторов Собраний перед очередным заседанием (дело происходило в кабинете Мережковского) Дмитрий Сергеевич увлекся обсуждением «проблемы чуда», вынесенной на дебатирование. Он горячо доказывал, что и сейчас возможны величайшие чудеса, если только мольба о них будет возноситься с истинной верой.

– Так, – говорил он, – тьма рассеется и самой темной ночью, если повелеть с горячей верой…

Он вскочил на ноги и, протянув руку, полным голосом крикнул:

– *Да будет свет!!*

В тот же самый миг во всей квартире погасло электричество и всё мгновенно погрузилось во мрак. Воцарилась страшная тишина, и слышен был только испуганный шепот Розанова: «С нами крестная сила! Свят! Свят! Свят!..» И хотя через минуту свет снова загорелся (очевидно, где-то в сети произошел сбой), участники совещания расходились подавленные.

– Это знамение, – повторял Мережковский.

Неизвестно, было ли это действительным «знамением» или речь идет о символическом стечении обстоятельств, но Собрания

и в самом деле, с осени 1902 года, начинают неуловимо быстро «терять ориентиры».

Весь первый год их существования подавляющее большинство участников дискуссий ясно сознавало простой и очень практически-конкретный смысл совместной деятельности – поиск путей к вхождению интеллигенции в русскую Церковь. Отсюда и предельная актуальность поставленных вопросов – отношение «сторон» к свободе слова и совести, браку, общественной жизни, внешней политике и т. д. Дискуссии были хотя и острыми, но очень продуктивными, и потому, сознавая это, «власти предержащие» – как светские, так и духовные – весьма сочувственно относились к Собраниям, демонстративно «закрывая глаза» на возникавшие резкости, резонно полагая их «неизбежным злом». Однако с открытием второго сезона Собраний практическое начало в дискуссиях все больше вытесняется некими отвлеченными и не очень вразумительными словопрениями. «В этом союзе… – писал С. А. Венгеров, – самая симпатичная роль, несомненно, принадлежала архиереям и архимандритам. Под влиянием общего подъема они несли в общество искреннее желание выявить лучшие начала христианства в ортодоксии и создать веротерпимость. Писатели же, увы, играли словами, и создавалось, кроме, конечно, вопроса о веротерпимости, единение, основанное исключительно на том, что все произносили слова „религия“ и „Бог“, вкладывая, однако, в них совсем иное содержание».

Если говорить конкретно о Мережковском, то для него в это время на первый план вдруг выходит проблема *«вселенского христианства».*

У нее есть своя предыстория.

* * *

Гиппиус вспоминает: еще в конце 1890-х годов Мережковский как-то заявил в разговоре с ней, что, по его мнению, «настоящая» Церковь Христа должна быть «единой и вселенской». «Мне, – говорит Гиппиус, – вопрос казался таким громадным, что я предложила ему ни с кем об этом и не говорить пока… Дмитрий Сергеевич со мной согласился».

Как раз в 1890-е годы вопрос о «вселенской Церкви» очень настойчиво ставился в работах Владимира Сергеевича Соловьева, своеобразно трактовавшего идеи своего покойного старшего друга – Достоевского. Соловьев призывал Православную церковь отвергнуть «узкоконфессиональные и национальные интересы»,

совершить «подвиг смирения» и добровольно присоединиться к Риму. В таком случае, по мнению Соловьева, христианство станет воистину «всемирной религией» и приобретет принципиально новое качество универсального организатора бытия человечества. Тогда возникнет новая историческая ситуация всеобщего *духовного* (а не политического) соединения, национальные государства будут упразднены и установится **всемирная *«теократия»,*** общечеловеческое бытие по заповедям Господним. Это будет концом всемирной истории и прологом к мистерии Второго Пришествия, которое окончательно переведет человечество под «новое небо» и «новую землю» – ибо «прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет», и «времени больше не будет» (Откр. 21.1; 10.6).

Мережковский, исходя из той же идеи Достоевского о будущем преображении Государства в Церковь, от которой отталкивался и Соловьев, рисовал зеркально противоположную картину. По его мысли, «теократическое всеединство» вызревает именно в России, стремящейся развить идею *православной монархии* до превращения властных институтов в церковные по существу. Получалось, что русская Церковь должна была найти в себе силы «вместить» в себя все прочие христианские конфессии, «переплавить» в своем духовном горниле неким «сверхусилием», данным свыше, все противоречия, разделяющие ныне христианский мир, и *распространиться* на всю вселенную, созидая под эгидой русского Царя (превращающегося, как и «вселенский папа» Соловьева, в нечто качественно иное по отношению к «обычному» монарху) религиозную общественность, упраздняющую законы истории и утверждающую особое «апокалипсическое христианство» в качестве организующего принципа общечеловеческого бытия.

В «Л. Толстом и Достоевском» Мережковский, апеллируя к Евангелию, выводит **концепцию «двух Церквей»:** Петра (католицизм), миссия которой – устроить историческое бытие человеков, и Иоанна (православие) – на плечи которой ложится предуготовление человечества к концу истории и встрече Второго Пришествия. Соответственно различны и их «алгоритмы существования»: «западная» Церковь оказывается крайне активной на протяжении всей истории христианства, смело соединяя в своей руке «крест» и «меч кесаря» (причем последнему, разумеется, отдается предпочтение). «Восточная» же (греко-русская) Церковь *до поры до времени* пассивна и созерцательна, она как бы «скрывается» от исторических коллизий, накапливая силы для того, чтобы в канун исполнения сроков, когда «Церковь Петра» истощит свои силы, единым

мощным ударом преобразить все человечество во «всемирную теократию», в универсальное «белое христианство» Армагеддона.

Настоящий момент – канун XX века – Мережковский полагал моментом «смены Церквей»: католицизм, выполнив свою миссию, «уходит на покой», а русское православие решительно выдвигается на авансцену исторического бытия, для того чтобы, проникнув во все сферы жизни – политику, экономику, культуру, быт и т. д., **«освятив всю плоть»,** это бытие преодолеть и устроить всему человечеству «новый рай». Останется ли при этом Церковь собственно *«православной»,* Мережковский умалчивал; Соловьев был откровеннее, говоря, что в момент «всеединения» старые, «исторические, храмовые» формы религиозности как бы «истлеют» и на их месте возникнет «религия сверхчеловечества», качественно иная по отношению к прежнему, «догматическому», христианству и его обрядности.

Здесь уместно упомянуть, что, несмотря на то, что Соловьев и Мережковский были вхожи в одни и те же петербургские литературные салоны 1890-х годов, а Гиппиус была близко знакома с сестрой философа Поликсеной Сергеевной (она писала стихи под псевдонимом Allegro), ни личная, ни духовная близость между ними никогда не возникала. Возможно, в *личном* плане Мережковского коробил соловьевский эпатаж: в последние годы жизни тот окружал себя «мизераблями», нищими и бродягами, цинически шутил, одевался в отрепья и был невоздержан в пристрастии к спиртному. Но и книги Соловьева Мережковский, по свидетельству Гиппиус, лишь «пролистал», не имея желания особенно вникать в содержание его мистической футурологии.

К удивлению Мережковского, решившего в канун Религиозно-философских собраний, что «момент настал» и проповедь о всечеловеческой миссии России должна теперь прозвучать с высокой трибуны, картины грядущего «вселенского» величия православия, светочем которого и должна явиться «преображенная» русская Церковь, никакого энтузиазма у иерархов, приходящих в Собрания, не вызвали. Уже на первых заседаниях архиепископ Сергий, пользуясь правом председательствующего, неоднократно деликатно намекал своим светским подопечным о нежелательности обращения к глобальным прожектам, отвлекающим истинно воцерковленного человека от будничного, повседневного, *личного* духовного «делания».

* * *

«…Духовные истины Евангелия являются ложью в устах плотского, или недуховного, человека, потому что они не познаны им и не произносятся тем духом, который должен в таком деле направлять и возбуждать ум, – писал, поясняя итоги (увы, печальные!) „нового религиозного действия“ „группы Мережковского“, один из замечательных православных просветителей начала XX века М. А. Новоселов. – Они могут быть сравнены в данном случае с театральными представлениями. В самом деле, они, собственно говоря, могут быть названы действительным и истинным познанием Бога и Христа не в большей мере, чем в какой деяния Александра Великого или Юлия Цезаря, представленные теперь на подмостках, могли бы быть признаны действительными их деяниями, а лица, их представляющие, действительными покорителями Азии и победителями Помпея». Говоря далее о «русских писателях-мистиках» (имеются в виду прежде всего Мережковский и Розанов), М. А. Новоселов подчеркивает, что, согласно учению Святых Отцов, «душа видит истину Божию по силе жития» (святой Исаак Сирин), и истинное мистическое «ведение» дается только по мере «возрастания в добром житии». У Мережковского же и у писателей его круга «глубина этико-религиозных, таинственных переживаний, которыми характеризуется истинно-христианский путь, подменена ‹…› сравнительно поверхностными, художественными волнениями с религиозной окраской. Их мистицизм несоизмерим качественно с тем существенным проникновением в потусторонний мир, о котором мы знаем из Нового Завета и Отцов Церкви. В первохристианских общинах просвещение и восторг новой жизни, чудо полного обновления, переживалось с какою-то даже страшной силой – объективностью своею оно поражало даже самих христиан не меньше, чем окружающих их язычников. Ничего подобного мы не найдем, конечно, у современных декадентствую-щих мистиков вследствие аморальности их воззрений».

И действительно, собственный, личный опыт «воцерковления» у Мережковского и его друзей едва ли превосходил опыт обыкновенного рядового прихожанина, посещающего храм по великим праздникам, крещениям, венчаниям и отпеваниям родственников, да иногда – в особом расположении духа – по субботам и воскресеньям. Если бы они удовольствовались поначалу принятой ими на Собраниях ролью «спрашивающих и слушающих» (по выражению того же Мережковского), привлекая в то же время примером в свои ряды все большее число интеллигентов, их имена, возможно, были бы сейчас золотыми буквами начертаны на скрижалях истории России. Однако они не

смогли удержаться от наставничества и проповедничества и, говоря словами православной сотериологии (учения о спасении), скоро *впали в прелесть*.

«Прелестью» (от «прельщения») называется такое состояние неофита от христианства, когда тот, не имея достаточного опыта «возрастания в добром житии» и не умея здраво оценить свои силы в великой битве Добра и Зла, начинает принимать желаемое за действительное, воображать себя «избранным», носителем некоего «откровения», призванным «спасти человечество», сказать человекам «новое слово» и т. д. Прелесть является сатанинской уловкой – «прельщенный» человек становится агрессивным, перестает слушать другие мнения, не видит себя со стороны, начинает противоречить не только заповедям христианства, но и здравому смыслу, как правило, исторгает сам себя из Церкви и, в конце концов, чаще всего гибнет (нравственно, а подчас и физически) либо получает глубокую психическую травму (но вместе с ней и опытность).

Дьявол не даром высовывал рога в зале Географического общества!

К началу 1903 года история Собраний приобрела окончательно скандальный характер из-за целого ряда странных событий, вызвавших тревогу у властей. Собственно, «трения» между ними и организаторами Собраний начались раньше. «"Отцы" уже давно тревожились. Никакого „слияния“ интеллигенции с Церковью не происходило, а только „светские“ все чаще припирали их к стене – одолевали, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Выписан был на помощь… архимандрит Михаил, славящийся своей речистостью и знакомством со „светской“ философией».

Содержание конфликта между Мережковским и о. Михаилом восстанавливается по газетной хронике. В декабре 1902 года о. Михаил прочел ряд лекций под названием «Д. С. Мережковский как представитель нового своеобразного христианства» (Новое время. 1902. № 9609). После одной из них 4 декабря в «Петербургских ведомостях» появилась заметка, перепечатанная затем и в провинциальной прессе. «Мережковского, – говорилось в заметке, – лектор считает представителем нового христианского культа, своеобразного христианства, в котором объединяется культ Диониса с подлинным христианством, идеал Мадонны – с идеалом содомским. По мнению лектора, Мережковский является вредным еретиком. Его учение он называет „апофеозом оргийности“. Проповедь Мережковского лектор охарактеризовал выражением „дрянная проповедь“».

На данную заметку откликнулась чрезвычайно резкая статья

К. Румынского «Нечто об еретиках» (Санкт-Петербургские ведомости. 1903. 12 января. № 11), ярко описывающая тот скандал, который разразился в интеллигентских кругах, возмущенных определением «еретика», обращенным против Мережковского. О. Михаил счел необходимым объясниться с читателями: «Считаю нужным заявить, что слово „ересь“ я не употреблял, так как считаю это слово не существующим в современном церковном языке: учение Мережковского я считаю (и заявил это в лекции) совершенно безвредным, потому что это – не ошибка ищущего ума, а игра в „цветные яркие слова“. „Дрянной проповедью“ я назвал не проповедь Мережковского, а вульгарный „эгоизм“ – практическую проповедь распущенности у эгоистов, которые склонны заимствовать у Д. С. Мережковского мишурно-метафизическое оправдание своей проповеди „опьянения“. Говорить о том, что я думаю собственно о Мережковском, – полагаю, нет нужды в этой заметке» (Санкт-Петербургские ведомости. 1903. № 13). Однако дальнейшие события затмили всё вообразимое.

Экзальтированный о. Михаил вдруг… полностью перешел на сторону Мережковского и, как легко угадать, тут же оказался «большим роялистом, чем сам король», засыпав архиереев, участвующих в Собраниях, градом обвинений и упреков (в дальнейшем он продолжал острую борьбу против Православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих).

В это же время Розанов, начав свою работу в Собраниях с докладов по вопросам взаимоотношений Церкви и семьи, окончательно увлекается… сексуальными аспектами религиозности и публикует в «Новом пути» ряд материалов, вполне могущих быть причисленными к жанру «мистической порнографии». Особую пикантность розановским откровениям придавало то, что они имели солидное «богословское обоснование», выполненное другом Розанова, протоиереем Дмитровской новгородской церкви Александром Устьинским. Разумеется, ни Розанов, ни Устьинский не имели особого злого умысла – ими руководило научное любопытство. Однако то, что было бы уместно на страницах специального исторического исследования, в аудитории Собраний и на страницах «Нового пути» выглядело дико. Возмутился не кто иной, как сотрудник Розанова по «Новому времени» М. О. Меньшиков, поместивший там резкий фельетон, в котором «исследователи святости пола» обвинялись в кощунстве.

Тогда же Минский, почувствовав вкус «свободы слова» (как

уже говорилось, заседания Собраний проводились без всякой цензуры извне), начал произносить (и публиковать в «Новом пути») речи откровенно разрушительного содержания, прямо называл русскую Церковь «антинародной силой» и призывал всех «честных людей» перейти к… религии небытия, каковую исповедовал сам оратор. Здесь было от чего пойти голове кругом! «…Странное впечатление производил один из докладов Минского, – вспоминал Венгеров, – где он с сокрушением читал архиереям об „упадке веры“. Архиереи сочувственно слушали. Но очевидно, что этот „упадок веры“ они понимали не так философски, как „мэонист“ – докладчик, не потрудившийся, однако, поставить точки над i, после чего, конечно, мнимое единение исчезло бы как дым».

«В Петербурге в восторге от отца В. В. Розанова и отца Мережковского в одном месте, – насмешливо писали тогда же „Одесские новости“ (слух о невероятных „ассамблеях“ в столице уже прошел по всей стране). – В другом – бранят и отца Розанова и отца Мережковского иезуитами. Разбирают статейку Минского о свободе совести, в которой, то есть брошюрке, он рекомендует церкви идти рука об руку с интеллигенцией в деле обновления религиозной жизни, а интеллигенции идти рука об руку с церковью. Разбирают далее действительно любопытный реферат Розанова о браке и энергичное добавление к нему, сделанное на последнем заседании Религиозно-философского общества. Жалуются на о. Петрова за то, что он повторяет все то же и то же: „люби жизнь, созидай жизнь“, а насчет способов выражается иносказательно: во благовремение, благожелательно с благорасположения совершить благо. Ходят на отца иеромонаха Михаила и удивляются, что вот монах в роли лектора и просветителя для образованных, совсем как… как никогда не бывало у нас, по крайней мере.

Словом, гг. религиознофилософствующие «отцы» – на первом плане. О них говорят и говорят. И того, и другого – много. Но все это ‹…› муссировано, взвинчено, раздуто, а в основе пустая жалкая словесность – крик, вопль, вой, визг моды – нервы, ожидание, скука, судорожная торопливость засидевшихся на одном месте людей».

Странное впечатление производил на отечественных читателей, *привыкших к четкому делению периодики на «светскую» и «духовную»,* и журнал Мережковских. «"Новый путь", – или „старая белиберда“? – вопрошал обозреватель „Северо-Западного слова“ (1903. № 1500). – Недавно в Петербурге начал выходить в свет новый журнал под громким и многообещающим названием „Новый путь“. Журнал этот отличается чортовой глубиной; он

одинаково легко трактует о „чорте“, проникает в „дебри религий“, не оставляет без внимания – явления общественной жизни, повседневного быта. Тон, направление и окраску журналу дает Д. С. Мережковский.

Глубокомыслие и полет фантазии этого философа, обретшего, а, может быть, и прокладывающего еще новые пути в философии, – прекрасно иллюстрируются следующими выдержками, которые сохраняются нами в их первозданной красоте.

«Что есть чорт?» – задумывается г. Мережковский. И тут же отвечает:

«Чорт есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное и безконечное; чорт – нуменальная середина сущего. Отрицание всех глубин и вершин, вечная плоскость, вечная пошлость».

Глубоко, просто и, главное, необыкновенно толково и ясно!

Столь же удобопонятно определение «сытости».

«Умеренная сытость, – вещает г. Мережковский, – спокойное довольство всего человечества в комфортабельных алюминиевых дворцах, в вавилонской башне социал-демократии есть не что иное, как царство Чичикова» (?!).

Хорошо пишут в «Старой белиберде», то бишь в «Новом пути», этой «нуменальной середине сущего, отрицании всех глубин и вершин, вечной плоскости, вечной пошлости»…»

Что и говорить, «светская» журнальная аудитория, как столичная, так и провинциальная, действительно не привыкла не только к богословской, но и к философской проблематике, сколь-нибудь выходящей за пределы доброго старого «механистического» материализма славных «базаровских» 1860-х годов! Но и «воцерковленных» читателей-«идеалистов» ставила в тупик «жанровая эклектика» журнала. Отчеты о деятельности Собраний появлялись в «Новом пути» в странном окружении откровенно «декадентской» поэзии и прозы – Бальмонта, призывавшего «быть как солнце», Брюсова, мечтавшего ранее восславить во имя свободы «и господа и дьявола», Сологуба с его мрачным исповеданием «злого бога». Уже по закрытии «Нового пути» Блок набросал иронический «проект содержания» возможного номера журнала: здесь упоминались стихотворение Мережковского «Черт с вами!», размышления Розанова «Нечто о давно и однажды женившихся», сочинение теософки А. Шмидт «Несколько слов о моей канонизации». В рубрике «Из частной переписки» Блок поместил «Любовные письма иеромонаха Прокрустия к Мирре Лохвицкой»… Справедливости ради нужно, впрочем, отметить, что и Блок с его пониманием Бога как

«несказанного» и чрезвычайно свободной трактовкой мистицизма мало совпадал с доктринальным мистицизмом Церкви.

Весной 1903 года терпение властей лопнуло. «Последней каплей» здесь явилось открытое письмо популярной тогда писательницы Н. А. Лухмановой «Кто дал им право?», помещенное ею в газете «Заря». «Кто звал быть нашими пророками гг. Меньшиковых, Розановых, протоиерея Устьинского, Мережковского и других?… – писала Лухманова. – Мы устали от грязи, клеветы, от всей этой вакханалии, под видом богословских споров, мы жаждем чистоты и простоты, мы жаждем молчания!»

Лухманова писала искренно, но объективно ее статья сыграла роль доноса: с соответствующими комментариями и сопроводительными материалами она была подана Государю. Тот ужаснулся и настоятельно потребовал от духовной власти разобраться с Собраниями и журналом. В это же самое время против «Нового пути» произносит целую проповедь о. Иоанн Кронштадтский – один из немногих священнослужителей тех лет, к мнению которых прислушивалась вся Россия – как образованная, так и простонародная. Он назвал «Новый путь» – «сатанинским журналом»: «Это сатана открывает эти новые пути, и люди ‹…› не понимающие, что говорят, губят и себя, и народ, так как свои сатанинские мысли распространяют среди него».

5 апреля 1903 года Синод запрещает Религиозно-философские собрания.

* * *

«Д. С. в состоянии даже не Соляного, а чугунного столба, ни о чем слышать не хочет, – описывает Гиппиус состояние Мережковского в апрельском 1903 года письме П. П. Перцову. – Устал и в тихой ярости. Желает уехать немедленно „куда глаза глядят“». Пытаясь спасти Собрания и журнал, он наносит визит в Лавру, митрополиту Антонию (который был очень расстроен происшедшим и обещал содействие). Возвращаясь, Мережковский оступился на лестнице митрополичьих покоев и провалился в стеклянный люк, сильно расшибся и порезался. Этот инцидент (после которого пришлось достаточно долго лечиться компрессами и массажем) окончательно «добил» нашего героя. «…Падение, – вспоминал он впоследствии, – было для меня символическим: я понял, что мой поход к Православию добром не кончится».

«Добром не кончилась» и «проповедническая» деятельность Мережковского этого времени. Одной из самых восторженных его

«духовных учениц» в «неохристианские» годы становится Евгения Ивановна Образцова, московская «дама-модерн», входившая в «круг Брюсова». Уверовав в проповедь «нового религиозного действия», Е. И. Образцова, покоренная эрудицией и ораторским мастерством Мережковского еще с 1894 года, с энтузиазмом поддерживает «пророка» не только «словом», но и «делом», щедро жертвуя на все его начинания (в одном «Новом пути» пай Образцовой составлял 3 тысячи рублей, деньги по тем временам немалые).

Однако этот «духовный порыв» имел вполне «земное» основание: Евгения Ивановна была тайно влюблена в Мережковского. Если бы Дмитрий Сергеевич оставался неприступен, не допуская эволюции их отношений из «мистериальной» в «романтическую» плоскость, все, возможно, завершилось бы «миром», но, увы!.. В один из весенних визитов восторженной «энтузиастки» из Москвы в Петербург в 1901 году Мережковский, не выдержав ее напора, нечаянно «пал», – и далее около двух лет, по витиеватому выражению Гиппиус, «в жизни Дмитрия Сергеевича свершала свое течение жизненная комедия пола, безбожная, а потому идущая против воли. Очень жалко было эту женщину, милую Божью тварь».

В реальности Зинаида Николаевна была куда менее благостна, чем в своей мемуаристике. Она жестоко ревновала мужа к «старой жабе» (как она именовала Образцову в письмах) и даже иронически описала свидание любовников в одном из своих рассказов. Впрочем, до поры до времени Гиппиус крепилась: «Дмитрий Сергеевич сошелся с этой бедной, влюбленной в него женщиной и чувствовал себя и самодовольно и трусливо. Я молчала». Но однажды, позабыв про свой «серафический» статус «декадентской мадонны», Зинаида Николаевна попросту взяла да и выгнала «энтузиастку», что называется, «в шею».

Кончилось все тем, что Образцова, осознав бесплодность своих усилий по «умыканию» Мережковского от Гиппиус, сменила любовь на ненависть, и в московской, купеческой простоте душевной потребовала *«деньги назад»!* Создалось, мягко говоря, неловкое положение, тем более что «обманутая» Образцова делилась своими несчастьями с Брюсовым, а тот, циничный до веселости, коль скоро дело касалось «новой религиозности» (сам он не верил ни в Господа, ни в дьявола, но очень интересовался спиритизмом), оповещал всех московских знакомых Мережковского: – Он продавал свои ласки!

Брюсов утих только после того, как романтический Андрей Белый, возмущенный «ужаснейшим оскорблением личности Мережковского», едва не вызвал его на дуэль («Ведь Вы ругаете

периодически всех, – писал Белый Брюсову 19 февраля 1905 года. – ‹…› Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить Вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать Ваши слова, подобные сказанным мне сегодня ‹…› обидой себе»). Образцова же на протяжении ряда лет периодически возобновляла «гонения» на Мережковского-«альфонса» и даже в 1912 году (!) писала Брюсову: «Очевидно, они желают мои деньги зажилить или, того хуже, считают это платой за любовь. В таком случае – дешевая любовь была. Деньги мною были даны на издание книг обоих супругов». Такой жалкий финал, между прочим, далеко не случаен, коль скоро речь идет о «миссионерстве», осуществляемом *неподготовленным, светским человеком,* далеким от *профессиональных* навыков священнослужителей, подвизающихся на этой ниве. Во всех наставлениях молодым священникам особое внимание многократно обращается на необходимость крайне осторожно относиться к энтузиазму «неофиток»: слишком легко здесь бывает спутать религиозную экзальтацию с обыкновенным эротическим влечением, которые к тому же психологически вполне «взаимосочетаются».

1903–1904 годы – время духовного кризиса Мережковского.

Лишившись поддержки Церкви, «новое религиозное действие», осуществляемое его «группой», оказалось лишенным какой-либо жизненной конкретности, превратилось в эклектическую «игру в богоискательство». «Новый путь» продолжал выходить, и на его страницах все еще появлялись оставшиеся отчеты Собраний, но цель журнала, его «сверхидея» вне живой связи с деятельностью Собраний была утрачена. Тематика помещаемых статей номер от номера приобретает все более «общий» культурологический и философский характер: на страницах «Нового пути» во второй половине 1903–1904 годов ведутся пространные дискуссии о Ницше, обсуждаются специфика драматургии Чехова и эстетика Художественного театра, появляются статьи, посвященные проблемам личности и познания. Весь 1904 год «Новый путь» публикует фундаментальное исследование Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога». Все это само по себе очень интересно для достаточно узкого круга специалистов, однако для журнала, не претендующего на «академический» статус, а, напротив, по замыслу долженствующего быть обращенным к «общественности» и ее проблемам, – явно не подходило в качестве основного материала.

Журнал начинает терять подписчиков и авторов. Осенью 1903 года из «Нового пути» тихо уходит разочарованный Перцов

(формально он еще оставался редактором на протяжении полугода, однако *de facto* его место уже занимает Философов). От журнала отстраняется и Брюсов, задумавший издавать собственный чисто эстетический ежемесячник (это будут «Весы», появившиеся в следующем, 1904 году; Мережковские примут там активное участие, но исключительно в «художественном» качестве). Брюсов же, проявив незаурядный талант интриги, «сманивает» из «Нового пути» в «Весы» Андрея Белого. Подписку на 1904 год спас лишь обещанный «Петр» Мережковского – русские читатели ждали завершения «трилогии», нашумевшей не только в России, но и на Западе. Как сообщали тогда «Новости», «Сочинения Д. С. Мережковского пользуются во Франции в переводе из ряда вон выдающимся успехом». «Смерть богов» («Юлиан Отступник») выдержала двадцать три французских издания, другие сочинения по двенадцать и девять изданий). Мережковский же, обратившись к Анне Григорьевне Достоевской, обеспечил для журнала и другой «ударный» материал – неизданные записные книжки писателя, которые появились в первом номере нового года.

К 1904 году относится и краткий весенний визит супругов в Ясную Поляну. Интересно, что этому визиту предшествовала (в апрельском номере «Нового пути») статья И. Вернера «Евангелие и немецкая свободная критика. Давид Ф. Штраус», где признавалась влиятельность религиозно-нравственных исканий Толстого, – это должно было незаметно дезавуировать предшествующие резкости Мережковского в адрес толстовской проповеди. В то же время Мережковский проводит переговоры с Т. Л. Сухотиной-Толстой, дочерью писателя, и ее мужем, пытаясь «прощупать почву» для предстоящего визита. Все эти «политические маневры», естественно, наводят на мысль, что Мережковские мечтали если и не заполучить Толстого в качестве союзника, а то и сотрудника, – то, по крайней мере, наладить перспективное долговременное знакомство.

Надеждам этим, впрочем, сбыться было не суждено. Встреча с Толстым была единственным и кратким эпизодом: разговор «на общие темы» за вечерним чаем, традиционные выпады Толстого против современного искусства, прерываемые репликами Софьи Андреевны («А мне – нравится!»), спор вокруг «здравого смысла», затеянный Гиппиус, перешедший в спор о личности и воскресении. Вдруг Лев Николаевич тихо сказал:

– Когда умирать буду, скажу Ему: в руки Твои предаю дух мой. Хочет Он – пусть воскресит меня, хочет – не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет…

После этих слов спорить было уже не о чем. Провожая гостей,

Толстой заметил:

– А я рад, что вы ко мне приехали. Значит, вы уже ничего против меня не имеете…

Но, как пишет Гиппиус, «религию Толстого» Мережковский не принимал до конца дней.

Чтобы компенсировать кадровые утраты, осенью 1904 года Мережковские приглашают в журнал целую плеяду молодых философов, заявивших о себе нашумевшим сборником «Вопросы идеализма», в котором критиковался марксистский материализм и «социальные» вопросы получали «метафизическое» обоснование. С приходом Бердяева, Франка, Сергея Булгакова на страницах журнала появляется целый автономный отдел публицистики, посвященный насущным проблемам русской общественно-политической жизни: аграрному вопросу, перспективам развития капитализма в России, национальным отношениям и т. п. Это, конечно, с одной стороны, не могло не укрепить позиции «Нового пути» на читательском рынке, но с другой – еще более «размывало» первоначальную концепцию издания. Никто из вышеперечисленных лидеров группы «идеалистов» не считал «богоискательство» интеллигенции *безусловно* актуальным для «текущего момента», хотя они и относились к идеям Мережковских с симпатией (особенно Бердяев, несколько лет затем связанный с супругами дружеским личным знакомством). Близились какие-то грозные события: дальневосточный кризис, до поры до времени незаметный в столице, стал отзываться эхом страшных поражений русской армии и флота в стычках с японскими войсками, общество все более явно выражало недовольство правительством, в простом народе поднимался ропот. В этой обстановке темы Религиозно-философских собраний как-то отходили на задний план.

Ясно было, что журнал в том виде, в каком он изначально планировался, обречен, – и в конце 1904 года Мережковский и Гиппиус ликвидируют дело, передав права на издание «философской группе» Бердяева и Булгакова.

* * *

В это время продолжаются «агапы» у Мережковских, однако и здесь «новое религиозное действие» приобретает какой-то странный характер, все более напоминая собрания участников некоей «мистической секты», собственно «христианская» природа которой оказывается под большим вопросом.

«Из попыток найти собственные, не зависимые от Церкви

пути к духовному обновлению, – вспоминает А. Н. Бенуа, – мне особенно запомнилась одна. ‹…› Собрались мы у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения „реальных опытов“ и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечере, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот „подвиг унижения и услужения“ Христа, и тут же предложили приступить к подобному омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно „залопотал“: „Да, непременно, непременно это надо сделать и надо сделать сейчас же“. Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, „очень соблазнительная Ева“, должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее „белые ножки“ ему захотелось увидать, а может быть, и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то „свального греха“, во всяком случае, промелькнул перед нами, но спас положение более трезвый элемент – я да Перцов… Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше».

Это, конечно, кощунственное пародирование православной обрядности (обряд «омовения ног» в Страстной Четверг существует в Церкви), непонятно только – вольное или невольное.

Кажется далеко не случайным появление именно в это время в кругу Мережковского **Вячеслава Ивановича Иванова.**

Ученик Теодора Моммзена, блестящий ученый-классик, историк Древнего мира Иванов, долгое время живший за границей, приехав в Петербург, снимает квартиру в знаменитой *«башне»* – огромном доходном доме близ Таврического сада, угол которого (где на последнем этаже и располагались апартаменты Иванова) выполнен в «башенной форме». На «башне» возникает модернистский художественный салон, постоянными посетителями которого оказываются чуть ли не все литературные и научные знаменитости Петербурга и Москвы, связанные с символизмом.

Вячеслав Иванов, вплоть до тридцати лет не помышлявший о профессиональной литературной деятельности, стал ревностным приверженцем «нового искусства» после того, как под впечатлением от чтения Владимира Соловьева и Ницше

выработал особую историософскую концепцию, связывающую русский символизм с «религией последних времен». Согласно этой концепции, человечество в своем отношении к Непознаваемому проходит путь, организованный по образу диалектической «триады». На первом этапе религиозное переживание рождается в языческих экстатических культах, бессознательных, исступленных чувственных переживаниях, приобщающих каждого к Общему Началу *телесно.* Выражением этой религиозности оказывается древнее мифотворчество, анонимное и «алогичное», «показывающее» Тайну, а не «рассказывающее» о ней.

На втором этапе на смену чувству в религиозном творчестве человечества заступает разум. Это – «христианский» период истории, где вместо «коллективного» познания божества является познание «индивидуальное» и «интеллектуальное». Отдельные выдающиеся личности, отвергнув соблазны простой чувственной жизни, в суровом сосредоточении духа созидают религиозную доктрину, облеченную в понятия и формулы, – доктрину, которую можно выразить в виде собрания канонических текстов, трактатов, катехизисов. *В отличие от первой стадии богопознания, где «неведомое» можно было «пощупать руками», здесь происходит работа по превращению Его в «ведомое», но – «неосязаемое».*

В XX веке, по мнению Вячеслава Иванова, наступает третий, «окончательный» этап «богопознания», соединяющий в себе как «чувство», так и «разум», в равной мере близкий как «язычеству», так и «христианству». Содержанием этого этапа является свободное и сознательное возвращение индивидуума, усвоившего «рациональную» истину о Божестве, в лоно оргиазма, содержащего возможность «чувственного» приобщения к Нему. Это свободное и сознательное *«нисхождение»* «постхристианского» человечества в «хаос» можно для простоты и наглядности представить как судьбу рафинированного интеллигента, завершившего гимназический и университетский курсы, в совершенстве овладевшего всеми премудростями философии и богословия, исчерпавшего сокровищницу мировой литературы, понаторевшего в утверждении достоинства собственного «ego», – а затем плюнувшего на всю университетскую премудрость, сбросившего штаны и манишку, схватившего дубину, чтобы вольно сокрушать черепа врагов, и побежавшего в чистое поле, отвоевывать для себя жизненное пространство да насиловать в ожидании здорового потомства красивых самок.

Прообраз такого «нисхождения» Вячеслав Иванов видел в «оргиазме» русских художников – интеллектуалов-символистов:

Художники, пасите
Грез ваших табуны;
Минуя, всколосите —
И киньте – целины!

И с вашего раздолья
Низриньтесь вихрем орд
На нивы подневолья,
Где раб упрягом горд.

Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!

Впрочем, в отличие от первобытного варварства, добровольное «нисхождение в хаос» человека XX столетия есть, по мнению Иванова, акция мистическая, которая *должна вызвать действие добрых «потусторонних» сил.* Поскольку «новый гунн» обретается в положении дикаря *добровольно и сознательно,* он совершает определенный «религиозный подвиг» и потому должен быть обильно облагодетельствован «встречным» (синергетическим) действием божества. «Нового варварства» – с его ужасами, насилием и кровью – не предвидится. Чудесным действием милосердного Непознаваемого «хаос» будет превращен в «космос», за «нисхождением» следует «преображение». Орды новых «кочевников красоты» будут превращены на безмерных русских пространствах в невинно резвящихся детей: «Страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действии или трагедии, или комедии, народного дифирамба, или народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество – соборно), где самая свобода найдет очаги своего безусловного, беспримесного, непосредственного самоутверждения (ибо хоры будут подлинными выразителями народной воли)»…

С. С. Аверинцев в свое время точно указывал на ивановскую утопию, как на провозвестницу тоталитарных форм «массовой культуры» XX века (обладающей именно сакральным, «мифотворческим» содержанием, – вспомним хотя бы кинематограф 1930-х годов в России и Германии). Можно добавить, что сила ивановского призыва к «нисхождению» – если только пробиться через слой пышной риторики, свойственной его поэзии и прозе, – *демонически* неодолима, как неодолимо было, по

свидетельству современников, и его личное обаяние.

«Как собеседник он обладал совершенно особенным обаянием, и хотя я не забывал, что передо мною ученый-философ и глубокий поэт, но это не пугало – так он был внимателен ‹…› и так порой веселоумны были его реплики, и так заманчиво и интересно он заводил разные тонкие споры, – вспоминал Мстислав Добужинский. – …Мне казалось, что от него веяло какой-то чистотой, чем-то надземным. Кто-то написал о нем: „Солнечный старец с душой ребенка“ (ему тогда было, впрочем, лет сорок), а Блок в одном из своих писем сказал: „Он уже совсем перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой“… Вяч. Иванов носил тогда золотую бородку и золотую гриву волос, всегда был в черном сюртуке с черным галстуком, завязанным бантом. У него были маленькие, очень пристальные глаза, смотревшие сквозь пенсне, которое он постоянно поправлял, и охотно появлявшаяся улыбка на розовом, лоснящемся лице. Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходили ко всему облику Поэта».

Мережковский не мог не заметить, что построения Вячеслава Иванова очевидно перекликаются с его рассуждениями о «плоти» и «духе» в истории (Иванов и не скрывал, что чтение «Юлиана Отступника» было одним из важных составляющих его творческого развития). Однако проповедь Иванова была **проще и практически гораздо действеннее,** нежели призывы Мережковского к «преображению Православия» в «новую религиозность» русской интеллигенции.

Для Мережковского язычество и христианство *иерархически качественно несопоставимы.* Христианство *«выше»* язычества: язычество может лишь «намекнуть» об Истине – в своих лучших красотах. Христианство являет Саму Истину – в Христе. «Новое религиозное действие» есть только практическое количественное распространение Истины христианства на «внецерковные» сферы – «христианизация» политики, экономики, права, науки, быта. Самым совершенным церковным организмом для «воцерковления» повседневной, обыденной жизни современного человека Мережковский полагал Русскую православную церковь. Но она упорно не хотела «распространяться» и созидать *«православную политику», «православную экономику», «православную эротику»* и т. д., – равно как и власть имущие люди, интеллигенты, «властители дум», формально принадлежащие к Церкви, предпочитали не привносить в свою общественную и частную жизнь элементы суровой православной дисциплины.

Для Вячеслава Иванова и язычество, и христианство были *абсолютно равны, относясь друг к другу, как «тезис» относится к «антитезису».* Языческий бог экстаза Дионис и Христос для него – один и тот же Неведомый Бог, открывшийся в первом случае с «чувственной», а во втором – с «разумной» стороны. Из этого следовал самый главный в учении Иванова практический вывод: *современному интеллектуалу для того, чтобы религиозно устроить свою жизнь, не нужно церемониться с христианством (тем более – с православием), впрочем, равно как и с «традиционным» язычеством.* И то и другое – уже изжившие себя формы религиозного познания. Сейчас наступает эпоха «синтеза», то есть созидания «третьей», принципиально отличной как от язычества, так и от христианства религиозности. Форма ее воплощения – *мистическая импровизация,* «свободное жизнетворчество», признающие всё, вызывающие «восторги и содрогания», ввергающие личность в «безличие» экстаза.

Практика ивановской «синтетической религии», подхваченная русской творческой интеллигенцией с гораздо большим энтузиазмом, нежели «новое религиозное действие» Мережковского, – впечатляет. Друг Блока, писатель и публицист Евгений Павлович Иванов сообщает в письме поэту подробности одного из типичных «богослужений» этого рода, которое состоялось по инициативе Вячеслава Иванова 2 мая 1905 года у Минского.

«…Было решено произвести собрание, – пишет Иванов, – где бы Богу послужили, порадели, *каждый по пониманию своему, но «вкупе»…»* Сказано – сделано. Собирались в полночь, с женами и девицами. Сначала пили чай, читали стихи и «делали ритмические телодвижения». Потом в темной зале сидели на полу, в кругу, взявшись за руки. Во тьме раздавались взрывы истерического хохота и крики: «Ой, нога затекла!» – «Ой, кто-то юбку дергает!» Свечи то зажигали, то гасили – и так в течение двух часов. Далее избрали «жертву» – молодого музыканта-еврея, целовали у него руки, потом повалили, растянули «крестом», разрезали жилу под ладонью, нацедили кровь в кубок с вином и пустили пить по кругу. С одной из женщин сделался припадок… «… Я знал, – вспоминал об этом времени Андрей Белый, – нескольким юным девушкам лозунги В. Иванова отлились; я знал: в „модном“ публичном доме выставлен портрет его почетного посетителя, известного всем писателя (для заманки „гостей“); я знал: в одном доме супруг и супруга преследовали барышню: супруга – лесбийской любовью, супруг – …? Но он был не прочь поухаживать и за юношами; скажут: личная жизнь; нет, в данном случае практика стихов об „объятиях“; несколько шалых дамочек,

взяв клятву молчания с понравившегося им мужчины, появлялись перед ним голыми, на него нападали».

На одном из заседаний московского Литературно-художественного кружка, председателем которого был Брюсов, поэт Александр Курсинский, впав в истерический транс, залез на трибуну и кричал истошным голосом:

– Я желаю совершить преступление!.. Я бы… я… я… изнасиловал бы всех!!!

Публика восторженно аплодировала.

Все это и были проявления «новой религиозности», долженствующей, согласно учению Вячеслава Иванова, сменить в XX веке «изжившее себя» христианство.

* * *

«Вечер… Мережковский, маленький уютный, ласково ходит по комнате, и то раздается его смех, то молнией разрезает он разговор, – вспоминает Белый одно из своих посещений дома Мурузи в 1903–1905 годах. – …Тут, в уютной квартирке на Литейном столько раз приходилось мне присутствовать при самых значительных, утонченных прениях, наложивших отпечаток на всю мою жизнь. Тут создавались новые мысли, расцветали никогда не расцветавшие цветы. Проходило много месяцев, и мысли эти начинали пестрить страницы журналов, иногда в искаженном, превратном освещении, без огня, без правды, и о них говорили: „Вот новое течение, вот эротизм, вот мистический анархизм“. И Мережковский хохотал, видя *свое,* так превратно понятое».

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…

Бесчисленное количество раз в книгах и статьях этого времени Мережковский говорил о демонической природе смеха, связанного с «пошлым» смешением «высокого» и «низкого». Сейчас он на своей собственной шкуре убедился в своей же прозорливости.

«Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа. Другие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать?»

Этот безнадежный вопрос Мережковского, прозвучавший

трагической весной 1903 года со страниц «Нового пути», – канул в пустоту, остался без ответа. Вокруг нашего героя разыгрывалась воистину дьявольская фантасмагория. «Каждый день новые недоразумения и обвинения, – хладнокровно констатирует ситуацию Гиппиус в письме Перцову (20 апреля 1903 года). – Каждую минуту воздух тяжелее. Объясниться и в главном, в том, что мы не сатаны, а христиане, и монархисты, а не революционеры (на две разных стороны, на два разных взгляда), – и то нельзя, а уж тонкости!.. Что ж, вам нравится *погибнуть молча,* с ярлыками: 1) сатанисты 2) просвирни 3) крепостники 4) потрясатели основ 5) идолопоклонники (sic) 6) мракобесы и – 7) развратники-декаденты во всяком случае?»

С Мережковским и его друзьями разыгрывалась старая, бесчисленное количество раз повторенная в истории Церкви, история: попытка *«духовной брани»,* предпринятая не в меру восторженным и активным неофитом, становилась губительной для него самого. **«Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома» (Деян. 19, 13–16).**

В личной жизни Мережковского в это время происходили события, которые начисто разрушали тот строй, который принято называть «привычным» и «нормальным».

Еще в 1892 году, весной, в Ницце, где Гиппиус лечилась от последствий тяжелого бронхита, на вилле профессора Максима Ковалевского Мережковские познакомились с двадцатилетним студентом Петербургского университета **Дмитрием Владимировичем Философовым.** Это был сын бывшего главного военного прокурора и знаменитой общественной деятельницы 1860-1870-х годов, одной из основательниц женских Бестужевских курсов. Юноша был очень красив, умен, деликатен – но продолжение это знакомство тогда не получило. Лишь через шесть лет, в канун создания «Мира искусства», Мережковский и Гиппиус вновь сходятся с давним знакомцем – Философов играл одну из главных ролей в «дягилевском кружке» и был заведующим литературной частью создававшегося журнала. Он много содействовал благополучному сотрудничеству Мережковских с «Миром искусства».

Это был еще молодой, но уже пресыщенный и

разочарованный человек, страстно желавший обрести некое прочное духовное основание, «алчущий и страждущий» веры. По мере возникновения дружеских отношений оказалось, что Философов тяготится теми богемными нравами, которые царили в компании молодых эстетов: Сергей Дягилев создал некую систему «фаворитизма» в духе придворных нравов Генриха III – сочетание рыцарского этоса дружбы с утонченной содомией. (Гиппиус намекает на это в известной эпиграмме:

Курятнику петух единый дан.
Он властвует, своих вассалов множа.
И в стаде есть Наполеон – баран,
И в «Мир искусстве» есть – Сережа.

Религиозный энтузиазм Мережковского вдохновил Философова; супруги же почли долгом «спасти» молодого товарища. В процессе «спасения» Гиппиус влюбляется в Философова и у них возникает тайный «роман».

Казалось, что повторяется история с Волынским. Однако Философов тяготился возникшей ситуацией. Его мучила совесть, он чувствовал крайнюю неловкость перед Мережковским, к которому испытывал самое дружеское расположение и считал своим «наставником». «Зина, пойми, – откровенно пишет он в одном из писем, – прав я или не прав, сознателен или несознателен, и т. д. и т. д., следующий факт, именно *факт* остается, с которым я не могу справиться: мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях. И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне всего этого, нечто абсолютно иррациональное, нечто специфическое. ‹…› При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим, у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом. Это доходит до болезненности».

«Я омрачила тебя, – отвечает ему Гиппиус, – себя омрачила, отраженно – Дмитрия, но не прошу у вас прощенья, а только нужно, чтобы я же этот мрак сняла, если то мне позволят силы и правда». **И она предлагает видеть в случившемся «падении» лишь обязательное искушение, провиденциальное испытание, посланное всем троим для того, чтобы они, покаявшись, смогли организовать свои отношения не на «низших», чувственных, а на высших, духовных и нравственных основаниях.**

Неизвестно, насколько была искренна Гиппиус, сохранившая, как это утверждает ее секретарь и биограф Злобин, именно чувственную, страстную любовь к Философову до конца дней. Но

это ее «прозрение» неожиданно придало «бытовой» семейной истории – «высокий» смысл. **Все трое уверовали, что они «избраны» Провидением как провозвестники нового состояния жизни, завершающего человеческую историю.** Это состояние «преображения плоти», уходящей от «любви» к «сверхлюбви», предвосхищающее райское единение человечества, когда, по слову Господа, «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 20. 35–36).

29 марта 1901 года, в Великий Четверг, состоялось рождение «неохристианской общины». Подобно христианам первых лет, Мережковский, Гиппиус и Философов вечером после совместной молитвы «преломили хлеб» и пили вино из общей чаши, уверенные, что с этого момента они связаны узами высшей, «небесной» любви, объединившей их существа в единство *«троебратства».* В завершение они обменялись нательными крестами и принесли клятву верности. Гиппиус назвала этот день *«Бывшим»,* то есть – сбывшейся, осуществившейся мечтой, а существование «троебратства» *«Главным»,* то есть главным делом жизни членов новой «общины». В течение без малого года общение Мережковского, Гиппиус и Философова становится все более тесным, и в декабре 1901 года они решают создать «общежитие»: Философову предлагают переехать в дом Мурузи.

Этот новый этап в развитии «Главного» должен был состояться 2 января 1902 года. Как и в день «Бывшего», были приготовлены вино и хлеб, Гиппиус купила цветы и даже сшила для всех троих особые одежды из красного цвета, напоминавшие по форме епитрахиль (священническое облачение, надеваемое на шею). «Мы решили, – вспоминала она, – сшить одежды не белые, а красные, потому что белых еще не были достойны (сказано: „Побеждающему дам белые одежды“), форма их – епитрахиль до полу. Философов настаивал на белом бархатном кресте спереди, что и было принято. ‹…› Я начала шить эти одежды, из красного шелка, как было условлено».

Но в назначенный час Философов… не пришел.

Утром 3 января Мережковский пошел в Публичную библиотеку, где служил Философов, и потребовал объяснений, однако разговора не получилось. А через два дня Философов прислал Мережковскому и Гиппиус записку: «Я выхожу из нашего союза не потому, что не верю в дело, а потому, что я не могу в этом участвовать».

Оказалось, что Дягилев – кузен и интимный друг Философова – истолковал перспективу «общежития» как покушение на

созданное им среди «мирискусников» «мужское братство». Он начал активно препятствовать продолжению этого «опасного знакомства», на правах родственника забрал «спасаемого» к себе и всячески «опекал».

11 января 1902 года Дягилев и Философов уехали за границу.

В результате на полтора года Философов полностью вышел из «орбиты» Мережковских, на что Гиппиус ответила «онегинской» эпиграммой:

Друзья и мать меня молили
Рыдая, но для бедной
Лили Все были жребии равны.
Я вышел замуж. Вы должны,
Я вас прошу меня оставить…

Но на самом деле они грустили и о «несбывшемся Бывшем», и о *самом Философове:* за первый год существования «троебратства» все его участники действительно, *по-человечески,* привязались друг к другу. Во вторую годовщину «Бывшего», 29 марта 1903 года, Мережковский и Гиппиус вечером, сидя за столом с «вином и хлебом», молятся так, «как если бы они были втроем», а через несколько дней, в Страстной Четверг 13 апреля, во время такой же вечерней молитвы ставят у стола третий *пустой* стул.

И Философов чувствовал себя вне «троебратства» скверно! Бравурный эстетизм и «имморализм» Дягилева и его окружения теперь лишь раздражали его. С весны 1903 года, казалось бы, навсегда разошедшиеся участники «троебратства», как искусственно разъединенные шарики ртути (сравнение Гиппиус), начинают вновь стремиться друг к другу.

В октябре 1903 года Мережковских постигает большое горе – у Гиппиус умирает мать. В эти скорбные дни Философов вновь принимает ближайшее участие в судьбе друзей. «Именно тогда почувствовалось, – вспоминала об этих днях Гиппиус, – что он уже больше нас не покинет. Дмитрий Сергеевич очень этому радовался». Дягилев устраивал «изменнику» дикие сцены ревности (в том числе и публичные). Философов вынужден был фактически выйти из «Мира искусства». Тогда же он становится редактором «Нового пути», заменив устранившегося от дел Перцова. С Мережковскими он вновь неразлучен – бывает у них ежедневно, в летние сезоны они вместе живут на даче, и в 1905 году «община» становится-таки «общежитием»: Философов переезжает к Мережковским.

Притихшие дети, веселые странники,

И те, кто боялся, что сил не дано…
Все ныне со мною, все ныне избранники,
Одною любовью мы слиты в одно.

Какие тяжелые волны курения,
Какие цветы небывалой весны,
Какие молитвы, какие служения…

Какие живые, великие сны!

(Зинаида Гиппиус «Сны»)

То, что Мережковские и Философов вдруг опознали себя тайными орудиями спасения человечества, призванными совершить подвиг духовного «преображения плоти» в своем «тройственном союзе», конечно, при здравом рассуждении не может не выглядеть очевидным религиозным заблуждением (коль скоро речь идет о православных христианах, можно прямо говорить о той форме «прелести», которая в православной аскетике называется *«мнением»* – от «возомнить», то есть ложным представлением о своем предназначении в божественном домостроительстве). Недаром Философов – самый прямой и простодушный из всего «трио» – поначалу ужаснулся рассуждениям Гиппиус. «Ты все думаешь, что ты борешься с дьяволом, – признается он ей, – увы, мне иногда кажется, что борешься с Богом, и не то, что борешься, а как-то ставишь себя с Ним на одну доску! И это ужасно страшно, и я начинаю тебя ненавидеть. Ты категорически утверждаешь, что „знаешь“ о себе, знаешь, что твои переживания, при всей их плотскости, были прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора. Если у тебя такие знания, то ты или святая или бесноватая, во всяком случае, мне не товарищ». Мережковский также колебался, ощущая, что его «религиозные искания» начинают становиться в откровенную контру к православному образу жизни.

Неизвестно, как бы повернулись события далее, но тут в дело вмешалась сама История.

«9 января 1905 года, в лице сотен тысяч русских рабочих, которые шли по петербургским улицам на площадь Зимнего дворца, с детьми и женами, с образами и хоругвями, весь русский народ шел к царю своему, как дети к отцу, с верою в него, как в самого Христа Спасителя, – писал Мережковский, вспоминая начало революции, – ‹…› Казалось бы, стоило только ответить верой на веру и совершилось бы чудо любви, чудо соединения царя с народом. ‹…› Но – увы! – мы знаем, что произошло и чем

ответила власть народу, любовь отчая – детской мольбе. Народоубийством, детоубийством». **«И в том вина, – заключает Мережковский, – не какого-либо отдельного самодержца, а всего „православного самодержавия“, всего „христианского государства“, от Константина Великого до наших дней».**

«Мировоззренческая катастрофа» – иначе, пожалуй, и не назовешь то, что творилось с Мережковским в эти трагические дни. «Можно себе представить, какая у нас началась буча, – вспоминает Гиппиус. – Все были возмущены. Да и действительно: расстреливать безоружную толпу – просто от слепого страха всякого сборища мирных людей, не узнав даже хорошенько, в чем дело…» «Ужас!» – резюмирует Мережковский впечатление от пересказанных ему очевидцами подробностей бойни на петербургских улицах – и вместе с женой и гостившим у них в тот день Андреем Белым едет на митинг в Вольно-экономическое общество, а после – устраивает политический демарш в Александринском театре, требуя отменить представление в знак траура по жертвам событий.

В столице была дурная кровавая паника. «Сыпались удары репрессий, – вспоминает Белый, – после чего электричество гасло на Невском; аресты, аресты; кого-то из левых писателей били ‹…› Мережковскому передавали из „сфер“, что его – арестуют; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене».

«Нет больше Бога! Нет больше царя!» – кричал утром 9 января чудом уцелевший в свалке у Нарвских ворот (его силой утащил с площади П. М. Рутенберг) Георгий Гапон, срывая с себя рясу. К тому же выводу приходила в первые месяцы после январской катастрофы ранее разнообразная в своих идейных установках, а теперь стремительно и единообразно «левевшая» русская творческая интеллигенция. Ни о каком «общественном диалоге» теперь, казалось, не было и речи.

Вместе со всеми в эти трагические месяцы «левеет» и «переоценивает ценности» и Мережковский.

«Это лето, – пишет Гиппиус, – мне памятно общим поворотом нашим и разговорами о делах общественно-политических… Д‹митрий› С‹ергеевич› этой областью специально, ранее, не занимался, смотрел на нее и видел ее под одним углом – религиозным, и если возмущался, что Церковь находится в таком рабстве у данного, русского режима, – то этот режим сам по себе ‹…› как-то ускользал от его внимания и критики. ‹…›…В моем дневнике тогдашнем записано: "Сегодня, 29 июля, мы долго спорили с Д. С. в березовой аллее. В конце концов он… согласился и сказал: *'Да, самодержавие – от антихриста!* «Я ж,

чтоб он помнил, тотчас, вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки. Но торопиться записывать не было нужды: Д. С. этого не забыл уж больше никогда».

Трагизм этого признания для Мережковского ясно обнаруживается, когда «под углом религиозным» **оказывается прямая неизбежность признать «от антихриста» и Церковь, сохранявшую верность царю.** Этот *логически* неизбежный и воистину роковой шаг делает Мережковский в речи о Достоевском, в 1906 году. «Православная церковь, – пишет он, – сама не знает, что творит, когда называет наследников римского Зверя „Помазанниками Божьими“, то есть „Христами“, потому что Христос и значит „Помазанник Божий“. Но если бы она когда-нибудь узнала это и все-таки не отреклась от самодержавия, то могла бы сказать о себе то, что Великий Инквизитор Достоевского говорит Христу о римской церкви: „Мы не с Тобой, а с ним (с дьяволом), вот наша тайна!..“»

Мережковский пишет речь о Достоевском – публичное отречение от всех прежних убеждений и ценностей – на рубеже 1905–1906 годов. В это время, по его собственному признанию, нервы его расстроены настолько, что порой он не владеет собой. Здесь соединилось сразу всё – глубочайший стресс, вызванный пережитым крахом надежд на религиозное обновление интеллигенции, тяжелые впечатления, вызванные ужасами «революционного года», запутанные личные отношения с близкими.

В это время (на фоне складывающегося «троебратства»!) он переживает «внезапный» любовный роман. «Героиней» романа являлась вторая жена Минского, одна из самых скандальных петербургских «декаденток» – **Людмила Николаевна Вилькина**. [20] Последней он писал 20 октября 1905 года: «Всюду казаки и хулиганы. На днях к нам в квартиру ворвались какие-то пьяные „киевские журналисты“, требуя денег. Третьего дня была минута радости („Самодержавье пало!“) (имеется в виду Манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший начало „демократических свобод“. – *Ю. З.),* но потом опять все замутилось. Тогда недаром выглянуло солнце! Теперь опять слякоть и грязь, холодная, как слякоть. Мне чудится – чтобы дойти до Вас, надо переходить через лужи грязи и крови».

Он завершает речь в санатории «Каскад», близ Иматры, в январе 1906 года, ввиду почти что свершившегося разрыва с Гиппиус (которой увлечение мужа «Бэллой» Вилькиной казалось кощунственным «поруганием святыни»), в атмосфере продолжавшегося общественного угара, порожденного декабрьской бойней в Москве, обнаружившей в революционном

движении «что-то тупое, вялое и бездарное, главное – бездарное». «Я достигаю предела, – признается он своей корреспондентке, – за которым уже нет слов, а есть только вечный шум водопада, ночного ветра, хаоса и тишина вечная».

И все же он завершает речь. Его не останавливает то, что эта работа неизбежно вызовет конфликт с Анной Григорьевной Достоевской, заказавшей ранее ему статью для нового собрания сочинений мужа, ибо, как сам Мережковский резонно замечает в извинительном письме, «высказанные в этой статье взгляды на некоторые самые заветные верования Ф. М. Достоевского – самодержавие, православие, народность – так не совпадают с установившимся в русском общественном мнении пониманием произведений этого писателя, что ‹…› может быть, подобной статье не место в классическом юбилейном издании». Не останавливает его и реакция П. И. Вейнберга, который советовал ему «сделать лекцию цензурной», ибо «когда раскусят, то накинутся не только на нас, но и на ‹весь› Лит‹ературный› Фонд». («Вместо „ортодоксии“ и „абсолютизма“ я восстановил „православие“ и „самодержавие“, – обреченно сообщает он Вейнбергу в одном из писем февраля 1906 года. – А то уж очень невкусно. Но если вы думаете, что нецензурно, то оставьте „ортодоксию“ и „абсолютизм“».)

Лекцию он читает 18 февраля 1906 года в Тенишевском училище (до последнего момента власти колебались, то разрешая, то запрещая выступление). «Читать буду сидя, а не стоя, – пишет Мережковский накануне Вейнбергу, оговаривая последние подробности грядущего демарша, – мне все равно, сидеть за столом или за кафедрой, но лучше бы кафедра. Можно в сюртуке? Или непременно нужно во фраке?» Он заботится также о том, чтобы были приглашены Анна Григорьевна, ближайшие друзья – действо должно быть воистину публичным.

Зал был набит битком – публика в изобилии была привлечена предшествующими «маневрами» властей и предвкушала очередной скандал. И действительно, реакция на выступление Мережковского была весьма бурной.

А. Г. Достоевская писала о «тяжелом впечатлении», которое произвела речь Мережковского «на почитателей таланта Ф. М. Достоевского, бывших… в зале Тенишевского училища». «После лекции, – добавляет Анна Григорьевна, – ко мне приходили и писали знакомые и незнакомые и упрашивали не печатать этой статьи при П‹олном› С‹обрании› Сочинений, как „противоположной всем тем идеям, которые высказывал покойный писатель“».

«Лектор не сомневается, – в простоте душевной

пересказывает речь газетный хроникер, – что, если бы Достоевский был жив, он бы сам убедился, что самодержавие, православие и народность – не три твердыни, а три провала в глубокую бездну. Достоевскому предстояло соединить несоединенное, но соединимое, доказать, что европейская культура ведет к Христу, но он не выполнил возложенной на него историей задачи. Запутавшись в многочисленных противоречиях, желая во что бы то ни стало вместить православие в свои религиозные искания, несмотря на то, что оно туда не вмещалось, – Достоевский договорился до антихристианской идеи всемирной монархии. Достоевский сказал: „Да будет проклята цивилизация, если для ее спасения нужно сдирать с людей шкуры!“ Мы вправе вернуть Достоевскому его слова и сказать по поводу его мечты о покорении русскими Константинополя: „Да будет проклято христианство, если для его спасения нужно сдирать с людей шкуры!“»

Да, тут было чему удивиться не только Анне Григорьевне! Так, спустя полвека после речи Мережковского, даже хладнокровный М. А. Алданов и в некрологе (!) не смог не заметить, что «трудно было Д. С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой. ‹…› Имели тут значение некоторые особенности таланта ‹…› а главное, те весьма неожиданные практические выводы, которые он нередко делал из своих идей. Так, достаточно сказать, что одну из своих главных философско-политических работ он закончил когда-то словами: „Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть, гибель России, как самостоятельного политического тела, и на ее воскресение, как члена вселенской Церкви, теократии“».

Приведенная цитата – итог рассуждений о Достоевском, провозглашенный Мережковским *urbi et orbi* в *«Пророке русской революции».* «В любой стране, – справедливо замечает М. А. Алданов, – „политическая карьера“ человека, который печатно высказал бы такую надежду, могла бы считаться конченной. ‹…› Помимо безответственности была в этих словах и непоследовательность – если бы их автор был последователен, то он в октябрьских событиях 1917 года и в том, что за ними последовало, должен был бы усмотреть великую радость. Как все мы, он радости не усмотрел».

Здесь справедливо всё – и у нас нет никакого желания оправдывать Мережковского. Мы скажем только, что видится во всем этом не столько разумная воля, сколько печально знакомый

каждому русский «надрыв», по слову все того же Достоевского – «забвенье всякой мерки во всем, потребность отрицания в человеке, иногда самом не отрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем». «Да, конечно, это – родное, русское, слишком русское, может быть, никому в такой мере, как нам, русским, непонятное», – признавался некогда Мережковский, весьма ценивший наблюдения Достоевского над «широтой» характера соотечественников и тогда еще не подозревавший, что сам станет лишним подтверждением правоты этих наблюдений…

Так или иначе, но **в 1906 году с «прошлым» было покончено, мосты сожжены** – и Мережковский 14 марта 1906 года уезжает из России в добровольное изгнание – на два года. Во всей сумятице этих лет, возможно, единственно здравым было уже *вдогонку* принесенное объяснение-покаяние Анне Григорьевне: «… В России надо быть теперь и *немедленно* (курсив здесь и далее Мережковского. – *Ю. З.)* или героем-мучеником, или равнодушным (более или менее) зрителем, или палачом. А мы быть первыми не готовы, быть вторыми не умеем, быть третьими не хотим. ‹…› А вообще нам кажется, что происходящее теперь в России – *предел всякого ужаса:* это не зверство, а *«бесовство»* («Бесы», но не совсем в том смысле, как разумел Ф. М. Достоевский), *бесовство с обеих сторон* и, разумеется, больше со стороны правительства…»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Метафизические концепции Мережковского в эпоху «Главного». – «Миссия в Европе». – Контакты с католиками-модернистами. – Мережковские и русские политические эмигранты. – Мережковский и Савинков. – Мережковский и французское общество. – Встречи с Жоресом и Франсом. – Поиск «последователей». – Мережковский и Гумилёв: «несостоявшаяся встреча». – «Троебратство» и православие. – Творчество в эпоху «первой эмиграции». – Возвращение в Россию

Двухлетняя добровольная эмиграция Мережковских и Философова (1906–1908), помимо причин политических, как уже говорилось, имела и высшую, «идеальную» цель: проверить готовность сложившегося «троебратства» к организации «нового религиозного действия». Идеологическое обоснование деятельности «троебратства» Мережковским восходит к богословию Иоахима Флорского, калабрийского монаха, жившего в 1132–1202 годах.

Иоахим, настоятель монастыря Сан Джиованни ин Фиоре и толкователь Апокалипсиса, учил о *незавершенности* божественного откровения человекам. Он основывался на догмате о Троичности Божества, указывая на то, что современный состав Библии (Ветхий и Новый Заветы) не выражает «тройственную» природу Творца. Отец, учил Иоахим, явил Себя в Завете Ветхом, Сын – в Новом, а вот Дух *еще не явил себя;* поэтому следует ожидать Третьего Завета, Завета от Духа Святого. Точно так, как в

Ветхом Завете уже содержатся пророчества о грядущем, Новом Завете (Отец указывает на Сына), в нынешней Библии содержатся элементы, по которым возможно определить черты нового Откровения (Отец и Сын указывают на Духа). В «Истолковании Апокалипсиса» Иоахима эти черты «религии Духа» обозначены рядом символических «триад»:

> «В первом Завете, Отца, – ночь; во втором Завете, Сына, – утро; в третьем Завете, Духа, – день.
>
> Звездный свет – в первом, рассветный – во втором, солнечный – в третьем.
>
> В первом – страх; во втором – вера; в третьем – любовь.
>
> Рабство – в Отце; послушание – в Сыне; в Духе – свобода».

Из этого следует, что **человечество должно пройти через три состояния мира,** различаемые по степени свободы, символически обозначаемые как *«земля»* (Древний мир, рабство, неподвижность), *«вода»* (Христианский мир, послушание, поступательное движение), *«огонь»* (Новый мир, свобода, абсолютная подвижность). У этих трех состояний будут три истинные религии и три Церкви: первая – «ветхозаветная», вторая – «христианская» и третья – «духовная», которой будет кончаться собственно история человечества и начинаться «новый рай», конца которому не будет. **Все эти состояния и религии есть в сущности одно и то же,** *но в процессе развития.* Так ребенок в общении с любящими родителями проходит в своем взрослении три стадии: *полного* послушания в раннем детстве и начале отрочества; *сочетания послушания и самостоятельности* в отрочестве и юности; *полной самостоятельности и любви* – в зрелости. Поэтому и история Вселенской Церкви (то есть образ отношений между Богом и человеком) проходит подобные же этапы: Ветхозаветный (Бог – Отец, а человек – маленький сын), Новозаветный (Бог – Старший Брат, а человек – младший), Третьезаветный или Последний (любовь двух родственных существ). На первом этапе религия и исповедующая ее Церковь основывались на «законе», нарушение которого строго каралось. На втором – Церковь оказалась в качестве «авторитета», которому добровольно подчиняется человек. В грядущем же Третьем Завете ни «закона», ни «авторитета» не будет, а будет только «любовь», – и потому не будет Церкви как таковой, ибо она распространится на все человечество. Все будут любить друг друга и строить свои взаимоотношения исключительно на любовных основаниях.

И, вероятно, самым главным для Мережковского в

построениях Иоахима оказывалось положение о том, что как в Ветхозаветной Церкви были пророки, признававшие ее целиком и полностью, но утверждавшие, что грядущее явление Мессии переведет Церковь в новое состояние, – так и в нынешней христианской Церкви, по мере наступления сроков откровения Духа, будут являться подобные же свидетели и исповедники, **не отрицающие христианства, но предуготовляющие человечество к его качественному преображению в грядущем.** Этим Иоахим поставил в крайнее затруднение как Святую инквизицию, так и парижских богословов-схоластов, разбиравших его учение в 1255 году: назвать его еретиком было трудно, ибо он не отрицал ничего в существующем вероучении Рима, но и оставить его в покое было невозможно. «Этот тишайший „Ангельский учитель“, – писал об Иоахиме Флорском Мережковский, – в самом деле страшнее для Церкви – не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатей – буйного и шумного Лютера; только одно отрицание старого – обращенное к Церкви голое „нет“ – у Лютера, а у Иоахима – „нет“ и „да“, отрицание старого и утверждение нового». (В конце концов инквизиция постановила Иоахима не трогать – он спокойно дожил свой век и умер в глубокой старости, – но и трудам его хода не давать: за хранение книг Иоахима строго карали.)

Учение Иоахима Флорского о «троичности мироздания» было развито Мережковским в применении к его пониманию метафизической сущности момента, переживаемого человечеством на рубеже XIX–XX веков (Гиппиус отмечает, что на саму идею «троичности» Мережковского навела она – в самое тяжелое для него время, в разгар конфликта с Православной церковью, летом 1905 года). Именно диалектика «Числа Божественного Три» (с учением Иоахима он был знаком еще со времен работы над «Леонардо») показалась ему непротиворечивым выходом из этого конфликта.

Как и Иоахим, Мережковский считал, что христианство содержит Истину, – в той полноте, в какой ее может «вместить» человечество в настоящий момент своего развития. Он, как уже говорилось, даже делал предпочтение именно православию перед Римской церковью и протестантскими конфессиями, считая, что в вероучении Восточной церкви христианство достигло высшего развития, вплотную подойдя к «свободе» Третьего Завета. (Неудачные контакты с католиками в Париже лишь укрепили его в этом мнении – так, узнав о римском гонении на модернистов-новокатоликов, он воскликнул: «Церковь православная – насколько она внутренне свободнее! Если разговоры, – такие же, если не более смелые, – у нас в России запретила светская

власть, – это лишь внешнее насилие. Сама же Церковь никого не осудила, никто из духовенства не пострадал…»)

Однако, по мнению Мережковского, вся полнота «правды Божией» исполнится лишь в будущем, после откровения Духа, – и **это откровение будет относиться к откровению христианства так, как само христианство относится к ветхозаветной религии.** «Не думайте, что Я пришел нарушить закон… не нарушить пришел Я, а исполнить» (Мф. 5. 17) – эти слова Христа являются ключевыми для Мережковского в его размышлениях о Третьем Завете. Однако как для фарисеев Иисус, нарушающий субботу, казался преступником, так, по мнению Мережковского, и образ вероисповедания «пророков Духа» для современных христиан будет казаться не «восполнением», а «отрицанием» христианства. Между тем для «освобожденных Духом» «христиан Третьего Завета» нынешние установления христианской Церкви будут лишь такими же «бременами трудноисполнимыми», как для первых христиан времен Апостольского собора в Иерусалиме – соблюдение правил и запретов Ветхозаветной Церкви.

Откровение Духа Мережковский связывал со Вторым Пришествием, которое, по его мнению, *уже начинает совершаться* (постиндустриальная эпоха с ее чудовищными городами-мегаполисами, глобальные конфликты технократической цивилизации, массовая культура «человека толпы» казались ему вполне подходящим контекстом для событий Армагеддона). Однако «конец Истории» для Мережковского не был концом «исторического человечества»: по его мнению, после Страшного суда человечество, *физически изменившись,* останется на «новой земле», пребывая в счастливом Царстве Христа, где не будет смерти, социального неравенства, страданий и ненависти, а все будут объединены в любви и заняты возвышенным творческим созиданием новой «божественной» культуры (эта «футурология» Мережковского восходит к так называемому *«хилиазму»,* древнееврейскому учению о «тысячелетнем царстве святых» на земле во главе с «Царем Христом»; в христианстве хилиастические мотивы неоднократно возникали в трудах Святых Отцов, толковавших апокалипсические пророчества, – у Иринея Лионского, Иустина Философа во II веке, Тертуллиана в III веке).

Дальше следует, пожалуй, самый интересный аспект учения Мережковского о «Третьем Завете». Как уже было сказано выше, вслед за Иоахимом Флорским **Мережковский считал, что «люди Третьего Завета», некий первоначальный прообраз будущих «граждан всемирной теократии», появляются уже сейчас,** – подобно тому, как являлись пророчествующие о Христе и падении Израиля иудеи в ветхозаветные времена, «христиане до

христианства». Мережковский четко выделяет два признака, по которым мы можем отличить этот «вид» среди массы современников, – **«нетрадиционное» отношение их к собственности и полу.**

«Пророки Духа», во-первых, **абсолютно равнодушны к материальным благам,** они как бы «выключены» из общей борьбы людей за достаток и бытовое процветание. Это – убежденные бессребреники, «веселые нищие», смысл жизни которых отстоит от погони за наживой настолько, что мотивы их поступков вообще непонятны «нормальному», включенному в «экономический оборот» человеку. В глазах общества это – чудаки, фанатики, люди «не от мира сего».

Во-вторых, «новые люди» Мережковского **равнодушны к половой чувственности,** в них преодолен и изжит сексуальный инстинкт, толкающий человека на удовлетворение половой страсти и продолжение рода. По идее Мережковского, половая форма проявления любви *ограничивает* любовные отношения лишь двумя участниками – «мужем» и «женой», тогда как истинная любовь должна простираться на всех людей (естественно, что такая любовь в половой форме – не что иное, как «свальный грех», – не может достигнуть «космических масштабов» просто по физической немощи «любящего»). *В существе «нового человека» идея любви перестает быть связана с «сексом» и приобретает новое, высшее качество, становясь повседневной формой его существования.*

Отказ от собственности, по мнению Мережковского, есть непосредственный приступ к нравственному преображению человека в «Царстве Духа»; отказ от «пола» – к преображению физическому. В сочетании же оба «преображения» делают уже сейчас, до «прихода сроков», человека истинно свободным, ибо он оставил погоню за золотом и женщинами, которая составляет содержание жизни и порабощает все другие интересы его «рядового» современника.

Выявлять «новых людей», формировать вокруг «троебратства» общину грядущего «Третьего Завета», призванную стать авангардом Церкви в канун скорого исполнения сроков и последней битвы Добра со Злом, – вот зачем Мережковский, Гиппиус и Философов отправились в Европу. Сами они называли это «Главным Делом» или просто – *«Главным».*

* * *

«…У нас было три главных интереса, – вспоминала Гиппиус, –

во-первых, католичество и модернизм (о нем мы смутно слышали в России), во-вторых, европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И наконец – серьезная русская политическая эмиграция, революционная и партийная. Эти интересы были у нас общие, но естественно, что Дмитрия Сергеевича больше интересовала первая область, меня русские революционеры, а Философов увлекался политическим синдикализмом…»

Ни одно из этих «направлений деятельности» не принесло сколь-нибудь значительных плодов «Главному».

Раньше всего наступило разочарование в католицизме. Мережковский с немалым удивлением для себя обнаружил, что независимая от государства Римская церковь обладает гораздо более жесткой внутренней иерархической дисциплиной и догматизмом, нежели «порабощенная самодержавием» русская «ортодоксия». Католические священники и богословы обладали на редкость прагматическим «миссионерским» складом ума: убедившись, что собеседники не собираются «вступать в лоно», они сразу теряли всякий интерес к религиозно-философским прениям. Здесь существовали стройные, освященные веками богословские традиции; Мережковский же казался обыкновенным чудаком-схизматиком, безобидным дилетантом, увлеченным (загадочная русская душа!) какими-то смутными экуменическими и эсхатологическими фантазиями.

Представители католического «модернизма» – неокатолики, «антиклерикалисты», адепты «религии Будущего» и «христианские социалисты», – с которыми Мережковский общался в Париже, также не вызвали у него особого удовлетворения (правда, справедливости ради, надо сказать, что к 1906 году «модернистское» движение, зародившееся в девяностых годах XIX столетия, было уже основательно раздроблено и деморализовано жесткой и хитроумной политикой Рима).

«…Назначил свидание одному анархисту, лекцию которого довольно характерную („Jesus individualiste“) слышал на днях», – сдержанно-бодро сообщает Мережковский Л. А. Вилькиной в письме 1906 года. На другой «довольно характерной» лекции марксиста-богостроителя Дмитрий Сергеевич все же не выдержал и обозвал лекцию *«дуракоборчеством»*. И, действительно, после Антония Храповицкого и Сергия Страгородского, после Розанова и Тернавцева – беседы о «Жезю-индивидуалисте» выглядят диковато. Были, конечно, и весьма интересные встречи с серьезными мыслителями и практиками католического «обновления» – с ректором парижской семинарии аббатом Порталем, аббатом Лабертоньером (одним из ветеранов неокатоличества) или философом Анри Бергсоном, – но никаких

практических результатов они не дали: никто не собирался соединяться с русскими «пророками» в братском энтузиазме строительства «всемирной теократии».

* * *

Еще хуже дело обстояло с русскими политическими эмигрантами. Как вспоминала Гиппиус, это были либо простые солдаты и матросы, участники военных возмущений, вынужденные бежать из России, спасая свою жизнь, и не имеющие никакой надежды устроиться в чужой, незнакомой стране, либо профессиональные революционеры «с именем». Первые посещали Мережковских исключительно в надежде получить хоть какую-то материальную поддержку: положение их было трагично, они голодали, спивались, кончали с собой. Однако, естественно, никаких «собеседований» не получалось, возможность сытно пообедать интересовала их неизмеримо больше, нежели проблемы «религиозной общественности».

Свирепый матрос-«потемкинец» бил кулаком в скатерть:

– Уничтожим мы вас!

– Чай, бисквитик? – утешала его Гиппиус.

Один из «обеденных» визитеров-революционеров, социал-демократ из рабочих, долго и угрюмо слушал вдохновенную речь Мережковского о необходимости в человеке сознания своего бессмертия.

– Накормите меня, – вдруг угрюмо прервал его собеседник.

Мережковский отпрянул, эффектным жестом указал на накрытый к обеду стол и веско изрек:

– *Падаль!*

Имелась в виду «падаль» в философском смысле, то есть бренные «блага земные», несопоставимые с «благами небесными». Однако рабочий неправильно истолковал метафору Дмитрия Сергеевича:

– Кто падаль? Я падаль?!

Ситуацию пришлось разрешать, едва ли не прибегнув к помощи полиции.

С элитой русской политической эмиграции отношения Мережковских и Философова складывались, разумеется, несколько иначе. Знаменитых литераторов (прежде всего, конечно, Мережковского, как писателя с «европейским именем») здесь привечали и относились с должным вниманием и пиететом. Однако очень скоро выяснилось, что для вождей русского революционного движения – от анархистов до эсеров –

упомянутое «имя» Мережковского куда более важно, нежели те истины, которыми он пытался их «просветить».

Между тем на русских профессиональных революционеров Мережковский возлагал особые надежды, как на самых возможных адептов «религии Третьего Завета». С его точки зрения, тот поведенческий этос, который сложился в этих кругах, – бессребреничество, аскетизм, альтруистическое и жертвенное служение великой цели, призванной принести счастье человечеству, – все это прямо соотносится с известными нам признаками «людей Духа». Однако в «бессознательном» состоянии эти качества не только не могут быть в полной мере реализованы в позитивном действии, но даже, по мнению Мережковского, таят в себе опасность.

В программных работах этого времени – *статьях «Грядущий Хам» и «Революция и религия»* – Мережковский пишет о насущной необходимости преодоления прагматизма революционной идеологии. Революционный порыв рождается из стремления изменить мир, стремления всегда положительно прекрасного, поскольку оно является проявлением неуспокоенной совести, которая не может мириться с вопиющими несправедливостями настоящего мироустроения.

Однако по мере оформления этого порыва в практику революционной политической борьбы неизбежно встает вопрос: во имя чего эта борьба ведется? Если революционное движение преследует только «земные», практические цели, если носителями революционного сознания оказываются люди религиозно невежественные, атеисты и прагматики, – то, по мнению Мережковского, в момент успеха революция неизбежно превратится в свою противоположность. Вместо подлинного торжества справедливости наступает не что иное, как передел собственности, утверждение новых «хозяев жизни», устанавливающих законы «по разумению своему», своему пониманию «добра» и «зла».

В конце концов, подобная идеология приведет к абсолютному смещению нравственных ценностей, к дьявольской диалектике порока и добродетели, к «крови по совести», знакомой еще по «Преступлению и наказанию» Достоевского. Итогом же «безбожной революции» станет не «земной рай», а тотальное рабство, торжество насилия, пошлости и мещанского самодовольства. Чтобы избежать этого, делает вывод Мережковский, необходимо развивать религиозное сознание революционеров. **Только та революция добьется реальных успехов «на земле», которая начертит на своих знаменах «небесные» лозунги.**

Эта *теория,* в общем не вызывающая возражений (Гиппиус особо отмечает пророческий пафос статьи, подчеркивая в своих воспоминаниях, что цитаты из нее, приводимые французской прессой уже после захвата власти большевиками, кажутся современными), оказывалась весьма беспомощной, коль скоро речь заходила о ее применении в *практике* русской революционной эпопеи 1905–1917 годов. «Русские студенты и курсистки, образующие революционную партию для насильственной борьбы с правительством в целях осуществления пророчества апостола Иоанна, – эту картину можно было бы счесть карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений Мережковского», – резюмировал впечатление от публицистики Мережковского этого периода С. Л. Франк.

Для вождей русских революционных партий того времени предлагаемый Мережковским «синтез» революции и религии был, мягко говоря, не самой актуальной задачей. Но во внезапной «революционности» знаменитого писателя они не могли не видеть для себя великую выгоду. Сейчас, после всех ужасов и поражения революции 1905 года, после террора и репрессий, в момент «разброда и шатания», любое литературное «революционное лыко» было в строку. Выступая в поддержку революции и революционеров, Мережковский направлял общественное мнение России и Европы в ту сторону, какая была благоприятна его новым «товарищам». Большего от него и не требовалось – а само содержание горячих речей «просветителя» можно было, в конце концов, просто пропустить мимо ушей (чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!).

Понимал ли Мережковский, что здесь, в большой европейской и русской политике, его «пророческий энтузиазм» попросту почти неприкрыто используют? По крайней мере, точно можно сказать, что среди профессиональных революционеров – и в России, и во Франции – Мережковский чувствует себя явно «не в своей тарелке». Но, особенно в первое время, он прилежно старается уверить как других, так и в первую очередь себя, что «это лучшие русские люди, каких я встречал за всю жизнь», и что «связь русской революции с религией» настолько явственна, что ее можно «осязать руками». Некоторые «недоразумения», впрочем, ему не удавалось «вместить» даже в медовый месяц своих отношений с российскими «друзьями народа».

«При избытке общественных чувств – недостаток общих идей, – резюмировал он первые впечатления от общения с новыми знакомцами. – Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты – только волны мертвой зыби, идущей с Немецкого моря в Балтийское. ‹…› Взять хотя бы наших

марксистов. Нет никакого сомнения, что это – превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о „железном законе экономической необходимости“, то кажутся свирепыми жрецами Маркса-Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чертиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. ‹…› Глядя на все эти невинные умственные игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольною досадою: золотые сердца, глиняные головы!»

Четверть века спустя он будет писать о *«невинных умственных играх превосходнейших людей»* несколько иначе: «Ужас христианского человечества в том, что миром овладели сейчас, как никогда, не злые люди, и не глупые, а **совсем нелюди** – человекообразные, «плевелы», несущие, не только русские, но и всемирные слуги Мамоновы-Марксовы, гнусная помесь буржуа с пролетарием».

* * *

Из политических эмигрантов «первого ряда» Мережковского всерьез принял только **Борис Викторович Савинков.** Это был человек, история жизни которого, говоря словами Г. В. Плеханова, «могла бы заткнуть за пояс Дюма с его мушкетерами». В двадцать лет он был отчислен из Варшавского университета за участие в студенческих беспорядках и стал профессиональным революционером. В двадцать два года отсидел несколько месяцев в Петропавловской крепости, был сослан в Вологду, бежал из ссылки за границу, в Швейцарию, где вступил в Боевую организацию партии эсеров (социалистов-революционеров). Он принимал участие в самых громких террористических актах начала века – убийстве министра внутренних дел В. К. Плеве и генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича (убийца последнего Иван Каляев был другом детства Савинкова). В мае 1906 года он был арестован в Севастополе, судим и приговорен к смертной казни, совершил неслыханный по дерзости побег из каземата севастопольской гауптвахты и через некоторое время вынырнул в Париже, где его друг, член ЦК эсеровской партии И. И. Фондамин-ский и представил его Мережковскому.

Савинков был литературно одаренным человеком. К моменту встречи с Мережковским на его литературном счету – несколько опубликованных (в нелегальной печати) очерков и рассказов,

многочисленные стихотворные опыты:

Гильотина?
Острый нож?
Ну, так что ж!
Не боюсь я гильотины,
Я смеюсь над палачом…

Однако отнюдь не пристрастие к литературе («писательский зуд», как выражался Савинков) сразу же сближает его с нашим героем.

Главная тема писаний Савинкова, тема глубоко лирическая, личная – «метафизические» сомнения в правоте террора. Еще в России, в Петербурге, где он скрывался после московского покушения на генерал-губернатора, Савинков признавался своему старинному другу по вологодской ссылке, писателю Алексею Ремизову, что по ночам его посещает тень казненного Каляева, которого он сам послал на смерть, тревожат призраки жертв. Его мучил скепсис, он искал религиозного оправдания террора, не видя возможности самому согласовать несомненную альтруистическую жертвенность русских революционеров с не менее несомненной для него шестой заповедью Христа («не убий»). Савинков не скрывал от Ремизова, что эти сомнения возникли в нем не без непосредственного влияния произведений Мережковского, которыми он зачитывался в это время.

И уже в самую первую встречу, стоя напротив Дмитрия Сергеевича и внимательно глядя прямо в его глаза своими прозрачными, сияющими глазами, он очень просто и буднично говорил:

– Давит кровь… убиенных. Не могу. Понимаю умом: не убить нельзя, но и то же понимаю – нельзя убить. Мне теперь – либо ко Христу, либо в тартарары…

Мережковский инстинктивно отшатнулся: в словах Савинкова была какая-то неведомая ему еще тоскливая подлинность. За этого странного и страшного человека он вдруг почувствовал личную духовную ответственность.

С этого момента Савинков – постоянный гость у Мережковских, и нужно признаться – очень тяжелый гость для всего «трио». Он просиживал в гостиной напролет вечера и с маниакальной настойчивостью, подробно и монотонно рассказывал одну за другой жуткие истории русского революционного террора. Революционное насилие вставало перед Мережковским в своем будничном, «изнаночном» ужасе. И самым ужасным было то, что Борис Викторович никого не винил, никого

не оправдывал, – просто рассказывал с предельной, невозможной, детской искренностью о вещах, которые противоречили естеству нормального, здорового человека, которые не мог, не хотел вмещать в себя рассудок.

После монологов Савинкова кружилась и болела голова. «Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами владеет», – признавалась Гиппиус, вспоминая о первом месяце знакомства. Из этих размышлений о терроре возникает ее статья «О насилии», публичная лекция Мережковского, носящая то же название… и книга *В. Ропшина* (старый псевдоним Гиппиус, пожертвованный ею Савинкову) «Конь бледный» – сенсация литературного сезона 1909 года.

Савинков надолго – до 1920 года – станет одним из главных *конфидентов* Мережковского и Гиппиус; Философов же будет впоследствии его ближайшим соратником в героической борьбе против большевизма.

Однако нельзя не заметить, что сближение Савинкова с «троебратством» происходило именно на *личной, «душеспасительной»* почве; в области собственно *политической* Савинков, естественно, был столь же глух к идеям Мережковского, как и все его окружение. Политика – искусство возможного, а строить политическую линию в русской эмиграции 1900-х годов, используя рекомендации нашего героя, при всей симпатии к нему было, как уже сказано, нелепо.

* * *

Приблизительно так же, как отношения с русской эмиграцией, развивались и отношения «троебратства» с французской общественно-политической элитой. Жаловаться на недостаток внимания с ее стороны Мережковскому и его спутникам не приходилось. Публичные выступления Дмитрия Сергеевича проходили с огромным успехом. Лекцию «О насилии» даже пришлось переносить, ибо сорбоннская зала была переполнена настолько, что от наседающих людей вылетели оконные стекла, улица перед входом была запружена желающими послушать *le grand ecrivain russe* – и только вмешательство полиции, разогнавшей толпу, предотвратило давку (через пять дней эта лекция собрала в гигантской *Salle d'Orient* более тысячи человек!). Анатоль Франс и Жорес принимали Мережковских запросто. Французские газеты охотно предоставляли Мережковскому и Гиппиус свои полосы (в «Mercure de France» у Гиппиус был даже свой ежемесячный подвал – *Lettres russes)*. Для

ознакомления французской общественности со своими идеями Мережковским, Философовым и Гиппиус был издан сборник статей на французском языке «Le Tzar et Revolutions».

Но Мережковский не мог не отдавать себе отчет в том, что бурный успех у темпераментных французов вызван едва ли не исключительно его статусом «борца с абсолютизмом», «демократа» и «политического беженца» *(диссидента,* как сказали бы мы в приснопамятные годы холодной войны). Симпатия к Мережковскому – и это было очевидно – являлась оборотной стороной стойкой антипатии европейцев к русскому монархическому строю с его милитаризмом и «угрозой с востока», вечному кошмару Европы. С другой стороны, несомненной была и литературная популярность Мережковского, книгами которого в эти годы зачитывались уже десятки тысяч читателей от Средиземноморья до Ла-Манша.

Однако «религиозно-общественные» откровения Мережковского оставляли французов столь же равнодушными, сколь и русских эмигрантов-революционеров. Общее мнение на этот счет точно выразил на встрече с Мережковским и Философовым в очень уютном и каком-то нарочито «мещанском» пансиончике на улице Ранелаг в Отейле **Жан Жорес:**

– У вас, русских, все – порыв. Вы готовы прыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать умеете лучше, чем жить…

Мережковский с невольной улыбкой спросил:

– А вы, европейцы, умеете жить и умирать?

– Хорошо жить – хорошо умереть! – лаконично ответил Жорес.

Из всех политических партий России лидера французских социалистов интересовали только кадеты – как самая умеренная и трезвомыслящая политическая сила. Все другие «левые» (самые подходящие, по мнению Мережковского, кандидатуры на роль исполнителей «нового религиозного действия») казались Жоресу безумцами, фанатиками и мечтателями:

– Их геройству нельзя не удивляться. Но удивление смешивается с чувством грусти и, извините, досады…

«Борьба политических партий для меня исполинская игра в шахматы, – с мечтательной улыбкой признавался Мережковскому **Анатоль Франс.** – Да и все дела человеческие разве не игры? Боги с нами играют – в этом наша трагедия; будем же и мы играть с богами – быть может, тогда все наши трагедии кончатся идиллией».

«…Простые, честные, добрые лица, которые нельзя не любить, – подытоживал Мережковский свои впечатления от

встреч с французами. – …Но как в наши дни молящиеся в церкви не пойдут в крестовый поход, так эти люди не пойдут в революцию. Общее лицо толпы – лицо буржуазной республики – невозмутимая, неодолимая мещанственность: „Хотим того, что есть на свете; потихоньку да полегоньку, ладком да мирком устроим на земле царствие небесное“». Конечно, это было очень далеко от того, на что рассчитывало «троебратство».

* * *

В результате получилось, что двухлетняя «миссия в Европе» оказалась для Мережковского и его спутников лишь бесконечной чередой встреч и бесед с самыми разнообразными людьми, – бесед подчас очень содержательных, порой драматических, но никогда не имеющих никакого собственно практического продолжения. К Мережковскому относились здесь как к интересному, эрудированному, остроумному собеседнику, к которому хорошо наведаться в свободный часок и провести время в приятном разговоре о «вечном» (так и хочется написать: «неспешно потягивая доброе старое вино»). «Полюби не меня, а мое», – с упорством «вопиющего в пустыне» взывал он, но с необходимостью железной происходило как раз обратное: его «полюбляют» охотно все – от неокатоликов до русских синдикалистов и Жореса, – а вот ту проповедь «нового религиозного действия», ради которой «троебратство», собственно, и предприняло заграничный вояж, никто не принимает в качестве «руководства к действию».

«Служил он всю жизнь одной – очень большой – идее, – вспоминал в некрологической статье о Мережковском Марк Алданов. – Но и ее сторонники, и люди, ей чужие, относились к этому служению сдержанно – чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о „последователях“. Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого же из русских писателей были последователи?… Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом, действительно, была доля правды».

«Я говорю все это непонятно, нереально, недостойно, косноязычно, почти кощунственно, – горько признавался сам Мережковский. – Но если кто-нибудь сказал, как следует, то засверкала бы ослепляющая истина, самая нужная, хлебная,

чревная, плотяная, кровная… А так, как я говорю, это – только письмо в бутылке, которое кидает в море мореплаватель перед крушением…»

А ведь у него был шанс – тогда же, в Париже, в 1907 году.

В один из первых дней января 1907 года из парижской квартиры Мережковских в доме 15-бис по улице Теофиля Готье был с позором изгнан **Николай Степанович Гумилёв.** Помимо хозяев в изгнании Николая Степановича принимал участие и недавно прибывший из Москвы Андрей Белый.

Действо, насколько можно судить по ярким описаниям, оставленным в эпистолярной и беллетристической формах участниками, проходило весьма живо.

В мемуарах Белого облик Гумилёва в миг визита характеризуется рядом зооморфных сопоставлений: «бледный юноша с глазами гуся», «козлище» и «сонный судак». Воспоминания писаны через четверть века – отсюда, наверное, их элегически-умиротворяющий тон; в письме Брюсову, отправленному по горячим следам событий, Белый более эмоционален, именуя Гумилёва «глупой сосулькой».

Зинаида Николаевна в своем письме тому же Брюсову выражалась более витиевато: Гумилёв здесь предстает «бледно-гнойным» юнцом с сентенциями, «старыми, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское», а если верить ошеломленному письму (опять же – Брюсову) самого неудачливого визитера, Гиппиус упорно величала его «поэтом Бетнуаром» (то есть «поэтом-*пугалом»)*.

Однако «coup de grace» наносил, конечно, сам хозяин. Мережковский положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывисто и в нос:

– Вы, голубчик, не туда попали! Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, – это спасти вас, так как вы стоите над пропастью. Но ведь это…

– Дело неинтересное? – спросил Гумилёв.

– Да, – ответил Мережковский *и повернулся к Гумилёву спиной.*

Сейчас, когда время уже совершило «корректурный труд» над историей XX века, становится ясно, что эта «несостоявшаяся встреча» – одно из самых важных событий в русской культуре новейшего времени, а в творческой судьбе Мережковского, пожалуй, и самое важное.

Перед Мережковским в тот январский вечер 1907 года находился не дежурный неофит, не обыкновенный «подающий

надежды» начинающий литератор, поступающий в ведение «мэтра». Перед Мережковским стоял великий русский национальный поэт, оказавший затем исключительное влияние на духовное самоопределение России в XX веке.

Гумилёв был едва ли не единственным из молодых писателей 1900-х годов, который мог бы действительно, без оговорок и серьезно, принять «проклятые вопросы» Мережковского как *свое.* Вопрос о духовной состоятельности человека и человечества в нарождающейся апокалипсической цивилизации постиндустриальной эпохи для него с ранней юности был не темой для модных «декадентских» рассуждений, а «самым нужным, хлебным, чревяным, плотяным, кровным…». Вступая в литературу, он сравнит себя с рыцарем, ищущим Божью правду, – «конквистадором в панцире железном», променявшим золото Эльдорадо на «звезду долин, лилею голубую», – и если он, по свидетельству Ахматовой, «мальчиком поверил в символизм, как люди верят в Бога», то, конечно, потому что думал: в символизме – Бог (здесь уж, наверное, не обошлось без чтения книг Мережковского).

Можно представить, с каким чувством он шел к «мудрецу и пророку»! Единственный раз в жизни самообладание изменяет ему: он теряется, «мямлит», «дрожит с перепугу» (сказать про Гумилёва трусит – язык не поворачивается, но все же: «Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волненья» – какова картина!).

Единственный раз в жизни, в гостиной Мережковских, он, всегда сдержанный и «целомудренный» в исповедальных заявлениях, прямо говорит о том, как он понимает свою поэтическую миссию: «изменить мир, подобно Будде и Христу» (в его письмах будущим «учителям» – Брюсову и Вяч. Иванову – нет и следа ничего подобного!), – и видит затем не мудрого наставника, а… какого-то шута горохового в компании кривляющихся и ерничающих хулиганов.

«…Он… повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться».

А все-таки: что же на них такое нашло? В «салоне Мережковских» в годы «бури и натиска» символизма, а затем – в эпоху Религиозно-философских собраний появлялись самые разные люди, куда более оригинальные, нежели юный Гумилев. Хозяева (прежде всего, конечно, хозяйка) бывали остры на язык, но хамства и хулиганства (а как все происшедшее иначе назовешь?) здесь никогда не замечалось. Представить же самого Мережковского, вдруг ни с того ни с сего откалывающего перед незнакомым человеком такие штуки, что даже Андрею Белому,

при всей его экстравагантности, становится стыдно; Мережковского – «русского европейца», воспитаннейшего, деликатнейшего человека – вообще невозможно, невероятно! Никто, никогда и нигде (при всем том, что недоброжелателей у Дмитрия Сергеевича хватало) таких свидетельств о нем не оставлял. И здесь не отвязаться от впечатления, что Мережковский в эти несколько минут вдруг оказался «не в себе», не ведал, что творит.

Гумилёв в 1907 году – *tabula rasa*,[21] на нем можно было «написать» что угодно, тем более что он и сам того желал, целиком предоставляя себя в распоряжение *maitra.* Мережковский, который мог возиться с десятками потенциальных «последователей» – вплоть до беглых «потемкинцев», – иметь дело с Гумилёвым не захотел. Что произошло бы в противном случае – представить сложно (сослагательного наклонения история не имеет), но ясно, что русская культура XX века пошла бы по иному пути, нежели то получилось. И коль скоро мы верим, что существует некий Божий Промысел в судьбе России, то, верно, во внезапном «безумии» Мережковского скрыт некий провиденциальный смысл: значит, нельзя было, чтобы учителем и духовным наставником Гумилёва был Мережковский, значит, было *нечто,* делающее – в высшем смысле – недопустимой для него судьбу «второго Жуковского».

* * *

«То, что я передумал, а главное – *пережил* в революционные годы 1905–1906, имело для внутреннего хода моего развития значение решающее. **Я понял – опять-таки не отвлеченно, а жизненно – связь православия со старым порядком в России, понял также, что к новому пониманию христианства нельзя иначе подойти, как отрицая оба начала вместе», –** пишет Мережковский в «Автобиографической заметке». В этих словах – ключ ко всем несчастным личным и творческим коллизиям нашего героя в межреволюционное десятилетие 1906–1916 годов.

Нужно ясно сознавать, что конфликт Мережковского с Русской православной церковью в основании своем имеет все-таки *не вероучительный, а чисто политический характер:* начало ему было положено трагедией 9 января 1905 года.

Потрясенный Мережковский звал Церковь *к активному политическому действию.* «…Необходимо, – писал он, – чтобы русская церковь, сознательно порвав связь с отжившими формами русской самодержавной государственности, вступила в союз с

русским народом и с русской интеллигенцией и приняла участие в борьбе за великое общественно-политическое обновление и освобождение России». Ответом на подобные призывы Мережковского и его многочисленных единомышленников становится проповедь епископа Антония (Храповицкого) 20 февраля 1905 года в Исаакиевском соборе. Произнесенная в неделю о Страшном суде, эта проповедь была сознательно выстроена Антонием (блистательным мыслителем и крупным общественным деятелем) как *политическая декларация.*

«Простой народ должен помнить, – пересказывает Мережковский содержание проповеди, – что враги его – все образованные русские люди. Они ненавидят Россию, замышляют погубить ее, и в случае ежели достигнут своих целей, то русский народ „будет несчастнейшим из народов, порабощенный уже не прежним суровым помещикам, но врагам всех дорогих ему устоев его тысячелетней жизни, врагам упорным и жестоким, которые кончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи угодников Божиих, собирая их в анатомические театры“. Тогда Россия „распадется на множество частей, начиная от окраины и почти до центра“. ‹…› „Наши западные враги бросятся, подобно коршунам“, на разлагающийся труп России и „обрекут ее на положение порабощенной Индии и других западноевропейских колоний“».

«Каюсь, я соблазнен, может быть, не по вине епископа Антония, а по собственной духовной немощи, но все же соблазнен в высшей степени и взываю о помощи, о наставлении и утешении, – заключает Мережковский. – Сам себя утешать я не смею тем, что эта всенародная церковная анафема, предвосхищающая Страшный Суд Христов над всею русской интеллигенцией, произнесена необдуманно, легкомысленно или в пылу политической страсти.‹…› Он должен был, конечно, тысячи раз взвесить слова свои, ибо, произнося их, принимал ответственность не только на себя лично, но и возлагал ее на церковь, в коей является он, епископ Антоний, одним из высоко стоящих светильников. Не мог он не знать, что голос его будет принят за голос, идущий, ежели не от всей церкви, то, во всяком случае, из глубины церкви».

Пусть, как мы сейчас ясно понимаем, сама истина говорила тогда, в феврале 1905 года, устами Антония, – **давайте поймем и Мережковского, которому казалось *невероятным* единство Церкви с правительством, только что *расстрелявшим нечто вроде… крестного хода.*** О провокационных подоплеках событий 9 января, конечно, могли помыслить в это время только самые холодные и трезвые головы, каковых – увы! – среди русской

творческой интеллигенции во все времена было неизмеримо меньше, чем у русской Церкви.

«Если вспомнить, что лишь через несколько лет обнаружилось, что Гапон был купленным полицейским агентом, – какой грязно-страшной покажется эта кровавая история! И как легко было дурачить бедную русскую интеллигенцию!» Гиппиус напишет это спустя сорок лет после Кровавого воскресенья. Тогда же разрушительный маховик, запущенный 9 января 1905 года, раскручивался с неумолимой скоростью.

Мережковский и его друзья призывали русскую Церковь стать *революционной политической силой* (одной из многих политических сил). Это не получилось. Тогда Мережковский обиделся, счел позицию епископата политически некорректной и заявил о… своем разрыве с русским православием.

Легко заметить, что в пылу общественных страстей 1905–1906 годов Мережковский **перестает видеть разницу между Церковью и политической организацией и начинает относиться к ней исключительно как к партии.** Между тем гражданская, общественная сторона церковного бытия (в отличие от бытия партийного) *в принципе* не может иметь сколь-нибудь определяющий характер для оценки этого бытия в целом. Церковь – носительница сверхъестественной благодатной жизни, «тело Христово» (Еф. 1. 22–23), «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3. 15). Выдающийся православный просветитель митрополит Московский Филарет (Дроздов) говорил о «двух областях» жизни Церкви – «внутренней, таинственной, благодатной жизни, в которой Церковь славна и непогрешима», и «внешней исторической жизни, в которой слава Церкви отчасти открыта, отчасти же сокрыта». Говоря проще, **какие-то политические действия (пусть даже откровенно ошибочные) православных священников или даже церковных органов управления не могут для верующего быть поводом для сомнения в благодатности самой Церкви, смыслом бытия которой является спасение душ верующих, а не «лоббирование» какой-либо тенденции в злободневной жизни национальной государственности.**

В 1905–1906 годах Мережковский, ополчась на самодержавие, порывает во имя революции с «исторической» православной Церковью и… оказывается в «безвоздушном пространстве» – и лично, и «общественно».

«…Всякие отщепенческие группировки, как бы они ни формулировали целесообразность своего отделения, они всегда не правы: **из-за второстепенного и преходящего они нарушают вечное начало – единство Церкви,** положенное в основу ее

самим Основателем», – пишет церковный историк о расколах и ересях в православии XX века. Сам Мережковский, описывая десятилетиями позже мятеж Лютера против Рима, всячески акцентирует внимание на том, что, с точки зрения Лютера (конечно, речь идет о *Лютере Мережковского,* а не о реальной исторической фигуре немецкого реформатора), все, происшедшее в 1520–1529 годах между ним и западной Церковью, – *недоразумение.* «Римскую Церковь я готов почтить со всем смирением… выше всего, что на небе и на земле, кроме одного Бога», – выписывает Мережковский слова Лютера и затем комментирует: «Видно по этому, что *кровью изойдет сердце его от разрыва с Церковью и что, может быть, лучшую половину сердца он оставит в ней».* Мережковский пишет о Лютере – «ходатае» и «молитвеннике» за… Римскую церковь – утверждение, мягко говоря, парадоксальное, но в контексте истории духовного развития самого автора «Реформаторов» – вполне объяснимое.

И действительно, Мережковский внутренне, в личном основании своем, не мог мыслить себя вне православия. «Основой их организации, – писала Т. Пахмусс о „троебратстве“, – были следующие два положения: 1) внешнее разделение с существующей Церковью; 2) внутренний союз с нею. Православная Церковь продолжала привлекать „трио“, **так как Евхаристия, таинство общения с Богом, по их мнению, может иметь место только в Православной Церкви».**

Звучит красиво, но как это может выглядеть *на деле* – вообразить очень сложно, здесь опять идет путаница понятий. Можно легко представить себе, что какой-то член политической партии или общественной организации, несогласный с деятельностью правления, формально прекращает свое членство, но остается при том внутренне сочувствующим партийной программе. В отличие от партии Церковь являет собой не механическое, но – органическое соединение людей во Христе, осуществляемое чудесным образом через Таинства (отсюда и определение Церкви как «тела Христова»). **Поэтому «частичное» членство в Церкви невозможно: можно ыть либо членом ее (хорошим или плохим, «больным»), либо – вовсе «отпасть» от нее в ересь или безбожие.** Выстроить какую-нибудь внятную идеологию или тем более организацию без четкого разрешения этой антиномии в пользу какой-либо из двух позиций просто невозможно: история «Главного» это подтвердила лишний раз.

В эпоху Религиозно-философских собраний выступления Мережковского привлекали такое внимание именно потому, что *содержание его рассуждений легко проецировалось в реальную историческую ситуацию России начала XX века.* Понятно было, что

под «исторической Церковью» подразумевается «Греко-российская поместная Церковь в настоящем (кризисном) ее положении», под «Новой Церковью» – та же русская Церковь, но преодолевшая организационный кризис, соединившая с собой русскую интеллигенцию и имеющая своей целью в гипотетическом будущем объять все христианские конфессии в лоне всемирной теократии. Под «братским единением» разумелось построение интеллигентными прихожанами общественных структур по образу православных «братств» для организации приходского быта, просвещения народа, новых экономических отношений и т. д. С этим можно было соглашаться или спорить, но несомненно, что, по крайней мере, предмет для спора был.

В 1905–1908 годах прежняя программа «нового религиозного действия», в общем принимаемая ранее как вполне уместный повод для дискуссии даже достаточно консервативными деятелями Православной церкви, вдруг превращается в учение о «Церкви Третьего Завета», то есть, если говорить по-простому, в откровенную ересь, причем ересь настолько «головного» толка, что даже близкие ранее к Мережковским мыслители с недоумением отшатнулись от объявившегося «пророка». Основной и «хронический» порок жизни и творчества Мережковского этих лет – неестественность, эклектическая сложность мыслей, поступков, произведений. **Очертя голову он ринулся в объятия «революционной демократии», в спешном порядке переориентировав прежние идеи о «религиозном возрождении» русской интеллигенции на революционную злобу дня,** – и очень скоро стал являть собою лишь очередное подтверждение того, что

> …В одну телегу впрячь не можно
> Коня и трепетную лань.

Весьма показательна в этом смысле эволюция в 1906–1908 годах отношений к Мережковскому и его «кругу» **Николая Александровича Бердяева.**

Бердяев был одним из тех молодых интеллектуалов-общественников, на идейную эволюцию которых «от марксизма к идеализму» в 1890-е годы оказали значительное воздействие произведения Мережковского. В начале века, во время работы Религиозно-философских собраний, Бердяев был не просто сторонником Мережковского, но считал его своим духовным наставником и посещал пресловутые «агапы». Именно Бердяев взялся за продолжение «Нового пути» и возглавил возникший на его руинах журнал «Вопросы жизни», почитая своим долгом

внести весомую лепту в «новое религиозное действие».

«У меня есть к Вам отношение глубоко индивидуальное, интимное, не соборное, не церковное, – писал он тогда Мережковскому со всем юношеским максимализмом, – и отношение мое не изменилось бы, если бы я узнал, что Вы от диавола. С ужасом отвернулись бы от Вас Ваши единоверцы, а я не отвернулся бы». В 1905 году тон его писем становится менее восторженным: «Боюсь, что у Вас есть тенденция образовать… маленькую интимную религию, очень интересную, глубокую, завлекательную, но не вселенскую». И, наконец, после общения с «троебратством» в Париже, Бердяев пишет резкую отповедь: «Я не принадлежу к „ереси Мережковских“ и не знаю даже настоящим образом, в чем эта „ересь“ заключается, хотя очень ценю Мережковского, признаю за ним большие заслуги в постановке религиозных тем и многим ему обязан в религиозном развитии. Моему религиозному чувству и моему религиозному сознанию чужда и неприятна ваша идея церковности, и ваш путь к ней представляется мне ошибочным, сектантским, слишком человеческим. Человеческий произвол в вопросе о Церкви для меня хуже одиночества, всякий намек на возможность человеческого властолюбия и человеческого самоутверждения в религии вызывает во мне живой протест. ‹…› В глубине своего существа я чувствую себя принадлежащим к подлинной Церкви Христовой, я молюсь со всеми святыми христианскими и со всеми подлинно верующими во Христа, в первооснове своей я отрекаюсь от своего „я“ во имя Христа и в одной какой-то точке я не только христианин, но и православный».

Самым замечательным во всей этой истории было то, что Мережковские… не поняли (или не захотели понять) причины столь внезапного бунта прежнего «союзника». «В Париже наши разговоры с Бердяевым кончились полуразрывом, – писала Гиппиус, – а вскоре мы узнали и о полном: получили открытку из Троице-Сергиевой лавры, где Бердяев извещал нас, что „вошел“ с женой в православную Церковь, обличал нас, укорял, что мы еще думаем о борьбе с нею, а не следуем его примеру. **Как будто мы когда-нибудь «выходили» из нее, как будто Дмитрий Сергеевич боролся с Церковью, а не за Церковь!»**

Эта неопределенность в вопросе церковности – в согласии с учением о диалектике взаимоотношений «старого» и «нового христианства», «христианства Духа» – придавала всем начинаниям Мережковских в этой области некую, не от них, конечно, идущую, «стильность», разряжающую самые опасные акции в нечто пародийное, смешное и бессильно-плачевное. Само бытие «троебратства» оказывалось чем-то двусмысленным.

Объяснить современникам, что этот тройственный союз есть не что иное, как авангард Православной церкви, внутренне пребывающий с ней, но уже несущий отблески грядущего Царства Божия и потому не обременяющий себя соблюдением формальных требований церковного общежития, было весьма трудно. Простые (и даже не очень простые) люди предпочитали видеть здесь обыкновенный *menage a trois* (дело житейское, хе-хе-хе!).

С другой стороны, и на самих участников «троебратства» и их «неофитов» неопределенность положения относительно Церкви действовала странно, отменяя внутреннюю дисциплину, обязательную при духовной работе хотя бы для того, чтобы избежать пародийного извращения священнодействия (от великого до смешного, как известно, – один шаг). Так, например, первые собрания у Мережковских включали в себя общую молитву, чтение Библии и совместное обсуждение прочитанного. Ничего предосудительного здесь найти нельзя. Членов «общины» связывали товарищеские отношения, взаимная поддержка – моральная и материальная, взаимные интересы – жизненные и литературные; они помогали друг другу в работе, часто общались, наносили визиты. Все это может вызвать только сугубое одобрение.

Однако потом, с возникновением идеи Третьего Завета и грядущей Церкви Духа, в «агапы» стали проникать элементы непонятной ритуальности: начали составляться особые «чины» молитв – канонические тексты здесь дополнялись «авторскими». Затем образовался оригинальный «Молитвенник», регламентирующий ход «агапы» и включающий в себя целые «богослужения» на разные случаи – подобные «Рождественской службе», написанной Мережковским: «Преобрази, Господи, Церковь Твою в Царство Твое земное, и нас, малых и недостойных, научи послужить откровению Твоему новому, Тайне Твоей, все примиряющей. Дай веру, дай разум, дай крепость, дай надежду и удостой приобщиться к непостижимому дару любви Твоей, чтоб с веселием и радостью петь и славить Тебя, весь мир прославляющего…»

На некоторых собраниях Мережковский и Философов стали появляться… с широкими пурпурными лентами, надетыми на манер епитрахили. Это были те самые «красные одеяния», сшитые Гиппиус к первой, неудачной, попытке соединения в «общежитие» и являвшиеся, как мы помним, символами «смирения» и сознания собственного «несовершенства», но «публика» этого не знала и… смущалась. На одном из собраний Мережковскому удалось перепугать рассуждениями о таинстве причастия даже

равнодушного к религиозным вопросам В. Я. Брюсова: «… Говорили о церкви, близки ли они к ней. Шла речь о том, должно ли причащаться. – Я думаю, что если б я умирала, меня причастил бы ты, сказала Зиночка Д ‹митрию› С‹ергеевичу›. Он же колебался, не лучше ли позвать священника, но после решил, что и его может причастить Зиночка. Говорили, кто спасется. ‹…› Все это не в шутку, а просто серьезно».

«Серьезно это или нет? Как это понимать?» – вот вопросы, которые все чаще приходили в голову современникам «Главного». И до сих пор в литературоведении не утихают споры: так была ли «секта Мережковского» или же всё вышеупомянутое – лишь неудачная символика, призванная подчеркнуть «внутреннее единение» «троебратства» с православием?

Увы, на этот вопрос не могли ответить даже сами участники «троебратства». Так, Философов, резонно отмечая в одном из писем 1907 года, что в сложившихся обстоятельствах «в церковь идти для нас невозможно», оговаривается, что на Пасху они решили посетить-таки православный храм: «Последний год мы встречали Пасху высоко на горе, на восходе солнца, над океаном. Было жутко и одиноко до ужаса. Тогда мы только что уехали, усталые, и показалось, что ввалились в безысходное одиночество. Нынче было гораздо легче и радостнее. У нас была пасха, кулич и крашеные яйца (достали в церкви). Страстную провели в тишине, без суеты, в любви, и встретили праздник хорошо, как могли… В пятницу вечером были у всенощной в церкви, приложились к плащанице. В четверг вечером прочли 12 евангелий, „Господи, владыко живота…“ и нашу молитву „Друг наш, брат наш, сын человеческий…“»

И невозможно тут было любому свежему человеку, хотя бы где-то в глубине души, удержаться от вопроса: коль скоро даже для самих пророков «нового религиозного действия» так выигрывают в сравнении с «одиночеством на горе» все эти церковные крашеные яйца, куличи и пасхи, коль скоро так отрадно вспоминать о присутствии своем у плащаницы в Великую Пятницу, – не лучше ли, вместо того чтобы продолжать «городить огород», пытаясь дополнить Предание какими-то особыми, «своими» действиями и сочинениями в роде «молитв», попросту махнуть рукой и не мудрствуя лукаво следовать нормальному церковному порядку проживания Лета Господня?!

* * *

Творческим итогом пребывания Мережковского в Париже,

помимо уже упомянутой публицистики, стали две пьесы – *«Маков цвет»* и *«Павел I»*.

Первая пьеса, написанная Мережковским в соавторстве с Гиппиус и Философовым, представляющая собой рассказ о людях, чьи судьбы были сломаны революцией 1905 года, призвана была проиллюстрировать известный нам тезис: вне религиозного переживания революционных идей никакая позитивная цель недостижима. Атеизм русской либеральной интеллигенции может завести только в дебри противоречий и разрушить самые привлекательные характеры (главные герои разочаровываются в жизни и в финале пьесы кончают самоубийством).

Гораздо сложнее «Павел I». Основную идею этой «драмы для чтения» Мережковский сформулировал приснопамятным летом 1905 года в уже известном нам разговоре с Гиппиус: «Самодержавие – от антихриста». Сущность «антихристианского» характера русского самодержавия и должна была по замыслу Мережковского продемонстрировать история последних суток жизни императора Павла. Как мы уже знаем, для Мережковского «антихристианское» начало в истории человечества раскрывается в виде стремления человека *своей волей* разрешить глобальные противоречия жизни, противоречия ее «духовной» и «плотской» сторон. Однако для русского императора, являющегося по законам Империи *изначально* помазанником Божиим и главой русской Церкви, *соблазн «антихристова деяния», по мнению Мережковского, становится содержанием жизни: это есть не что иное, как форма российской государственной власти.* Так, его герой, искренне желающий «сделать всех счастливыми» («Каждого к сердцу прижать и сказать: чувствуешь ли, что сердце это бьется для тебя?»), становится страшным тираном, ибо ощущает себя «богом на земле»: «Превыше всех пап, царь и папа вместе, Кесарь и Первосвященник – я, я, я один во всей вселенной!..» И вместо достижения «всеобщего счастья» царствование «императора-рыцаря», завершаясь цареубийством, открывает новую кровавую страницу российской истории.

Упомянув о «Павле I», уместно отметить, что *эта пьеса, безусловно, самое выдающееся произведение Мережковского-драматурга.* К драматургической форме он обращался еще в самые ранние годы: в гимназических тетрадях стихов остались наброски драмы *«Мессалина»,* драматический этюд *«Митридан и Натан»,* незаконченная драма *«Сакунтала»* и комедия *«Осень».* В 1890 году он опубликовал «фантастическую драму в стихах» *«Сильвио»,* а в 1893-м – «драматические сцены в 4-х действиях» *«Гроза прошла».* После «Павла I» в 1914 году он пишет пьесы *«Будет радость»* и *«Романтики»,* а в 1918 году создает

инсценировку романа «Петр и Алексей» – пьесу *«Царевич Алексей»* (вторая авторская инсценировка этого времени – трагедия *«Юлиан Отступник»* – была обнаружена только в наши дни). Известны и его киносценарии – *«Борис Годунов»* и *«Данте»*.

Из всего перечисленного «проверку временем» выдержал, как кажется, только «Павел I». Валерий Брюсов справедливо обращал внимание на «благородство и строгость облика» этой пьесы, сопоставляя ее с шекспировскими «хрониками». Избрав классическое построение, определенное «единством времени и места», а также – наличием главного героя, вокруг которого обращается все действие, Мережковский сумел добиться замечательной «драматургической стройности». В отличие от других его опытов в драматическом роде «Павел» лишен избытка риторики и потому сценичен. Даже изначальная «идеологическая схема», которой руководствуется Мережковский, создавая образ императора, не мешает раскрытию собственно «человеческого» многообразия этого удивительного персонажа русской истории: его Павел вспыльчив, жесток, отходчив, коварен, доверчив, благороден, мелочен и т. д., причем каждое из этих сценических «положений» подано весьма органично, с большим «допуском» для оригинальных актерских и режиссерских решений. Традиционная для Мережковского «историческая цитатность» здесь свободно «растворяется» в речи персонажей, не мешая каждому из них говорить «своим голосом». Замечательны кульминационные сцены главы заговорщиков графа Палена с Павлом, а затем – с будущим императором, великим князем Александром Павловичем, – сцены «предательства», до предела насыщенные тончайшими психологическими нюансами, отраженными в речи героев:

> *«Александр:* Для кого же вы, сударь, стараетесь?
>
> *Пален:* Для себя, для вас.
>
> *Александр:* Благодарю покорно.
>
> *Пален:* Поверили?… Как вы людей презираете, ваше высочество!.. Нет, не для себя и не для вас, а для России, для Европы, для всего человечества. Ибо самодержец безумный – есть ли на свете страшилище оному равное? Как хищный зверь, что вырвался из клетки и на всех кидается.
>
> *Александр:* Как вы его ненавидите!
>
> *Пален:* Ненавижу? За что? Разве он знает, что делает? Сумасшедший с бритвою… Не его, Богом клянусь, не его, безумца, жалости достойного, я ненавижу, а источник оного безумия – деспотичество.

Некогда вы говорить мне изволили, ваше величество, что самодержавную власть и вы ненавидите и что гражданскую вольность России даровать намерены. Я поверил тогда. Но вы говорили – я делаю. А делать труднее, чем говорить…

Александр: Петр Алексеевич…

Пален: Нет, слушайте – уж если говорить меня заставили. Так слушайте! Я думал, что Господь избрал нас обоих для сего высочайшего подвига – возвратить права человеческие сорока миллионам рабов. Вижу теперь, что ошибся. Не мы с вами – орудие Божьих судеб. Рабами родились и умрем рабами. Но не знаю, как вы, а я – пусть умру на плахе – я счастлив есмь погибнуть за отечество и на Божий суд предстану с чистой совестью, – я сделал, что мог…

Александр: Петр Алексеевич, простите…

Пален: Ваше высочество!..

Александр: Я виноват перед вами – простите меня…

Пален: Вы… вы?… Нет, я… ваше высочество… ваше величество!

Становится на колени.

Александр: Что вы, что вы, граф? Перестаньте…

Пален: Да – ваше величество! Отныне для меня государь император всероссийский – вы и никто, кроме вас… Ангел-избавитель отечества, Богом избранный, благословенный!..

Целует руки Александра.

Александр: Нет, нет, вы не поняли…»

Работа над «Павлом I» приводит Мережковского к замыслу новой трилогии, посвященной метафизике русской власти, тому типу общественных отношений, в котором ярче всего среди других европейских христианских народов отразились «религиозные», мистические аспекты «харизмы» политических лидеров. Эта трилогия получит название *«Царства Зверя»,* и «Павел» станет первой ее частью.

* * *

К концу 1907 года вполне определенно замысел «миссии в Европе» стал «исчерпывать себя». Было ясно, что из «заколдованного круга» бесконечных разговоров «обо всем и ни о чем» вырваться «троебратству» не удастся. Можно было, правда, утешать себя мыслью, что необходимые связи с «серьезной» русской «революционной общественностью» налажены, и уповать на будущее в надежде превращения ее *когда-нибудь* в «общественность религиозную». Философов откровенно скучал и, не видя уже в проповеди «революционной религиозности» злободневной необходимости, пытался сбросить «дружеское иго» и немного рассеяться «мирским» способом, благо Дягилев с бывшими «мирискусниками» осенью 1907 года также находился в Париже, завоевывая сердца французов первым *Русским сезоном.*

В отличие от уныния, царившего в кругу «троебратства», здесь было ликующее возбуждение. Мечты «мирискусников» сбылись: великое русское искусство серебряного века начинало свое победное шествие по миру, и Дягилев – циничный и блестящий, порочный и ликующий – был Наполеоном этого славного похода. «Мне ночью мучительно твердилось, точно в уши кто-то шептал, что тебя черт искушает, даже не трудясь новенького выдумать… просто на отвлечение от дела жизни нашей, на „настроения“ и безмужественную косность, тягучую колею… – раздраженно писала тогда Философову Гиппиус. – И страшно, что год назад он тебя и то поострее и похитрее опутывал. А теперь фрак и музыка хорошая, и Нувель рядом вместо меня, и настроение, и все так просто и естественно, и мило, и хорошо, и ни подо что не подоткнешься».

В начале 1908 года в Париж приехал Бердяев. Он много рассказывал о созданном им в минувшем году в Петербурге Религиозно-философском обществе, призванном, по его замыслу, возобновить процесс «воцерковления» интеллигенции, начатый Религиозно-философскими собраниями. Председателем Общества был избран А. В. Карташев – некогда профессор Духовной академии, ставший затем горячим сторонником «нового христианства» Мережковского. И хотя Бердяев к 1908 году уже разочаровался в своем детище (именно тогда, как мы уже говорили, начиналось его охлаждение к Мережковскому), – «троебратство» ухватилось за эту возможность возобновления активной «общественной» работы в России. Препятствий к возвращению не было: ситуация в России стабилизировалась, репрессии победившего революцию правительства П. А. Столыпина на либеральную интеллигенцию не распространились. Более того, после Манифеста 17 октября 1905 года обещанная «свобода слова» действительно, хотя и не так скоро, как бы это

хотелось либералам, становилась реальностью.

Возвращение в Россию было решено.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Предреволюционное десятилетие. – Религиозно-философское общество. – «Богоискатели» и «богостроители». – Полемика вокруг «Вех». – Жизнь между Петербургом и Парижем. – Суд над Мережковским и суд над Розановым. – «Александр I» и публицистика этих лет. – Война. – От февраля до октября 1917 года

Летом 1908 года Мережковский, Гиппиус и Философов возвращались из Парижа в Петербург. Это было невеселое возвращение: всем было ясно, что «миссия в Европе» не удалась. Прибытие Мережковских и Философова прошло незамеченным – летний Петербург был, как водится, опустевшим ввиду традиционного «дачного сезона», и наш герой вместе со своими постоянными спутниками счел за благо отдать дань этой традиции.

Осенью Мережковские развивают бурную деятельность в Религиозно-философском обществе: они еще живут надеждой на возрождение того общественного энтузиазма, который некогда возбуждали одноименные Собрания. На какое-то время им и в самом деле удается привлечь к себе внимание: о заседаниях общества заговорили, более того – богословские темы зимой 1908/09 года даже вошли «в моду» в петербургских общественно-культурных кругах, так что эти месяцы получили название *«сезона о Боге».* Тогда же «в руки» Мережковских, по выражению Гиппиус, переходят журнал «Образование» (правда, ненадолго) и газета «Утро». Участники «троебратства» полны оптимизма, собирая вокруг этих изданий ветеранов Религиозно-философских собраний и «Нового пути».

«Время „Нового пути“ далеко, – писала Гиппиус Федору Сологубу в сентябре 1908 года, – но как оно ни было наивно, – я не без удовольствия его вспоминаю. Редакция „Нов‹ого› пути“ была бедна; Вы еще не были так славны, как теперь; но почему-то мне хотелось бы, чтобы Вы, несмотря на перемены (в редакции и

в Вас), – относились бы к „Образованию“ и к „Утру“ с тем же хорошим дружелюбием, как к „Новому пути“».

И все-таки очень скоро Мережковский вынужден был признать, что работа Религиозно-философского общества оказывается лишь формальным подобием того форума, который удалось создать в 1901–1903 годах. Даже А. В. Карташев, хотя и не слагал с себя полномочия председателя, открыто заявлял о том, что Общество есть не что иное, как «религиозно-философская говорильня».

– Правы те наши критики, – говорил Карташев, – кому нынешние наши разговоры о религии кажутся пустословием, развратом и тому подобным, правы, если действительно нет за этими разговорами каких-либо действий. Религиозная жизнь должна заправлять всей жизнью человека. А бесконечная говорильня о религии есть кощунство.

Состав Общества в «сезон о Боге» был исключительно интеллигентский, «воцерковленные» люди и духовенство тут почти не встречались. С легкой руки Мережковских и Философова главной темой «повестки дня» стал, как легко догадаться, вопрос об отношении русской революции к религии. Часть участников общества считала, вслед за Мережковским, что русская революция должна обрести христианскую идеологию, другая часть – что религия русской революции должна быть особой, специально созданной «для решения революционных задач». Первых стали называть *«богоискателями»,* вторых – *«богостроителями»* (к последним относились прежде всего марксисты – А. А. Богданов, В. А. Базаров, А. В. Луначарский; некоторое время примыкал к ним и Максим Горький, находившийся тогда в эмиграции и создавший у себя на Капри целую «школу» для революционеров-эмигрантов, которым преподавался марксизм как «религия Бога-народа»).

Эта полемика была подчас весьма остроумной, даже блестящей, но в отличие от вопросов, поднимавшихся на Религиозно-философских собраниях, и «богоискательство», и «богостроительство» оставались в практическом, жизненном плане не более чем «игрой ума». Серьезные силы, определяющие как религиозную, так и революционную жизнь тогдашней России, церковные иерархи и вожди политических партий Религиозно-философское общество игнорировали. Духовенство, еще стремившееся поначалу в Общество по старой памяти, убедившись, что никакими практическими церковными вопросами здесь уже не занимаются, а говорят о некоем абстрактном «сверх-христианстве», каковое должно наступить после Второго Пришествия и физического изменения человека из

«третьего» в «четвертое» измерение, с недоумением прекратило контакты с «богоискателями».

Интересно, что из Общества ушли даже сектанты и теософы, хотя и не принимавшие «традиционную» веру, но все-таки стремящиеся к некоей *практической* религиозности, которую «христианство Третьего Завета», жившее не настоящим, а будущим, обеспечить своим адептам никак не могло. Что же касается русских партийных лидеров, то они, большей частью, вслед за Лениным, Плехановым, Кропоткиным, Мартовым, Черновым, были не только убежденными атеистами, но прежде всего прагматиками до мозга костей и любой намек на «метафизику» и «мистику» политической борьбы являлся для них либо неким «маневром» противников в борьбе за власть в партии, либо обыденным проявлением глупости со стороны «прекраснодушных» мечтателей-интеллигентов.

«Отвлеченный» характер заседаний Религиозно-философского общества в «сезон о Боге» был настолько очевиден, что даже кроткий, дружественный тогда Мережковскому Розанов в январе 1909 года взбунтовался и подал прошение о выходе из Совета Общества, ибо, по его мнению, оно «изменило прежним, добрым и нужным для России целям», превратилось из «религиозно-философского» в «литературно-публицистическое», в «частный семейный кружок без всякого общественного значения». Последнее замечание Розанова являлось, конечно, камнем в огород «троебратства».

В конце концов Общество неизбежно должно было превратиться в один из многих «левых» петербургских интеллигентских клубов, далеких и от «религии», и от «философии», а занимающихся исподволь предуготовлением политической смены власти в России.

Мощным импульсом для подобной эволюции Общества стала полемика вокруг сборника *«Вехи»,* под знаком которой проходит весь 1909 год в жизни Мережковского.

* * *

15 марта 1909 года в «Русских ведомостях» появился библиографический анонс:

«Новая книга

ВЕХИ

Сборник статей о русской интеллигенции

Н. А. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда.

С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество.

М. О. Гершензон. Творческое самосознание.

А.С. Изгоев. Об интеллигентской молодежи.

Б. А. Кистяковский. В защиту права.

П. Б. Струве. Интеллигенция и революция.

С. Л. Франк. Этика нигилизма.

Цена 1 рубль 25 коп.

Продается во всех книжных магазинах. Склад издания в конторе «Критического обозрения»: Москва, Арбат, Никольский пер., 19».

За несколько месяцев этому сборнику пришлось выдержать три издания. Его читали все – и все считали долгом высказаться по поводу прочитанного (судьба редчайшая, необыкновенная среди истории российского печатного слова!). Московский фельетонист тех дней полуиронически, полурастерянно отмечал:

«В Петербурге – заседание Религиозно-философского общества о „Вехах“.

У нас – в исторической комиссии учебного отдела – беседа по поводу «Вех».

В женском клубе – реферат г. Штамма «Вехи».

В «Речи», «Слове» и покойной «Новой газете» – полемика на почве «Вех».

В «Новом времени» – дифирамб А. Столыпина «Вехам»…

«Вехи»… «Вех»… «Вехам»… «Вехами»… О, «Вехи»!..»

Что же произошло?

Авторы «Вех» стремились «по горячим следам» революционных событий проанализировать роль интеллигенции в современной истории России. Ценность этого анализа была тем более высока, что все семеро являлись плотью от плоти интеллигенции, – все отдали дань «левым» учениям, все так или иначе испытали политическое давление со стороны правительства, некоторые (как, например, Бердяев) подвергались прямым репрессиям. Исследуемый «предмет», таким образом, был знаком им не понаслышке. Выводы же, сделанные «веховцами», были горьки и недвусмысленны: русская интеллигенция духовно незрела и безответственна, она не имеет представления о реальных политических и экономических потребностях России, она плохо образованна, живет в мире иллюзий, нравственно

нечистоплотна, эгоистична и склонна к популистской демагогии и откровенному авантюризму в своей общественно-политической деятельности. На всю страну прогремели слова историка Михаила Гершензона: **«Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».**

Выход из кризиса, в который после революции 1905 года попала русская интеллигенция, авторы сборника видели в изменении ее отношения к государству и Церкви, в активной внутренней религиозно-нравственной работе над собой, в преодолении самонадеянного эгоизма – застарелого коренного порока русской «демократической общественности».

А. А. Столыпин, брат премьер-министра и ведущий сотрудник умеренно-консервативного «Нового времени», одной из самых авторитетных петербургских газет, откликаясь на выход «Вех» и приветствуя «один из первых духовных плодов тех начатков свободы, которые понемногу прививаются к русской жизни», заметил, что авторов сборника бесчисленные либеральные публицисты сразу же «потащили на суд партийной нетерпимости, крамольность их воззрений была установлена с военно-полевой строгостью, и неблагонамеренность их была провозглашена с торжественностью, которой повредила разве некоторая поспешность приговора».

«Вы пошли на правое дело без расчета, не подумав о том, сколько нравственных заушений придется вам принять за правду!» – писал авторам «Вех» архиепископ Антоний (Храповицкий).

И действительно, «нравственных заушений» было, мягко говоря, достаточно. На «веховцев» началась настоящая «охота» в либеральной периодике. Любые, самые нелепые, недопустимые и невообразимые обвинения посыпались в их адрес. «Полемика против „Вех“ во многих изданиях выродилась в ряд грубых, чисто личных нападок на авторов, принявших участие в сборнике, – констатировал один из „веховцев“, А. С. Изгоев. – Пределы элементарной порядочности давно перейдены гг. полемистами, не отступающими ни перед нелепыми заподозриваниями, ни перед обыкновенным сыском, казалось бы, ничего общего не имеющим с литературным спором».

Изгоев не преувеличивал: к нему и к его коллеге Кистяковскому со страниц демократических изданий неоднократно раздавались требования… предъявить справку о вероисповедании! Не многим лучше были и «сатириконовские»

фельетоны, живописавшие, как на квартиру П. Б. Струве ломятся пьяные черносотенцы-погромщики с предложениями «любви и дружбы»:

> «Струве дрожал, как в лихорадке.
>
> – Агафья! – истерически закричал он. – Если кто из поклонников придет – не пускай! Запри двери!
>
> А в запертую дверь уже кто-то ломился и слышался хриплый голос:
>
> – Нет, ты коли наш, так впусти! Мне, брат, многого не надо… Дашь на полбутылки с закуской, так я любому интеллигенту морду разобью. Петра, а Петра!.. Пусти, чтоб тебе лопнуть!»

Однако подобные «шалости», призванные любой ценой скомпрометировать «веховцев» и сорвать предложенный ими честный и открытый диалог, были предназначены для широкой публики. Для интеллектуальной элиты готовилась «тяжелая артиллерия» – и главную роль здесь должно было сыграть Религиозно-философское общество. Заседание, посвященное «Вехам», было назначено на 21 апреля 1909 года в зале Польского общества любителей изящной словесности на Троицкой улице.

Мережковский был главным докладчиком.

Большинство «веховцев» – его давние друзья, нет, не просто друзья – соратники и единомышленники по Религиозно-философским собраниям и «Новому пути». Именно он, Мережковский, повернул к религиозным проблемам в 1904–1905 годах молодых «легальных марксистов» – Бердяева и Булгакова… С Гершензоном беседовал часами о том самом, о чем сейчас прочел на скромных страницах сборника, набранных дешевым «слепым» шрифтом. В самые трудные для него месяцы они были с ним вместе, поддерживали его, чем могли…

После краткого выступления Философова, бегло охарактеризовавшего положительную роль интеллигенции в русской истории с Петра Великого, Мережковский медленно вышел на трибуну.

«– Тяжело говорить горькую правду о близких людях, – глухо начал он. – Между участниками „Вех“ есть люди мне близкие.

Если я все-таки решаюсь говорить, то потому, что дело идет о слишком важном, чтобы не забыть все личное. Но остается неизменным, по крайней мере, с моей стороны, это личное: уважение ко всем, и больше, чем уважение к некоторым.

Судя их, сужу себя в прошлом: ведь и я когда-то был почти там же, где они теперь; я знаю по собственному опыту, какие соблазны туда влекут. Когда их бью, бью себя.

Пусть уж они простят меня, если могут…»

Речь Мережковского была блистательна. И раньше лектор «милостью Божией», теперь он демонстрировал ошеломленным слушателям весь невероятный блеск своего зрелого ораторского мастерства. «Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками, – признавался Розанов. – Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали».

И лишь какое-то время спустя, усилием воли стряхнув с себя демонический гипноз Мережковского, Розанов испугался. «При хохоте зала он их, своих друзей, пинал ногами, бил дубьем – безжалостно, горько, мучительно, – с ужасом думал Василий Васильевич, тоже „друг“ и тоже в прошлом „соратник“ Мережковского. – Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный… Дмитрий Сергеевич горел звездою над болотными огоньками „Вех“…»

Розанов вспоминал, что даже почувствовал неожиданное облегчение, когда после доклада Мережковского «практический социал-демократ» Столпнер, защищая в прениях «русскую интеллигенцию как героическую и носительницу идеала вечного улучшения», вдруг не выдержал и, тряся скрюченными пальцами, начал истошно орать на Струве, бессвязно поминая «англичан, Изгоева, онанистов (буквально!)». «Это было хорошо… Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Значит – живы».

В холодном же блеске Мережковского было нечто страшное, мертвенное.

Мережковский сравнивал русскую интеллигенцию со старой клячей, через силу тянущей огромную телегу, – из страшного сна Раскольникова. Глумящиеся мужики забивают ее колами насмерть.

– Телега – Россия, лошаденка – русская интеллигенция…

Изуверами-мужиками оказывались авторы «Вех»…

Но за этими блистательными риторическими фигурами скрывались старые, бесчисленное количество раз за эти годы повторенные и уже «полустертые» почти до штампа схоластические построения.

Религия – динамична, устремлена ко Второму Пришествию, к «Царству Божиему». Атеизм и мещанский позитивизм – статичны, довольствуются настоящим.

Революция – динамична, консерватизм – статичен. Поэтому революция по природе своей – религиозна, консерватизм же – атеистичен, неспособен к подлинной вере.

Носителем революционного сознания в России является

интеллигенция. Следовательно, только революционная интеллигенция среди всех образованных слоев русского общества способна к подлинной, «живой» религиозности.

– Где же и зародилось революционное понимание всемирной истории, как не в христианстве? – риторически вопрошал Мережковский. – На Западе, в папстве, абсолютизме духовном, на Востоке, в кесарстве, абсолютизме светском, вера в грядущего Освободителя, эсхатология, иссякла, исказилась и окаменела; но огненный родник ее доныне бьет в сердце русского народа – в освобождении, в интеллигенции – во всех русских отщепенцах, «настоящего Града не имеющих, грядущего Града взыскующих»…

Мережковский подчеркивал, что борьба с интеллигенцией есть борьба с самой возможностью «светлого будущего» для России и в «общественном», и в «религиозном» смыслах.

«Кажется, наступил тот полунощный час, когда вот-вот раздастся крик петухов, возвещающий солнце.

Прислушаемся же, не прозвучит ли в наших сердцах этот крик; жив Господь; и живы души наши, да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!»

И под гром аплодисментов он сошел с трибуны.

Казалось, что никаких выступлений уже не будет; но нет, – из зала как-то боком вышагнул Семен Людвигович Франк и через мгновение был уже на трибуне, бледный, осунувшийся, но решительный и собранный. Ожидая, пока утихомирится зал, он спокойно протер свои совсем уж «интеллигентские» круглые очки и, нацепив их, укоризненно посмотрел на оппонента.

– Для меня загадочно мировоззрение Дмитрия Сергеевича, – тихо, но очень твердо, так что все услышали каждое слово, сказал Франк. – Что означает *для него* религия? К чему она его обязывает, и обязывает ли вообще к чему-либо иному, кроме той социальной метафизической риторики, которую исповедуют и атеисты? **Или, в самом деле, религия есть столь пустая вещь, что ее исповедание состоит в простой подмене слов, что достаточно поставить вместо Маркса – апостола Иоанна, вместо «эрфуртской программы» – апокалипсис и вместо «государства будущего» – град Новый Иерусалим, и дело в шляпе?…** Такой взгляд содержал бы величайшее оскорбление понятия религии, и трудно допустить, чтобы Дмитрий Сергеевич серьезно и в глубине души его держался; но слова и действия его как будто говорят это.

В зале стало очень тихо, а Франк, по-прежнему негромко, спокойным и уверенным голосом продолжал:

– Участники «Вех» полагают, что переход интеллигенции от нигилизма и атеизма возможен только как коренное культурное

перевоспитание личности, через переоценку всех, в том числе и общественных ценностей. Как же мог Мережковский, поставивший, по-видимому, своей задачей религиозную миссию среди интеллигенции, не заметить этого духа «Вех», который, казалось бы, должен ему быть близким и родственным? Одно из двух: или религиозно-философский пересмотр интеллигентского мировоззрения вообще не нужен, – и тогда пусть Мережковский объявит себя попросту, без оговорок и без мнимо мистического жаргона, позитивистом и социал-демократом, или же пересмотр все же нужен, и тогда – правда на нашей стороне.

Мережковский не нашелся, что возразить.

* * *

Позже, вспоминая свои впечатления от дискуссии, Розанов подытоживал: для «специалиста по христианским делам» Мережковского «христианство ‹…› одна из пережитых идей, которую он престидижитаторски выдергивает там и здесь последние 2–3 года для красоты и эстетического украшения своей личности и своих „теорий“». «Что такое эти семь интеллигентов, составивших „Вехи“, – спрашивал себя и читателей Розанов. – Абсолютно бессильны и слабы ‹…› у них нет того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет… К их услугам нет и Религиозно-философских собраний. Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всей печатью, с которой очень и очень считается правительство ‹…› он представил плачущей, жалкой клячонкой… „Браво! Браво! Браво!“ И я кричал „браво“. Ну что же: талант обманывает. Но как грустно, что даже слезы, всё, всё, и „вздохи матери“, и „скорбь друга“, всё, чем живут цивилизации и тепел каждый дом, – тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и „даже лучше священника“… Страшно и жутко жить на свете».

Этой статьи Мережковский Розанову не простил: пути «друга Мити» и «любезного друга Василия Васильевича» начинают расходиться навсегда.

Мережковскому было плохо. То, что его выступление в зале Польского общества было не чем иным, как «стрельбой по своим», он не сознавать не мог, равно как не мог не сознавать и того, что в «Вехах» с удивительной точностью намечены те самые *реальные* пути «воцерковления интеллигенции», методика того самого «нового религиозного действия», которое он сам и начал десять лет тому назад. И, стремясь, очевидно, заглушить собственные

сомнения, он истерически кричит на Бердяева: «Православие есть душа самодержавия, а самодержавие – есть тело православия… Христианская святость совместима с реакцией, с участием в „Союзе русского народа“, с превращением Церкви в орудие мирской политики, с благословением смертных казней… Если такова Церковь… то как он мог войти в нее?… А сняв голову, по волосам не плачут. Нельзя же в самом деле поручать себя молитвам тех, кого считаешь мучителями, распинателями правды Христовой, кого подозреваешь в безбожном, демоническом отношении к миру».

Но ему уже никто не отвечает. Прежние друзья тихо отходят от него, оставляя его в одиночестве. Даже Блок, посидев на нескольких заседаниях Религиозно-философского общества в «сезон о Боге», вежливо отказался от его дальнейших посещений (а заодно, не объявляя это вслух, – и от посещений дома Мережковских), ибо, по витиеватому выражению Александра Александровича, ему было тяжело слушать, как пытаются говорить о том, что… *«невыразимо»*.

В воспоминаниях Гиппиус о Блоке мы находим невероятное упоминание о… *черносотенном мировоззрении* Блока в эти годы. Нет, к националистическому террору Блок, конечно, никогда не тяготел: просто он всегда испытывал стойкое отвращение к тому, что емко называл *«либеральным сыском»* – к организованной корпоративной публичной травле любого критика «честной русской мысли».

Понимал ли Мережковский, что его выступления в том историческом контексте, который сложился после выхода «Вех», мягко говоря, могут быть истолкованы превратно. Действительно ли был неколебимо убежден в своей правоте? Или же он просто чувствовал, что уже затянут в обычную политическую игру, что все его фантазии – о «Третьем Завете», «Новом Иерусалиме», борьбу за который, сама того не ведая, якобы ведет русская социал-демократия – его новые знакомцы, «лучшие русские люди» («золотые сердца, глиняные головы») – *терпели до поры, а теперь пришло время расплачиваться:* за заграничные триумфы, за «оказанное доверие», за внезапную лояльность «левой» критики, в мгновение ока превратившей его из «изгоя-декадента» в «маститого русского писателя, к которому прислушивается Европа», за сотрудничество в центральных изданиях, за обильные гонорары, наконец… Если так, то это очень страшно. А ведь *очень* похоже, что именно так, если судить хотя бы по некоей беседе этих лет с Розановым, след от которой остался во втором «коробе» розановских «Опавших листьев».

«Вот то-то и оно-то, Димитрий Сергеевич, что вас *никогда,*

никогда, никогда не поймут те, с кем вы… – беззлобно и безнадежно пишет Розанов, как всегда, начиная свой словесный «крок» без всякой «экспозиции». – Слово «царь» – вы почувствовали, они – не чувствуют… Но оставим жгущийся в обе стороны жупел… Вы *когда-то* любили Пушкина: ну – и довольно… И никогда, никогда, никогда, никогда вы не обнимете свиное, тупое рыло революции… Иначе чем ради сложностей («тактики», в которой я не понимаю). ‹…› Вы *образованный, просвещенный* человек, и не внешним, а внутренним просвещением. Пусть – дурной, холодный (как и я); пусть любите деньги (как и я); пусть мы оба в вони, в грязи, в грехе, в смраде.

Но у вас есть *вздох*.

А у тех, которые тоже «выучены в университете» и «сочиняют книжки», и по-видимому похожи на нас, ибо даже чище, бескорыстны, без любовниц, «платят долги вовремя», «не должают в лавочке», и прочие, и прочие добродетели…

У них нет вздоха.

И только: но – небеса разверзлись, и разделилась земля, и на одном краю бездны они, и на другом конце бездны – мы.

Мы – святые.

Они – ничто.

Воры и святые, блудники и святые, мошенники и святые. Они «совершенно корректные люди» и ничто. ‹…› Ну, Бог с вами – прощайте. Да вы это и понимаете. Сами уже вздыхаете в душе, я знаю».

Между тем российская цензура, ранее явно благоволившая к Мережковскому, под впечатлением от столь решительного «левого» дрейфа стала в свою очередь, после возвращения Мережковских из «европейского далека», подавать первые признаки неудовольствия.

В 1908 году, сразу по выходе отдельным изданием (в издательстве М. В. Пирожкова), был запрещен и конфискован «Павел I» – в пьесе усмотрели «дерзостное неуважение к Высшей Власти…», преступление, караемое по тогдашним законам тюремным заключением. Мережковскому было дано знать, что дело может принять нехороший оборот, если тот будет продолжать «опасные знакомства». Автор крамольной пьесы сделал «фрондерский» жест: отрывки из нее играли на благотворительном вечере в пользу нуждавшегося тогда А. М. Ремизова, устроенном Мережковскими 14 декабря 1909 года. Вечер имел успех, публика неистово аплодировала, но успокоения это, конечно, не принесло.

С января 1909 года Мережковский жаловался на постоянную сердечную аритмию, страшную усталость, на (удивительное

дело!) отвращение к работе (он никак не мог решиться начать следующий роман новой «трилогии» – «Александр I»). После истории с «Вехами» у него начинаются перебои в работе сердца, и испуганная Зинаида Николаевна решает увезти мужа из России на несколько недель в Швейцарию или Германию. Их сопровождал неизменный Философов.

Отдыха не получилось. Во Фрейбурге стоял в мае совершенно «русский» холод, а в Лугано, куда они сочли за благо перебраться, их ожидала телеграмма из Парижа от Савинкова. Тот настоятельно просил Мережковского приехать – ввиду исключительных личных обстоятельств. Ехать Мережковскому никуда не хотелось, но Философов, напомнив о «моральных обязательствах» перед Савинковым, который некогда числился в неофитах «нового религиозного действия», решительно настоял на поездке.

Встреча вышла очень тяжелой.

В 1908–1909 годах журналист В. Л. Бурцев выступил с рядом сенсационных разоблачений провокаторов охранки, внедренных в руководство революционного подполья. Партия эсеров была потрясена разоблачением Евно Фишелевича Азефа – члена ЦК, непосредственного руководителя той самой террористической «Боевой группы», в которой Савинков играл одну из главных ролей. Эсеры, конечно, и ранее сталкивались с провокацией, но этот случай «выходил из ряда вон» не только потому, что провокатором был один из руководителей партии, но и потому, что сам характер деятельности Азефа был каким-то неудобопонимаемым обыденным рассудком: материалы, которые тот получал от полиции, он использовал для успешной организации покушений; сведения же, которыми располагал в качестве члена ЦК, – для арестов исполнителей этих же самых террористических актов. В результате разоблачения Азефа вся деятельность партии в 1905–1908 годах виделась в совершенно ином свете: фанатики-террористы оказывались даже не орудием нечистоплотной игры правительства, а марионетками в руках хитрого маньяка, одержимого манией величия. Под воздействием разразившегося скандала ЦК был на грани решения распустить «Боевую группу» и приостановить террористическую борьбу. Савинков же оказался в положении подозреваемого, ибо его прямые связи с Азефом были широко известны.

Савинков был деморализован: смысл его жизни, во имя которого он убивал сам и ежеминутно рисковал быть убитым, в одночасье рухнул. В отчаянии он решил в обход ЦК организовать совместно с Фондаминским собственную террористическую организацию и «доказать делом», что его статус революционера

«без страха и упрека» заслужен им не понаслышке. В разговорах с Мережковским он производил впечатление полубезумного человека: часами угрюмо смотрел себе под ноги и, не слушая доводов собеседника, угрюмо повторял:

– Я знаю – так надо. Так будет хорошо…

Было ясно, что Савинков затевал авантюру, не оправданную не только нравственной, но даже и политической необходимостью. Возобновляя террор в ситуации общественной стабилизации в России едва ли не исключительно ради собственных интересов, он ставил под угрозу не только престиж партии, но и жизни ни в чем не повинных людей. Савинков же между тем требовал от Мережковского «благословения» на эту безумную затею, упирая на усвоенную им проповедь «нового религиозного действия» – «священного безумия», каковое он и думал воплотить в русскую действительность столь экзотическим способом. Вероятно, впервые в эту страшную парижскую неделю в отеле «Иена», где каждый день возобновлялись ненормальные, чудовищные беседы, безрезультатные и тягостные для обоих, Мережковский в полной мере почувствовал, **какая опасность и ответственность связаны с такими красивыми на словах «общественно-религиозными» концепциями «троебратства».**

Совершенно изможденным, так ни в чем и не убедив Савинкова, Мережковский возвращается в Россию.

* * *

Болезнь Мережковского резко меняет его распорядок жизни. Зимой 1909/10 года после перенесенного гриппа он переживает сильнейший сердечный припадок, и доктор Чигаев, пользовавший Мережковских, нашел органические изменения в сердце и начало склероза. Он запретил пациенту гулять и ограничил его в работе. Снова, как некогда в юности, призрак смерти вдруг оказался близко к нашему герою, нервы его не выдержали, и он впал в тяжелую депрессию, которая длилась вплоть до весны. Положение еще усугублялось и тем, что и у Гиппиус в это несчастное время открылся процесс в легких. Врачи настоятельно рекомендовали супругам проводить весенние месяцы вне Петербурга и, по возможности, вне России – на юге Франции или хотя бы в Париже.

Философов снова сопровождает друзей – на этот раз на Средиземноморское побережье, где они снимают уединенную виллу близ Канн. На Пасху к ним в Канны приезжают сестры Гиппиус и Карташев. В мае Мережковский едет в Париж для

консультации с кардиологом Вогезом: тот не находит патологий в сердечной деятельности, но рекомендует лечиться от нервного истощения.

Перед возвращением в Россию Мережковские и Философов проводят две недели в пансионе в Сен-Жермене. Здесь, кстати, Дмитрий Сергеевич узнал развязку прошлогодней истории с Савинковым: тот все-таки попытался осуществить задуманное; дело кончилось провалом – в созданной им группе вновь оказался провокатор. Ввиду новых бессмысленных жертв партия эсеров приняла решение прекратить террористические действия и отстранила Савинкова от работы с подпольными организациями.

На лето Мережковские и Философов возвращаются в Россию, однако осенью состояние здоровья Мережковского вновь резко ухудшается и зиму 1910/11 года «троебратство» решает провести на Ривьере – подальше от «петербургских гриппов». В ноябре Мережковский заключает договор об издании своего Полного собрания сочинений (в семнадцати томах) с книгоиздательством М. О. Вольфа. Эта успешная «продажа» наводит Гиппиус на идиллическую мысль о «домике за границей», а самого Мережковского несколько приободряет. В декабре они едут во Францию, в *Agay,* где останавливаются в *Hotel des Roches Rouges.* Здесь, хотя и не сразу, Мережковский начал поправляться и возобновил работу над романом «Александр I».

Новый роман все больше увлекал Мережковского. Обсуждая написанное с Гиппиус и Философовым, он мечтал по возвращении в Россию совершить поездку на Украину и посетить места, связанные с историей Южного общества декабристов. Однако сперва следовало найти постоянное жилище для «весенних сезонов»: болезнь напугала нашего героя, он стал вдруг мнительным и строго следовал назначению врачей (к неудовольствию Философова, считавшего, что такой человек, как Мережковский, должен быть «выше» забот о физическом самочувствии). Мечта о «домике за границей» осуществилась в Париже, куда они приехали в феврале 1911 года перед возвращением в Россию: Гиппиус удалось «по случаю» найти очень дешевую квартиру в Париже, в Пасси. Эта покупка оказалась впоследствии спасительной: покинув Россию в 1919 году, они станут единственными из русских эмигрантов, которые приедут в Париж, имея ключи от собственного жилища.

А поездка на Украину, о которой так мечтал Мережковский, не состоялась: осенью 1911 года в Киеве был убит Столыпин, обстановка в стране была неспокойной, и супруги сочли за благо не покидать Петербург. «Александр I» был окончен, и Мережковский сразу же приступает к работе над завершающим

вторую трилогию романом – «14 декабря».

* * *

Несколько раз в предвоенные годы жизнь, словно в насмешку над Мережковским, готовит «сюжеты», в которых его грезы о «религиозном» преображении «общественности» предстают воплощенными в самые неожиданные и уродливые формы: русское общество на всех его уровнях действительно захлестывает «мистический психоз».

В литературных кругах под воздействием Вячеслава Иванова окончательно утверждается положение о «пророческом» назначении русских символистов, призванных передать человечеству «откровения Духа» в канун Второго Пришествия. В статье «Заветы символизма» (1910) Иванов открыто призывал соратников по литературному цеху… оставить занятия искусством, обращенным к «низким истинам» повседневности. Революция, политика, неустроенный российский быт – «диавольский» искус, мешающий понять, что пришло время подлинного «религиозного действия». Исторический путь человечества кончен, и наступает новая, «апокалипсическая» стадия бытия, в которой «литературное творчество» уже неуместно. Возникает целая *«дискуссия о символизме»,* предметом которой становится вопрос: литераторы ли русские символисты или уже… пророки Апокалипсиса?

В светских салонах распространяется болезненный интерес к народным мистическим сектам, возникает мода на «старцев», проповедующих «истинную религию». В самом Религиозно-философском обществе появляется хлыстовский пророк Щетинин, устраивавший садические оргии, которые он считал формой «освящения плоти». Влияние этого необразованного и грубого человека на рафинированных интеллектуалов было столь значительно, что Гиппиус пришлось писать специальную статью, опровергающую «щетининскую ересь» (позже «пророк» был задержан полицией по обвинению в сексуальных преступлениях). Кульминацией же «мистических исканий» русской интеллигенции в 1912–1913 годах становится явление Распутина, стремительно восходящего к самым вершинам власти.

А что же Мережковский? Он пытается бороться против «мистического хулиганства», публикует статьи, в которых громогласно объявляет происходящее порождением «реакции», говорит об «отступничестве» и «декадентстве» (!!) творческой интеллигенции, отстаивает «религиозные идеалы» революции и

т. д. Но влияние его на умы современников заметно сокращается – тем более что его собственное «новое религиозное действие» в эти годы стремительно обнаруживает свою полную несостоятельность.

«Троебратство» в качестве «мистической общности» пророков «Третьего Завета» к 1912 году фактически распадается: Философов, убедившись в утопическом характере «новой религиозной общественности», отходит от идей Мережковского и обращается – под впечатлением заграничных встреч с политэмигрантами – к «общественности» традиционной, устанавливает тесные связи с «левыми» политиками и своим примером увлекает и своих друзей.

Более того, даже в качестве «общности человеческой» «троебратство» также оказывается зимой 1911/12 года «под вопросом». Эту зиму, как и предыдущую, Мережковский, Гиппиус и Философов проводили на европейском юге, в По (Франция). В конце февраля 1912 года сюда пришла телеграмма: в Петербурге находится при смерти мать Философова, известная общественная деятельница и меценатка, много в свое время помогавшая «литературным друзьям» сына в их творческих начинаниях, прежде всего, конечно, Мережковским. Между тем последних, что называется, «дела удерживают за границей», и в результате *Философов уезжает в Петербург один.*

Почему Мережковский и Гиппиус не поехали вместе с ним – не совсем понятно. Надо думать, «дела» были и в самом деле важными и неотложными. Но именно в таких случаях – даже если речь идет не о «серафической», а об обычной, человеческой дружбе, – на дела вообще-то принято, по простому говоря, «плевать». Так вел себя сам Философов в страшный для Зинаиды Гиппиус октябрь 1903 года, в дни кончины и похорон Анастасии Степановны Гиппиус. Махнув рукой на истерики Дягилева и прочих участников «мужского братства» «Мира искусства», Дмитрий Владимирович был рядом со своими друзьями. «Именно тогда почувствовалось, – вспоминала об этом времени Гиппиус, – что он уже больше нас не покинет. Д‹митрий› С‹ергеевич› этому очень радовался».

А вот Философову пришлось хоронить мать одному.

Не этот печальный эпизод «разведет» участников «троебратства»: знаменитое «трио» будет практически неразлучно еще восемь лет. Но с весны 1912 года «лирический» пафос всех деклараций о «единой душе и едином сердце» начинает в их обиходе исчезать: неприятный осадок, увы, остался в отношениях Мережковских и Философова навсегда. Какая уж тут «Церковь Третьего Завета»! Слова, как известно, должны соответствовать

делам, если не в «метафизической» (здесь-то все может быть «потаенно и таинственно»), то уж точно в бытовой сфере «клириков». В противном случае с «паствы» спрашивать нечего: *каков поп, таков и приход.*

Знаменательно, что, вернувшись в Россию в мае 1912 года, Мережковские покидают «цитадель» петербургских «неохристиан» – дом Мурузи – и перебираются в новую квартиру на Сергиевской улице, 83, прямо напротив Таврического дворца, где в те годы заседала Государственная дума. Старый круг знакомств окончательно распадается, появляется новый, преимущественно из общественных и политических деятелей, состоящих в оппозиции к правительству. Неумолимая логика истории торжествует: *Мережковский из «пророка Третьего Завета» окончательно превращается в одного из «борцов за социальную справедливость и демократию» в России.*

* * *

Полноту картины дорисовывает и «политический процесс», состоявшийся в 1912 году: «дело» о «дерзостном неуважении Верховной Власти», выказанном автором «Павла I», спустя два года, наконец, доходит до суда. На решение властей о привлечении Мережковского к уголовной ответственности повлияли, конечно, его постоянные контакты с эсеровскими эмигрантскими кругами (секрета из своих «душеспасительных» бесед с Савинковым и Фондаминским Мережковский не делал).

О грядущем процессе Мережковский узнал в марте 1912 года, пребывая в «прекрасном далеке», – и сразу заторопился в Россию. На границе багаж Мережковских был подвергнут обыску, и все бумаги, в том числе и перебеленная рукопись второй части «Александра I», были конфискованы. По прибытии в Петербург Мережковский узнал, что ордер на его арест уже выписан, а его издатель Пирожков арестован и содержится в Доме предварительного заключения. По совету влиятельных знакомых, Мережковские, предварительно выкупив Пирожкова под залог (сам погибай, товарища выручай – хоть здесь можно вздохнуть с облегчением!), сразу же пустились в обратный путь за границу и по прибытии в Париж дали телеграмму прокурору о том, что Мережковский готов явиться непосредственно на суд.

Власти, кстати, были очень довольны таким оборотом дела: подвергать заключению знаменитого писателя, рискуя вызвать этим европейский скандал, никто, конечно, не хотел. Через месяц дело было отложено до осени, и Мережковский мог теперь

вернуться в Петербург «на легальных основаниях».

Суд действительно состоялся – в сентябре и вынес Мережковскому оправдательный приговор. Вся эта история, хотя и попортила нервы нашему герою, все же, в конце концов, стала своеобразным «общественным признанием» его «революционного статуса» и «общественной значимости».

Государственный суд над Мережковским странным образом перекликается с «общественным» судом над Розановым, состоявшимся год с небольшим спустя: если в первом случае Мережковский выступал подсудимым, то во втором – одним из главных обвинителей.

12 марта 1911 года в Киеве был убит тринадцатилетний подросток Андрей Ющинский. Подозрение в совершении убийства пало на приказчика кирпичного завода Менделя Тевье Бейлиса. Процесс над Бейлисом, проходивший осенью 1913 года, приковал внимание всей России: дело было в том, что, по заключению эксперта, профессора Киевского университета И. А. Сикорского, убийство Ющинского было убийством с ритуальной целью.

Дело это – страшное и беспросветно-темное – спровоцировало целую волну возмущения в периодике: черносотенные издания начали антисемитскую кампанию, обличая «иудейских убийц христианских младенцев»; левые же радикалы прямо говорили о правительственной провокации и всячески демонстрировали симпатии к евреям как к гонимому национальному меньшинству. Очень скоро сам суд над Бейлисом как-то «отошел в сторону» (самого Бейлиса оправдали) и газетная полемика приобрела откровенно скандальный характер: «юдофобы» вступили в прямой публичный конфликт с «юдофилами».

В отличие от большинства литературных авторитетов той поры, предпочитавших держаться в стороне от этой «полемики», Розанов счел долгом вмешаться (религиозное мироощущение иудеев было его давней страстью) и поместил в целом ряде консервативных изданий несколько блестящих статей, в которых доказывал, что… евреи по самому образу жизнеобращения не могут обходиться без осязания «живой крови». Розановские «научные экскурсы» в историю иудаизма, разумеется, были восприняты в контексте происходящего как акт солидаризации с обвинителями Бейлиса.

Возник скандал, в разгаре которого Розанов поместил в ультраконсервативной «Земщине» статью «Наша кошерная печать», где обвинил «левых» русских писателей в том, что они за «немножко хлебца и немножко славцы» «продадут не только знамена свои, не только свою историю, но и определенную

конкретную кровь мальчика», а персонально – Мережковского и Философова в попытке «продать родину жидам» «вместе со своим другом Минским и своим другом Савинковым-Ропшиным в Париже».

«Это донос!» – констатировал Мережковский и поставил перед Религиозно-философским обществом ультиматум: либо оно признает его и Философова «продавшимися» – и тогда, разумеется, они должны будут уйти от руководства Обществом, либо определяет обвинения Розанова как клевету и исключает его за «антиобщественное поведение».

«Суд» над Розановым состоялся 26 января 1914 года, длился более трех часов и произвел на всех участников Общества самое тягостное впечатление. Общее настроение выразил С. А. Алексеев. Отметив, что в статьях Розанова нет призывов к погромам и насильственным действиям, а его частные взгляды на природу иудаизма никак нельзя рассматривать как «антиобщественное поведение», Алексеев заключил свою речь так:

– Господа, нам, членам Религиозно-философского общества, предлагают сказать: мы порядочны, а Василий Васильевич Розанов непорядочен. Ибо нельзя обвинять в непорядочности других, не будучи убежденным в своей порядочности.

В знак несогласия с самим фактом затеянного Мережковским «суда» из правления Общества вышли П. Б. Струве и А. Н. Чеботаревская (писательница, критик, жена Ф. К. Сологуба).

В конце концов Общество приняло «соломоново решение»: Мережковскому и Философову было «оказано доверие» как членам правления, а Розанову рекомендовалось прислушаться к мнению Совета Общества (то есть – Мережковского и Философова) относительно «гражданской предосудительности» его поступков.

Конфликт был как будто улажен (хотя Розанов немного спустя все же демонстративно, по собственной инициативе, покинул Общество). Но задумался ли Мережковский: с 1906 по 1914 год он успел зачислить в «черную сотню» и отлучить от «русской интеллигенции»… Бердяева, Струве, Гершензона, Франка, Изгоева, Блока, Розанова…

Не много ли?

* * *

Статьи, вошедшие в сборники *«Не мир, но меч. К будущей критике христианства»*, *«В тихом омуте»* (оба – 1908), *«Больная Россия»* (1910) становятся новым этапом в творчестве

Мережковского: прежняя форма философско-критического эссе здесь большей частью вытесняется открытой *публицистикой* («Цветы мещанства», «Христианские анархисты», «Реформация или революция?», «Христианство и государство» и др.). Эти статьи и по форме и по содержанию восходят к уже известному нам «Грядущему Хаму» и «Революции и религии». Один из критиков «Русской мысли», С. Лурье, оценивая эти работы, весьма остроумно заметил, что их автор *слишком* интересен читателю, *слишком* увлекателен, *слишком* виртуозно владеет «слогом», чтобы добиться успеха на новом поприще, ибо настоящим революционным публицистам, религиозным реформаторам и писателям-проповедникам, таким как Ориген, Савонарола, Томас Мюнцер, «было не до литературы»: «Ошибка Мережковского в том, что он, смешивая в последнее время цели религии и искусства, принимает видение литературное за видение пророческое и искажает таким образом перспективу собственного пути. ‹…› Вся сила Мережковского, как писателя, в его художественных переживаниях; вся слабость его – в упорном желании дать этим переживаниям философское выражение».

С другой стороны, и в «традиционных» эссе на «литературные» темы, вошедших в сборник, прежде всего – в статьях о творчестве Леонида Андреева («В обезьяньих лапах», «Сошествие в ад»), также резко усиливается злободневный публицистический и «проповеднический» аспект. «Легко понять, чего искал Мережковский в Андрееве, что он хотел и что должен был отыскать, – писал об этих статьях Н. М. Минский. – Безбожие и пессимизм Андреева – вот текст, который должен был показаться Мережковскому особенно заманчивым ‹…›…Если атеист Андреев всю „Жизнь человека“ сводит к бесцельному и болезненному верчению в колесе, под хохот уродливых старух и равнодушное молчание „некто в сером“, то отсюда вывод, казалось бы, только один: для того чтобы человек перестал быть „проклятым мясом“, а жизнь – бесцельным злом, необходимо снова уверовать в чудесное».

Минский, впрочем, резонно отмечает далее, что вопрос о том, что ближе к «истинной религиозности» – атеизм ли «отчаявшихся и глупых» героев Андреева или «неохристианство жизнерадостного и умного Мережковского», – остается открытым, а главное, открытым остается вопрос о корректности собственно критического метода Мережковского. «По существу, – пишет Минский, говоря о литературно-критических статьях Мережковского этого периода, – каждый критический этюд Мережковского является исповеданием веры и спором о вере. Но как только захочешь вступить с проповедником в спор и доказать

ему и другим ложь и обветшалость его веры, как проповедник давно исчез и перед тобой переговариваются Достоевский, Герцен, Бакунин, о. Паисий, Ставрогин – и то не подлинные, а призрачные, составленные из цитат. Для того чтобы распутать эти критические узлы, приходится совершать тройную работу. Во-первых, показать, каков *подлинный* критикуемый автор. Во-вторых, каким *представил* его Мережковский. И, в-третьих, подвергнуть критике ту религиозную идею, для проповеди которой критикуемый автор был лишь *поводом».*

«С оговорками», несмотря на несомненный читательский успех, воспринимался критикой 1910-х годов и роман *«Александр I»,* продолжавший вторую «трилогию» – «Царство Зверя» – и рассказывающий о «предыстории» декабристского бунта.

«"Александр I" Д. С. Мережковского едва ли не первый русский роман, где близкие нам по времени и по духу исторические лица изображены не в условных, цензурою дозволенных, положениях и позах, а в частном и семейном их быту, со многими тайными подробностями, недоступными до сих пор печати, – писал Б. А. Садовской. – Это обстоятельство, главным образом, и способствовало успеху романа среди читающей массы».

Однако, в отличие от «читающей массы», рецензент видел в подобной «персонификации» недопустимую «клевету» на «великие тени» русской истории: «Не считаясь с условиями историческими и бытовыми, г. Мережковский строго и пристрастно судит знаменитых наших покойников… ‹…› Гениальный Крылов изображен каким-то дурачком и шутом гороховым; Карамзину зачтено в вину крепостничество; Жуковский – придворный подхалим и т. д. ‹…› А декабристы? Опрометчиво-легкомысленный Рылеев, пошляк Бестужев, ограниченный Пестель, дикий Каховский – все они таковы, что заставляют невольно думать: конечно, декабрьский бунт не мог закончиться удачно, ежели во главе его стояли *такие* вожди».

Но в этом сознательном акценте на «человеческом, слишком человеческом» в изображении исторических персонажей был, как сейчас понятно, свой глубокий смысл. Главная тема романа – тема рокового взаимного *личного непонимания,* на которое обречены русские общественные и политические деятели, стремящиеся организовать жизнь страны на гуманных, разумных и целесообразных основаниях. Знаменательна сцена воображаемой беседы Александра I с членом Тайного общества, будущим декабристом князем Валерианом Голицыным:

«– Мне известно, Голицын, – заговорит опять

[Государь], – что вы принадлежите к Тайному Обществу, и цели оного также известны мне: ограниченье власти самодержавной, дарование конституции. Но разве вы не знаете, что это и моя цель?

Тут усмехнется кротко.

– Вы хотите быть моими врагами, но вы друзья мои, дети, исчадье, плоть и кровь моя. Без меня и вас бы не было. Я всегда думал и думаю, что свобода есть лучший дар Божий. Что же разделяет нас? Почему мы враги?

– Угодно знать правду вашему величеству?

– Правду, Голицын, одну правду.

– Государь, вы сами знать изволите, что Тайное Общество возникло только тогда, когда всякая надежда на дарование России свободы верховной властью была потеряна…

Если бы кто-нибудь заглянул в комнату, то подумал бы, что Государь лишился рассудка. Против него стояло пустое кресло, и он обращался к нему, как будто там сидел кто-то невидимый; ему казалось, что он говорил шепотом, но говорил так громко, что слышно было в соседней комнате: делал знаки руками, кивал головой, изменял голос; то улыбался, то хмурился – настоящий актер перед зеркалом».

В высшей степени характерно, что подобная «человеческая путаница», подчас «бестолковщина» в поступках и диалогах персонажей, их подчиненность страстям, меняющемуся настроению, заблуждениям и суевериям находят у автора «Александра I» полное сочувствие; напротив, торжество «логистики», голого рассудка над чувствами и эмоциями приобретают, будучи творческим историческим импульсом, зловещий характер:

«[Пестеля] влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, вывод за выводом – и остановиться он уже не мог. В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь – совершенное равенство, тождество, единообразие в живых громадах человеческих.

– Равенство всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей – такова цель устройства гражданского. Истина сия столь же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поелику из оного явствует, что все люди должны быть равны, то всякое постановление, равенству

противное, есть нестерпимое зловластие, уничтожению подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок ниже тени старого…

Математическое равенство, как бритва, брило до крови; как острый серп – колосья – срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под общий уровень.

– Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословия упраздняются; все народности от права отдельных племен отрекаются, и даже имена оных, кроме великоросского, уничтожаются…

Все резче и резче режущие взмахи бритвы. «Уничтожается», «упраздняется» – в этих словах слышался стук топора в гильотине. Но очарование логики, исполинских ледяных кристаллов с лунным огнем было подобно очарованию музыки. Жутко и сладко, как в волшебном сне – в видении мира нездешнего, Града грядущего, из драгоценных камней построенного Великим Планщиком вечности.

– Когда же все различия состояний, имущества и племен уничтожатся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, образование и управление дать всему единообразное – и все во всем равны да будут совершенным равенством, – заключил он общий план и перешел к подробностям.

Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей непорочной добродетели; свобода совести сомнительная; православная церковь объявлялась господствующей, а два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское царство на берегах Малой Азии.

Слушатели как будто просыпались от очарованного сна; сначала переглядывались молча, затем послышались насмешливые шепоты и, наконец, негодующие возгласы:

– Да это хуже Аракчеева!»

Если «мистическая интуиция» Мережковского-публициста вызывает и у нас, вслед за его современниками, большие сомнения, то *эстетическая* интуиция Мережковского-художника оказалась безупречной.

* * *

В 1914 году, в очередную «французскую весну», Мережковский вдруг, к удивлению Гиппиус и Философова, стал настаивать на возвращении в Россию раньше намеченного срока. Настроение у него упало – без всякой видимой причины. Всякая работа вызывала отвращение. Он и сам не мог объяснить причину этой внезапной «смертной» тоски: он был вполне здоров, полон сил; стояла прекрасная, столь любимая им парижская весна, вокруг было весело и беззаботно.

Но он чувствовал, что совсем близко что-то очень, очень страшное. Он найдет потом обозначение этого состояния: *«чувство Конца».*

Всю дорогу в Петербург он молчал, оживился только, когда поезд пересек границу России: «Наконец-то!»

Все летние, дачные месяцы его продолжает мучить беспричинное «томление духа», то отступая, то усиливаясь – до той поры, пока Таня Гиппиус, вдруг приехавшая в Сиверскую, не сказала с порога:

– Я за вами с Дмитрием и Димой. Война. Надо ехать в Петербург, быть всем вместе…

Мережковский всю жизнь испытывал отвращение к войне. В 1905 году, встретив случайно в Одессе искалеченных русских офицеров, возвращавшихся с Дальнего Востока, он обратил внимание Гиппиус на ненормальное выражение их лиц:

– Нормально, что они ненормальны… Война – дело нечеловеческое.

Гораздо позже он, осмысляя прошедшую мировую войну, будет возводить «мистический генезис» войн к рассказу «Книги Еноха» о падших ангелах, некогда, на заре допотопного человечества, спускавшихся к земным женщинам и учивших их – смертных – бесовскому искусству: «И входили Ангелы к дочерям человеческим и спали с ними, и учили их волшебствам: тайнам лечебных корней и злаков, звездочетству и письменам, и женским соблазнам: „подводить глаза, чернить веки, украшаться запястьями и ожерельями, драгоценными камнями и разноцветными тканями“, а также „вытравлять плод и воевать – ковать мечи и копья, щиты и брони“. **Убивать и не рождать – это главное, все сводится к этому… Блуд связан с войной, язва рождения – с язвой убийства, в один проклятый узел – культуру демонов…»** («Атлантида – Европа»).

Он один из участников «троебратства» с самого начала, с первых дней войны относится к ней с безусловным отрицанием. Его не коснется даже патриотической подъем 1914 года, увлекший Философова и задевший Гиппиус.

Дмитрий Владимирович Философов утверждал

«государственническую» точку зрения, в общем совпадающую с официальной («В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще сильнее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага» – по слову «Высочайшего Манифеста»). На этой почве он сближается с партией «конституционных демократов» (кадетов), также признававших примат национальных интересов над «общественными», и активно печатается в газете П. Н. Милюкова «Речь».

Гиппиус отнеслась к войне как к неизбежному злу, не пытаясь при этом присоединиться к какой-либо «партийной» точке зрения на нее и удерживая от этого других:

Поэты, не пишите слишком рано,
Победа еще в руке Господней.
Сегодня еще дымятся раны,
Никакие слова не нужны сегодня.

В часы неоправданного страданья
И нерешенной битвы
Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы.

(«Тише»)

Но в то же время она будет посылать на фронт в подарок кисеты, в которые – от своего имени и от горничной, и от кухарки Мережковских – будет вкладывать «патриотические стихи», призванные поддержать в солдатах «боевой дух»:

Лети, лети подарочек,
На дальнюю сторонушку,
Достанься мой подарочек,
Кому всего нужней.

Поклоны шлю я низкие
Солдатикам и унтерам,
Со всеми офицерами
(Коль ласковы до вас).

Затея эта, кстати, будет иметь огромный успех – Гиппиус и ее «товарки» получили в ответ около четырехсот (!) писем с фронта – некоторая часть из них была опубликована в специальном

сборнике «Как мы воинам писали, и что они нам отвечали» (М., 1915).

Мережковский – молчит. За всю войну – факт поразительный! – он, «специалист по христианству», всю жизнь занимавшийся «минутами роковыми» в истории человечества, не напишет ни одной сколь-нибудь весомой «злободневной» строчки – ни «pro», ни «contra» (и даже поссорится с Философовым, полагавшим обнаружение «патриотических» чувств «гражданским» долгом). С какой-то отчаянной решимостью едва ли не демонстративного толка он занимается сугубо «мирной» писательской деятельностью: работает над корректурами нового издания своего собрания сочинений (в 24 томах. М., 1914), пишет роман, посвященный событиям далекого 1825 года, создает две пьесы на вечную тему «отцов» и «детей» – малоудачные, хотя одна из них и нашла свое воплощение в постановке Александринского театра (пьеса «Романтики», посвященная истории семьи Бакуниных; у него – Кубаниных).

Война пока далеко от Петрограда (переименование столицы вызвало резкую критику со стороны Мережковских, увидевших в этом акте потакание «убогой славянщине»). Как и прежде, собирается (хотя и не так регулярно) Религиозно-философское общество (утратившее, впрочем, почти всякое общественное влияние). В гостиной Мережковских на Сергиевской по-прежнему оживленно: собираются лидеры Думы (заявившей о верноподданнической позиции), А. Ф. Керенский (с ним Мережковские познакомились еще в 1906 году, но особенно близко сошлись в первые военные месяцы), знаменитая «революционная просветительница», лидер партии кадетов Екатерина Кускова, Горький с М. Ф. Андреевой, часто бывает Карташев (ставший правоверным «славянофилом»), приходят «толстовцы» (в частности, – знаменитый друг и биограф Толстого Чертков), вновь появляется Блок (в военной форме: табельщик 13-й инженерно-строительной дружины), актеры, молодые поэты (кроме футуристов – их Гиппиус не пускала, боялась, что «чего-нибудь стащат»), однодневные «литературные знаменитости»… кого только нет!.. Но с гостями занимаются Гиппиус и Философов: Мережковский часами молчит, как-то рассеянно смотрит в окно.

За столом Андреева спорит с Блоком:

– Неужели вы не знаете положения… Правительство… Цензура не позволяет… Погромные настроения… Честные элементы…

Блок (в военной форме) с совершенно спокойным, «каменным» лицом монотонно повторяет:

– А так и надо. Так и надо.

За окном, мимо решетки Таврического сада шли войска – бесконечным, серым потоком, эшелон за эшелоном, и в квартире Мережковских была слышна из раза в раз повторяющаяся песня:

Прощайте, родные,
Прощайте, семья,
Прощай, дорогая
Невеста моя…

А Мережковскому чудилось:

Прощай, дорогая
Россия моя…

Приходили страшные известия: о разгроме армии Самсонова, о немецкой оккупации польских территорий, об измене «в верхах», об отставке главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича… В ноябре 1916 года сквозь эту *политику* пробилась дикая весть о смерти бывшего казанского архимандрита Михаила, того самого, что некогда, в незапамятные времена Религиозно-философских собраний, так спорил с Мережковским, а потом вдруг принял его сторону. Не вынеся военных известий, Михаил сошел с ума, бродил в рубище по Москве, призывая христиан «взойти на Голгофу»; пьяные ломовые извозчики избили его, сломали ребра – и он умер в горячке, прикрученный (со сломанными ребрами) к стальной койке больницы для бедных…

В верхах чудил «старец» – Распутин; начиналась знаменитая «министерская чехарда», завершившаяся утверждением на посту премьер-министра полоумного (в прямом смысле слова – его каждый год на несколько месяцев помещали в психиатрическую клинику «на профилактику») А. Д. Протопопова. Читая протокол встречи новоиспеченного премьера с депутатами Думы, Мережковский вдруг истерически засмеялся:

– Чепуха какая! Да это вы нарочно! Кто это выдумал?

– Не «выдумал», Дмитрий Сергеевич. Это официальная стенограмма…

А потом по всему городу ходили фантастические слухи о зверском умерщвлении «старца» монархистами в Юсуповском дворце во время попойки (на ухо называли имя одного из великих князей). Ошеломленные газеты, не смея нарушить строгости военной цензуры, писали уклончиво: «Одно лицо было у другого

лица с несколькими лицами. Первое лицо после этого исчезло. Одно из других лиц заявило, что первое лицо у второго лица не было, хотя известно, что второе лицо приехало за первым лицом поздно ночью…» До Мережковских, впрочем, все эти петербургские ужасы доходили с запозданием: зиму 1916/17 года они, за неимением возможности добраться до Парижа, коротали в Кисловодске.

22 февраля 1917 года, месяц спустя после возвращения из Кисловодска в Петербург, Гиппиус записывает у себя в дневнике: «Опять *штиль*».

Между тем это был последний день императорской России.

* * *

Дальнейшее описано многократно: городские волнения, отказ Думы выполнить приказ о роспуске, стихийное создание Совета рабочих депутатов, отречение Государя, формирование Временного правительства и «двоевластие», июльские выступления большевиков, попытка Керенского консолидировать власть, выступление главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова и, наконец, октябрьский переворот.

Но нам важно то, что, по выражению З. Н. Гиппиус, всю эту великую российскую «трагедию власти» Мережковские видели «из своего окна». «…Из окна, – как писала Гиппиус, завершая дневниковые записи 1917 года, – откуда виден купол Таврического дворца (там, как известно, заседала Государственная дума. – *Ю. З.)*. Из окна квартиры, где весной жили недавние господа положения; в двери которой «стучались» (и фактически даже) все недавние «деятели» правительства; откуда в августе Савинков ездил провожать Корнилова и… порог которой не переступала ни распутин-скопуришкевичевская, ни, главное, комиссаро-большевицкая нога».

По «Петербургским дневникам» Гиппиус можно достаточно подробно представить состояние Мережковских в эти фантастические месяцы. Сначала – недоумение, неверие в серьезность происходящего (как выразился зашедший к ним Карташев, созерцая из окна идущие к Думе колонны, – «Балет!»). Потом – недолгая эйфория от победы нежданной, свершившейся как по волшебству революции. 1 марта они, в солнечную снежную метель, опьяневшие от счастья, бродят по городу:

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.

Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми
Наш гордый, наш мартовский мак!

Затем наступают напряженные дни формирования Временного правительства – и настроение у Мережковских начинает резко меняться: становится ясно, что депутаты Думы (в большинстве своем их знакомые) не готовы к активной политической роли, пасуют перед слепой «революционностью» толпы, на которую опирается противостоящий Думе Совет рабочих и солдатских депутатов. Некоторое время все их надежды связаны с Керенским, который лихорадочно пытался создать дееспособную коалиционную правительственную группу (сам он единственный из членов Временного правительства был и членом Совета).

Керенский был в эти дни у них один раз 14 марта («инкогнито», как выразился сам Александр Федорович) и произвел самое благоприятное впечатление. Однако уже через десять дней, 25 марта, Мережковский, вызванный по требованию Керенского в министерство для беседы о «военной декларации Временного правительства» (вопрос о возможности продолжения войны и ее целях был тогда ключевым), вернулся совершенно растерянным. По его словам, он застал Керенского в полном смятении, «умом за разумом», – тот жаловался на давление «кучки фанатиков» из Совета, требовавшей сепаратного мира с Германией и выхода России из Антанты, плохо понимал собеседника и производил впечатление деморализованного человека.

– Я его пугал Лениным, ведь он на носу, – говорил Мережковский. – Приедет, повернет Совет, куда захочет, вот тогда вы, правительство, запоете! А Керенский только уверял меня, что и сам Ленина боится… Бегал без толку из угла в угол по комнате… Нелепость какая-то!

С этого момента Мережковский начал бесконечно повторять:

– Увидите: нашу судьбу будет решать Ленин! Ленин решит нашу судьбу!

Гиппиус это надоело: она прозвала Мережковского «Кассандрушкой» и сравнивала его «ленинский кошмар» с таинственным тургеневским «Тришкой», которого никто не видел,

но все боялись.

А по приезде «Ильича» в немецком запломбированном вагоне, после исторической речи с броневика перед Финляндским вокзалом («Да здравствует социалистическая революция!»), Гиппиус сказала: «Ну, вот и приехал, наконец, этот Тришка-Ленин!»

Мережковский только пожал плечами.

8 апреля Мережковские и Философов, как обычно, уезжают из Петрограда на юг – в Кисловодск; вернулись же – только 8 августа.

Здесь уместно вспомнить, что иногда Мережковского пытаются представить чуть ли не «тайным советником» Керенского (а вместе с ним и…) в 1917 году, ссылаясь обычно на связи Мережковских и Философова с русским «политическим масонством» в 1915–1916 годах. Связи такие действительно были – и не только с Керенским, но и с П. М. Макаровым, А. А. Демичевым, А. Я. Гальпериным, также входившими в аппарат Временного правительства (Гальперин даже утверждал, что Мережковские были приняты в «специально созданную для них ложу»; насколько это соответствует действительности – трудно судить, ибо масонский «мистический рационализм», трактовка Библии с «аллегорических» позиций и отрицание христианского догмата Троичности плохо вяжутся с убеждениями Дмитрия Сергеевича). *Однако отсутствие Мережковских в Петрограде в самые «горячие» для Временного правительства дни наглядно доказывает, что никакой особой (ни явной, ни «тайной») роли в происходящем они не играли.*

* * *

Августовский Петроград 1917 года поразил Мережковских: страшный, грязный, заваленный подсолнечной шелухой, с бандами полусолдат, полудезертиров, шатающихся по главным улицам.

Мережковских встречал Борис Савинков, приехавший вместе с Фондаминским «делать революцию» в самый день отбытия тех в Кисловодск (они разминулись буквально на несколько часов). За прошедшие несколько месяцев Савинков успел побывать комиссаром 7-й армии Юго-Западного фронта, блестяще себя зарекомендовать, организовав среди всеобщего развала и анархии боеспособные части, стал затем товарищем военного министра (этот пост совмещал с премьерством сам Керенский). Сейчас Савинков фактически возглавлял военное министерство России.

Савинков (во френче, при портупее, в сапогах) мерил тяжелыми шагами гостиную Мережковских, спокойно и твердо рассказывал:

– Положение очень тяжелое. Немцы наступают. У нас ожидаются территориальные потери: на севере – Рига и далее до Нарвы, на юге – Молдавия и Бессарабия. Внутренний развал экономический и политический – полный. Дорога каждая минута, ибо эти минуты – предпоследние. Необходимо ввести военное положение по всей России. Милитаризировать железные дороги. Ввести смертную казнь за военные преступления, за дезертирство. Иначе – всему конец. Послезавтра должен приехать из Ставки главнокомандующий – генерал Корнилов. Необходима твердая власть. Триумвират – Керенский, Корнилов и ваш покорный слуга.

Савинков слегка поклонился.

– Корнилов – это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии… А Керенский…

Савинков помолчал.

– Для Корнилова главное – Россия. Для Керенского – свобода, Россия второе. А для меня и Россия, и свобода сливаются в одно. Нет первого и второго места. Неразделимы. Сейчас одно – молитва за Россию.

Мережковский и Гиппиус с удивлением смотрели на Бориса Викторовича. Ни истерии, ни всегдашнего раздражающего апломба не было – как будто бы громадное честолюбие Савинкова разом исчезло, рассеялось без следа. Видно было, что он говорит совершенную правду, без малейшей рисовки и лукавства.

– Вы знаете, я всей душой с Керенским… Но… Керенский сейчас очень изменился… Неузнаваем… Он, как Шаляпин, опьянел «от успеха»… Живет в Зимнем дворце, завел придворные порядки, вполне *parvenu.* Он не видит людей (положим, и раньше не видел, а теперь совсем ослеп).

Савинков опять помолчал и снова повторил:

– Сейчас одно – молитва за Россию.

Были и еще визиты – один фантастичнее другого. Пришел Антон Владимирович Карташев, который в январе был простым преподавателем Высших женских курсов, в марте – товарищем обер-прокурора Синода, в июле, в течение двенадцати дней – обер-прокурором (по иронии судьбы Антон Владимирович стал последним обер-прокурором в истории России!), а теперь, по упразднению обер-прокурорского поста, – министром исповеданий Временного правительства. Сейчас он готовился отбыть в Москву, где 15 августа торжественно открывался Всероссийский поместный собор.

Карташев был полон оптимизма.

– Быть может, все деяния Временного правительства развеются как дым, но наше должно остаться, – горячо убеждал он собеседников. – С нашей помощью Церковь вернула себе право самоуправления, которое по каноническим нормам у нее должно быть. Мы упразднили власть обер-прокурора – это был символ тяжкой зависимости Церкви от государства. Нынешний Собор – первый с петровских времен самостоятельный и полномочный орган церковного законодательства. Теперь будет избран Патриарх.

– А все-таки безотрадно, – подытожила Гиппиус впечатление, когда Карташев ушел. – Было бы лучше, если бы на его месте был искренний, простой церковник, прямой и дельный… А Карташев, при всех его талантах и познаниях, – постоянное затмение со всех сторон, самоизничтожение…

Гнетущее впечатление произвела встреча с Фондаминским, членом эсеровского Центрального комитета (к партии «социалистов-революционеров» принадлежал, напомним, и Керенский).

– Дорвались до власти, никто не думает о России, все – только о том, как бы захватить больше мест в будущем Учредительном собрании. А кто вошел в керенское «правительство»! Чернов – бесчестный негодяй, мы за границей ему руки не подавали… Масловский – форменный провокатор… И я знаю…

Фондаминский понизил голос и словно попытался оглянуться:

– Многие наши – немецкие агенты, получающие большие деньги. Они попробовали нажать на Бориса, требовали, чтобы он «отчитался перед партией», – так он им прямо сказал: «Я не могу по моему фактическому положению военного министра России объясняться с откровенностью перед людьми, среди которых есть подозреваемые в сношениях с врагом!»

Да, Савинков был действительно великолепен в эти дни! Но Мережковский не мог не спросить Фондаминского – как же он сам может оставаться в составе такого ЦК?

– А что я?! – развел руками Фондаминский. – Я молчу… Меня тянет уйти… Но вот Плеханов откололся, ушел из партии. Чистка ее невозможна, кому чистить, когда все такие? Чернов негодяй, но он может тринадцать речей за один день произнести! Я сижу теперь рядом с ним в Центральном комитете…

– К чему, к чему? – почти закричал на гостя Мережковский. – Это же бред, бред, бред! Или и мы в бреду, Зина?

Но самый неожиданный и дикий из визитов этого рокового

августа состоялся 23-го числа в отсутствие Мережковского и Зинаиды Николаевны (они на несколько дней уехали на дачу, проведать сестер Гиппиус). В квартире был только один Философов. В полдень вдруг раздался звонок.

– Кто это? – спросил Философов.

– Министр, – раздалось из-за двери.

Философов открыл и – остолбенел. На пороге стоял… «шоффэр» (как тогда называли профессиональных автомобилистов) в полном обмундировании: кожаная куртка, очки, гетры, картуз. «Шоффэр» поднял очки с глаз на лоб:

– Не узнали? Я к вам на одну минуту, – и шагнул в двери (Философов ошеломленно попятился).

Это был… Керенский.

Не обращая внимания на Философова, он широко пошагал прямо в гостиную. Философов поторопился следом, растерянно бормоча: «Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу…»

Керенский, казалось, не замечал ничего вокруг. Он прогуливался по гостиной и, с любезной улыбкой глядя куда-то за спину Философову, излагал свое видение политической ситуации в России.

– Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех и других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают… Ну что я могу сделать, когда мне навязали Чернова? Чернов – мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из горьковской «Новой жизни», а о рабочих массах. Они обвиняют меня в том, что немцы разгромили нас под Ригой. Они говорят: мы же требовали не начинать наступления, мы требовали мира с немцами…

– Так принимайте же меры, громите их! – не выдержал Философов. – Помните: вы же всенародный президент республики. Вы над партиями, вы избранник демократии, а не социалистических партий! Властвуйте же, наконец! Как президент – вы, вы сами должны составлять себе министерство!!!

– А? – словно очнулся Керенский, внимательно посмотрев на разгоряченного Философова.

– Не бойтесь, Александр Федорович, – мягко сказал Философов. – Даже для толпы сейчас вы – символ свободы и власти.

– Да, трудно, трудно… – невпопад задумчиво произнес Керенский, а затем горячо пожал Философову руку: – Ну, прощайте… Не забудьте поблагодарить Дмитрия Сергеевича и

Зинаиду Николаевну…

И ушел так же стремительно, как и пришел.

– Он страшно изменился, изменился физически, – рассказывал потом вернувшимся Мережковским Философов под впечатлением от беседы с Керенским. – Перемена в лице громадная. Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я старался его подбодрить…

– Морфомания? – спросил Мережковский. Философов испуганно посмотрел на него.

* * *

Через неделю все было кончено. Корнилов, потеряв терпение, потребовал от Керенского решительных действий и послал в Петербург войска: то ли для поддержки Керенского, то ли для его свержения. Керенский подумал последнее и объявил главнокомандующего мятежником (интересно, что арестованный князь Львов, который привез Керенскому информацию из Ставки, потом рассказывал, что целую ночь, ожидая в дворцовых покоях конвоиров, он слышал, как Керенский за стеной… пел арии из итальянских опер). Савинков подал в отставку. Керенский, принимая отставку, истерически обнимал Савинкова, лез целоваться и уверял, что «вполне ему доверяет».

– Но я-то вам больше уже ни в чем не доверяю, – сухо отвечал Борис Викторович и, отстранив чуть не плачущего премьера, вышел из кабинета.

Дорога к власти для большевиков и левых эсеров была открыта.

В ночь с 25 на 26 октября Мережковский, Гиппиус и Философов, стоя на балконе, на промозглом ветру мучительно вглядывались в сполохи выстрелов и взрывов в стороне Зимнего дворца. Поздно ночью все стихло.

Керенский еще прошлым утром бежал из Петербурга. Савинков в ту же ночь пытался собрать верные части гарнизона, чтобы очистить дворец от красногвардейцев внезапным ударом.

Не смог.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

После Октября. – Мережковский и Горький. – Все «вверх дном»: Анна Вырубова и Александр Блок. – Мережковские и Брюсов. – «14 декабря». – Церковь в 1917–1919 годах и конец «теократической утопии» Мережковского. – Годы военного коммунизма. – Побег из Советской России. – Польша, 1920 год. – Разрыв с Савинковым и Философовым. – Конец «троебратства». – Политическая борьба в Париже в начале 1920-х годов и крах «Союза непримиримых»

9 ноября 1917 года, спустя две недели после большевистского переворота, Зинаида Гиппиус написала свое самое знаменитое стихотворение:

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь! Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам. Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.
Столпы, радетели, воители
Давно в бегах. И только вьются согласители
В своих Цеках.
Мы стали псами подзаборными,
Не уползти! Уж разобрал руками черными
Викжель – пути…

(«Сейчас»)

Все было так. В городе шепотом передавались слухи о кошмарах, сопровождавших взятие дворца (его защищали юнкера и «женский батальон»), о дикой оргии, которую устроили победители-красногвардейцы, когда дорвались до царских винных погребов (несколько человек утонули в струях вина, хлеставших из разбитых бочек, в Неву текла целая винная река). Министры Временного правительства сидели в Петропавловской крепости. Закрывались газеты, большинство политических лидеров Февральской революции ушли в подполье. Вожди Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного транспорта (Викжель) угрожали всеобщей транспортной забастовкой. В городе свирепствовали грабежи, все вокзалы были забиты бегущими с фронта после «Декрета о мире» дезертирами. Петроград был похож на Рим, захваченный варварами.

«В Петербурге давно уже все фабрики встали, – отмечал в записной книжке Мережковский, – трубы не дымят. Небо над умирающим городом – ясное, бледно-зеленое, как над горными вершинами. На улицах снег – девственно белый, как в поле. Все лавки закрыты; прохожих мало; езды почти никакой – только редкие автомобили с комиссарами, да грузовики с красноармейцами. Посредине улицы – лошадиная падаль с обнаженными ребрами; собаки рвут клочья кровавого мяса. На мохнатых лошаденках едут башкиры, желтолицые, косоглазые; поют дикую, заунывную песнь, ту же, что пели в солончаковых степях Средней Азии».

Одна за другой умирали надежды хоть на какой-либо «благополучный исход». Из Москвы доходили слухи о кошмарном – с пушками и расстрелом Кремля – подавлении восстания юнкеров. В декабре были объявлены долгожданные выборы в Учредительное собрание, но было очевидно, что захватившие власть большевики не допустят нормальной работы этого форума.

«Любит, не любит, плюнет, поцелует… Так мы гадаем об Учредительном собрании. Захотят большевики – оно будет, не захотят – не будет», – писал в эти дни Философов. Как в воду смотрел: 5 января 1918 года Учредительное собрание открылось, но… проработало один день: «революционные матросы» по приказанию Ленина разогнали депутатов и расстреляли рабочую демонстрацию в их поддержку. Иногда доходили слухи о движении к Петрограду каких-то войск: то немецких, то союзнических, то частей сформированной бежавшим из-под ареста Корниловым Белой гвардии, однако слухи эти так и оставались слухами.

* * *

В первые недели после переворота все трое, не считаясь с опасностью, хлопотали за арестованных «министров». Ходили к Горькому.

С **Максимом Горьким** Мережковский и Гиппиус познакомились еще в незапамятные времена «Северного вестника», где молодой нижегородский журналист Алексей Максимович Пешков опубликовал под этим странным псевдонимом в 1897 году рассказ «Мальва». Успех публикации был велик. Вся читающая Россия повторяла фразу, открывающую рассказ: «Море смеялось». Впрочем, «Максима Горького» столичные читатели заметили еще в 1894–1895 годах, после выхода рассказов «Челкаш» – в «Русском богатстве» и «Супругов Орловых» – в «Русской мысли». Аким Волынский, привечая перспективного сотрудника, дал в честь Горького банкет. Мережковские, посидев немного, сочли за благо покинуть торжество – здравицы показались им несколько пошловатыми. Однако уже в вестибюле они вдруг наткнулись на разгоряченного, красного от счастья и стыда «виновника торжества», кинувшегося их провожать.

– Скажите, – выдохнул Горький, – неужели же я… такой талантливый?

Вышло наивно и искренно. Мережковский от души улыбнулся; на том и разошлись.

После, когда Горький уже приобрел не только всероссийскую, но и мировую известность, в «Новом пути» появлялись весьма резкие статьи, диссонирующие с хором, возносящим хвалу «певцу босяков». В 1907 году Философов даже «специализировался» на «отпевании Горького», посылая из Парижа в отечественные журналы разгромные статьи, констатирующие «смерть» горьковского таланта. Однако в годы полемики «богостроителей» с «богоискателями», после выхода горьковских «Исповеди», «Жизни ненужного человека» и особенно после появления «Детства», отношение к «оппоненту» у участников «троебратства» изменилось: «конец Горького» был отменен, а Мережковский даже написал одну из лучших в «горьковской» критике статей *«Не святая Русь»* (1916).

«Несколько лет назад предсказывали „конец Горького“, – писал Мережковский. – В предсказании была правда и ложь. Как пророк „сверхчеловеческого босячества“ Горький, действительно, кончился. Но кончился один Горький – начался другой. ‹…› Чужое лицо истлело на нем – пышная маска „сверхчеловека“, „избранного“, „единственного“, – и обнажилось свое, простое

лицо, лицо всех, лицо всенародное. ‹…› А что… нет для Горького иных путей к народной стихии, как через сознание религиозное, – видно по его последней книге – „Детству“. Не только в смысле художественном это – одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная?), но и в смысле религиозном – одна из самых значительных. *На вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» Горького отвечает, как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского».*

Мережковский вообще благоволил к Горькому в эти годы более всех из «трио», вступая даже в полемику с Гиппиус и Философовым, настаивавших на «антихудожественном» характере горьковского творчества. «В произведениях Горького нет искусства, – признавал Мережковский в „исследовании“ *«Чехов и Горький»* (1906), – *но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем самое высокое искусство: жизнь,* правдивейший подлинник жизни, кусок, вырванный из жизни с телом и кровью… И, как во всем очень живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота. Безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни обаятельная».

В предреволюционные годы они встречались нередко: Горький и Мария Федоровна Андреева были даже «вхожи» к Мережковским, однако деятельность Горького после Февральской революции (он организовывал «левый» эстетический комитет и пробольшевистскую (тогда) газету «Новая жизнь») Мережковский явно не одобрил.

– Расстреливать надо за такой «эстетизм», – говорил он в сердцах.

Сейчас же, в ноябре 1917 года, Горький был одним из немногих среди знакомых Мережковского, кто мог помочь заключенным Петропавловки.

Вид Горького испугал: почерневший, с ввалившимися глазами. Он выслушал Мережковского, немного помолчал и глухо, точно пролаял, выпалил:

– Я… органически… не могу… говорить с этими… мерзавцами. С Лениным и Троцким.

– Вам надо тогда совсем уйти из этой компании, – сказала Гиппиус.

– А если… уйти… с кем быть?

– Да с Россией, с Россией! – почти закричал Мережковский и потом тихо добавил: – Алексей Максимович, если нечего есть, – есть ли все-таки человеческое мясо?

Горький промолчал.

Он будет и ходить, и хлопотать («министров-капиталистов» из Петропавловки выпустят). В петроградском кошмаре военного коммунизма он приложит все силы, чтобы предотвратить голодную смерть писателей и ученых. По инициативе Горького будут созданы Комиссия по улучшению быта ученых и издательство «Всемирная литература» – единственные для голодающей интеллигенции источники для получения пайков. Его газета «Новая жизнь» в 1918 году окажется едва ли не единственным «внутренним» российским изданием, публикующим из номера в номер правду о «социалистическом рае».

Но… совсем «уйти из этой компании» он не мог, хотя бы потому, что свою *личную* ответственность за происходящее Горький ощущал гораздо острее, чем Мережковский. В русской революции он участвовал не «декларативно», а действенно и начиная с 1905 года открыто был на стороне радикальных социал-демократов. Во время Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905-м в квартире Горького и М. Ф. Андреевой был один из штабов восставших. В 1906 году Горький был эмиссаром Ленина в США, осуществляя сбор средств на партийные нужды (то есть на революцию), а в 1907-м – присутствовал с правом совещательного голоса на V съезде РСДРП. В 1908 году у Горького на Капри, где он жил в «первой эмиграции» (с 1906 по 1913 год), Ленин и «богостроители» вели полемику, определяя идеологию социал-демократического движения, а в 1909 году Горький, А. А. Богданов и А. В. Луначарский организовали в Италии партийную школу для русских рабочих.

Горький видел в русской социал-демократии *силу, способную осуществить экономическое и культурное переустройство страны, в целесообразности которого он не сомневался никогда.* «У нас, русских, две души, – писал Горький в 1915 году, – одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя ‹…› а рядом с этой бессильной душою живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите от ядов, привитых ей, отравляющих ее силы. ‹…› Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма – он постыден для молодой нации. ‹…› Натуры действенные, активные обращают свое внимание главным образом в сторону положительных явлений, на те ростки доброго, которые, развиваясь при помощи нашей воли, должны будут изменить к лучшему нашу трудную, обидную жизнь».

В революционном движении на стороне большевиков, по

мнению Горького, участвовали те самые «активные натуры», которые являлись носителями «положительного» начала русской жизни, а *главная его претензия к «мерзавцам Ленину и Троцкому» заключалась в том, что их выступление в октябре 1917 года он считал преждевременным:* «Когда в ‹19›17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои „тезисы“,[22] я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, истории русского народа».

Таким образом, Мережковский и Горький, равно видя в событиях октября 1917 года историческую трагедию, говорили на разных языках. Для Мережковского социализм Ленина и Троцкого являлся абсолютно негативной величиной, а его торжество – началом «царства Антихриста» в России. Для Горького же программа новой власти *«в идее»* оказывалась величиной сугубо положительной, а весь негатив шел от авантюризма вождей социал-демократов, решивших использовать удобный момент для захвата власти, не считаясь с последствиями такого захвата в тогдашней российской «расстановке сил».

Подобное *качественное* различие в оценке «октябрьских событий» объективно делало Мережковского и Горького идейными врагами. И никакие «частные» гуманные акции Горького в эпоху военного коммунизма не могли компенсировать в глазах Мережковского и его друзей то «сущностное зло», которое, по их мнению, было содержанием «миссии Горького» в истории послереволюционной России. Отсюда и крайне пристрастное, несправедливое отношение к личности и творчеству Горького во всех письменных и устных высказываниях Мережковского и Гиппиус после 1917 года. Любые упреки в «клевете» и «необъективности» здесь представляются неуместными. «Горький – не друг, а враг, злейший враг русского народа», – писал Мережковский Г. Гауптману в 1921 году.

А если враг не сдается – его уничтожают.

* * *

Поначалу Мережковские еще пробовали как-то сопротивляться.

Мережковский выступал с «разоблачительными» лекциями и

публиковал антибольшевистские статьи. Гиппиус редактировала Илье Исидоровичу Фондаминскому (находившемуся в городе на полулегальном положении) эсеровский «манифест», который предполагалось зачитать на сессии Учредительного собрания.

– Учредительное собрание и большевики ни минуты не могут сосуществовать, – говорила она Илье Исидоровичу. – Или «вся власть Учредительному собранию», и падают большевики, или «вся власть Советам», и тогда падает Учредительное собрание.

Фондаминский соглашался.

Как уже говорилось, «упало» – Учредительное собрание. «Я, кажется, замолчу навек, – констатировала Гиппиус. – От стыда. Трудно привыкнуть, трудно терпеть этот стыд» —

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание, —
Учредительное Собрание, —
Что мы с ним сделали?…

(«У. С»)

Новые «хозяева жизни» не принимали те «правила игры», к которым привыкла дореволюционная интеллигенция. На литературном вечере, посвященном пророчествам Достоевского о русской революции, устроенном Мережковскими, после первого же доклада к столу президиума подошел комиссар в кожанке.

– Прошу немедленно сообщить адрес этого Достоевского! – жестко потребовал он, играя желваками.

– Тихвинское кладбище, – ответил докладчик.

– Тогда прошу заседание считать закрытым, – хладнокровно парировал представитель власти.

Были случаи и похуже. Так, во время чтения на пасхальном вечере 1918 года старого стихотворения Мережковского «"Христос Воскрес!" – поют во храме…» сидящий в зале красногвардеец из пистолета выстрелил в декламатора.

Жизнь для «троебратства» становилась вовсе беспросветной:

Мысли капают, капают скупо,
Нет никаких людей…
Но не страшно. И только скука,
Что кругом – все рыла тлей.

(З. Н. Гиппиус «Тли». 28–29 октября 1917)

«Мы живем здесь сами по себе. Случайно живы. Голод полный», – записывает Гиппиус в дневнике 17 марта 1918 года. До этого Мережковские успели распродать все, что могли, – мебель, посуду, книги, наконец – стали продавать одежду. Денег хватало на «подвижнический», по выражению Мережковского, «рацион» – хлеб, кислую капусту, картошку.

Перед лицом надвигающейся общей гибели теряли смысл все прежние политические раздоры. В конце 1918 года к Мережковским стала захаживать в гости… бывшая подруга императрицы и самая активная «распутинка» Анна Вырубова. Слушая ее рассказы о жизни царской семьи, Гиппиус думала: «Все, что она могла сделать страшного и непоправимого, она уже сделала. Вернее – оно уже сделалось, прошло через нее, кончилось. Теперь она – пустота в пустоте…» Ранее, когда летом пришло известие о расстреле в Екатеринбурге царской семьи, Гиппиус помечает в записях: «…Отвратительное уродство этого – непереносимо. Нет, никогда мир не видел революции лакеев и жуликов. Пусть посмотрит…»

Все становилось «вверх дном». Прежние враги переставали быть врагами, а друзья вдруг оказывались в стане нынешних врагов.

В январе 1918 года Гиппиус составляла в «Дневнике» «поминальный синодик» бывших «знакомцев», оказавшихся теперь «по другую сторону баррикад»:

> «‹…›
>
> 2. Александр Блок – поэт, «потерянное дитя», внеобщественник, скорее примыкал, сочувствием, к правым (во время царя), убежденнейший антисемит. Теперь с большевиками через левоэсеров.
>
> ‹…›
>
> 6. Анд. Белый (Б. Бугаев) – замечательный человек, но тоже «потерянное дитя», тоже через лев. эсеров, не на «службе» лишь потому, что, благодаря своей гениальности, не способен вообще быть на службе.
>
> ‹…›
>
> 12. Ник. Клюев
>
> 13. Сергей Есенин
>
> Два поэта «из народа», 1-й старше, друг Блока, какой-то сектант, 2-й молодой парень, глупый, оба не без дарования.
>
> 14. Чуковский, Корней – литер. критик, довольно даровитый, но не серьезный, вечно невзрослый, он не

«пот‹ерянное› дитя», скорее из породы «милых, но погибших созданий», в сущности невинный, никаких убеждений органически иметь не может. ‹…›

17. Алекс. Бенуа – изв. художник, из необщественников. С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден.

‹…›

22. Вс. Мейерхольд – режиссер-"новатор". Служил в Императорских Театрах, у Суворина. Во время войны работал в лазаретах. После революции (по слухам) записался в анархисты. Потом, в августе, опять бывал у нас, собирался работать в газете Савинкова. Совсем недавно в союзе писателей громче всех кричал против большевиков. Теперь председательствует на заседаниях театральных с большевиками. Надрывается от усердия к большевикам. Этот, кажется, особенная дрянь.

‹…›

Господи! Хоть бы шведы нас взяли! Хоть бы немцы прикончили! О, если б проснуться!»

В этом «синодике» самым «больным» для Мережковских было, конечно, имя Блока. Его поэма «Двенадцать», появившаяся тогда же, в начале 1918 года, повергла бывшее «троебратство» в состояние шока:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондов у ю,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

Ужаснее всего для них, понимающих толк в силе слова, была несомненная гениальность блоковской поэмы. Любые «политические» инвективы против этой *эстетической подлинности* текста были бессильны. Большевики, ценившие силу художественного воздействия не меньше Мережковских, сразу же взяли текст «Двенадцати» «на вооружение», и теперь, выходя на

прогулку, Мережковский и Гиппиус могли любоваться на кумачовый лозунг, вывешенный напротив их дома на Сергиевской:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Оставалось только тихо злиться. Так, когда Гиппиус услышала, что Блока «уплотнили», подселив в его квартиру «революционного матроса», она в восторге воскликнула:

– Лучше было бы – *двенадцать!..*

Мережковские никогда не смогли простить Блоку его поэмы, потому, вероятно, что никогда не могли заставить себя его «разлюбить». Даже спустя четыре года, когда Блока уже не было в живых, а Мережковские давно покинули пределы России, Гиппиус в некрологической статье о нем не смогла удержаться от горестного восклицания: «Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. Немножко от боли не хотелось». По литературным кругам ходила история о знаменитом ответе ее Блоку при случайной встрече.

– Подадите ли вы мне теперь руку, Зинаида Николаевна?

– Общественно – нет, никогда… Но лично – да.

В августе 1921 года Блок умрет от истощения и психического расстройства.

* * *

Зато нисколько не удивила Мережковских «послеоктябрьская» позиция другого их давнего знакомца – **Валерия Яковлевича Брюсова.** Тот, в отличие от Блока с его стихийными, «невыразимыми» движениями души, вполне сознательно избрал путь сотрудничества с большевиками.

С творчеством Брюсова Мережковские впервые познакомились в 1895 году, когда в редакцию «Северного вестника» из Москвы пришла книга стихов «Chefs-d'Oeuvre». «Шедевры» были, по словам Гиппиус, «несомненным декадентством», уже никого в то время в Петербурге не удивляющим, – нарочитые «дерзания» с сознательной целью эпатировать консервативную читательскую аудиторию:

Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться, —

Играть, блуждать в венках из орхидей,
Тела сплетать, как пара жадных змей!
День проскользнет. Глаза твои смежатся.
То будет смерть. – И саваном лиан
Я обовью твой неподвижный стан.

(В. Я. Брюсов «Предчувствие»)

Однако Гиппиус заинтересовалась автором: за всей этой модернистской экзотической бутафорией она почувствовала некую подлинную лирическую энергию и «изобразительное» мастерство:

Прокаженный молился. Дорога
Извивалась по сдвинутым скалам;
Недалеко чернела берлога;
Были тучи стремительны; строго
Ветер выл по кустам одичалым.

(В. Я. Брюсов «Прокаженный»)

Гиппиус вспоминает, что скептически настроенные «редакционные критики» (Мережковский и Минский) были удивлены ее настойчивым уверениям, что автор «Chefs-d'Oeuvre» – «явно не без таланта». Поскольку имени Брюсова никто не знал, поначалу решили, что «Шедевры» подписаны псевдонимом – от «предсказаний Брюса» в календаре Гатцука,[23] но вскоре выяснилось, что это – подлинное лицо, «очень молодой москвич из среднего купечества, и, кажется, в Москве им интересуются».

Личное знакомство Мережковских с Брюсовым произошло во время визита последнего в Петербург 8 декабря 1898 года. «Скромный, приятный, вежливый юноша, – передает Гиппиус свои впечатления. – Молодость его, впрочем, в глаза не бросалась – у него и тогда была небольшая черная бородка. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка. И еще тоньше, еще гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя – во всяком случае интересное лицо, живые глаза. Только если долго всматриваться, объективно отвлекшись мыслью, – внезапно поразит вас его сходство с шимпанзе».

No comment.

Впрочем, и брюсовское впечатление от Мережковских было…

странным. Брюсов хорошо помнил, какое ошеломляющее, «судьбоносное» значение для его творческого развития имели статьи Мережковского 1880-х – начала 1890-х годов и поэма «Вера». Тем не менее полностью принять идеализм Мережковского, особенно в личном общении, Брюсову, с его «купеческим» здравым московским прагматизмом, было невмоготу.

Помимо того, Брюсов опять-таки в силу своей «купеческой наследственности» был человеком *дела.* Любые «декларации» интересовали его лишь постольку, поскольку они могли быть каким-то понятным для него образом реализованы на практике. «Глобализм» же установок Мережковского оставлял Брюсова равнодушным, ибо ни «трансформации» человечества в новый вид, ни возникновение «Церкви Духа» в горниле революционных потрясений Валерий Яковлевич представить себе как реальную перспективу ближайшего будущего никак не мог. К этому следует добавить, что брюсовской «основательности» в установках и поступках претила легкость, с которой Мережковский переходил к новым «идеологическим увлечениям».

«Хорошо Мережковскому, который перепархивает с пушкинианства на декадентство, с декадентства на язычество, с язычества на христианство, с христианства на религию Троицы и Духа Святого», – жаловался Брюсов в 1906 году. Для самого Брюсова положение «строгого художника», ценителя красоты и принципиального «индивидуалиста» (свои собственные убеждения – религиозные и общественные – он считал «частным делом», никому их не навязывал и даже в переписке с многочисленными «учениками и последователями» всегда ограничивал темы разговора сугубо «эстетическими» и «литературными» сведениями) казалось гораздо предпочтительнее роли «пророка»:

Ты должен быть гордым, как знамя;
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель —
Готовность взойти на костер.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

(В. Я. Брюсов «Поэту»)

В 1900 году Брюсов вместе с московским меценатом С. А. Поляковым и поэтами Константином Бальмонтом и Юргисом Балтрушайтисом создает издательство «Скорпион», а в 1904 году – ежемесячник «Весы», который был целиком обращен к «чистому искусству». Мережковский поначалу отнесся к появлению «Весов» неприязненно. В девятом номере «Нового пути» за 1904 год появилась его статья «За или против?», в которой Мережковский упрекал главных сотрудников «Весов» – Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова и Андрея Белого – в промедлении с ответом на вопрос: «С Христом они или против Христа?» Но предприятие Брюсова оказалось гораздо более жизнеспособным, чем журнал Мережковских, и после закрытия «Нового пути» Мережковский и Гиппиус начинают регулярно помещать на страницах «Весов» свои произведения (Гиппиус вскоре становится постоянным литературным критиком брюсовского журнала, подписывая свои статьи псевдонимами «Антон Крайний», «товарищ Герман» и «Алексей Кириллов»).

Брюсов, верный своему сугубо «эстетическому» критерию при отборе сотрудников, никак «тематически» не ограничивал обоих супругов, но в глубине души не считал их собственно «художниками» в той полноте, которую главный «весовец» всегда фиксировал словом «поэт» (в его лексиконе это понятие восходило к греческому первоисточнику, означавшему как «стихотворца», так и «творца» вообще).

«Большинство [символистов], – писал Брюсов о предоктябрьской литературе, – даже перестало быть именно „поэтами“. Мережковский – прежде всего – мыслитель и романист; А. Белый – тоже; Сологуб – романист; Минский – философ и публицист; Гиппиус – критик. Только Бальмонт и Блок – поэты, par excellences Третьим русским „поэтом, par excellence“, Брюсов, как это легко понять, считал себя.

Поэт, не являющийся, по мнению Брюсова, ни «политиком», ни «пророком», не может непосредственно влиять на ход событий ни «действенно», ни «мистически». Удел поэта – созерцание происходящего («всему будь холодный свидетель») и эстетическое переживание впечатлений с тем, чтобы затем в своих произведениях попытаться претворить окружающий его «хаос» в «космос». Поэт должен пробуждать творческое начало в народном сознании, «смягчая» тем самым страсти и направляя

исторический поток в конструктивное русло «созидания». Именно такое понимание «миссии поэта» и помогло Брюсову «найти себя» в послереволюционную эпоху.

«Наши дни, – писал Брюсов в 1921 году, – правильнее всего назвать эпохой творчества, когда везде, прежде всего в Советской России, идет созидание новых форм жизни, взамен старых, разрушенных или в корне подточенных; литература не может не отразить этого общего движения. Поэзия прежних периодов, эпох самовластья, знала лишь пафос протеста или пафос уединенья и раздумья; теперь поэтам предстоит явить новый пафос творчества».

В 1917–1919 годах Брюсов возглавлял Комитет по регистрации печати (впоследствии – Московское отделение Российской книжной палаты), заведовал Московским библиотечным отделом при Наркомпросе, стал председателем Президиума Всероссийского союза поэтов. В 1921 году стараниями Брюсова в Москве был создан Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ), ректором которого он стал. В истории «культурной революции», развернувшейся в РСФСР, деятельность Брюсова стала одной из ярких страниц.

Для Мережковского и Гиппиус «советская» активность Брюсова казалась не просто «заблуждением», а логическим итогом его «бездуховности и беспринципности» 1900 – 1910-х годов, каковая, по их мнению, и привела бывшего редактора «Весов» в «лагерь Антихриста».[24] «Еще не была запрещена за контрреволюционность русская орфография, как Брюсов стал писать по большевистской и заявил, что по другой печататься не будет, – возмущалась Гиппиус. – Не успели уничтожить печать, как Брюсов сел в цензора – следить, хорошо ли она уничтожена, не проползет ли в большевистскую какая-либо неугодная большевикам контрабанда. Чуть только пожелали они сбросить с себя „прогнившие пеленки социал-демократии“ и окрестились „коммунистами“ – Брюсов поспешил издать брошюру „Почему я стал коммунистом“. И так ясно, – и так не удивительно, – почему».

Между тем Брюсов видел в радикализме большевиков лишь естественное выражение разрушительной инерции всего революционного процесса 1917 года и, со своей стороны, считал изменившееся «с февраля по октябрь» отношение Мережковских к русской революции, по крайней мере, непоследовательным:

> Вам были любы – трагизм и гибель
> Иль ужас нового потопа,
> И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль

Погибнет старая Европа?

Что ж не спешите вы в вихрь событий —
Упиться бурей, грозно-странной?
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,

Мечта была мила, как дальность?
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

(В. Я. Брюсов «К товарищам интеллигентам»)

Судить ту «тяжбу», которую вели в послереволюционные годы Брюсов и Мережковские (равно несправедливые друг к другу в своих инвективах и равно имеющие очень весомые аргументы в пользу своей позиции), автор этих строк не берется. Впрочем, в стремлении найти «новые слова» для «новой эпохи» Брюсов, увы, потерпел фиаско.

«Отдаваясь инерции своего прежнего стиля, Брюсов решается, например, изобразить Советскую Россию в „венце рубинном и сапфирном“, который „превыше туч пронзил лазурь“, или сказать, что облик этой новой России „реет властной чарой“. Цель, к которой стремятся революционные народы, названа Брюсовым „великой всеобщей лазурностью“, будущий идеальный строй – храмом, который нужно сложить на „адамантовом цоколе“, – писал крупнейший знаток брюсовского творчества Д. Е. Максимов. – Отвлеченность художественного метода, оправдывая себя в свое время, теперь оказывается „творческим проклятием“ Брюсова. Показав себя в жизни полезным, деятельным и честным советским работником, Брюсов в поэзии лишь в редких случаях приближался, – соблюдая достойный его художественный уровень, – к явлениям революционной эпохи в полноте ее неповторимого, реального содержания».

«Как жестока жизнь. Как несчастен человек», – писала Гиппиус, завершая свой очерк о знакомстве Мережковских с Брюсовым.

* * *

В 1918 году выходит, наконец, завершающая часть второй

«трилогии» – роман *«14 декабря»*. Этот роман, пожалуй, самый динамичный и композиционно совершенный у Мережковского, завершенный еще до трагедии 1917 года, оказывается – в том историческом контексте – удивительно актуальным. Бунт на Сенатской площади, выступление Черниговского полка на Украине и все, что последовало за этим, являются для героев Мережковского опытом практического воплощения прекраснодушных мечтаний о «Царстве Божием на земле как на Небе».

Весьма печальный опыт!

«Нет, больше не могу вспоминать: стыдно, страшно…» – пишет в предсмертных «Записках» один из главных героев романа, глава возмущения в Черниговском полку Сергей Муравьев-Апостол, описывая поход свой «за царя Христа или царя Константина»:

> «…Четверо суток кружились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковым и Белою Церковью… Никто не помог, – все обманули, предали… И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения „маленько пограбить“, а я запретил, – начались ропоты: „Не за царя Константина, а за какую-то вольность идет Муравьев!“ – „Один Бог на небе, один царь на земле – Муравьев обманывает нас!“
>
> …По питейным домам были шалости. А во время похода, у каждой корчмы, впереди по дороге ставились часовые, но они же напивались первыми.
>
> Никогда я не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью:
>
> – Никого не боюсь! Гуляй душа! Теперь вольность!

* * *

По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине: «Надо бы на два дня ножи вострить, а потом резать: указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так чтобы и на свете их не было».

В шинке у Мордки Шмулиса казак из Чугуева сказывал: «Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпицу застругавши да осмоливши, снизал бы на нее семьдесят панков да семьдесят жидков». А какой-то солдат из Белой Церкви обещал: «Когда запоют: 'Христос воскресе'

в Светлую заутреню, тогда и начнут резать».

Так-то соединил народ Христа с вольностью!

* * *

Пусть другие расскажут, как шесть лучших рот моего батальона, краса и гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачевскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уже сделалось: как молоко скисает в грозу, так сразу скисло все.

Тогда-то понял я самое страшное: для русского народа вольность значит буйство. Распутство, злодейство, братоубийство неутолимое; рабство-с Богом, вольность – с дьяволом.

И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачевым, – может быть, они бы меня и не выдали: отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург и, пожалуй, царством Российским тряхнули бы.

* * *

Я видел сон.

С восставшими ротами, шайкой разбойничьей, я прошел бы по всей России победителем. Всюду – вольность без Бога – злодейство, братоубийство неутолимое. И над всей Россией, черным пожарищем – солнце кровавое, кровавая чаша диавола. И вся Россия – разбойничья шайка, пьяная сволочь – идет за мной и кричит: – Ура, Пугачев – Муравьев! Ура, Иисус Христос!

* * *

Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!»

То же, что происходит с героями романа – декабристами, происходило в эти годы и с самим автором. В первые месяцы после переворота 25 октября Мережковский еще не расстался с иллюзиями относительно роли «демократической интеллигенции» в истории России. Более того, в годовщину декабрьского возмущения Мережковский публикует в газете

«Вечерний звон» статью *«1825–1917»,* в которой утверждает, что «подлинный „авангард русской революции“ – не крестьяне, не солдаты, не рабочие, а вот эти герои Четырнадцатого и мы, наследники их – русские интеллигенты, „буржуи“, „корниловцы“, „калединцы“, „враги народа“… Русская революционная интеллигенция – русская революционная аристократия… Все мы, русские интеллигенты, в этом смысле – „декабристы“ вечные – вечные стражи революционного сознания, революционной свободы и революционной личности».

Но уже в речи об *«Интеллигенции и народе»* (1918) отношения между ними в современной российской истории рисуются иначе: «Интеллигенция, как Иван Карамазов, сказала: „все позволено, убей отца“. А народ, как Смердяков, сделал – убил. Произошло небывалое, всемирно-историческое преступление, народ стал убийцей своего отечества, отцеубийцею ‹…›. Для русского народа, безмерно женственного, демократического, единственное спасение – воля к мужеству, к действию, к героизму, к аристократии. Но этой-то воли русская интеллигенция и не могла дать народу, потому что сама ее не имела ‹…›. Все это довольно легко понять, и, кажется, русская интеллигенция уже начинает понимать все это. Но очень трудно, не знаю даже, возможно ли ей понять, что необходимая предпосылка национального возрождения России – религиозная ‹…›. Мгновенное атеистическое сумасшествие русского народа пройдет… Но в эту роковую минуту, когда будут решаться на веки веков судьбы России, – будет ли с русским народом русская интеллигенция, как религиозный разум и совесть народа? Если не будет, то горе обоим. Сейчас России нет для русского народа и русской интеллигенции, потому что они забыли о Христе. Только тогда, когда о Христе вспомнят и скажут во имя Христа: „да будет Россия!“ – Россия будет».

Вот тут впору задать вопрос: *а насколько все высказанные Мережковским претензии к русской интеллигенции предреволюционной эпохи относятся к нему самому* – теоретику «нового религиозного сознания», критику Церкви, добровольному «политэмигранту» в 1906–1908 годах, другу Савинкова и Керенского и т. д.?

* * *

То, что происходило в эти годы с русской Церковью, было, вероятно, одним из самых горьких и глубоких «уроков жизни» для нашего героя. Политика большевиков в области религии, первые

месяцы строившаяся на грубом насилии «воинствующего атеизма» (разорение и осквернение храмов, убийства священников, административные притеснения церковного причта), трансформировалась в конце 1918-го – 1919 году в некое подобие римского *divide et impera:* Церковь решено было *расколоть.*

Это решение было вызвано тем, что, паче чаяния новых властителей страны, «безбожная свобода» вовсе не привлекала большинство русского населения. Наоборот, чем больше русская Церковь подвергалась притеснениям и гонениям, тем с большим энтузиазмом народ исповедовал православие. Храмы были полны, крестные ходы превращались в невиданные демонстрации. Московский Поместный собор 1917–1918 годов, несмотря на бесчисленные провокации, превращавшиеся иногда и в открытый террор против его участников (так 26 января 1918 года в Киево-Печерской лавре был убит настоятель – митрополит Владимир, целый ряд участвовавших в работе Собора священников подвергся арестам), полностью осуществил намеченную программу: восстановил каноническое возглавление русской Церкви – 5 ноября 1917 года Патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Тихон (Белавин) – и создал новые органы церковного управления.

Церковь оставалась мощной силой: подтверждением этого стала знаменитое анафемствование Патриархом «всех тех безумцев, которые чинят ужасные и зверские избиения ни в чем не повинных… людей», содержащееся в Послании от 19 января 1918 года. Для современников это было, конечно, «анафемой большевикам и Советской власти». «О, конечно, Ленин и Троцкий анафемы не испугаются, – писал, откликаясь на Послание Патриарха Мережковский, – но еще вопрос, как отнесутся миллионы малых сих к утверждению всецерковному, всенародному, что большевики – анафемы, люди вечным проклятием проклятые, слуги дьявола».

В этих обстоятельствах антирелигиозная политика большевиков неизбежно усложнялась: не прекращая политического давления на *всю* Церковь, они начали поиск «своих людей» внутри нее – прежде всего среди популярных церковных иерархов. И здесь – к ужасу Мережковского – главным оружием «анафем» и «слуг дьявола» сделался тот самый призыв к созданию «революционного христианства», «революционной Церкви», который так громко звучал со страниц его публицистики в «межреволюционное десятилетие». Более того, в 1919 году главными противниками «Тихоновской Церкви» становятся старые знакомые Мережковских по Религиозно-философским

собраниям – протоиерей Александр Введенский (Мережковский знал его еще студентом) и епископ Антонин (Грановский) (позже, уже после отъезда Мережковских из России, именно они возглавят группу так называемых «живоцерковников», которая по указанию чекистов после ареста Патриарха Тихона в 1922 году попытается захватить высшую церковную власть).

Вывод, сделанный Мережковским (и зафиксированный в записях Гиппиус), прост: **«Священники простецкие, не мудрствующие, – самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики».**

Это была правда, конечно, но опять-таки нельзя не удержаться от вопроса: *кто же в предреволюционные годы активнее всего выступал как раз против «простецких» православных священников, обличая их как «мракобесов» и «черносотенцев» и призывая Церковь к соблазнительному «мудрствованию» о созидании в союзе с «революционной интеллигенцией» «Царства Духа»?*

* * *

В 1918 году Мережковские и Философов еще пытались, как и большинство петроградской интеллигенции, поддерживать дореволюционный «бытовой строй». Летом они даже выбираются на дачу в Дружноселье под Петроградом, где знакомятся с **Владимиром Ананьевичем Злобиным,** отдыхавшим там же с матерью. С этого момента Злобин оказывается вовлеченным в их «орбиту» и постепенно становится ближайшим доверенным лицом и единомышленником (в недалеком будущем, в эмигрантские годы, после ухода Философова, Злобин займет образовавшуюся в «трио» «вакансию»[25]).

Осенние месяцы также, по выражению Гиппиус, были «похожи на жизнь», а далее общая российская катастрофа увлекает и Мережковских. «Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошная, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, – все это было несказанно тяжело. Но еще тяжелее – ощущение полного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борьбы с тем, что вокруг нас происходило».

Зимой приходилось мерзнуть. «Добрый чиновник из комиссариата Внутренних дел прислал нам немного дров из крематория; обещал также прислать из кладбищенских рощ, которые будут рубить на дрова. Но этих мертвецких дров нам не хватило. Кое-как отапливали две-три комнаты; остальные заперли. Сидели в шубах. Глядя на библиотеку, утешался мыслью,

что можно будет топить сначала полками, а потом книгами», – отмечал в «Записных книжках» Мережковский.

Из Троице-Сергиевой лавры пришло отчаянное известие от Розанова – он голодал, нет, не голодал, – умирал с голоду вместе со всей своей многочисленной семьей. Кинулись опять к Горькому (которого к этому времени уже успели десяток раз проклясть за «большевизм»). Дело осложнялось тем, что Горький Розанова терпеть не мог. Однако Алексей Максимович уже махнул рукой на все политические пристрастия: он, как мог, спасал *всех* – от членов великокняжеской семьи, которые скрывались у него на квартире, до неизвестных матерей с грудничками, приходивших к нему на Кронверкский проспект просить… молока (Горький писал им записки в продуктовый распределитель, добавляя всякий раз «конфиденциальную» информацию о том, что этот ребенок… от него; когда число «внебрачных детей» Горького перевалило за полсотню, распределитель перестал «отоваривать» эти прошения). На просьбу Мережковских Горький среагировал мгновенно, не задавая лишних вопросов: деньги (едва ли не собственные) тут же ушли в Лавру.

– Спасибо Максимушке! – плакал Розанов.

И все-таки эти деньги не помогли. В 1919 году Мережковские получили предсмертную записку от него: «Дорогой, дорогой, милый Митя, Зина и Дима! В последней степени склероза мозга, ткань рвется, душа жива, цела, сильна! ‹…› Были бы вечными друзьями – но уже кажется поздно. Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией дорогой, милой. Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не осталось».

«К весне ‹19›19 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал, – вспоминала Гиппиус. – Опухшим – их было очень много, – рекомендовалось есть картофель с кожурой, – но к весне картофель вообще исчез, исчезло даже наше лакомство – лепешки из картофельных шкурок. Тогда царила вобла – и, кажется, до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах, подымавший голову из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего».

Между тем заработать деньги литературным трудом для Мережковских возможности уже не было: типографии работали только по государственным заказам. В конце февраля 1919 года Мережковскому, поборов гордость, пришлось пойти в горьковскую «Всемирную литературу», где он был привлечен к выполнению грандиозного просветительского проекта «исторических картин» и согласился переложить в драматическую

форму «Юлиана Отступника» и «Петра и Алексея» (по всей вероятности, «театрализации» подлежал и «Леонардо да Винчи», но сведений об этом нет).

Голод не тетка!

Униженный Мережковский вел себя в «горьковском окружении», по выражению К. И. Чуковского, «демонстративно-обывательски»: «Уходя, взволновался, что у него украли калоши, и даже присел от волнения. – Что будет? Что будет? У меня 20 000 рублей ушло в этот месяц, а у вас? Ах, ах…» Это ерничанье производило тяжелое, отталкивающее впечатление.

На одном из весенних заседаний «Всемирной литературы» Мережковский, справляясь о сроках выплаты гонорара, упомянул о планах «трио» уехать в Финляндию.

– Если бы у нас не было бы деловое собрание, – заметил Горький, – я сказал бы: не советую ездить, и вот почему…

И Алексей Максимович обстоятельно разъяснил, что в Финляндии назревают две революции – одна монархическая, другая – большевистская, и русская диаспора находится в отчаянном положении… Выслушав речь Горького, Мережковский честно признался:

– Так ведь и мы тут с голоду околеем!

– Отчего же! – не менее обстоятельно отвечал Горький. – Вот Владимир Ильич (Ленин) вчера говорил мне, что из Симбирска…

И прочел Мережковскому вторую лекцию – о продовольственном положении в РСФСР.

Свои обиды Мережковский в этот год изливал Корнею Ивановичу Чуковскому (который и рекомендовал его в редколлегию «Всемирной литературы»):

– Горький – двурушник, такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами – он наш. Когда он с «ними» – он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там, и здесь.

Чуковский сочувственно кивал.

Летом 1919 года стало ясно, что нового голода не избежать. Мережковский, то ли в шутку, то ли всерьез, потребовал, чтобы «Всемирная литература» послала наркому просвещения Луначарскому телеграмму: «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу». Теперь уже Горький жаловался Чуковскому: «Мережковский у меня, как фокстерьер, повис на горле – вцепился зубами и повис». Все же Мережковскому удалось отвоевать у «большевистской казны» 56 тысяч «новых» рублей.

«Коробка спичек – 75 рублей, – записывает в дневнике Гиппиус. – Дрова – 30 тысяч. Масло – 3 тысячи фунт. Одна свеча

400–500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина)». Между тем осень оказалась необыкновенно холодной; по городу прокатилась волна дистрофических психозов и голодных самоубийств среди «классово чуждых» новой власти (и потому лишенных пайков) интеллигентов. На заседании «Всемирной литературы» 11 ноября 1919 года, где слушался вопрос «о питании», не выдержал уже сам Горький:

– Нужно, черт возьми, чтобы *они* либо кормили, либо – пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Вот ведь сейчас – оказывается в тюрьме сидеть лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее, и сытнее! А провизия есть… есть… Это я знаю наверное… есть… в Смольном куча… икры – целые бочки… Вчера у меня одна баба из Смольного была… там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом…

В стране бушевала Гражданская война, но Петроград жил в состоянии информационной блокады, и о том, что происходит «вовне», судить можно было лишь по волнам репрессий среди интеллигенции: любой неуспех большевиков вызывал активизацию «красного террора». «Трупы расстрелянных „Чрезвычайка“ отдает зверям Зоологического сада, – записывала очередной городской слух Гиппиус. – И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов к зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают на рынке под видом телятины. И у нас, и в Москве».

В начале второй «военно-коммунистической» зимы (1919/20) в квартире на Сергиевской, обветшавшей и разгромленной, становится совсем худо. С Философовым Мережковские теперь предпочитали не разговаривать, ибо любой разговор переходил в дикую и бессмысленную ссору: причиной всех бед – от поражения в войне до прихода большевиков к власти – тот считал лично Дмитрия Сергеевича.

У Философова развилось нервное заболевание: он почти не выходил из своей комнаты, целыми днями лежал на кровати, как труп, перестал следить за собой, оброс дикой «мужицкой» бородой. После того как по объявленной большевиками «мобилизации населения» его гоняли за город, где под дулами красногвардейских винтовок заставляли рыть окопы, он в полном смысле слова психически «сломался» – ждал смерти. Гиппиус в полутьме (электричества не было) бесцельно бродила из комнаты в комнату, ломала руки:

Кричать – не поверят,
Сказать – не поймут,
И близится черед,
Свершается суд.

Мережковский, сидя в шубе в промерзшем кабинете, упорно заставлял себя работать – назло самому ходу вещей. При свете коптилки он готовил материалы для начала работы над новой трилогией, третьей, задуманной еще давно, – уже не как «художественное» произведение, а как историческое «исследование» в жанре книги о Толстом и Достоевском. Предметом новой трилогии были древние религии – в тех проявлениях, которые предуготовляли христианское миросозерцание. Однако, глядя на состояние своих спутникови анализируя происходящее в стране, Мережковский все более убеждался в том, что роль «кабинетного мыслителя», к которой он демонстративно пытался вернуться, в настоящий момент для него невозможна. «В тишине бессонных ночей, – вспоминал Мережковский, – я взвешивал две одинаково страшные возможности-невозможности: жизнь в России – умирание телесное или духовное – растление, оподление; а побег – почти самоубийство – спуск из тюремного окна с головокружительной высоты на полотенцах связанных».

Вероятно, последним толчком, решившим дело окончательно, стало предложение «властей» читать в день годовщины выступления декабристов торжественную лекцию в… Зимнем дворце. «Я должен был прославлять мучеников русской свободы пред лицом свободоубийц. Если бы те пять повешенных воскресли, – их повесили бы снова, при Ленине, так же, как при Николае Первом.

О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян! —

вот что я должен был сказать, а отказа говорить мне никогда не простили бы. Я это знал, и они знали».[26]

14 декабря 1919 года Мережковский и покинул Петроград.

Их выручил Борис Гитманович Каплун – тот самый «добрый комиссар», некогда поставлявший Мережковским «гробовые дрова», колоритнейшая личность в Петрограде «в те баснословные года». Он был заведующим административным отделом Петросовета, но прославился отчасти как фанатический поклонник «огненного погребения» (им был создан первый в

РСФСР петроградский крематорий), отчасти – как своеобразный «меценат и просветитель», действительно много сделавший для неприкаянной, «бывшей» творческой интеллигенции. Каплун устраивал разнообразные, вполне по тогдашним меркам, «хлебные» предприятия «образовательного» характера – вроде известной школы для петроградской милиции, в штат которой оказались зачисленными… Горький, Чуковский и художник Юрий Анненский. Мережковского Каплун прочил на роль лектора в красноармейских частях, особенно настаивая почему-то, чтобы тот читал лекции непременно о Гоголе.

Мережковский согласился и на Гоголя, только спросил, между прочим, что будет, если он попытается невзначай перейти фронт.

– Не советую, – был ответ. – Дело военное: поймают, примут за шпиона и поставят к стенке.

Тогда же состоялся и разговор с Чуковским, сумевшим сохранить интеллигентский «просветительский» оптимизм и полагавшим, что «красноармейцам тоже полезно знать о Гоголе».

– Я вам напишу, – ответил Мережковский. – Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-христианине… а без этого какой же Гоголь?… Ну, если не удастся, мы вернемся, и я пущусь во все тяжкие. Буду лекции читать – «Пол и религия – Тайна двоих» – не дурно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно…

В папки с нарочито крупными надписями «Материалы для лекций в красноармейских частях» были уложены черновики *«Тайны Трех»,* первой книги, открывающей новую «трилогию» (Мережковский завершит работу над ней уже в эмиграции). Весь остальной архив был брошен на произвол судьбы. Мережковских и Философова (которого Дмитрий Сергеевич заставил бежать едва ли не силой, – тот умолял оставить его в покое и дать умереть на своей постели) сопровождал «прибившийся» к ним Злобин.

«Трое суток от Петербурга до Жлобина – сплошной бред. Налеты чрезвычайки, допросы, обыски, аресты, пьянство, песни, ругань, споры, почти драки из-за мест, духота, тьма, вонь, ощущение ползущих по телу насекомых… – читаем в „Записных книжках“ Мережковского. – Лучше не вспоминать… У Зинаиды Николаевны сделался жар. Я боялся, что будет сыпной тиф. Ночью больная бредила, что влезает на головокружительную лестницу со ступенями такими высокими, что никак не влезешь, а лезть надо – иначе сорвешься и упадешь назад, в пропасть; а на самом верху лестницы – исполинская белая вошь.

– Какая покинутость! Какая покинутость! – шептала больная.

Никогда не забуду я этого шепота. Вся тоска изгнания – в двух словах.

…Глухими лесными дорогами, а иногда и совсем без дорог, целиною, по снежному насту пробирались мы в деревню – крайний пункт, ближайший к польскому фронту. В Жлобине латыш передал нас поляку-контрабандисту, который тоже переправлял беглецов через фронт… Вечером отправился он на разведку и, вернувшись поздно ночью, объявил, что ехать опасно: по дорогам – заставы; но и ждать опасно: по всему местечку облавы и обыски. Мы решили ехать…

– Кто вы?

– Русские беженцы.

– Откуда?

– Из Петрограда.

– Куда?

– В Варшаву, Париж, Лондон!

Польский легионер подал знак, ворота открылись, и мы переехали черту заповедную, отделяющую тот мир от этого».

Так начался последний, эмигрантский, период жизни и творчества Мережковского.

* * *

В Бобруйске, куда Мережковские, Философов и Злобин попали сразу после перехода границы (после быта военного коммунизма этот захолустный городок показался им средоточием мировой цивилизации), в Минске и Вильно наш герой оказался вновь захваченным вихрем политических страстей.

Польша, недавно получившая независимость, находилась фактически в состоянии войны с Советской Россией, претендуя на территории, принадлежавшие ей до знаменитого польского раздела 1772 года. С другой стороны, большевики, строившие свою тогдашнюю политику на утверждении идеи немедленной «мировой революции», рассматривали Польшу как самый удобный плацдарм для вторжения Красной армии в Европу. Активные силы русской политической эмиграции, еще не признавшие себя побежденными в Гражданской войне и грезившие о реванше, стремились использовать эту напряженную ситуацию для начала нового этапа военного противостояния в России (где еще продолжал оказывать сопротивление большевикам врангелевский Крым). Уже в первые дни, общаясь с русскими беженцами, наводнявшими Бобруйск, Мережковский узнал, что одним из самых активных русских эмигрантских

деятелей, которые пытались разыграть в своих интересах «польскую карту», был Савинков.

Казалось, надежды на провиденциальное «преображение России», почти полностью изжитые в послереволюционные годы, вдруг снова становятся близкой и досягаемой реальностью. Мгновенно создается и «метафизический базис» для новой политической позиции. Польша, бывшая порабощенная территория Российской империи, Польша, «младшая дочь» католической Церкви, Польша, единственная из стран Восточной Европы сохранившая идею «славянского мессианизма», дождалась, наконец, своего «исторического часа». Перед ней – «силы Антихриста», поработившие Россию, – она же несет на своих знаменах начертание Креста. По идее Мережковского, Польша должна была, консолидировав вокруг своей армии все антикоммунистические силы Европы (и прежде всего оставшиеся еще в России и оказавшиеся в эмиграции части русской Белой гвардии), осуществить «крестовый поход» на Восток, взять Москву, разгромить вместе с народами России антихристианский тоталитарный режим, а далее… Далее Мережковский не заглядывал, но очевидно, что заря «Царства Третьего Завета», встающая над славянскими государствами, снова грезилась ему в недалеком будущем. По крайней мере, *религиозный* характер польско-советского конфликта и прямая его связь с революционным демократическим «освобождением» России казались ему очевидными.

В Минске он выступает с циклом лекций, посвященных обличению «антихристианской» сущности большевизма и «миссии» польского народа в мировой борьбе Христа с Антихристом. Лекции имеют успех (один из рецензентов, сопоставляя Мережковского… с Лениным, назвал свою статью «Титан и ублюдок»), однако во время этих первых выступлений Мережковский не мог не заметить настороженной реакции русской части аудитории на откровенное «полонофильство» выступающего. Экспансия Польши на Восток воспринималась большей частью соотечественников Мережковского как обыкновенная агрессия, имеющая целью оккупацию русских территорий, и, разумеется, в качестве таковой особого сочувствия не вызывала. Еще яснее это проявилось в эмигрантских кругах Варшавы, куда Мережковские и их спутники перебрались 3 марта 1920 года в ожидании Савинкова, начинавшего переговоры с президентом Польши Юзефом Пилсудским.

В отличие от большинства русских эмигрантов и Мережковский, и Гиппиус считали, что Россия **уже оккупирована,** причем большевики были для них оккупантами

не только в «духовном», метафизическом, но и в самом простом, буквальном значении этого слова. «Власть Советов» воспринималась ими как власть *«инородцев»,* подчинивших себе силой случая *собственно русских.*

«Вот факт, вот правда о России в немногих словах, – излагала Гиппиус их совместную „политическую программу“, – Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных – захваченных… Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть.

Чем не монгольское иго?»

В «Походных песнях», написанных Гиппиус в 1920 году для распространения в белогвардейских частях, та же мысль приобретает «плакатную» ясность:

Эй, красное войско!
Эй, сборная рать!
Ты ль смертью геройской
Пойдешь умирать?

Китайцы, монголы,
Башкир да латыш…
И всякий-то голый,
А хлебца-то – шиш…

И немцы, и турки,
И черный мадьяр…
Командует юркий
Брюнет – комиссар.

Отсюда и призыв к *национальному* освобождению:

Это, братцы, война не военная,
Это, други, Господний наказ.
Наша родина, горькая, пленная,
Стонет, молит защиты у нас.

Мы ль не слышим, что совестью велено?

Мы ль не сдвинемся все, как один,
Не покажем Бронштейну да Ленину,
Кто на русской земле господин?

Полагая, что Россия уже оккупирована, и не видя возможности организации собственно-русского освободительного движения, Мережковские логически приходили к выводу, что единственным выходом из сложившейся ситуации будет замена жесткого и откровенно «антихристианского» оккупационного владычества – каким-либо иным, более мягким оккупационным же режимом, обладающим веротерпимостью и относительной лояльностью к национальным духовным ценностям (при этом на ум сразу приходит аналогия с деятельностью Александра Невского, заключившего в начале 40-х годов XIII века союз с монголами, чтобы предотвратить захват новгородских земель Тевтонским орденом).

Встреча с Савинковым поначалу обрадовала. Прошедший за годы Гражданской войны жестокую школу не только военной, но и политической борьбы (он участвовал в формировании Добровольческой армии на Дону, организовывал в 1918 году антибольшевистские выступления в Москве и Ярославле, сотрудничал с А. В. Колчаком в Сибири и затем представлял его во Франции), Савинков приобрел дипломатические навыки. Его переговоры с Пилсудским увенчались успехом: под прикрытием финансируемого польским правительством Русского политического (позднее – Эвакуационного) комитета на территории Польши начали формироваться белогвардейские части, которые в момент начала открытого польско-советского вооруженного конфликта должны были присоединиться к польской армии. Савинков предложил Философову стать его заместителем в Эвакуационном комитете, а Мережковскому и Гиппиус – сформировать идеологическое обеспечение движения, организовав для этих целей периодическое издание (таковым стала газета «Свобода»). Савинков же, используя свои связи, организовал встречу Мережковского с Пилсудским, под впечатлением которой польский президент издал 5 июля 1920 года приказ по армии, где объявлялось, что Польша *воюет не с Россией, а с большевизмом.*

В ответ на этот политический «жест», повторенный в «Воззвании Совета государственной обороны Польши», Мережковский и Савинков опубликовали «Воззвание к русским людям», призывающее *не сражаться против поляков* (помимо авторов текст «Воззвания» подписали генерал С. П. Глазенап и

бывший министр Временного правительства Ф. И. Родичев).

На этом, впрочем, все «политические» успехи Мережковских завершились. Его брошюра, в которой польский президент фигурировал как «избранник Божий» в деле освобождения России от большевиков-«антихристов», изданная при содействии адъютанта Пилсудского, вызвала в Варшаве политический скандал, а Польский сейм запросил у правительства отчет в использованных на эту публикацию средствах. Очень скоро, сначала через Философова, а затем и лично, Савинков стал разъяснять Мережковскому и Гиппиус, что их проповедь «религиозного мессианизма Польши» дезориентирует прибывающих в Варшаву русских эмигрантов-добровольцев.

– Идет обыкновенная политическая игра, никак не связанная с вашими глобальными и, увы, фантастическими прожектами, – растолковывал Савинков Мережковскому (дело было в июле 1920 года, во время их встречи в маленьком варшавском ресторане в Саксонском саду, недалеко от дома, где жили Мережковские). – Полякам никакого дела нет до вашей «религиозной миссии» и «спасения России»: они просто хотят оттяпать кусок территории, пользуясь анархией, царящей в Совдепии после Гражданской войны. Вряд ли они вообще захотят идти на Москву – зачем? Надо смотреть правде в глаза: мы должны рассчитывать только на себя. Быть может, в этой мутной воде возможно будет развить хоть какой-то успех.

Мережковский вспылил и обвинил Савинкова в цинизме.

– Да знаете ли вы… – и далее последовала вдохновенная проповедь о «высшей», «духовной» цели происходящего.

Савинков побелел.

– Я прошу мне не устраивать экзамены по философии, – сказал он. – Здесь не философия, а боль и кровь – со всех сторон. Нельзя же до такой степени не отвечать за свои слова! Не говорю про вас, но этот ваш секретарь – Злобин, молодой еще человек; вместо того чтобы стихи писать в газету, он должен бы был, по правде, явиться ко мне, умолять взять его в ополчение… Или уж молчать по крайней мере!

«В 1920 году в Варшаве, работая вместе с Зинаидой и Мережковским, – вспоминал позднее Савинков, – я выпил до дна всю чашу легкомыслия, самоуверенности, величия, полного непонимания жизни, сплетен и малодушия».

Мережковские обиделись смертельно. От работы в газете они отошли и вскоре уехали по своим издательским делам в Данциг (Гданьск). Именно в это время разразилась катастрофа. Советские войска предприняли наступление на Варшаву и были наголову разбиты Пилсудским на Висле. Однако, как и предупреждал

Савинков, поляки не собирались идти в «крестовый поход» и удовлетворились мирным соглашением, обеспечивающим отхождение к Польше уже захваченных ею территорий.

Савинков все же успел в очередной раз «сманеврировать». Он демонстративно порвал с белогвардейским движением, объявил себя главой «зеленых» (крестьянских повстанцев, ведших борьбу на два фронта, против «красных» и «белых») и взял на вооружение лозунг «за Советы без коммунистов». Структуры Комитета перешли к формированию диверсионных групп, надеясь использовать крестьянские возмущения в России, прокатившиеся по стране в 1920–1921 годах после «польской неудачи» Красной армии.

Мережковский и Гиппиус предпочли покинуть «предавшую» их Польшу и уехали в Париж. Но Философов остался с Савинковым, заявив Мережковскому, что полностью разочаровался как в нем, так и в его «пророчествах». Гиппиус заключила, что Дмитрий Владимирович «связался с авантюристом», а Мережковский – что Философов «забыл Антихриста для дел земных».

Комитет Савинкова просуществовал до октября 1921 года, пока Польша под давлением РСФСР не интернировала «савинковцев» «с применением полицейской силы». Сам Савинков несколько лет прожил в Париже в полной изоляции: его «маневры» времен революции и Гражданской войны не смогли простить ему ни «левые», ни «правые» круги эмиграции. В 1924 году он неожиданно уехал в СССР и добровольно сдался властям. Советский суд приговорил его к смертной казни, заменив затем ее десятилетним заключением. Это, впрочем, было лицемерием, и смертный приговор в исполнение был все-таки приведен: 7 мая 1925 года чекисты, инсценируя самоубийство, сбросили Савинкова в пролет тюремной лестницы.[27]

После гибели Савинкова Мережковский и Гиппиус некоторое время надеялись, что Философов «образумится» и вновь присоединится к ним. Однако он так и остался в Польше, занимаясь журналистской и общественной деятельностью. Они будут поддерживать связь и даже сотрудничать: в 1934–1939 годах Мережковский будет парижским «соредактором» журнала (потом газеты) «Меч», издаваемой Философовым в Варшаве. Но «троебратство» распалось навсегда. После смерти Философова (1940) и Мережковского (1941) Гиппиус подводит черту в этой истории, помечая в дневнике в 1943 году:

«КОНЕЦ

все умерли.

Я – духовно пока».

* * *

«Польская катастрофа» 1920 года, лишившая к тому же Мережковского и Гиппиус их верного друга и постоянного спутника, завершила глубокий переворот, происшедший в годы революции и Гражданской войны в нашем герое. С этого момента он полностью разочаровывается в любой *«корпоративной»* политической борьбе с ее прагматикой и цинизмом и до конца жизни предпочитает действовать на общественной арене исключительно «от своего лица».

Однако в качестве «независимого» политика Мережковский был в начале 1920-х годов уже совсем неубедителен.

В первые месяцы по переезде из Варшавы в Париж, еще не остыв от варшавских политических страстей и обид, Мережковские пытаются организовать среди здешних эмигрантов *«свою собственную»* партию, состоящую исключительно из идейных и бескорыстных противников «царства Антихриста» – «большевистской России», которые к тому же сочетали бы религиозную «состоятельность» с «правым» либерализмом в духе идей времен «троебратства».

«…В ту далекую осень ‹19›20 года, – писала Гиппиус, – все эмигрантское общество – старшее поколение – внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Д‹митрий› С‹ергеевич› еще затеял у нас какое-то сообщество на религиозных основах».

Речь идет о возникшем в 1920–1921 годах по инициативе Мережковского *«Религиозном союзе»,* в который, помимо Гиппиус, вошли известный народник, публицист, общественный и политический деятель Николай Васильевич Чайковский (после переворота 25 октября 1917 года и разгона Учредительного собрания он был одним из идеологов интервенции Антанты и возглавлял Временное правительство Северной области во время высадки войск союзников в Мурманске и Архангельске), член ЦК кадетской партии Игорь Платонович Демидов (бывший депутат 4-й Государственной думы, в 1917 году – комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте, а в 1919-м – член правительства Деникина) и уже знакомый нам последний обер-прокурор Синода и министр по делам вероисповеданий Временного правительства Антон Владимирович Карташев (в 1919 году он был вице-председателем и министром иностранных дел Политического совещания при генерале Юдениче).

«Наша прямая, почти грубая линия понимания, – писала

Гиппиус, – проста и непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами *новой* России ‹…›; 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства. Вот – и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие».

Увы! Очерченная Гиппиус «линия» оказалась слишком «прямой и грубой» даже для политизированных эмигрантских парижских кругов 1920–1921 годов. Как и в Варшаве, так и в Париже для большинства русских людей, даже потерявших средства к существованию, кров и близких в российских революционных катаклизмах, *участие в организации интервенции против своей страны или хотя бы идейная поддержка подобной деятельности была «невместима».*

Тем более неуместной казалась попытка подвести под эту «невместимую доктрину» некое «религиозное» основание, да еще в категориях «нетрадиционной» эсхатологии Мережковского с его «новым пониманием христианства». Так И. И. Фондаминский, которого Мережковский «по старому знакомству» попытался привлечь к заседаниям «Союза», после некоторых колебаний все-таки отказался от такого «союзничества». А И. В. Гессен – юрист и депутат 2-й Государственной думы в российском прошлом, председатель берлинского Союза русских писателей и журналистов и издатель кадетской газеты «Руль» в эмигрантском настоящем – при встрече с Мережковскими (которых он хорошо знал еще по Петербургу) прямо заявил, что не может простить себе, что «вначале», приехав в Берлин из Советской России, он «был за интервенцию».

«А так как Д‹митрий› С‹ергеевич› и я, мы были и в начале, и в конце, и всегда „за интервенцию“, – заключала Гиппиус, рассказывая о встрече с Гессеном, – то мы этой беседы и не продолжали».

В результате, когда в 1921 году Мережковский и Гиппиус попытались трансформировать «Религиозный союз» в «Союз непримиримых», то есть превратить собрания «на дому» в политическую партию, никакой поддержки в эмигрантской среде они не получили: большинство потенциальных «союзников» видели в них «экстремистов». Небезынтересно в этом смысле обратить внимание на «первую заповедь» «Союза непримиримых», которую Гиппиус сформулировала в программной статье «О верности», появившейся 1 января 1922 года в газете «Общее дело»: «Что бы Россия ни переживала (и я лично), где бы я ни был и где бы и в каком положении ни были большевики, я не способен ни на какое внутреннее принятие, ни на какое примирение с

ними». Мережковский же, вслед за У. Черчиллем, излагал эту «заповедь» еще проще: *«Хоть с чертом, но против большевиков!»*

Очень важно отметить, что *в самом «пафосе отрицания» русского коммунизма Мережковский и Гиппиус были далеко не одиноки среди эмигрантов* (и прежде всего эмигрантов-литераторов). По крайней мере, даже вышеприведенные «максимы» организаторов «Союза непримиримых» не идут ни в какое сравнение с финалом речи Бунина о «Миссии русской эмиграции», прочитанной 16 февраля 1924 года.

– Один из недавних русских беженцев, – говорил Иван Алексеевич, – рассказывает в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее.

Знаменательно, что Бунин в своей речи также высказывал и упреки по адресу «мира», который «отвернулся от страждущей России»: «Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские „внутренние дела“, то есть на шестилетний погром, длящийся в России…»

Мережковский в своих парижских лекциях, призванных привлечь эмигрантские «массы» к создаваемому «Союзу непримиримых», едва ли не буквально совпадал с этой бунинской инвективой: «Очень страшно ‹…› что один из европейских народов сделался людоедским. Но еще страшнее, в тысячу раз страшнее, что соседние народы, взирая на это спокойно, соображают лишь, как бы каждому из них при этом удобном случае насчет людоедов попользоваться».

Однако как только Мережковский, в отличие от Бунина и от множества других эмигрантов, вполне разделяющих провозглашенную будущим нобелевским лауреатом «святую собачью ненависть к русскому Каину», *пытался совершить некие действия,* логически вытекающие из подобных страшных

«деклараций», – он тут же оказывался в «заколдованном круге», в «абсолютной пустоте». Все «союзники» так или иначе к 1922 году покинули Мережковских, и «первая заповедь» «непримиримых» прозвучала со страниц «Общего дела» в «никуда». Гиппиус вынуждена была признать, что «в обычном (или даже необычном) увлечении своем» ее муж «собрал вместе людей, по существу для этого [дела] не подходящих, и из затеи ничего не вышло».

Проблема заключалась в том, что *никаких* «подходящих» людей вокруг «Союза непримиримых», сузившегося до самой супружеской четы Мережковских, не было. Даже верный Злобин как раз в это время поругался с ними и уехал в Берлин, так что Гиппиус пришлось использовать все свое эпистолярное мастерство, чтобы вернуть его обратно. А визит в Париж из Варшавы Философова, приехавшего в декабре 1920 года за пожертвованиями для интернированного в Польше отряда Савинкова, и вовсе кончился скандалом: бывший участник «троебратства» демонстративно проигнорировал лекцию Мережковского *«Большевизм, Россия и Европа»* и уехал обратно в Польшу, по выражению Гиппиус, «с проклятьями».

«Париж в русском смысле – пустыня, – писала разочарованная Гиппиус Н. А. Бердяеву. – Эмигранты – одичалые единицы или замкнутые старые кружки, как старые эсеры, сухая и тупая группа Милюкова. Все это неподвижно и непроницаемо. Есть еще церковный кружок, но это и все: окружение его – неинтересно – „остатки“ русской бюрократии, с которыми просто нам нечего делать и не о чем говорить». «Остается одно, – заключала Гиппиус, – уйти каждому в себя, в собственную работу».

Между тем падение в ноябре 1920 года врангелевского Крыма («Врангель весь провалился, – записывала в дневнике Гиппиус. – Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Врангель уже в Константинополе. Что и требовалось ожидать»), означавшее завершение Гражданской войны, и объявление Лениным весной 1921 года «новой экономической политики», частично восстанавливающей «рыночные» отношения между городом и деревней (знаменитая «замена продразверстки продналогом»), радикальным образом меняло отношение к РСФСР ведущих европейских держав. Начинался процесс официального признание «царства Антихриста» сначала Старым, а затем и Новым Светом.

Мережковские используют все возможные средства, чтобы «вразумить» европейских лидеров, но им приходится выступать в качестве «частных лиц», не имеющих не только собственной «партии», но и поддержки большинства русских эмигрантов, и даже – широкой общественной трибуны. Большинство

авторитетных русских изданий за рубежом отказываются публиковать «экстремистов», а «маргинальная» периодика Мережковских не интересует. С ними постоянно сотрудничает лишь газета *«Общее дело»,* редактором которой был «старо-новый, или ново-старый эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне – до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках».

Владимир Львович Бурцев был и в самом деле замечательной личностью,[28] однако элемент «сенсационности», присущий как его собственному журналистскому стилю, так и стилистике всех его многочисленных изданий, делал публикации Мережковских в «Общем деле» малоубедительными в качестве политических деклараций. К тому же газета в 1922 году находилась «при последнем издыхании»; вскоре она будет прекращена и возобновлена лишь в 1928 году, совсем в другую «политическую эпоху».

Не жаловала Мережковских в начале 1920-х годов и французская пресса: Гиппиус с обидой отмечала, что по сравнению с «первой эмиграцией» «французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекосилось (это мы переместились, но куда – еще не успели понять)». Между тем не нужно было быть особенным прозорливцем, чтобы понять, что традиционно «левая» французская литературно-художественная элита *«борцов с русской революцией»* в 1920–1922 годах принимала, конечно, не так, как «борцов с русским абсолютизмом» в 1906–1908 годах. Изданная Мережковским специально для европейских интеллектуалов книга статей *«Царство Антихриста»* (на французском и немецком языках-1921, на русском – 1922) пользовалась куда меньшим спросом, чем приснопамятный сборник о «царе и революции» 1906 года.

У Мережковского в качестве средства воздействия на общественное мнение и на «сильных мира сего» оставалось только «европейское литературное имя»: переводами его исторических романов (особенно популярен был «Леонардо да Винчи») зачитывалась тогда вся Европа от Северного до Средиземного моря. Это, кстати, было не так мало, и открытые письма Мережковского к папе римскому Пию XI, Г. Гауптману, журналисту и редактору Э. Бюро вызывали известный резонанс – но и только.

Характерен в этом смысле эпизод встречи Дмитрия Сергеевича с популярным французским политиком Э. Эррио на

вечере, устроенном в Интернациональном клубе зимой 1920/21 года. Выслушав горячую речь Мережковского, искренне тронутый ею Эррио счел долгом выступить с ответной речью, «любезной, благожелательно-обещающей». В конце этой речи Эррио заверил *«большого русского писателя»*, что понимает его озабоченность судьбами России, и несколько раз убедительно повторил:

– *On ne vous lachera pas!* Вас не оставят!

На этом он счел свою миссию выполненной.

«Нет, довольно, – писала в дневнике Гиппиус. – Пусть теперь соединяется с большевиками Ллойд-Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они „научат Европу уму-разуму“, как только что объявил Троцкий. А под конец проучат они и всех союзников самих…»

Участие Мережковского в отечественных политических сражениях конца 1910-х – начала 1920-х годов на стороне тех сил, которые открыто делали ставку на иностранную интервенцию, дорого обошлось репутации нашего героя как в глазах современников, так и во мнении потомков. Автор этих строк менее всего склонен видеть в миссии историка-литературоведа род адвокатуры и потому не счел необходимым сопровождать изложение фактов в этой части нашего повествования некими «примирительными» комментариями, смягчающими в восприятии современного читателя «неудобную фактологию».

Однако стремление к исторической объективности заставляет напомнить, что экстремизм был присущ не только *взглядам* Мережковского в начале двадцатых годов, но и *действиям* большинства ведущих советских руководителей этих лет. Это были коммунисты-интернационалисты, которые строили свою политику в расчете на немедленную «мировую революцию» и потому считали **«экспорт революции»** из России в Европу и Азию не только допустимым, но – основным содержанием внешней политики РСФСР. Перед глазами Мережковского и его «союзников» были *Л. Д. Троцкий,* призывавший «вымыть копыта» красноармейской конницы в Индийском океане и утверждавший, что «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии», *Н. И. Бухарин,* который видел в Варшаве «ключ от Берлина и Парижа», и *М. Н. Тухачевский,* прямо говоривший о своем польском походе 1920 года, как о начале мировой революции: «…Германия революционно клокотала и для окончательной вспышки только ждала соприкосновения с вооруженным током революции. В Англии рабочий класс точно так же был охвачен живейшим революционным движением ‹…›. Нет никакого сомнения в том, что если бы на Висле мы одержали

победу, то революция охватила бы огненным пламенем весь Европейский материк» («Поход за Вислу»). Созданный тогда же «Марш Буденного» воплотил эту программу Тухачевского в художественную форму:

Даешь Варшаву! Дай Берлин!
Уж врезались мы в Крым!

Позиция Мережковских в начале 1920-х годов становится до конца понятной только на этом историческом фоне.

* * *

Генуэзская конференция весной 1922 года зафиксировала признание европейскими странами равноправия двух систем собственности – капиталистической и коммунистической, создав основу для политического и экономического «мирного сосуществования» РСФСР и «буржуазных демократий». В послевоенной и послереволюционной Европе наступило относительное затишье. Откровенные экстремисты-интернационалисты вроде Троцкого потеряли ключевые посты в руководстве созданного на руинах Российской империи Союза Советских Социалистических Республик, а рост влияния экстремистов-националистов в странах самой Европы, потерпевших поражение в мировой войне, страны-победительницы предпочитали не замечать. Здесь все хотели верить в «вечный мир», и Мережковский был одним из немногих неприятных пессимистов, позволяющих себе публично усомниться в незыблемости и правоте принципов Версальского мирного договора.

Его позиция в этот последний период жизни теперь окончательно определяется: пользуясь своим авторитетом писателя «с европейским именем», он считает своим долгом напоминать при встречах с «сильными мира сего» о крайнем неблагополучии в современном мире, о страданиях России под игом тоталитарного режима, об угрозе коммунистической агрессии, о возможности Второй мировой войны. **Но все его заявления отныне делаются с позиции частного лица, руководствующегося не столько «мистическими прозрениями», сколько обычным здравым смыслом, – ни к каким партиям или общественным движениям он принципиально не примыкает.**

«В нижнем этаже – пороховой погреб фашизма; в верхнем –

советская лаборатория взрывчатых веществ, а в среднем – Европа в муках родов: мир хочет родить, а рождает войну, – писал Мережковский в конце 1920-х годов. – …Можно бы избегнуть второй войны, если бы мы помнили первую, но память наша о ней – тусклая лампада над могилой Неизвестного Солдата.

Миролюбивая Европа – как жена прелюбодейная: поела, обтерла рот свой и говорит: «я ничего худого не сделала…»

Мы забыли, простили себе войну, но, может быть, война не простила нам.

Нынешний мир – щель между двумя жерновами, духота между двумя грозами – перемирие между двумя войнами.

Десять лет я решаю и все не могу решить, где сейчас душнее, страшнее, – здесь, в Европе, или там, в России. Может быть, равно, только по-разному».

К его словам, впрочем, политики мало прислушиваются, и уже во второй половине 1920-х годов его «политическая активность» поневоле затухает.

– Я лез к ним со своими жалобами и пророчествами, – раздраженно говорил он Н. А. Берберовой, рассказывая о контактах с европейскими лидерами, – а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция ужасно интересный опыт в экзотической стране и их не касается. И что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с каннибалами.

«Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, – вспоминала об этих парижских встречах Берберова, – все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки, все было подчинено одному чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда все это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу:

– …и вот потому-то мы тут! – Или:

– … и вот потому-то они там!

Но чаще его речь была окрашена одним цветом:

– Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?

Она думала минуту.

– Свобода без России, – отвечала она, – и потому я здесь, а не там.

– Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но… – и он задумывался, ни на кого не глядя, – на что мне собственно нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?…»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мережковский во время «второй эмиграции». – Сотрудничество в «Современных записках». – «Воскресенья» у Мережковских и «Зеленая лампа». – Съезд писателей-эмигрантов в Белграде. – «Нобелевская гонка»: Мережковский и Бунин. – Позднее творчество Мережковского. – Русская Церковь в 1920-е годы и «Декларация» митрополита Сергия. – 1930-е годы. – Мережковские в Италии. – Война. – Смерть Мережковского

Мережковские были едва ли не единственные из писателей-эмигрантов, которые, приехав в Париж в конце октября 1920 года, могли отпереть своим ключом дверь квартиры в доме № 11-бис, рю Колонель Боннэ, чудом оставшейся за ними (благодаря преданности их «довоенной» французской горничной) со всей тогдашней обстановкой. Здесь все сохранилось на своих местах: книги, посуда, белье. Мережковский и Гиппиус счастливо избежали трагедии бездомности, через которую прошли их собратья по «литературному цеху».

«Как пригодилась эта квартира, – поражалась Гиппиус, вспоминая свое внезапное решение о покупке *pied-a-terre* в Пасси в 1911 году. – Ведь в Париже теперь квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Гости Мережковских с удивлением рассматривали вполне «буржуазный» уют хозяев; для большинства беженцев из России, селившихся в пансионах, дешевых меблированных комнатах и мансардах, скромная обстановка и, главное, сохранившаяся многотомная библиотека казались пределом жилищного комфорта.

Мережковский сразу же организует у себя тот размеренный, освященный незыблемыми традициями жизненный уклад, который был прерван в недоброй памяти 1917 году: работа по утрам, прогулка, визиты или прием гостей. Очень быстро формируется устойчивый круг общения. У них часто бывает И. И. Фондаминский, также отошедший от политики и целиком посвятивший себя культурной и религиозной деятельности, заходят А. Ф. Керенский и бывший министр иностранных дел в его правительстве П. Н. Милюков, переквалифицировавшиеся из политиков в журналистов (последний редактировал самую влиятельную эмигрантскую газету «Последние новости»). Постоянными визитерами Мережковских оказываются крупнейшие писатели «русского зарубежья» – Борис Зайцев, Надежда Тэффи, Марк Алданов, целая «плеяда» литературной молодежи: Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Владислав Ходасевич, Нина Берберова, Георгий Адамович, Николай Оцуп, Юрий Терапиано.

Мережковские возобновляют даже традиционные весенние и летние «курортные» и «дачные» выезды – в Германию или на юг Франции, где несколько сезонов они соседствовали с Буниными, снимая виллы неподалеку от знаменитого «бунинского» «Бельведера» в Грасе.

Жизненный путь Мережковского лишний раз подтверждал закон неумолимого возврата всего «на круги своя», словно бы воскрешая теперь начало 90-х годов XIX века – эпоху мирной «затворнической» работы над первым романом первой «трилогии», когда ее автор признавался П. П. Перцову: «Мы должны стоять на поле битвы и ждать – в этом есть свой героизм и свой труд». Как мы знаем, сил на то, чтобы до *конца* сохранить выдержку, у Мережковского не хватило – и он сорвался-таки в «битву», завершившуюся, увы, бесславно. Зато теперь, духовно протрезвившись за годы российского революционного кошмара, он с головой уходит в литературную работу.

– Мы занимаемся литературой, не желая произносить безответственных слов о религии, христианстве и зная, что в русской литературе заключена такая сила подлинной религиозности, что, говоря только словами, мы скажем все, что нужно, и сделаем свое дело, – подытоживал Мережковский свой опыт «общественности» этих лет.

И литературная деятельность Мережковского, в отличие от политической, принесла в этот период его жизни обильные плоды. Признание *писателя* Мережковского как в эмигрантских кругах, так и вообще среди читающей европейской публики – безусловно. И. В. Одоевцева вспоминала о парижских гарсонах,

которые в час, когда, по заведенному обычаю, Мережковский и Гиппиус заходили после прогулки по Булонскому лесу пить кофе, предупредительно резервировали особый столик *pour les deux grands ecrivains russes*.[29] Директор библиотеки в Висбадене, где в 1921 году Мережковский возобновляет работу над «Тайной Трех», узнав о привычке писателя работать дома, в виде исключения разрешает ему особый режим пользования фондами. «…Все время присылают драгоценные, редчайшие материалы из Берлина и Геттингена; такие тяжелые папирусы, что даже на тележке возят на гору ко мне», – с восторгом сообщает об этом Мережковский Бунину.

«Я помню ярко, как они вошли, – вспоминает Н. Н. Берберова визит Мережковских к редактору-издателю газеты (впоследствии – журнала) „Звено“ М. М. Винаверу,[30] в огромной квартире которого собирался в первые годы зарубежья русский «литературный салон», – открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме – лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас‹илий› Ал‹ексеевич› Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал пока закрылись двери, затем продолжал. Все головы повернулись к вошедшим… По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение ‹…› на несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе».

После закрытия в 1922 году «Общего дела» Бурцева постоянным местом сотрудничества Мережковских в эмигрантской периодике становится журнал *«Современные записки»*.

«Современные записки» (названные так в честь двух крупнейших периодических изданий русской либеральной интеллигенции XIX века – «Современника» и «Отечественных записок») были созданы в 1920 году группой бывших лидеров партии эсеров, в которую входили М. В. Вишняк, А. И. Гурской, В. А. Руднев, Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский. Политической программой журнала провозглашались демократические идеалы *Февральской* революции и категорическое отвержение революции *Октябрьской,* однако, как подчеркивалось в редакторском обращении в стартовом номере, *«Современные записки» были обращены в первую очередь не к политике и общественности, а «к интересам русской культуры»*.

«В самой России свободному, независимому слову нет места, а здесь, на чужбине, сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно оторванных от своего народа, от

действенного служения ему, – декларировали участники редакционной коллегии. – Это обстоятельство делает особенно ответственным положение единственного сейчас большого русского ежемесячника за границей. „Современные записки“ открывают потому широко свои страницы, – устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, – для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры».

Такая «широта фронта», по словам историка культуры и литературы русской эмиграции Г. П. Струве, «обеспечила журналу успех у читателей и репутацию не только лучшего журнала в Зарубежье, но и одного из лучших в истории всей русской журналистики».

Работа по формированию круга постоянных авторов с самого начала существования журнала была возложена на **Илью Исидоровича Фондаминского,** который и привлек своих старых знакомых к сотрудничеству в «Записках». Как и Мережковский, Фондаминский в полной мере испил в годы революции и Гражданской войны горькую чашу разочарования в утопических идеалах молодости. Однако, в отличие от «непримиримых», Фондаминский видел единственным выходом из «эмигрантского» жизненного и духовного кризиса путь личного покаяния, прощения врагов и отказ от какого-либо «реванша» в будущем.

Выходец из семьи правоверных иудеев, участник эсеровского революционного подполья, Фондаминский стал одним из деятельных сотрудников русской православной общины зарубежья. На его квартире проходили собрания писателей и философов, многие из которых станут впоследствии инициаторами создания религиозно-общественной благотворительной организации «Православное дело» (1935–1943), призванной решать «вопросы крова, одежды, насущного хлеба, материнства, болезни» среди эмигрантской бедноты.

В «Православное дело» вошли Н. А. Бердяев, о. Сергий Булгаков, литературовед К. В. Мочульский, а возглавила движение знаменитая монахиня Мария – Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева. Фондаминский был одним из самых деятельных помощников матери Марии, с которой его объединяли «одни и те же мысли, язык, идеал христианской любви, общая обращенность к страждущему миру и жертвенность» (Ф. Т. Пьянов). Будучи православным и по убеждениям и по образу жизни, Фондаминский долго откладывал свое крещение, полагая себя, бывшего эсера-террориста,

«недостойным». Крестился он только в сентябре 1941 года, в Компьенском концентрационном лагере, куда был отправлен немецкими оккупационными властями вместе с другими парижскими евреями. Узнав, что Фондаминскому грозит отправка в Освенцим, друзья подготовили ему побег, но он счел недопустимым для христианина покинуть обреченных на смерть соузников. «Пусть друзья мои обо мне не беспокоятся, – писал он в последнем письме на волю. – Скажите всем, что мне очень хорошо. Я совсем счастлив. Никогда не думал, что столько радости в Боге». В Освенциме он был убит 19 ноября 1942 года, как и хотел, «со всеми».

– Из такого теста делаются святые, – подытожила историю жизни Фондаминского мать Мария, повторившая через два года его подвиг.

Именно Фондаминский, хорошо понимая, что дело Савинкова в Польше проиграно, «выманил» Мережковских в Париж из Варшавы осенью 1920 года, деликатно использовав в качестве предлога… «квартирный вопрос». «Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела, благодаря заботам о ней прежней нашей горничной, – писала Гиппиус (в своих воспоминаниях она именует Фондаминского его постоянным литературным псевдонимом – И. Бунаков). – ‹…› Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений».

Фондаминский же встретил своих друзей в Париже, «заселил» их на Колонель Боннэ и первое время «опекал», вводя в эмигрантские круги послевоенного Парижа. Однако увидев, что Мережковские еще не отошли от варшавских политических страстей и ведут себя, мягко говоря, неадекватно своему положению и возможностям, Фондаминский тихо отошел от «Союза непримиримых», провожаемый раздраженным брюзжанием Гиппиус, «достаточно», по ее мнению, «узнавшей» и самого бывшего эсера-террориста, и «его партию… ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, – „все такие, как негодяй Чернов“, – и где он был, *в лучшем случае,* как бы пленником».

– Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость, – добавляла Гиппиус (о других эмигрантах, не пожелавших объединиться с «союзниками», она высказывалась куда резче). – Он все-таки казался нам человеком… симпатичным, но – какие же можно было возлагать на него надежды!..

Выждав, пока супруги «отбуянят» в бурцевской газете, Фондаминский после закрытия «Общего дела» вновь возникает у

Мережковских с предложением переключиться с политической на литературно-общественную деятельность, благо бесперспективность первой понимала к этому времени даже Зинаида Николаевна, затосковавшая по славным временам литературной полемики в эпоху «Нового пути». «Что до меня – я уже на беллетристику свою махнула рукой, – писала она 28 октября 1923 года И. С. Шмелеву, – подумала вернуться к литературной критике. В Совдепии литературы не имеется, все „мэтры“ наши здесь. Ну вот за них и примусь полегоньку ‹…› пора воскреснуть Антону Крайнему».

И «Антон Крайний» действительно «воскрес» на страницах «Современных записок»: с 1924 года под этим дореволюционным, «весовским» псевдонимом Гиппиус помещает здесь регулярные обзоры зарубежной русской литературы. Мережковский печатался в журнале Фондаминского гораздо реже жены; он опубликовал в нем в 1924–1926 годах *«Тутанкамона на Крите»* и *«Мессию»* – последние из его больших «беллетристических» вещей.

Сотрудничество с «Записками», как, впрочем, и с другими крупными изданиями зарубежья, протекало у Мережковских трудно, поскольку, по ядовитому выражению Г. П. Струве, оба не могли избавиться от раздражавшего окружающих убеждения в том, что они «чуть ли не одни хранили белизну эмигрантских риз, одни оставались верны завету непримиримости к большевикам». Однако благодаря «опеке» и «кураторству» Фондаминского именно этот журнал может, в какой-то мере, быть назван «третьим» (и последним) «своим» журналом Мережковского, имевшим в годы его эмиграции значение, подобное тому, которое имели некогда «Северный вестник» и «Новый путь».

* * *

«…Несмотря на свою политическую изолированность, Мережковские и в 20-х и в 30-х годах играли видную роль в русском Париже и в частности в его литературной жизни, – пишет Г. П. Струве. – Единомышленных с ними людей, если не считать ‹…› Злобина, около них почти не было. Но вокруг Мережковских всегда кипела интенсивная интеллектуальная жизнь. К ним льнула в Париже литературная молодежь, хотя именно этой молодежи были скорее чужды их религиозно-общественные интересы и их политическое однодумство».

У Мережковского в эмиграции был свой, весьма широкий круг постоянных поклонников и почитателей, и «молодые» занимали в нем действительно важное место. Прежде всего это

относится к участникам Союза молодых поэтов, организованного в 1920-е годы литераторами, собиравшимися в кафе «Ла Болле» Латинского квартала. С 1925 года эти собрания приняли организованный характер. Стали проходить литературные вечера, на которых «начинающие» (как правило, не имеющие доступа на страницы «серьезных» изданий «русского Парижа») читали свои стихи, делались доклады, проходили обсуждения книжных новинок зарубежья.

Среди организаторов Союза были молодой поэт и критик, дебютировавший еще в России, **Юрий Константинович Терапиано** (ставший первым председателем Союза) и студент филологического факультета Сорбонны **Виктор Андреевич Мамченко.** Оба были поклонниками Мережковского – в 1925 году Терапиано сделал доклад о только что появившемся романе «Тутанкамон на Крите» («Рождение Богов») – и стали главными «посредниками» между литераторами Союза молодых поэтов и квартирой на рю Колонель Боннэ.

С 1925 года Мережковский и Гиппиус устраивают у себя по воскресеньям литературный *jour-fixe.* Состав участников «воскресений» был весьма пестрый, помимо постоянных гостей Мережковских сюда специально приглашали новичков на «литературные смотрины».

– Единственное условие, – предупреждала Гиппиус, – чистота в смысле антибольшевизма.

С первых дней установился негласный ритуал приема, четко деливший «воскресенья» на «два акта». Прибывающие гости собирались в приемной. Тон здесь задавала Гиппиус, искусно поддерживая случайный и немного «сплетнический» разговор – о чьей-нибудь статье или стихах, о каких-нибудь обидах и недоразумениях.

Через некоторое время появлялся Мережковский, одетый всегда по-домашнему, в знаменитых бесшумных домашних туфлях с помпонами, и вежливо раскланивался с каждым.

– Зина, довольно говорить о пустяках, – произносил он. – Лучше пойдем чай пить.

В столовой за чайным столом разговор, как правило, менялся – инициатива переходила к Мережковскому. «О чем только не говорилось на этих воскресных собраниях, – вспоминал Ю. Фельзен. – Толстой, политика, большевики, религия, Марсель Пруст, русские символисты, французские неокатолики, греческая трагедия… Всего не перечислить и не запомнить». Мережковский решительно протестовал лишь против «общепринятых» «светских» тем – о погоде, здоровье и тому подобном. Он мгновенно пресекал их возмущенным возгласом:

– Обывательщина!

«Воскресенья» Мережковских органично трансформировались в некое подобие постоянно действующего литературно-философского клуба *«Зеленая лампа»* (в честь кружка Н. В. Всеволожского, завсегдатаем которого был Пушкин), сделавшего свои заседания публичными.

Организационное собрание «Зеленой лампы» состоялось 5 февраля 1927 года в здании Русского коммерческого и промышленного союза. Это заседание запомнилось яркими выступлениями Владислава Ходасевича и Мережковского (первый говорил о деятельности «пушкинской» «Зеленой лампы» в начале XIX века, второй – рассказал о целях и задачах нового общества) и… экстравагантным нарядом Зинаиды Николаевны, явившейся на заседание с изумрудом, висевшим на лбу, между бровями, на цепочке («А сама-то величава, / Выступает, будто пава, / Месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит»).

Неизвестно, что подействовало – мастерство ли выступающих или эпатаж Гиппиус, но о новом обществе заговорили, и собрание 31 марта было уже анонсировано в центральном органе «русского Парижа» – газете «Последние новости». Это был чисто литературный вечер: с чтением стихов выступили эмигрантские поэты «и старые, и юные» – Нина Берберова, Владимир Злобин, Иван Бунин, Владислав Ходасевич, Николай Оцуп, Георгий Адамович, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Юрий Терапиано, Михаил Цетлин, Антонин Ладинский, Довид Кнут. Подобная «демонстрация сил» русской литературной эмиграции вызвала у «молодежи» что-то вроде эйфории, так что на третьем заседании прозвучали восторженные слова двадцатисемилетнего Довида Кнута, облетевшие все русское зарубежье:

– Отныне столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж!

Мережковский аплодировал молодому поэту демонстративно бурно. Впрочем, именно Мережковский настоял затем, чтобы деятельность «Зеленой лампы» носила не «литературный», а «общественно-философский» характер. Таким образом, устанавливалось «жанровое разделение» «воскресений» и «Зеленой лампы»: если первые продолжали оставаться камерными «литературными посиделками» Мережковских, то «Лампа» обретала черты публичного «дискуссионного клуба» (впоследствии эта дифференциация соблюдалась не всегда).

В годы наивысшего расцвета – 1927– 1928-й – участники «Зеленой лампы» собирали большие залы и имели даже свой журнал – *«Новый корабль»,* издаваемый Ю. К. Терапиано и В. А. Злобиным. В «Корабле» публиковались стенограммы заседаний,

что делало это «эмигрантское» детище Мережковских прямым преемником «Нового пути», хотя и менее долговечным (вышло всего четыре номера). Тематика выступлений была самой разнообразной – от полемики о «цели поэзии» до обсуждения «миссии русской интеллигенции». По идее Мережковского, одной из главных задач участников «Зеленой лампы» была нравственная поддержка русских эмигрантов, прежде всего – эмигрантской молодежи, сползающей под гнетом быта в «болото бездуховности». На заседаниях «Зеленой лампы» Мережковский неоднократно возвращался к своему любимому образу «рыцарей духа», презирающих «тьмы низких истин» земного бытия.

– Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество, – цитировал Мережковский Эмпедокла. – Или – противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства – война. Язва рождения – Содом. Пол с войной пересекаются. Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне. «Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил!» – молился Соловьев, соединяя две эти язвы в одну. И поэтому здесь я – с Соловьевым!..

Воскресали старые мечты о братстве «людей Третьего Завета», безбытных и аскетичных; впрочем, Мережковский уже не особенно увлекался этой иллюзией, предпочитая говорить просто о «духовности» творческих натур, противостоящей «бессмертной пошлости людской» «Зеленой лампой» заинтересовались самые широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания. Для этого требовалось письменное приглашение (дававшееся, впрочем, без особых затруднений). «Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова, – вспоминала Ирина Одоевцева. – Казалось, он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям».

Заседания «Зеленой лампы» продолжались до самой войны и, как отмечали многие участники, оставили по себе светлую память, сформировав умы целого ряда молодых художников русской эмиграции «первой волны».

Вообще роль Мережковских в культурном воспитании литературной эмигрантской молодежи трудно переоценить. Если «старшее» поколение литераторов имело за границей хоть какой-

то реальный стимул к занятиям искусством, то те, кто видел с юности лишь войны и революции и не получил потому никакого систематического образования, те, кого именовали в глаза *«незамеченным поколением»,* – были обречены на молчание. Ни они сами, ни их произведения были просто никому не нужны. «Когда бывший военный, офицер, делается шофером такси, это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка, – поясняла сложившееся положение Гиппиус. – Но если молодой интеллигент, со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя, убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней… – это дело как будто иное».

Собрания у Мережковских и заседания «Зеленой лампы» были для интеллигентной русской молодежи одной из немногих «отдушин», дававших возможность хоть какого-нибудь самовыражения. Мережковский и Гиппиус содействовали выходу книг и поэтических сборников и «пристраивали» подающих надежду дебютантов в эмигрантскую периодику. В 1939 году они на свои деньги издают целый «свободный сборник» молодых поэтов – *«Литературный смотр».* Задумано было сделать продолжение в виде постоянного альманаха, но – помешала война.

В общем, можно сказать, что «умаление» Мережковского-«пророка» и «политика» в годы эмиграции явилось своеобразной «индульгенцией» для Мережковского-писателя и Мережковского-человека. «Не будем проклинать изгнанье» – эмиграция и здесь оказала свое парадоксально-благодатное влияние, по слову того же Г. В. Адамовича:

За все спасибо, за войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней – все потерять.
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже…

* * *

Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов Мережковский переживает творческий подъем. Успеху его литературного труда в большой степени способствует существенная поддержка, которую ему, вместе с другими крупнейшими писателями русского зарубежья, оказывали чешское и сербское правительства. Эта поддержка была вызвана как определенным «комплексом вины» за «русскую катастрофу», спровоцированную тяготами той самой мировой войны, в которую Россия ввязалась, защищая братские славянские народы против германской агрессии и угнетения, так и желанием занять роль «общеславянского лидера», вакантную после падения Российской империи.

В 1924 году Мережковский, по совету П. Б. Струве, обратился к чехам с просьбой о помощи русским писателям, живущим в Париже. В ответ на это обращение президент Т. Масарик определил следующие пособия: Мережковскому и Гиппиус – 3 тысячи чешских крон в месяц и по 2 тысячи крон – И. А. Бунину и И. С. Шмелеву. Помимо того, все писатели приглашались на жительство в Прагу. Приглашением, правда, не воспользовался никто, но деньги, регулярно поступавшие до начала 1930-х годов, оказались существенным подспорьем, дающим возможность если не обеспеченного, то, по крайней мере, не обремененного нищенскими проблемами оплаты квартиры, электричества, газа, транспорта творческого досуга существования.

До середины 1930-х годов ежемесячное пособие восьми русским писателям – Мережковскому, Гиппиус, Бунину, Ремизову, Зайцеву, Тэффи, Куприну и Шмелеву – выплачивало с ведома короля и югославское правительство, а осенью 1928 года с подачи сербской Академии наук и ее председателя А. Белича в Белграде под патронажем короля Александра I Карагеоргиевича был проведен Съезд русских писателей, живших в эмиграции.

Этот белградский Съезд стал крупнейшим литературным форумом в истории русского зарубежья. От русской диаспоры Белграда его подготовкой занимались журналист А. И. Ксюнин и председатель югославского Союза русских писателей и журналистов Е. А. Жуков. Задачами съезда были, во-первых, объединение всех литераторов-эмигрантов в единую организацию и, во-вторых, демонстрация «русской литературы в изгнании» западной общественности (в эти же дни в Белграде проходил Международный конгресс по защите авторских прав). Первая задача оказалась неразрешимой, вторая же была выполнена. Съезд прошел с большой помпой и широко освещался в

европейской прессе.

Съезд превратился в литературный триумф Мережковского, оказавшегося безусловным «бенефициантом» на всех его заседаниях и мероприятиях. Мережковский выступал с речами на министерских приемах и на аудиенции в королевском дворце (с этого началась 26–27 сентября 1928 года работа форума). Король Александр I, приветствуя всех делегатов, собравшихся в огромном зале, специально остановился возле Мережковских и заговорил с ними по-русски («очень уважительно», как отметили многие). Гиппиус, растерявшись, ответила ему… по-французски, на что Александр, улыбнувшись, заметил: «Мадам беспокоится, что я хуже говорю по-русски, чем она по-французски?» – после чего беседа приобрела совсем непринужденный характер.

На вечере-банкете в Министерстве народного просвещения Югославии Мережковский сидел в центре, за главным столом, рядом с министром (слева от министра, тоже рядом, сидела Гиппиус). Вечер, впрочем, получился оригинальный: в самый патетический момент речи Мережковского прямо «в дуэт» с ним с другого конца стола заговорил Александр Иванович Куприн, бывший, по своему обыкновению, в несколько рассеянном состоянии духа. «Но недолог оказался дуэт, – вспоминает Борис Зайцев. – Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь кафану. Во всяком случае, в тылу у нас стихло. Мережковский кончил спокойно».

На заключительном заседании съезда, 29 сентября, король Александр объявил, что «за выдающиеся заслуги в деле развития славянской культуры» Мережковский награждается орденом Святого Саввы первой степени, надел ему ленту через плечо и вручил звезду (Гиппиус была награждена тем же орденом, но второй степени, предусматривающей только звезду; это ее слегка уязвило, так что потом орденский знак она использовала в качестве… заколки для шали). Награды получили также В. И. Немирович-Данченко, Б. К. Зайцев и А. И. Куприн. Зайцев, проживавший с Мережковскими в эти белградские дни в отеле «Ройяль», вспоминает, что тот признавался ему за вечерним чаем:

– Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком.

После завершения работы съезда Мережковские до конца октября оставались в Югославии. Дмитрий Сергеевич прочел цикл лекций в Белграде и Загребе, был принят сербским патриархом и договорился об издании в Белграде книги о

Наполеоне и о последующем сотрудничестве с созданной в дни съезда «Русской библиотекой», издательским объединением при сербской Академии наук. Гиппиус выступала с чтением мемуаров и стихов. Мережковские вернулись во Францию помолодевшие, гордые успехом и почестями.

* * *

Писательский съезд в Белграде имел одну особенность, не очень явную для его организаторов, но важную для Мережковского: *на нем отсутствовал Бунин.* Несмотря на то, что это отсутствие было вызвано личными, бытовыми причинами, такая *случайная* демонстрация *безусловного* лидерства Мережковского среди русских писателей-эмигрантов становилась важным фактором в оригинальной «нобелевской интриге», которая разворачивалась в «русском зарубежье» с начала 1920-х годов.

Как известно, первым номинантом на Нобелевскую премию среди русских (а также и всех прочих) литераторов был Лев Николаевич Толстой, которого безуспешно выдвигали с 1902 по 1906 год целый ряд как русских, так и зарубежных номинаторов. Впрочем, Лев Николаевич рассматривался как претендент на Нобелевскую премию еще до ее реального воплощения – в декабре 1897 года. Тогда, сразу после кончины Альфреда Нобеля и оглашения его завещания, на «Шведском обществе друзей мира и трактатов о третейских судах» прозвучало предложение дать «премию мира» Толстому, который лучше всех современных общественных деятелей сможет «употребить ее на то, на что найдет он более целесообразным». Лев Николаевич отреагировал на известия из Стокгольма в своем духе: он написал открытое письмо, в котором утверждал, что *«люди, действительно служащие делу мира, служат ему потому, что служат Богу, и потому не нуждаются в денежном вознаграждении и не примут его,* и посоветовал душеприказчикам Нобеля, – «уж коль имеются деньги», – отдать их семьям кавказских духоборов, кормильцы которых были арестованы за отказ от военной службы.

Совет Толстого был принят к сведению Нобелевским комитетом – не в том смысле, что деньги перевели духоборам, а в том, что со Львом Николаевичем больше дела не имели. В 1902 году, получив первые представления на Толстого, Нобелевский комитет, у членов которого его роман «Воскресение» пробудил «чувство нравственного негодования», а драма «Власть тьмы» ужаснула «зловещими натуралистическими картинами», выдал

отрицательное заключение, не оставляющее никаких надежд на нобелевские лавры ни сейчас, ни в будущем.

В 1902 году номинантом на литературную Нобелевскую премию от России, помимо Толстого, был А. Ф. Кони, а в 1914 году академик Н. А. Котляревский выдвинул кандидатуру Мережковского, который, таким образом, стал **третьим** русским кандидатом в истории «нобелианы». В 1918 году русским номинантом был Максим Горький, замкнув, таким образом, «великолепную четверку» писателей, претендовавших на Нобелевскую премию в дореволюционной России.

В эмигрантских кругах о «русской» Нобелевской литературной премии заговорила впервые в 1922 году газета «Слово», которая провела опрос «Кто заслуживает премии?» среди «парижских» русских писателей. Мережковский ответил тогда, что, по его мнению, среди писателей-эмигрантов «никто не выдвинулся» в претенденты на эту награду. Он ошибался: в 1923 году Ромен Роллан выдвинул на рассмотрение Нобелевского комитета сразу три кандидатуры из русских писателей-эмигрантов: К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина и Максима Горького (последний покинул «ленинскую Россию» в 1921-м). Однако шведские академики открыто опасались чрезмерной политизации фигурантов от тогдашней русской словесности, расколотой на «советский» и «эмигрантский» станы, и премию никто из этой «триады» не получил. В 1926 году среди нобелевских номинантов был заведомо «непроходной» член эмигрантского Высшего монархического совета генерал П. Н. Краснов, автор эпопеи «От Двуглавого Орла к Красному Знамени» (1921–1922), а в 1928-м – вновь (также безрезультатно) Горький.

В конце 1920-х годов необходимость присуждения Нобелевской премии русскому писателю – в знак признания выдающейся роли российской словесности в мировой культуре последних десятилетий – была осознана многими участниками «нобелевского процесса». В этом смысле существенную роль, конечно, сыграл и Белградский литературный съезд. С 1930 года профессор славянских языков Лундского университета Сигурд Агрелл начал настойчиво добиваться присуждения литературной Нобелевской премии русскому писателю, ежегодно выдвигая кандидатуры Бунина и Мережковского. Фаворитом в этом «тандеме» оказался Бунин: в 1931 году его, помимо Агрелла, поддержали шесть номинаторов (среди которых был племянник учредителя премии Эммануэль Нобель), а в 1932-м – четыре. Помимо Бунина и Мережковского в 1931 и 1932 годах номинантом на премию, с подачи Томаса Манна и Германа Гессе, выдвигался и И. С. Шмелев.

Мережковский страстно хотел получить премию, причем, помимо честолюбия, здесь имели место и вполне «земные» причины, о которых со свойственной ему прямотой писал Георгий Иванов: «Русская литература… никогда не была охотницей до академических отличий и официальных лавров. К вопросу о Нобелевской премии она относилась всегда совершенно равнодушно. И если в наши дни равнодушие сменилось ежедневным напряженным ожиданием, что вот, наконец, печальная традиция в отношении России будет нарушена и лауреатом будет объявлен русский писатель, это, главным образом, потому, что кроме похвального листа, вручаемого избраннику под звуки марша и треск киноаппаратов, ему, как известно, вручают еще и чек. И в этом чеке, если его получит русский, заключается для него не сомнительная „честь“, не „слава“, которой у нас и так достаточно, а спасение от самой черной, самой неслыханной нужды». Если учесть, что в начале 1930-х годов цены в Париже, как сообщали эмигрантские газеты, поднялись в среднем в пять-шесть раз, то беспокойство Мережковского за свое ближайшее будущее понять можно.

С главным конкурентом по «нобелевской гонке» у Мережковского с первых лет эмиграции сложились достаточно тесные и, в общем, неплохие отношения. Как свидетельствует Гиппиус, в дореволюционные годы пути их не пересекались и первое личное знакомство состоялось лишь осенью 1920 года в Париже. Знакомство было успешным настолько, что в 1921 году Мережковские зовут чету Буниных погостить к себе на дачу в Висбаден, а на следующее лето обе семьи снимают дачный коттедж в Амбуазе. В качестве близких знакомых Мережковские присутствовали на венчании Бунина и Веры Николаевны Муромцевой 24 ноября 1922 года.

К середине 1920-х в их отношениях наступило некоторое охлаждение, вызванное прежде всего слишком большой разницей эстетических установок. Гиппиус критиковала прозу Бунина, прославляющую, с точки зрения «Антона Крайнего», безличностное, чувственное начало в ущерб индивидуальному человеческому «я».

– Героями Бунина, – утверждала Гиппиус, – являются не люди, а «процессы»: не Митя, а его *«Любовь»,* не Арсеньев, а его *«Жизнь».* Собственно же люди интересуют Бунина только как «точка применения» этих космических процессов.

Иван Алексеевич в долгу не оставался.

– Написать рассказ о жизни обыкновенных людей, – говорил он, – Мережковский не в состоянии. Ему подавай героев, святых, королей, знаменитостей. За блеском их имен он прячет свое

творческое бессилие…

Естественно, что возникшее на рубеже 1920-1930-х годов «нобелевское противостояние» не улучшало отношений Мережковского и Бунина. Однако и тот и другой тщательно избегали какой-либо ссоры и на людях оставались демонстративно доброжелательными друг к другу. Правда, в апреле 1928 года, за несколько месяцев до белградского Съезда, при встрече Мережковского и Бунина в редакции газеты «Последние новости» произошла двусмысленная сцена. Мережковский, шутя, предложил Ивану Алексеевичу изначально заключить «джентльменское соглашение»: *премию, у кого бы из двух она ни оказалась, разделить пополам.*

– Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич, – решительно сказал тогда Бунин. – Не согласен. Заранее заявляю – делиться и не подумаю. Вам присудят – ваше счастье. Мне – так мое.

Вопрос о «дележке» премии (упирая на «широкий русский характер») Мережковский поднял и в 1932 году, когда шансы Бунина на получение награды были максимальными. Бунин в ответ съязвил:

– Вот вам, Дмитрий Сергеевич, сербский король дал орден, что же вы его не отдаете ради «широты характера»?

Но премию в этом году присудили Джону Голсуорси (согласно легенде, Бунин встретил это известие евангельской сентенцией: «Птицы небесные не сеют, не жнут, а сыты бывают!»).

В 1933 году настойчивый Агрелл, как некогда Ромен Роллан, выдвигает кандидатами на премию трех русских писателей – Бунина, Мережковского и Горького. Помимо него кандидатуру Бунина выдвигают еще профессор восточно-европейской истории Ф. Браун, профессор античной истории М. И. Ростовцев, профессор славянской филологии В. А. Францев и профессор славянских языков О. Брош.

10 ноября 1933 года все эмигрантские газеты вышли с громадными заголовками: «Бунин – нобелевский лауреат».

Мережковский перенес поражение достойно и поздравил счастливого конкурента. Бунин, вернувшись из Стокгольма, в свою очередь, великодушно «отдал визит», во время которого разыгралась трагикомическая сцена, свидетельницей которой была Ирина Одоевцева:

«Из прихожей быстро входит известный художник Х., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

– Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

– Иван Алексеевич! – вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: – Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления… От всего сердца…

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку:

– Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, – неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь».

По вопросам творческим оба «кита» русской литературной эмиграции не могли столковаться: Бунин до конца дней был уверен, что писания Мережковского – профанация художественной прозы, а Мережковский звал Бунина не «писателем», а «описателем» и признавался, что лучшим средством от бессонницы считает бунинскую «Деревню», хранившуюся у него в спальне, на тумбочке у кровати. Дальше двадцатой страницы Мережковский никак не мог ее прочитать – морил беспробудный сон.

Интересно, что С. Агрелл и после получения Буниным премии продолжал ежегодно, вплоть до своей смерти в 1937 году, выдвигать кандидатуру Мережковского на рассмотрение Нобелевского комитета. Вряд ли можно говорить о каких-либо реальных шансах на вторую «русскую премию» в довоенный период, однако то, что *Мережковский единственный из всех как эмигрантских, так и советских писателей представлял в эти годы русскую литературу в нобелевском процессе,* было, конечно, в символическом плане лестно для нашего героя.

Помимо того, финал «нобелевской гонки» имел и еще одно, неожиданно благое значение для репутации Мережковского в глазах читателей обоих, противостоящих друг другу русских «политических станов». Сразу же после получения премии советская «Литературная газета» возвела Бунина в ранг *«матерого волка контрреволюции»,* а бунинские торжества в Стокгольме стали поводом для ультраправых эмигрантов причислить Ивана Алексеевича к масонам, ибо *«Нобелевская масонская премия, как общее правило, выдается только масонам».* Пожалуй, единственный раз в послереволюционные годы Мережковскому на этот счет ни в советской, ни в зарубежной печати ничего не грозило…

* * *

Плодотворность парижского пятнадцатилетия Мережковского (1920–1935) поразительна – даже для него. За эти годы написаны: *«Тайна Трех: Египет и Вавилон»* (1925), историческая дилогия *«Рождение Богов» («Тутанкамон на Крите»* и *«Мессия»),* художественная биография Наполеона, продолжение «Тайны Трех» – *«Атлантида – Европа»* и *«Иисус Неизвестный»,* а также «исследования» *«Павел и Августин», «Франциск Ассизский»* и *«Жанна д'Арк»,* объединенные в излюбленную форму «трилогии» под общим названием «Лица святых от Иисуса к нам».

«Эмигрантский» период Мережковского открывают два «египетских» романа – «Тутанкамон на Крите» и «Мессия». История их возникновения интересна прежде всего потому, что проливает свет на события, сформировавшие у автора *принципиально) новую точку зрения на роль христианства в современном мире.* В сущности, это была последняя «идейная метаморфоза» Мережковского-«богоискателя», определившая всю специфику его позднего творчества.

С начала XX столетия и до середины 1920-х годов на острове Крит и в египетской Долине царей на Ниле постоянно работали две археологические экспедиции, результаты которых регулярно производили сенсации в научном мире.

В 1900 году Артур Эванс, занимавшийся до того расшифровкой древних письменных знаков, прибыл на Крит и начал раскопки близ города Кносс, надеясь обнаружить надписи, подтверждающие его теории. Долго на Крите он задерживаться не планировал. Однако буквально с первых дней раскопок Эванс наткнулся на такие странные и удивительные вещи, что вскоре был вынужден просить продления срока экспедиции на год, чтобы «раскопать все, что может представить интерес для науки». Вместо года Эванс проработал под Кноссом двадцать пять лет, поскольку очень скоро выяснилось, что он наткнулся ни много ни мало как на легендарный Лабиринт – дворец царя Миноса, убежище Минотавра, побежденного Тесеем. То, что ранее воспринималось как плод поэтического воображения древних греков, теперь приобретало очевидность исторического факта.

В 1902 году американский археолог Теодор Дэвис получил разрешение египетского правительства на раскопки близ города Луксор в нильской долине, где, после того как фараон Тутмос I порвал с многовековой традицией пирамид и приказал отделить свою гробницу от поминального храма, находился некрополь египетских царей. За двенадцать лет раскопок Дэвису удалось обнаружить несколько вырубленных в скалах царских гробниц – Тутмоса IV, Сипта, Хоремхеба, но самой важной из этих находок была гробница, в которой находился саркофаг с мумией

знаменитого религиозного реформатора Нового Царства (1555–1090 годы до Р. Х.) фараона Аменхотепа IV, именовавшего себя Эхнатоном. Преемником Эхнатона, который погиб во время бунта, вызванного его реформами, был фараон Тутанхамон. Гробницу этого фараона (занимавшего престол очень мало и скончавшегося в возрасте восемнадцати лет) продолжили искать в Долине царей великий Говард Картер и его друг лорд Карнарвон, к которому в 1914 году и перешла концессия Дэвиса.

Ввиду начавшейся в Европе мировой войны Картер и Карнарвон смогли полностью развернуть свои работы лишь к 1917 году, но и потом около пяти лет им было суждено без всяких видимых результатов прокапывать новые и новые траншеи в изрытой предшествующими экспедициями вдоль и поперек Долине царей. И лишь в конце ноября 1922 года, обнаружив в очередном раскопанном туннеле дверь с печатями Тутанхамона, Говард Картер, заглянув в пробитое отверстие, воскликнул: «Я вижу несметные сокровища!»

Открытие гробницы Тутанхамона, почти не тронутой временем и людьми за *три тысячи лет,* стало первой в археологии мировой сенсацией «универсального действия». В истории мировых археологических открытий экспедиция Картера стоит на особом месте не только по количеству и качеству найденного, но и по тому поистине всемирному *общественному резонансу,* который породили в 1922–1923 годах известия из Египта. Архитекторы, декораторы, ювелиры и модельеры в Европе и Америке под впечатлением сокровищ гробницы создали особый «египетский стиль», и теперь даже парижские и лондонские модницы, традиционно далекие от проблем исследования Древнего мира, на все лады произносили имя юного фараона, покупая платья и делая прически *a la* Тутанхамон. *Мир древний и мир современный вдруг оказались «лицом к лицу».*

Гений Картера и Карнарвона, организовавших великую экспедицию, заключался еще и в том, что они с необыкновенной продуктивностью использовали результаты многочисленных предшественников, синтезируя разрозненные данные в некую единую картину, позволившую им искать именно гробницу Тутанхамона (в этой предельной целенаправленности усилий заключался новаторский вклад Говарда Картера в развитие археологии). Можно сказать, что открытие гробницы Тутанхамона знаменовало тот рубеж, когда *количество* археологических открытий, накапливавшееся в европейской исторической науке со времен исследователя Помпеи и Геркуланума Иоганна Винкельмана, перешло в *качество.* В сущности, благодаря деятельности Поля Эмиля Ботты, нашедшего в 1840-х годах

дворцы Ниневии, Генриха Шлимана, открывшего в 1870-е годы Пергамское царство и Микены, и Роберта Кольдевея с его раскопками в Вавилоне в 1890-х годах **к началу XX века была возвращена из исторического небытия вся «Ветхозаветная цивилизация»,** и открытия Эванса и Картера стали лишь блистательным завершением этого процесса.

Мережковский, остававшийся до 1900-х годов далеким от археологии, по мере поступления известий об открытиях экспедиций Кольдевея, Эванса и Дэвиса, широко освещавшихся русской и европейской прессой, был, как и многие его современники, постепенно захвачен этой «археологической интригой», развивавшейся на глазах всего мира с увлекательностью детективного романа. Не исключено, что решающим моментом, приковавшим его внимание к «археологической экспансии» начала XX века, стало открытие Дэвисом гробницы Аменхотепа IV, поскольку личность Эхнатона (у Мережковского – Ахенатона) и трагическая история его царствования были очевидно близки к уже знакомым нам по «Юлиану Отступнику», «Леонардо да Винчи» и «Петру и Алексею» историческим коллизиям. Царь-реформатор и «богоискатель»-солнцепоклонник, строитель «Города Солнца» (Эхнатон перенес столицу Египта из старых Фив в Телль-Амарну), мечтатель и поэт (среди открытий Дэвиса были и стихи Эхнатона, обращенные к его жене Нефертити), он «расширял» хронологические границы «галереи героев» Мережковского, проецируя любимый им историко-биографический сюжет в архаические времена. (Неслучайно, конечно, что «Тутанкамон на Крите» получает второе название – *«Рождение Богов»,* которое подчеркивает связь этого романа с романами «первой трилогии», также имеющими заголовочные дубликаты («Юлиан Отступник» – *«Гибель Богов»,* «Леонардо да Винчи» – *«Воскресшие Боги»,* «Петр и Алексей» – *«Антихрист»).)*

По свидетельству Гиппиус, к изучению материалов о Египте Мережковский приступил зимой 1918/19 года, хотя эта работа задумана была им «давно». Насколько можно понять из ее жизнеописания Мережковского, это был еще довоенный замысел, возникший в «бурную и важную» петербургскую зиму 1913/14 года, – по словам Гиппиус, «Д‹митрий› С‹ергеевич› кончал в это время „14 декабря“ и подготовлялся к другой большой работе». Однако завершение финального романа «Царства Зверя» затянулось, затем началась революция и к новой «большой работе» Мережковскому удалось приступить лишь тогда, когда он в качестве активной «общественной фигуры» оказался полностью «не у дел». Надо думать, что за пять минувших лет у

Мережковского накопился большой материал по истории и археологии Древнего мира, а обстоятельства первой «военно-коммунистической» зимы в Петрограде располагали к работе над ним: уносясь мыслью к временам минувшим, можно было хоть немного отвлечься от ужаса дней нынешних.

По всей вероятности, по мере работы по изучению трудов историков и археологов Мережковский все более отвлекался от первоначального *исторического сюжета* – религиозной реформы Эхнатона и судеб вовлеченных в эти события исторических и вымышленных персонажей – в сторону того историко-культурного контекста, на фоне которого данные события происходили. Материалы раскопок Кольдевея, Эванса и Дэвиса давали обширную новую *«бытовую* фактологию», и Мережковский был особенно потрясен тем, что по многочисленным бытовым реалиям вновь открытых цивилизаций можно было судить о неожиданной *близости верований Древнего мира некоторым основным положениям христианства.* Переходя от египетских древностей к древностям Крита и Вавилона, Мережковский везде наблюдал таинственные совпадения – в обрядах, символах, мифах – с символикой, обрядностью и учением христианства. О подобных совпадениях писал в свое время в «Новом пути» Вячеслав Иванов, исследуя параллели «религии Диониса» с «религией Христа», но теперь, в свете всех вдруг явившихся свидетельств со всех концов древней «ойкумены», проблема «вневременного» характера христианской религии приобретала в глазах Мережковского совершенно иной, «глобальный» характер.

Размышляя над этими свидетельствами, Мережковский приходил к выводу, **что весь мир всегда и везде верил в одно и то же и любая «религиозность» во все времена существования человечества означала как личное, так и коллективное приближение носителей той или иной «религии» к Истине, полнота Которой была явлена в Иисусе Христе.** «Очень хорошо говорит об этом бл‹аженный› Августин: „То, что мы называем христианством, было от начала мира, пока не пришел Христос во плоти и бывшая от начала истинная религия не получила названия: Христианство“. Лучше, точнее нельзя сказать. Это и значит: тени к Телу ведут; боги всех погибших миров, заходящие солнца всех Атлантид ведут к незакатному Солнцу – Христу» («Атлантида – Европа»).

То, что *«все верят по-разному в одного и того же Бога»,* утверждали современные Мережковскому теософы – Е. П. Блаватская, Н. К. Рерих, А. Р. Минцлова. Из этого следовал вывод о необходимости объединения всех существующих в мире религий в единой «мировой религии», которой должна

соответствовать некая «универсальная церковь». Подобный *экуменизм* Мережковский отвергал, замечая, что **приближение к Истине не означает обладания Истиной.** Более того, религиозные чувства, возбуждаемые *чем-то похожим на Христа, но не Самим Христом,* воплощаются в «антихристово действо» в самом прямом, жутком, «зверском» смысле этого слова, и «крещеные боги» Древнего мира оказываются лучшим подтверждением того.

> «Что было бы с миром, если б Он не пришел? ‹…› Вспомним бесконечность человеческих жертв в древней Мексике и знак маянских письмен: связанный голый человек, сидя на корточках, поднял колени и опустил на них голову; это жертва, а рядом исполинская голова кондора-стервятника – Смерть. Вглядываясь в этот знак, вдруг начинаешь понимать, что он изображает не одного человека, а все человечество. Люди как будто сошли с ума и поверили, поняли, как дважды два четыре, что Бог есть дьявол.
>
> Так в царстве майя-тольтеков, краснокожих людей Запада ‹…›, так же и на другом конце – в земле «краснокожих» Востока – сначала керимов-критян, а потом финикийцев ‹…›, на Тиро-Сидонском побережье Ханаана и Пуническом – Северной Африки ‹…›. Вспомним священные ограды Молоха в Гезере, Таанаке, Меггило – кладбища с обугленными костями новорожденных детей – человеческих жертв, вспомним найденные в Карфагене останки 6000 человеческих жертв, вместе с глыбой полурасплавленной бронзы – вероятно, изваянием карфагенской богини Матери, Танит, которой приносились эти жертвы; вспомним, что при осаде Карфагена греческим полководцем Агафоклом погибло 3000 детей в раскаленном железном чреве Молоха, вместе с 300 взрослых, пожелавших быть вольными жертвами. ‹…› Тщетно римским законом Адрианова века запрещены человеческие жертвы по всей империи: втайне продолжались они до конца язычества – до вспыхнувшего на небе крестного знамения: *Сим победиши.* Только единой жертвой Голгофской кончена бесконечность человеческих жертв и, чтобы возобновить ее, как мы это пытались только что сделать в первой всемирной войне и, может быть, во второй – попытаемся, нужно отменить Голгофскую жертву, превратить историческую личность Христа в миф, как мы и это

пытаемся сделать. ‹…› Так же и сейчас, как тогда, был Христос, как бы не был; так же историческая личность Его превращается в миф, тело-в тень. Так же люди всеядны и голодны; верят во всех богов и ни в одного; в наших молельнях, как в древних, – Авраам, Орфей, Аполлоний Тианский, Будда и Христос. Так же хочет воцариться над миром полубогиня, полумошенница, Теософия. Так же кто-то поет над нами веселую песенку о голой, зябкой душе, выходящей из тела, и скучно, страшно людям, как будто заглянул им в очи сам древний царь скуки Сатана».

То, что *«христианство без Христа» и есть «антихристианство»,* религия Антихриста, Мережковский понял уже в самом начале творческого пути, во время работы над первой трилогией. Теперь же, в фантастической, «языческой» обстановке военного коммунизма, изучая вновь открытые документальные исторические свидетельства древних цивилизаций, он приходит к выводу, что, в сущности, **ничего, кроме борьбы христианства и «антихристианства», на протяжении всего существования человечества никогда и не было и нет.**

На фоне этого открытия *частная* история борьбы сторонников бога Атона против сторонников бога Амона в Египте времен Нового Царства, естественно, теряла в глазах Мережковского свою первоначальную привлекательность, тем более что художественное исследование *поведения и психологии героев,* вовлеченных в подобные же исторические коллизии, уже было им предпринято с достаточной полнотой в «Христе и Антихристе». С большой долей уверенности можно утверждать, что к моменту побега из РСФСР (декабрь 1919 года) замысел Мережковского меняется: **вместо художественного исторического романа из жизни Древнего Египта теперь замышляется историческое исследование «прахристиан-ской» символики архаических цивилизаций, фигурировавших в Ветхом Завете.** Можно предположить, что Мережковский вывозил из России два рода рукописей – наброски к художественному роману (будущая «египетская дилогия») и первые «главки» первой «эссеистической» исторической эпопеи – «Тайна Трех. Египет и Вавилон».

К работе над последней Мережковский и приступает в 1921 году в Висбадене, после полуторагодового перерыва, целиком заполненного «политикой», и продолжает работать в 1922 году – до того момента, когда ошеломляющие новости из Долины царей

вновь не приковывают его внимание к уже разработанной, но отложенной теме Эхнатона, Тутанхамона и всей истории «древнеегипетской реформации».

Еще бы! В 1923–1924 годах весь Париж «бредит Тутанхамоном»: это то самое время, когда парикмахеры подрезают счастливым обладательницам черно-смоляных шевелюр (а таковыми, благодаря успехам химии, стали все следящие за модой парижанки) челки, а архитекторы переходят от набивших оскомину кариатид к сфинксам, грифонам и скарабеям, запечатленным на невероятных фотографиях, которые щедро поставляет толпе репортеров, осаждающих Долину царей, Говард Картер. Картер – гениальный Кунктатор[31] от археологии – двигается внутрь гробницы медленно, шаг за шагом, тщательно исследуя каждый метр новых и новых помещений, битком набитых идеально сохранившимися вещами, – и это превращает открытие гробницы Тутанхамона в захватывающий «сериал», растянувшийся на три года (саркофаг, где находилась мумия фараона, Картер позволил вскрыть только в начале 1926 года, когда все тысячи предметов, находящихся в гробнице, были исследованы и отправлены в Каир; только за три месяца, пока шла работа над саркофагом, у гробницы в Луксоре, достаточно удаленном от центров тогдашней цивилизации и труднодоступном по европейским меркам, побывало 12 300 (!) туристов). Мало того: вскоре после открытия гробницы при странных обстоятельствах погибает лорд Карнарвон, и газеты всего мира трубят о *«проклятии фараона»,* чем окончательно повергают в трепет всех обывателей на всех материках (эффект был настолько силен, что до сих пор по голливудским экранам бегают ожившие мумии).

В таких обстоятельствах Мережковский был просто обречен на завершение работы над «египетской дилогией», и в 1924 году на страницах «Современных записок» является «Тутанкамон на Крите», а в 1926 году – «Мессия» (затем они вышли отдельными изданиями в Праге и Париже). Романы имели успех, хотя к ним более чем к каким-либо художественным текстам Мережковского относится мудрое замечание Бориса Константиновича Зайцева (расположенного вообще к Мережковскому) о том, что художественная форма иногда *мешает* восприятию его текстов. «Исторический роман для него, – писал Зайцев, – в главном – *повод высказать идеи*».

В отличие от романов «первой трилогии», «идеи» которых во многом касались «метафизики личности», «египетская дилогия» оказалась целиком обращенной к идеологии «общекультурной». Это сделало собственно «романическое» начало в обоих

произведениях (характеры персонажей, специфику их личностных взаимоотношений и т. д.) неким «довеском» к главному «действующему лицу» – миру архаической цивилизации в его «критском» и «египетском» воплощениях, изображенному Мережковским с невероятной яркостью. Эта яркость *деталей,* в которых, по мнению Мережковского, воплощается «тайна прахристианства», так завораживает читателя, что собственно «сюжет» повествования воспринимается как некая «связка» между описаниями. Так, уже первые строки «Тутанкамона на Крите» формируют странный для романа акцент в читательском восприятии:

> «– „Отец есть любовь“. *Аб-вад. Аб* – Отец, *вад* – любовь. Вот что на талисмане написано.
>
> – Что это значит?
>
> – Не знаю… Как надела мне его мать на шею, так и ношу, никогда не снимаю; он меня всю жизнь хранит».

Легко представить, что после такого вступления именно талисман с его «тайной», а не герой, являющийся его владельцем, становится в глазах заинтригованного читателя главным героем повествования, и дальнейшая история взаимоотношений вавилонянина Таммузамада, влюбленного в критскую жрицу Дио, и их приключения в лесу, где находится святилище Матери, оказываются лишь средством для откровения тайны талисмана:

> «Когда вспыхнуло пламя на жертвеннике, Дио подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, к маленькому чудовищному идолу в глубине пещеры; потом поднесла их ко лбу и соединила над бровями, как будто закрывая глаза от слишком яркого света. Повторила это движение трижды, произнося молитву на древнем, священном языке. Таммузамад плохо понимал его, но все-таки понял, что она молится Матери:
>
> – Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, заступи!
>
> Он удивился, узнав почти ту же молитву, которой мать его учила в детстве; с нею же надела ему на шею и ту корналиновую дощечку-талисман с полустертыми знаками древних письмен: «Отец есть любовь»».

Такое парадоксальное преобладание «вещи» над «человеком» в романическом тексте покоробило поклонников русской прозы XIX века с ее «достоевским» вниманием к внутреннему миру героев. «"Мессия", – писал Михаил Осоргин, – пахнет пылью, но не веков, а просто литературной пылью. *Для иностранцев годится,*

для нас – нет». Поскольку читались романы прекрасно, на подобные стилистические нюансы никто, за исключением некоторых *русских* критиков, внимания не обращал, но и сам Мережковский чувствовал, что захватившая его с 1919 года «культурологическая» тематика плохо укладывается в традиционные художественные жанры, тем более что «параллельно» с «Тутанкамоном на Крите» в 1925 году в Праге выходит *«Тайна Трех»,* отрывки из которой появлялись в «Современных записках» и «Последних новостях».

В отличие от «Тутанкамона на Крите» эта книга сразу вызвала недоумение, прежде всего редакторов, видевших успех «Тутанкамона…» и не понимавших, отчего Мережковский изменяет привычной и востребованной на читательском рынке «беллетристике» и уходит в сложные размышления о никому не ведомых древних культах, лишенные какой-либо «художественной занимательности».

«Делаю же я это только потому, – пояснял Мережковский в „Бесполезном предисловии“ (авторское название) к продолжению „Тайны Трех“ – книге *«Атлантида – Европа»* (1930), – что мне терять уже нечего. Все потерял писатель, нарушивший неумолимый закон: будь похож на читателей или не будь совсем. Я готов не быть сейчас, с надеждой быть потом.

Что значит не быть похожим на читателей, я понял, когда пять лет назад, написав книгу «Тайна Трех», получил от ее французского издателя добрый совет изменить заглавие, чтобы не было похоже на «детективный роман». В IV–V веке на христианском Востоке «Тайна Трех» прозвучала бы: «Тайна Божественной Троицы», а в XX веке, на христианском Западе, звучит: «Тайна трех мошенников, которых ловит Шерлок Холмс»».

«Египетская дилогия» была последним «художественным» произведением Мережковского. «…После „Мессии“ Мережковский „беллетристики“ больше не писал, ‹…› от условной формы „исторического романа“, в которую он облекал занимавшие его темы, он отказался, – замечает Г. П. Струве в своем очерке о „русской литературе в изгнании“. – Все, написанное и напечатанное им после 1926 года, относится к тому роду писаний, на который трудно наклеить какой-нибудь ярлык, хотя можно назвать их художественно-философской прозой. Правильнее же сказать, что это единственный в своем роде Мережковский».

Эмигрантская критика много раз возвращалась к «проблеме жанра» у Мережковского, пока, наконец, не сошлась на заключении, что «Мережковский – единственный русский эссеист в европейском смысле этого слова» (Ю. Мандельштам).

Мережковский отказывается от традиционной «художественности» текста – для того, чтобы вести прямой, непосредственный разговор с читателем. В сущности, главным героем его произведений является сам автор, созерцающий исторические события и их участников, удивляющийся, сострадающий, возмущающийся и пытающийся понять сокровенный смысл происходящего. Мир, созданный Мережковским в этой поздней прозе, охватывая все минувшие эпохи, *запечатлел в себе единый образ, Того, Кем был создан, спасен и к Кому придет в «конце времен».* Древний мир («Тайна Трех», «Атлантида – Европа») смутно предчувствует грядущее Откровение, словно созерцая Его лик сквозь туманное, закопченное стекло в своих кощунственно искаженных мифологических образах, преданиях и мистериях. Герои христианской цивилизации *(«Павел и Августин», «Франциск Ассизский», «Жанна д'Арк»)* мучительно пытаются понять сказанные Им слова, чтобы следовать по непонятному, ускользающему «тесному пути спасения». Средоточием же всего, написанного Мережковским в этот период, является книга о Нем Самом – *«Иисус Неизвестный»,* которую Мережковский называл главной книгой своей жизни.

«Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь и шел к „Иисусу Неизвестному“ через все свои прежние построения и увлечения, издалека глядя в него, как в завершение и цель, – писал Георгий Адамович. – Иногда были зигзаги… но в сознании Мережковского они едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было внести ясность в единственно важную тему и подготовить рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине девятнадцать столетий назад».

Адамович, впрочем, не поверил в искренность Мережковского, считая, что он смог «увидеть лишь то, что подходило к его схемам». Гораздо глубже понял труд Мережковского философ и литературный критик Б. П. Вышеславцев. «Главное достоинство книги Мережковского, – писал он, – в абсолютной оригинальности его метода: это не „литература“ (литература о Христе – невыносима), не догматическое богословие (никому, кроме богословов, непонятное); это и не религиозно-философское рассуждение – нет, это интуитивное постижение скрытого смысла, разгадывание таинственного „Символа“ веры, чтение метафизического шифра, разгадывание евангельских притч, каковыми в конце концов являются все слова и деяния Христа».

Медленно, стих за стихом, главу за главой автор, вместе с читателем, **читает Евангелие.** «Странная книга: ее нельзя

прочесть; сколько ни читай, все кажется, не дочитал или что-то забыл, чего-то не понял; а перечитаешь – опять то же; и так без конца. Как ночное небо: чем больше смотришь, тем больше звезд… Так же как я, человек, – зачитало ее человечество, и, может быть, так же скажет, как я: „что положить со мною в гроб? Ее. С чем я встану из гроба? С нею. Что я делал на земле? Ее читал“».

* * *

Одна из главных идей, которую множество раз, варьируя, повторяет Мережковский в «Иисусе Неизвестном», заключается в предельной близости «антихристианства» – христианству. Диавол на протяжении всей истории человечества искушает людей *чем-то очень похожим на Христа, только не имеющим Его жизненной подлинности.*

> «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма. И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: „Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею“» (Мф. 4. 5–6).

Мы видим, что даже Самого Христа диавол искушает ветхозаветным пророчеством о Нем Самом (Пс. 90. 11–12). В «Апокрифе об Искушении», вошедшем в «Иисуса Неизвестного», Иисус, пребывая в пустыне «со зверями», —

> «Каждого зверя называл Он по имени, смотрел ему в глаза, и в каждом зверином зрачке отражалось лицо Господне, и звериная морда становилась лицом; вспыхивала в каждом животном живая душа и бессмертная. После всех подполз к Нему червячок Холстомер. Но Господь его не заметил: слишком был маленький. А все-таки надеялся: вполз к Нему на колено и замер – ждал», —

оказывается один на один со своим «двойником», но «другим» – *Мертвым.*

> «Мертвый ужас прикоснулся к сердцу Живого, – лед к раскаленному камню. Краем уха слышал – не слышал шелест, шаг; краем глаза видел – не видел, как сзади подошел кто-то и сел на камень рядом. ‹…› Знал и

теперь, сидя на камне, что если взглянет на сидящего рядом, то увидит Себя как в зеркале: волосок в волосок, морщинка в морщинку, родинка в родинку, складочка одежды в складочку одежды. Он и не Он, Другой.

– Где он, где Я?

– Где я, где Ты?

– Кто это сказал, он или Я?

– Я или Ты?

‹…›

Мертвое лицо приблизилось к живому, как зеркало. Очи опустил Живой, чтоб не видеть Мертвого, и увидел червячка на колене Своем, и вспомнил – узнал, что Мертвый лжет: мудрецы не различат – различит младенец Живого от Мертвого, по зеленой точке на белой одежде – червячку живому – на Живом. Мертвый лжет, что все живое хочет умереть; нет – жить; вечной жизни и мертвые ждут, – вспомнил это, узнал Господь, как будто все убитые Звери из общей могилы, Подземного Рая, Ему сказали: «Ждем!»».

Живая подлинность Христа становится неодолимой преградой для Его искусителя в «Апокрифе» Мережковского – и эта же **живая подлинность Его присутствия отличает христианство от «антихристианства», «христианства без Христа».** Последнее может содержать в себе всю христианскую «атрибутику», включая даже «букву» Священного Писания (которое с легкостью смог «разъять на цитаты» не только искуситель в пустыне, но и идеологи Третьего интернационала – ибо лозунги вроде: «Кто не работает, тот не ест» или: «Кто не с нами, тот против нас» повторяли в XX веке судьбу стихов 90-го Псалма в начале века I), однако *не в силах их «оживить».*

«…Все язычество есть вечная Кана Галилейская, – пишет Мережковский, – уныло-веселое пиршество, где люди, сколько ни пьют, не могут опьянеть, потому что вина не хватает или вино претворяется в воду. „Нет у них вина“ (Ин. 2.3), – жалуется Господу Мать Земля милосердная, как Дева Мария, матерь Иисуса. Вина нет у них и не будет, до пришествия Господа.

Жаждут люди, уже за много веков до Каны Галилейской, истинного чуда, претворяющего воду в вино, и чудесами ложными не утоляется жажда».

Христианство для Мережковского прежде всего – непосредственное Богоприсутствие, живая связь (собственно – *«религия»,* в первоначальном смысле этого слова) с Ним. «Что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что

осязали руки ваши – Слово жизни… возвещаем вам», – цитирует Мережковский в «Атлантиде – Европе» апостола Иоанна и заключает:

> «Эта-то слышимость, видимость, осязаемость, „телесность“ исторической личности Христа – "ибо в Нем вся полнота Божества обитала *телесно»*" – и входит в плоть времени – историю; это и режет ее, как алмаз режет стекло».

Как продолжение Его «земного присутствия» Мережковский рассматривает и Церковь, средоточием Которой являются Таинства, а Сердцем – Евхаристия, непрерывно длящееся переложение Плоти и Крови в «земные», то есть *«рассматриваемые»* и *«осязаемые»,* хлеб и вино.

> «Здесь, в Евхаристии, Любящий входит в любимого плотью в плоть, кровью в кровь. Пламенем любви Сжигающий и сжигаемый, Ядомый и ядущий – одно; вместе живут, вместе умирают и воскресают:
>
> «Плоть Мою ядущий и кровь Мою пиющий имеет жизнь вечную, и Я встречу его в последний день» (Ин. 6. 54).
>
> Чем плотнее, кровнее, как будто грубее, вещественней, а на самом деле тоньше, духовнее; чем ближе к церковному догмату-опыту Преосуществления (transsubstatio) мы поймем Евхаристию, тем верней не только религиозно, но и исторически подлинней.
>
> «Пища сия, ею же питается плоть и кровь наша, в Преосуществлении – κατα μεταβολην (в 'преображении', 'метаморфозе' вещества) – есть плоть и кровь самого Иисуса», учит Юстин Мученик, по «Воспоминаниям Апостолов» – Евангелиям.
>
> «Хлеб сей есть вечной жизни лекарство, противоядие от смерти» – учит Игнатий Богоносец, ученик учеников Господних. Это значит: с Телом и Кровью в Евхаристии как бы новое вещество вошло в мир; новое тело прибавилось к простым химическим телам, или точнее новое состояние всех преображенных тел, веществ мира.
>
> «Вот Тело Мое, за Вас ломимое» – говорит Господь не только всем людям, но и всей твари, – "ибо вся тварь совокупно стенает и мучается доныне… в надежде, что *освобождена* будет от рабства тления в *свободу*… детей Божиих" (Рим. 8. 22, 21).
>
> Вот что значит Евхаристия – Любовь – Свобода; вот

что значит неизвестное имя Христа Неизвестного: *Освободитель.*

То, чего искало человечество от начала времен, найдено здесь, в Сионской горнице».

Найдено – *ценой Жертвы,* добавляет Мережковский. В «Иисусе Неизвестном» он с удивительной силой раскрывает *трагедийную* сторону Евхаристического торжества.

> «Знает [Иисус], что будет Церковь, и „врата адовы не одолеют ее“; но если в этом знании – торжество, то лишь надгробное, – над Царством Божиим. Будет Церковь, значит Царства не будет *сейчас,* могло быть, но вот отсрочено; мимо человечества прошло, как чаша мимо уст. Думает Иисус о Церкви, но не говорит о ней, как любящий думает, но не говорит о смерти любимого. Знает, что Церковь вместо Царства, – путь в чужую страну вместо отчего дома, пост вместо пира; плач вместо песни; разлука вместо свидания; время вместо вечности. Церковь – Его и наше на земле последнее сокровище, но Церковь вместо Царства Божия – пепел вместо огня. ‹…›
>
> «Проклят всяк, висящий на древе» (Втор. 21. 23) – этого не могли не вспомнить ученики, только что Иисус сказал: «Крест». Проклят Богом висящий на древе креста – Сын проклят Отцом: можно ли это помыслить без хулы на Бога?
>
> «Если не допустил Бог жертвоприношения Исаака, то допустил бы убиение Сына Своего, не разрушив весь мир и не обратив его в хаос?» – скажет Талмуд, может быть, то самое, что подумали ученики Господни в Кесарии Филипповой. «Сыну человеческому должно быть убиту» – распяту: в этом «должно», бет, самое для них страшное, невыносимое, такое же, как если бы Он сказал: «Сыну Божию должно себя убить, погубить Себя и дело Свое – царство Божие»».

«Все это страшно забыто, потеряно в позднейшей Евхаристии, – замечает Мережковский, говоря „о жертве, о крови“, о том, что «тело Его, *живого,* и здесь ломимо; кровь Его изливаема».

Подобная связь христианства с «телесным» Богоприсутствием (что собственно и отличает его от «антихристианства») означает, что для Мережковского **не существует «христианства без Церкви»,** ибо именно Церковь и является живым «телом

Христовым» и «воды жизни в Церкви неиссякаемы». ***Одна* лишь «христианская проповедь» в отвлечении от Таинств – *мало что может дать,*** ибо:

> «"Ближнего люби, как самого себя" (Лев. 19. 18) – древняя заповедь, но тщетная, сделавшаяся мертвым „законом“, тем самым, по которому распят Любящий. **Сам по себе человек любить не может:** людям, так же как всей живой твари, естественно в борьбе за жизнь не любить друг друга, а ненавидеть. Людям никто из людей не мог бы сказать: «любите», кроме одного Человека – Иисуса, потому что Он один любил; Он сама Любовь; не было любви до Него и без Него не будет.
>
> «Делать без Меня не можете ничего» (Ин. 15. 5) – меньше всего – любить. Тем-то заповедь Его любви и «новая», что люди могут любить только в Нем и через Него. Его любовь единственна, так же как Он Сам – Единственный».

«Есть ли вне Церкви спасение? – спрашивает Мережковский, завершая повествование об „Атлантиде – Европе“. – *Нет. Мир погибает, потому что вышел или выпал из Церкви».*

И тут же, не делая паузы, Мережковский признается, что *для него самого* сейчас в вопросе о Церкви – **«смертная боль, такая рана, что к ней прикасаться, о ней говорить почти нельзя».**

* * *

16 июля (29-го по «новому», советскому стилю) 1927 года митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) обратился к православной пастве с «Посланием», которое тут же было всеми переименовано в «Декларацию»:

«Божией милостию!

Смиренный Сергий, Митрополит Нижегородский, заместитель Патриаршего Местоблюстителя и Временный Патриарший Священный Синод – преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви *«о Господе радоваться».*

‹…›

Ныне жребий быть временным заместителем Первосвятителя нашей Церкви опять пал на меня, недостойного Митрополита Сергия, а вместе со жребием пал на меня и долг продолжать дело почившего [патриарха Тихона] и всемерно стремиться к мирному строению наших церковных дел.

‹…›

Приступив, с благословения Божия, к нашей синодальной работе, мы ясно осознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представителям Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-либо общественное бедствие или просто убийство из-за угла ‹…› сознается нами, как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы

помним свой долг быть гражданами Союза *'не только из страха, но и по совести",* как учил нас апостол (Рим. 13. 5). И мы надеемся, что с помощью Божиею, при нашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена.

Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности. Это – недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Учреждение советской власти многим представлялось недоразумением, случайным и потому недолговечным.

Забывали люди, что случайности для христианина нет и что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же Десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели.

‹…›

Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве, ушедшем с эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших архипастырей и пастырей за границей, сильно вредившие отношениям между Правительством и Церковью, как известно, заставили почившего Патриарха [Тихона] упразднить заграничный Синод ‹…›. Но Синод и до сих пор продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть даже расколов заграничное церковное общество на два лагеря. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к Советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут исключены из состава клира, подведомственного Московской Патриархии. Думаем, что, размежевавшись так, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из-за границы. С другой стороны, наше постановление, может быть, заставит многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть вопрос о своих отношениях к советской власти, чтобы не порвать со своей родной Церковью и Родиной».

Выходу «Декларации» предшествовали трагические события. В 1925 году скончался избранный на Поместном соборе 1917–1918 годов Патриарх Тихон, и Антирелигиозная комиссия ЦК

ВКП(б) решила использовать смерть святителя (ходили слухи, что он был отравлен) для решительного наступления на Православную церковь, продолжавшую, несмотря на все послереволюционные гонения, оставаться влиятельной силой в стране.

Как уже говорилось, еще в первые месяцы существования советской власти в качестве основного оружия в этой борьбе был избран «новый раскол» в среде священства, который начал возникать после того, как еще в марте 1917 года группа священников во главе с настоятелем петроградской церкви Святых Захарии и Елизаветы Александром Введенским образовала в Петрограде «Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян». «Союз» резко выступал против «консерватизма» высшего православного духовенства, требуя радикального *«обновления Церкви»* в духе всеобщих радикальных революционных преобразований этого времени. Сторонников Введенского (достаточно многочисленных в первые годы революции как среди мирян, так и среди «белого» духовенства) стали именовать *«обновленцами»*.

Александр Иванович Введенский был знаком с Мережковскими еще с дореволюционных времен, когда будущий «обновленческий митрополит», а тогда студент юридического факультета Петербургского университета, поместил за подписью «А. И. Введенский» в газете «Речь» «религиозную анкету», призванную выяснить мнения читателей этого популярного издания по «острым» вопросам тогдашней церковной жизни. Гиппиус вспоминает, что появление в достаточно «умеренной» «Речи» такой «фрондерской» анкеты, подписанной к тому же именем известного критика и историка русской литературы, известного тогда своими позитивистскими взглядами, очень удивило их с Мережковским. То, что *Арсений* Иванович Введенский (1844–1909), автор книг «Общественное самосознание в русской литературе» и «Литературные характеристики» (прекрасно известный Мережковскому по полемике вокруг синодального «Определения…» о Толстом), никакого отношения к анкете не имеет,[32] а речь идет о никому не известном студенте-юристе, выяснилось, когда сам автор анкеты явился на Сергиевскую улицу.

«Студент нам показался малосимпатичным, – вспоминала Гиппиус. – Чернявый, заискивающий». Помимо того покоробила намеренная мистификация с инициалами уважаемого литератора, с помощью которой Введенский-однофамилец и добился публикации. Однако предмет визита был интересен: Введенский принес Мережковским ответы, пришедшие к нему после

публикации анкеты со всех концов России. Материал этот – два громадных тюка – был очень содержателен, и Мережковский даже использовал некоторые письма в своей работе, но до конца разобрать всю корреспонденцию так и не удалось. А сам Введенский, по словам Гиппиус, вскоре «исчез, мы его больше не видели».

Между тем дальнейший путь Введенского складывался в полном соответствии с теми установками, которые присутствовали в «проповеди Мережковского» предреволюционных лет (Введенский в студенческие годы активно посещал заседания Религиозно-философского общества). После окончания университета, в 1913 году, Александр Введенский принял священнический сан, служил по ведомству военного духовенства, а затем был назначен настоятелем полкового храма Святых Захарии и Елизаветы (впоследствии разрушенного). К нему благоволил петроградский митрополит Вениамин (Казанский), который в 1921 году возвел его в сан протоиерея.

А. И. Введенский был ярким проповедником, чему очень способствовала его «литературность», усвоенная им опять-таки в кругах «богоискателей» конца 1900-х – начала 1910-х годов, которые (с легкой руки Мережковского) считали отечественную словесность сокровищницей «мистического опыта». Введенский читал с амвона стихотворения Надсона, а в алтаре держал портрет Блока, почитая последнего «пророком» (в буквальном смысле). Творчество Блока он знал в совершенстве и 27 августа 1921 года буквально ошеломил «литературный Петроград» потрясающей проповедью после отслуженной им панихиды по новопреставленному поэту. «Он говорил замечательно, – записывала под впечатлением услышанного юная Ада Оношкович-Яцына (переводчица, ученица М. Л. Лозинского). – По моей слабохарактерности стоило бы мне его послушать 10 раз, чтобы отречься от мира и земной радости и идти „прямыми стязями“. Опасный человек. Он кого-то ужасно напомнил мне своей полуеврейской страстной головой с горбатым носом. У меня осталось большое впечатление».[33]

В годы революции Введенский выступил с требованием упразднения института монашества и закрытия монастырей, отмены иерархического строя церкви (в том числе – отмены только что учрежденного патриаршества) и утверждения в отношениях священнослужителей «демократической коллегиальности», а также – с требованием литургических реформ и прежде всего перевода богослужения с церковнославянского на русский язык. И главное, Введенский

ставил знак равенства между христианством и «социализмом», обвиняя «дореволюционное» духовенство в «сокрытии» этого от паствы и полагая революцию подлинным воплощением принципов «равенства и братства», содержащихся в учении Христа. Естественно, что такая проповедь (к «Союзу демократического православного духовенства и мирян» в 1919 году присоединились группы «Друзей церковной реформы» и «Религия в сочетании с жизнью») сразу обратила на себя внимание антирелигиозных деятелей новой власти. «Традиционное» же духовенство, большей частью дезориентированное и растерянное, до поры никак не реагировало на деятельность Введенского и его «союзников».

20 ноября в Сремских Карловцах (Сербия) открылось Общецерковное заграничное собрание, призванное решить вопросы религиозного устроения сосредоточившегося в Западной Европе «русского беженства» (ранее, после «исхода» врангелевского Крыма, в Константинополе было создано Заграничное церковное управление). На этом форуме, получившем вскоре название Карловацкого собора (создавшего затем «Карловацкий Синод»), прозвучали резкие антисоветские выступления духовенства, оказавшегося в эмиграции, и, главное, была принята резолюция о необходимости реставрации монархии в России (в «Послании» карловацких иерархов говорилось: «Да вернет [Господь Бог] на Всероссийский престол Помазанника, сильного любовью народа, законного православного царя из Дома Романовых»).

Это послание было использовано правительством Ленина и Троцкого как повод для начала гонений на «контрреволюционную тихоновскую церковь» (формально Заграничное церковное управление находилось в подчинении патриарха). Помимо политической и идеологической у этих гонений была и сугубо «экономическая» причина: в преддверии Генуэзской конференции необходимо было пополнить золотой запас РСФСР за счет конфискации церковных ценностей. В феврале 1922 года ВЦИК по инициативе Л. Д. Троцкого издает декрет «Об изъятии церковных ценностей» и начинается жуткий погром «тихоновских» монастырей и храмов, в результате которого только *за один этот год* были расстреляны 2691 священнослужитель, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц (см.: Православие в России. М., 1995. С. 112). Сам же патриарх Тихон в мае 1922 года был арестован и изолирован в Донском монастыре.

Тогда же, в мае 1922 года, протоиерей В. Красницкий, который состоял агентом ГПУ, объявил о создании из «обновленческого движения» *«Живой церкви»,* призванной сменить

«контрреволюционную» «тихоновскую церковь» («Они подготовляли народное волнение и новую гражданскую войну под предлогом защиты церковных ценностей, предназначенных на спасение умирающих от голода, – провозглашалось на первом „живоцерковном соборе“. – Архипастыри наши, во главе с патриархом Тихоном, ради сохранения в православных храмах золота, серебра и драгоценностей превратно истолковали каноны, смутили паству, вызвали волнения, местные бунты и кровопролитие»).

Самую мрачную роль в этой попытке захвата церковного управления сыграл протоиерей Александр Введенский, «интеллигент» и «литератор» (любитель Надсона и Блока), пользовавшийся, в отличие от других лидеров «живоцерковников», доверием как у самого патриарха, так и у иерархов из его окружения. Под руководством Введенского группа «обновленческих» иереев 18 мая получила у арестованного, лишенного какой-либо информации «извне» Тихона письменное распоряжение на передачу им дел патриаршей канцелярии (якобы для того, чтобы предотвратить кровавые эксцессы при изъятии церковных ценностей в Москве).

Выданный патриархом документ стал орудием провокации ГПУ и погубил множество жизней и в первую очередь – погубил митрополита Вениамина, учителя и покровителя Введенского. «Скверно, конечно, что он паясничал перед алтарем, стараясь выказать свою „революционность“, – писала о своем бывшем знакомце Гиппиус, – но еще гораздо хуже, что он *предал* своего же бывшего наставника еп‹ископа› Вениамина ‹…›. Еп. Вениамин, исключительно светлой души (он часто бывал в нашем доме), был схвачен, полуголый, и обритый везен с солдатами на грузовике, по улицам, днем (узнал Введенского, стоявшего на тротуаре около Чека, говорили очевидцы, но, может быть, это последнее – легенда), а за городом, где тогда это производилось бессекретно, – этими же солдатами расстрелян».[34]

В течение года «живоцерковцы» при содействии властей практически полновластно хозяйничали в обезглавленных приходах, однако 26 июня 1923 года патриарх Тихон, под давлением европейских стран, с которыми СССР налаживал в это время дипломатические отношения, был освобожден, и «Живая церковь» мгновенно «рухнула»: большинство прихожан считали ее иерархов самозванцами, а их приходы «безблагодатными» (на съезде в августе того же года она была распущена).

Тем не менее «обновленчество» как таковое оставалось в 1920-х годах фактором русского церковного бытия, пусть и лишенное теперь «общецерковного» статуса, и его лидеры,

установившие практически открытое сотрудничество с властями, что называется, «ожидали часа». Один из лидеров бывшей «Живой церкви» С. Калиновский просто перешел… в партийный аппарат и занялся атеистической пропагандой, а Введенский создал в 1923 году собственный «Синод», провозгласивший его «архиепископом». Впрочем, проницательный председатель Антирелигиозной комиссии ЦК ВКП(б) Емельян Ярославский в каждом из вождей «обновленчества» видел своих ближайших сподвижников в деле «ликвидации религиозных предрассудков». «Введенский, – говорил он, – человек очень неустойчивый, и ничего не будет удивительного, если он через 5–6 лет станет редактором газеты „Безбожник“».[35]

Сразу после кончины святителя Тихона Антирелигиозная комиссия ЦК ВКП(б) совместно с Секретным отделом ГПУ принимает решение не допустить более церковного единоначалия. Митрополит Крутицкий Петр, назначенный по завещанию Тихона местоблюстителем патриаршего престола до нового Поместного собора, был арестован, а сам Собор – запрещен. Возобновившаяся экспансия «обновленцев» дезориентировала основную массу православных верующих. Начиналась вторая «волна» гонений, которая, по замыслу кремлевских «борцов с религиозными предрассудками», должна была стать подлинным «девятым валом» для уже обескровленного русского православия. В этих обстоятельствах роль национального церковного лидера и взял на себя митрополит Нижегородский Сергий.

Митрополит Сергий (в миру – Иван Николаевич Страгородский, 1867–1944), выпускник Нижегородской семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии, уже в молодые годы проявил себя как один из самых глубоких русских духовных писателей конца XIX – начала XX века и самых перспективных церковных администраторов. Такое редкое сочетание способностей обусловило его стремительный карьерный взлет. В 1893 году он – инспектор Московской духовной академии, в 1901-м – епископ Ямбургский, викарий Петербургский, в 1905-м – архиепископ Финляндский. В 1911 году Сергий становится членом Синода (в котором вскоре возглавил Миссионерский и Учебный комитеты), а в 1912-м занимает пост председателя Предсоборного совещания, готовившего знаменитый Поместный собор 1917–1918 годов. В 1917 году он был возведен в сан митрополита.

В бытность свою петербургским викарием Сергий «курировал» Религиозно-философские собрания и, судя по воспоминаниям Гиппиус, сразу же произвел на Мережковских

глубокое впечатление. На первом заседании он – «молодой, но старообразный, с бледным, одутловатым лицом, с длинными вялыми русыми волосами по плечам, в очках» – сидел посредине председательского стола.

Открывая Собрания, Сергий произнес вступительную речь «от имени Церкви», к удивлению собравшихся, «малозначительную» (с обещанием «искренности и доброжелательности» со стороны участвующих в Собраниях священнослужителей и призывом к тому же к присутствующим на заседании представителям интеллигенции). Завершив свое выступление, Сергий вновь занял председательское место и спокойно слушал пламенную речь Валентина Тернавцева «от имени интеллигенции», выгодно отличавшуюся от его собственной как темпераментной манерой оратора, так и глобальностью проблематики. Как уже говорилось, вокруг положений доклада Тернавцева и развернулась дискуссия на двух первых заседаниях Собраний, и вот тут, дав предварительно высказаться всем желающим, Сергий, взяв слово, ошеломил аудиторию.

«Он сказал, – возмущалась Гиппиус, – что не видит нужды для Церкви „менять фронт“ ‹…› Что Церковь не может „отказаться от неба“. Что незачем Церкви ставить новую задачу *"раскрытия правды на земле:* устремляясь к небесному, представители Церкви достигали и земного, как Николай Чудотворец…"»

– Церковь, – заключил Сергий, – **не восставала прямо против рабства, но проповедовала истину небесного идеала, и этим, а не чем-либо иным, она достигла отмены рабства!**

После такого выступления Гиппиус хотя и обозвала Сергия «малокультурным полубуддистом» (!!), но стала присматриваться к нему с некоторой опаской: то, что он говорил, запоминалось всеми и всегда.

Гиппиус можно понять. Взгляды Сергия на сотериоло-гию (христианское учение о спасении), сформировавшиеся у него достаточно рано и высказанные с необычной для отечественного богословия, почти художественной стилистической выразительностью в его книге *«Православное учение о спасении»* (Казань, 1898), могли удивить не только неискушенных «светских» слушателей Религиозно-философских собраний. Так, например, архимандрит Серафим (Соболев), разбирая книгу Сергия среди самых ярких богословских работ первой половины XX века, с недоумением указывал, что взгляды Сергия «отличаются несообразностями с точки зрения человеческого разума» и ведут ни много ни мало как «к неправильному понятию о Боге, к извращению и даже уничтожению нашей нравственной жизни, ‹…› к ниспровержению всего Божественного

домостроительства, ибо *отвергают одну из основ нашего искупления и спасения – Божественное правосудие».*

Несмотря на очень сложную историческую и богословскую проблематику книги Сергия (он анализирует так называемую «филиоквийскую добавку» в Символе Веры, принятом у католиков и протестантов[36]), практический вывод из сказанного им прост: вне Церкви нет спасения, а, следовательно, **решающим в деле спасения является само *наличие* Церкви.** Точно так, как в районе, охваченном эпидемией, единственной возможностью спасения является *наличие вакцины* (то есть наличие в пределах физической досягаемости ящиков с ампулами и соответствующего оборудования для инъекций), в пораженном грехом мироздании единственной возможностью спастись является **наличие в пределах физической же досягаемости прихожан Церкви, в которой осуществляется Евхаристия.** Если в районе эпидемии вакцины нет, то любые прочие мероприятия в отсутствии прививок малозначимы: *все равно все погибнут.* Напротив: если возможность вакцинации сохраняется, *то при всех прочих неблагоприятных условиях шанс на спасение все-таки есть…* Среди общего для современников Сергия (в том числе – и для священнослужителей) увлечения морально-этической стороной христианства (базирующейся на учении о Божественном правосудии) такой приоритет «воцерковленности» (читай – «обрядности») в учении о спасении казался странной, архаичной экзотикой.

С подобными, очень жесткими богословскими установками в «дореволюционном» Сергии, особенно в период его синодальной деятельности, сочетался удивляющий многих «светский» конформизм, стремление любой ценой избежать конфликтов в политической и общественной сферах, *если они не касались вероучительных принципов православия.* Любопытную зарисовку Сергия в 1917 году можно найти в воспоминаниях протопресвитера Николая Любимова, участника последнего состава Синода перед его роспуском. «Мы все заявили [обер-прокурору], – пишет о. Николай, рассказывая об обсуждении регламента, – что отстаиваем не свои личные права, а права и авторитет Синода, членами которого являемся. Только один архиепископ Сергий, как и всегда, желая и капитал приобрести, и невинность соблюсти, начал нести какую-то ахинею о том, что он вполне понимает и ценит желание обер-прокурора, что нам неприлично даже как будто бы отстаивать современный состав Синода, ибо сами к нему принадлежим, ибо это значит отстаивать свои личные права. Ох! думалось мне при этих словах преосвященного, *и хитер же ты, батюшка:* умудрился при

разгоне старого состава в единственном числе остаться и в новом, несомненно, и при нашем разгоне перейдешь и в дальнейший состав Синода. Вот это умение – приспособляться ко всяким обстоятельствам! Честь и хвала тебе, хитроумный архипастырь!»

Точно такую же «политическую гибкость» (вызывающую, как легко понять, мало сочувствия у большинства прямодушных и мужественных священнослужителей в окружении патриарха Тихона) Сергий проявлял и в период «живоцерковничества». По словам Гиппиус, продолжавшей, как следует из ее воспоминаний, следить за действиями «председателя наших старых собраний», Сергий «к этой „живой церкви“ на всякий случай примкнул», но «вовремя сообразил, куда дело гнет, и заранее унес из нее пятки». И тем не менее именно Сергия как своего возможного преемника выбирает в 1926 году в ожидании ареста местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр: в чудовищных обстоятельствах этих лет политические способности «хитроумного архипастыря» могли стать хотя бы призрачной надеждой на спасение (сам Петр был арестован и находился в полной изоляции до своей мученической кончины в 1937 году).

Став во главе русской Церкви (хотя его статус «заместителя патриаршего местоблюстителя» был весьма шатким), Сергий очень быстро осознал, что любые попытки не только политического противостояния, но даже *политического* компромисса с властью, открыто провозгласившей курс на «искоренение религии» в СССР, заведомо обречены на неудачу. После того как провалилась попытка «тайного» избрания нового патриарха (по идее заключенного на Соловках архиепископа Иллариона, Сергий попытался провести в 1926 году нечто вроде «заочного» Поместного собора путем сбора подписей архиереев; данная акция была раскрыта агентурой ОГПУ), а сам Сергий оказался в заключении (четвертом за «советские» годы), стало ясно, что у русской Церкви остается единственная перспектива «катакомбного» существования с разрушением патриаршего управления и неизбежным лишением миллионов верующих, не признающих «обновленцев», участия в богослужениях и приобщения таинствам. Тогда Сергий и принял решение декларировать *политическую капитуляцию* Церкви перед своими гонителями, которая давала ей шанс на возможность легального существования. Капитуляция была принята: Сергий и некоторые арестованные с ним иерархи оказались на свободе, после чего и была опубликована «Декларация» 1927 года.

Как легко было предположить, с самого момента своего появления «Декларация» вызвала «неоднозначную» реакцию как среди священнослужителей, так и среди мирян. В России Сергия

поддержали некоторые видные архиереи, однако начались и «отпадения»: к 1930 году около тридцати семи архиереев отказались от административного подчинения Сергию и имя «заместителя патриаршего местоблюстителя» перестало упоминаться за богослужением. **Ведь речь шла о подлинной «капитуляции» – не на словах, а на деле, – со всеми предельными унижениями и ужасами, на которые была способна агрессивная антихристианская власть, вовсе не отказавшаяся от замысла «искоренения религиозных предрассудков» в «стране победившего социализма».**

«До 1927 года Москва и Россия шли за митрополитом Сергием, а со времени (июль 1927 г.) издания им постыдной „декларации“, отдавшей Церковь под большевистское иго, у него осталось не более половины прежней паствы, – писал один из противников Сергия, архимандрит Феодосий (автор интереснейших воспоминаний об этом времени). – *Хотя митрополит православен, но за ним идти нельзя, ибо он служит сатанинской власти, которая никогда не даст свободы христианской Церкви».* Когда, после опубликования «Декларации», в октябре 1927 года Сергий и сформированный им Временный Синод повелели возобновить поминание государственной власти за богослужением, даже ближайшее окружение митрополита приступило к нему с вопросом: не есть ли это повеление приказом *молиться за Антихриста?*

– Нет! – отвечал Сергий. – **Ибо в Откровении об Антихристе сказано, что «дана ему власть действовать *сорок два месяца»* (Откр. 13.5), а советская власть существует в России уже *десять лет.***

«Господь возложил на нас великое и чрезвычайно ответственное дело править кораблем нашей Церкви в такое время, когда расстройство церковных дел дошло, казалось, до последнего предела, и церковный корабль почти не имел управления, – писал Сергий в своем послании от 31 декабря 1927 года. – ‹…› И только вера во всесильную помощь Божию и надежда, что небесный Пастыреначальник в трудную минуту не оставит „нас сирых“, поддерживает нашу решимость нести наш крест до конца. ‹…› И вот нам, временным управителям церковного корабля, хочется сказать Вам: „Да не смущается сердце ваше“. Будьте уверены, что мы действуем в ясном сознании всей ответственности нашей пред Богом и Церковью. Мы не забываем, что, при всем нашем недостоинстве, **мы служим тем канонически бесспорным звеном, которым наша Русская Православная иерархия в данный момент соединяется со Вселенскою, через нее – с Апостолами, а через них – с Самим**

Основоположителем Церкви Господом Нашим Иисусом Христом».

Выход «Декларации» и все, происходящее после этого в «сергиевской» Московской патриархии, породили в «русском зарубежье» потрясающие коллизии!

«Карловацкий Синод» провозгласил митрополита Сергия «еретиком», утверждая, что Московская патриархия безблагодатна, так как признала большевистский строй и объявила его радости – радостями своими. И тем не менее лидер «Карловацкого Синода» митрополит Антоний (Храповицкий), отвергая «ересь сергианства», постоянно носил панагию, подаренную ему митрополитом Сергием (на ее оборотной стороне было выгравировано: *«Дадите нам от елея вашего, ибо светильники наши угасают»),* и говорил, что он *не мог бы поступить иначе в России, чем поступает там митрополит Сергий, но и митрополит Сергий не смог бы вести себя иначе, чем вел себя в эмиграции митрополит Антоний.*

«…Сергий ‹…› при большевиках сумел среди всех расстрелов, ссылок и гонений на духовенство не только сберечь себя, но даже сделать беспримерную карьеру, – писала Гиппиус. – Как – мы в подробностях не знаем, а догадаться легко, хотя бы по его требованию к эмигрантской русской церкви ‹…› признать „лояльность“ Советской власти. Это было в 1927 году и, конечно, исходило от самой Советской власти, из желания ее создать среди зарубежья, хотя в ее услугу, кое-какую смуту. Некоторое время это волновало умы, тем более что вся „либеральная“ зарубежная пресса ‹…› горой стала за лояльность. К голосу журналистов примкнули даже голоса бывших марксистов, недавно сравнительно православных христиан, [таких как] Бердяев, например, или тоже недавнего православного Игоря Демидова, сотрудника Милюкова».

С другой стороны, требование «молитвы за советскую власть» было для прихожан зарубежных русских храмов «невместимо» (были случаи избиения священников, разрешавших такие молитвы за богослужением). Настроение большинства русского зарубежья передано в статье последнего обер-прокурора Синода, а затем министра вероисповеданий Временного правительства А. В. Карташева «Поражение и победа Православия».

«Митрополит Сергий, – писал Карташев, – еще год тому назад блестяще доказывавший в записке советскому правительству невозможность для православной церкви оказывать ему активные услуги и, очевидно, вместе со всеми почитателями покойного патриарха [Тихона] видевший в том его завет, сейчас резко изменил этому принципу и **перешел к старому началу**

услужения церкви государству, только в парадоксальной обстановке власти активно-антихристианской». Карташев призывал к разрыву с Московской патриархией, ибо «вынужденная фактическая автономия обратится в нашу победу и в поражение кажущейся победы над нами. Недалекое будущее покажет, что мы совсем не отделены от российской истинно-тихоновской мученической церкви и едины с нею и в достигшем и до нас гонении от большевиков, и в чистоте от политики, и в грядущем воздвижении крестного стяга чистой православной церкви над всей святой Русью».

К этому следует добавить, что из России приходили известия одно страшнее другого: гонения на Церковь после выхода «Декларации» только усиливались, но теперь к физическому насилию прибавлялись откровенные нравственные издевательства. В 1930 году, после того как папа Пий XI обратился к верующим провести совместную молитву «о спасении стольких душ, подвергнутых тяжелому испытанию, и об облегчении участи любимого нами русского народа», начальник секретно-политического отдела ОГПУ Тучков потребовал от Сергия, чтобы тот выступил в зарубежной прессе с заявлением, опровергающим… факт гонений на Церковь в СССР.

«…Текст большевики дали митрополиту Сергию за неделю, – писал по поводу этого жуткого „интервью“ управляющий приходами Русской православной церкви в Западной Европе митрополит Евлогий, – а потом держали его в изоляции. Перед ним встала дилемма: сказать журналистам, что гонение на Церковь есть, – это значит, что *все* тихоновские епископы будут арестованы, то есть вся церковная организация погибнет; сказать «гонения нет» – себя обречь на позор лжеца… Митрополит Сергий избрал второе. Его упрекали в недостатке веры в несокрушимость Церкви. Ложью Церковь все равно не спасти. Но что было бы, если бы Русская Церковь осталась без епископов, священников, таинств, – этого и не представить… Во всяком случае не нам, сидящим в безопасности, за пределами досягаемости, судить митрополита Сергия…»

И все же Евлогий, в отличие от «карловацких епископов» искренне расположенный к Сергию, в конце концов, порвал общение с Московской патриархией: в том же 1930 году он перешел под юрисдикцию Святейшего Вселенского Патриаршего Престола (Константинопольского), поскольку *выполнять приказы ОГПУ, которые в Москве послушно «озвучивал» Сергий,* ему было невозможно!

Во всем этом было что-то чудовищное: на глазах всего мира в СССР творились невероятные кощунства над беззащитной и

покорной русской Церковью, публично осквернялись мощи и иконы, на землю летели кресты с храмов, пьяные хулиганы врывались во время богослужений в церковные помещения и куролесили на пасхальных крестных ходах, священников арестовывали, ссылали и расстреливали, в общины открыто внедряли провокаторов – *а Сергий неукоснительно возносил молитву «за властей» сам* ***и повелевал молиться за них же всем, подчиненным ему приходам!*** 5 декабря 1931 года в центре Москвы был в демонстративных целях взорван храм Христа Спасителя, и, если верить легенде, один из кремлевских вождей, специально прибыв для созерцания этого зрелища, от восторга приплясывал и орал: «Задерем подол матушке-России!», – а Сергий повторял, что отношения Церкви с советской властью складываются замечательно, – и ***литургическое служение ежедневно возобновлялось по всем храмам на территории СССР.***

Но и самих храмов оставалось все меньше! Некоторые по примеру храма Христа Спасителя были взорваны, большинство – попросту закрыты. В 1928 году было закрыто 543 церкви, в 1929-м – 1129, в 1937 году – **более восьми тысяч.** К концу 1930-х годов из 300 храмов в Ленинграде действующих осталось – **пять,** из 600 православных церквей Москвы оставались открытыми **двадцать три.** Уже к 1931 году в стране были уничтожены **все** монастыри. К 1938 году церковная организация была в основном разгромлена (только в 1937 году было арестовано пятьдесят архиереев, количество же простых священнослужителей и тем более мирян точному учету не поддается). В 1939 году на свободе во всей огромной стране оставалось только **четыре** правящих архиерея. Все они, включая самого Сергия, ежедневно ожидали ареста.[37]

– Помолитесь, владыка, – сказал Сергий, отправляясь в 1939 году осматривать московские храмы с прибывшим из Западной Белоруссии митрополитом Пантелеймоном, – **не я вас везу храмы осматривать, а нас везут…** Куда нас везут, сам не знаю.

И возникало жуткое ощущение полной безнадежности, бесплодности всех понесенных жертв и унижений, главная ответственность за которые ложилась в глазах всех православных верующих на автора «Декларации» 1927 года. И вот уже Гиппиус *кричит* в 1943 году:

– Если епископ Сергий уже 26 лет проповедует «истину небесного идеала» – сколько еще лет ему понадобится, чтобы «достичь отмены рабства» куда горшего, чем старое, крепостное!!!

* * *

А что же Мережковский? Первая его реакция на «Декларацию», призывающую прихожан православных заграничных приходов к выражению «лояльности Советской власти», мало чем отличалась от реакции большинства эмигрантов. 9 августа 1927 года он и Гиппиус направляют митрополиту Евлогию следующее письмо:

> «Владыка, умоляем Вас не подписывать присланного Вам митрополитом Сергием обязательства подчиняться Советской власти. Дело тут, конечно, вовсе не в „политике“, а в чем-то неизмеримо более важном.
>
> Мы твердо уверены, что так же думают и чувствуют множество верующих во Христа и любящих Православную Церковь. Статья в «П‹оследних› Н‹овостях»» о необходимости подчинения Советской власти нас всех глубоко возмутила.
>
> Еще раз умоляем и заклинаем – не подписывайте.
>
> С глубоким уважением и преданностью.
>
> *Д. Мережковский,*
>
> *З. Гиппиус».*

Однако, в отличие от большинства эмигрантских православных прихожан, Мережковский не мог не ощущать некоторой «странности» сложившейся ситуации. В его Церкви происходили события, сопоставимые по трагической значимости только с гонениями на первохристиан, причем главными действующими лицами этих событий были люди, в большинстве своем лично ему знакомые. Именно он, Мережковский, создатель Религиозно-философских собраний, призывавший русскую Церковь к *активному историческому действию* и видевший в 1900-е годы в русском православии прообраз грядущей «всемирной теократии», в какой-то мере «стоял у истоков» происходящего ныне. По крайней мере, *большую «историческую активность», чем та, которую обнаруживала в 1920-1930-е годы сначала «тихоновская», а потом «сергиевская» Московская патриархия и ее противники, представить себе, основываясь на аналогах мировой церковной истории, трудно.* И вот именно в такой момент Мережковский вдруг «сливается с массой»!

Темира Пахмусс, замечательный американский исследователь творчества Мережковского и Гиппиус, опираясь на имеющиеся у нее материалы частного архива, пишет, что поздний Мережковский «приходит к существенному для его мировоззрения заключению: необходимо преображение Церкви;

необходима новая, жизненная, единая, Невидимая Церковь, которая заменит Видимую Церковь. К ней должен быть найден путь; для нахождения этого пути необходимо вечное Пришествие – Присутствие Христа на земле».

Возможно, эти идеи действительно обсуждались в доме Мережковских в 1930-е годы, поскольку Дмитрий Сергеевич как раз в это время приступал к работе над жизнеописаниями лидеров Реформы (идея «Невидимой Церкви» – идея Лютера). Однако *психологически* трудно предположить, что Мережковский не чувствовал: подобные «умозрительные» конструкции, продолжающие его «мирную», довоенную и дореволюционную «богоискательскую футурологию», на **таком** «историческом фоне» выглядят, мягко говоря, не очень убедительно и, главное, не очень «утешительно», прежде всего – для него самого.

Откликаясь на «Декларацию», Н. А. Бердяев выступил с потрясающей статьей *«Вопль Русской Церкви»,* в которой, *несомненно с оглядкой на молчание своего бывшего «учителя»,* постарался с предельной – до болезненности – ясностью «расставить все точки над і».

«Многими в эмиграции послание митрополита Сергия и предъявленное им требование к митрополиту Евлогию было воспринято как окрик, как приказание, как насилие над совестью, – писал Николай Александрович. – ‹…› **В действительности послание митрополита Сергия есть вопль сердца Православной Церкви в России,** обращенный к Православной Церкви за рубежом: сделайте, наконец, что-нибудь для нас, для Церкви-Матери, подумайте о нас, облегчите нашу муку, **принесите для Русской Церкви хоть какую-нибудь жертву,** до сих пор безответственные слова ваших иерархов ‹…› вели нас в тюрьму, под расстрел, на мученичество, подвергали Православную Церковь в России опасности быть совершенно раздавленной и уничтоженной, да не будет этого больше. ‹…› Нужно, наконец, до конца понять великую разницу в положении Православной Церкви в России и в эмиграции. Православная Церковь в России есть Церковь мученическая, проходящая свой крестный путь до конца. ‹…› Православная Церковь в России жертвенна в совсем ином смысле и претерпевает нравственное мученичество, неведомое и часто непонятное для церковных кругов эмиграции. Православная Церковь в России в лице своих водительствующих иерархов должна совершать жертву своей видимой красотой и чистотой, она нисходит в мир, находящийся в состоянии смертного греха. Жертва эта совершается во имя спасения Православной Церкви и церковного народа в России, во имя охранения ее в эти страшные годы испытаний. ‹…› Это есть

огромная личная жертва. Ее принес патриарх Тихон, ее приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву принес Св. Александр Невский, когда ездил в Ханскую Орду. ‹…› Православная Церковь не только переживает очищающее ее мученичество, она переживает один из величайших моментов своей исторической судьбы. **В кровавых муках освобождается она от власти царства Кесаря».**

Мережковский хорошо понял, что под анонимными *«многими в эмиграции»* в статье Бердяева разумеется прежде всего именно он, Дмитрий Сергеевич Мережковский, и с автором «Вопля Русской Церкви» окончательно «раззнакомился». «Этот случай, – пишет Гиппиус, – еще больше отдалил Д. С. Мережковского от „интеллигентов“-эмигрантов, которые, войдя или не войдя в Церковь, будучи или не будучи масонами или евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к Советской власти относиться». Но вне зависимости от того, был или не был мятежный Бердяев «масоном или евреем», «входил он или не входил в Церковь», – что Мережковский мог ему противопоставить *на деле,* кроме возможности «Невидимой Церкви» где-то в отдаленном будущем?

То, что происходило с Мережковским в конце 1920-х – первой половине 1930-х годов, можно угадать, обратившись к неожиданно появившейся в его книгах этих лет, прежде всего в «Иисусе Неизвестном» и «Павле и Августине», страшной **теме *постыдности* Креста.**

Еще в конце 1900-х годов, в статье о творчестве Леонида Андреева «В обезьяньих лапах», Мережковский (не любивший Андреева) приводил невольно поразивший его диалог о страданиях Христа, который автор пьесы «Савва» доверил страннику-богомольцу по прозвищу «Царь Ирод» (он был невольный сыноубийца) и главному герою:

> *«Савва:* Тебе дорого, что Он за людей пострадал? Так, что ли?
>
> *Царь Ирод:* Это что распинали-то Его? Нет, брат, **это пустое страдание.** Распяли и распяли, только и всего, – а то, что тут Он сам правду узнал. Пока ходил Он по земле, был Он человек так себе, хороший, думал то да се, то да се. Вот человеки, вот поговорю, да вот научу, да устрою. Ну а как эти самые человеки потащили Его на крест, да кнутьями Его, тут Он и прозрел: «Ага, говорит, так вот оно какое дело». И взмолился: "Не могу Я такого страдания вынести. **Думал Я, что просто это будет распятие, а это что же такое"**… А Отец Ему: "Ничего,

ничего, потерпи, Сынок, **узнай правду-то, какова она".** Вот тут Он и затосковал, да… да до сих пор и тоскует.

Савва: Тоскует?

Царь Ирод: Тоскует, парень».

Через двадцать лет, созерцая происходящее с русской Церковью, Мережковский испытывал нечто сходное с рассказом «Царя Ирода». По словам андреевского персонажа, он *«думал что просто это будет распятие, а это что же такое…».* *«Правда»* истории оказалась страшной настолько, что вынести ее Мережковский не мог, это лежало за пределами его «воспринимательной способности». Недаром в «Иисусе Неизвестном» вдруг многократно возникает почти «невыносимая», по собственному признанию Мережковского, «новая» мысль, что самое страшное в Кресте **не «боль», а «стыд»,** позор, «соблазн» Креста (документальные исторические подробности крестной казни в странах Римской империи, которые содержатся в главе *«Распят»,* – за границами цитирования).

В «Павле», описывая гонения Нерона на христиан в 64 году по Р. Х., Мережковский вновь обращает особое внимание на «стыдное» начало этих событий, перед которым меркнут даже ужасы Колизея:

> «Чтобы понять, что происходило в Римской общине в эти страшные дни, надо вдуматься в слова Павла: „Многие… поступают, как враги креста Христова“ (Флп. 3. 18) ‹…›. Вдуматься надо и в свидетельство Климента Римского, современника и вероятного очевидца тогдашних римских событий: "…*По злобе и зависти* [братьев], dia dzelon kai phtonon, Столпы Церкви, styloi, величайшие и праведнейшие, подверглись гонениям и боролись даже до смерти; *по злобе* [братьев]… и Петр, пострадав, отошел в уготованное ему место славы; *по злобе и зависти,* претерпев… увенчался и Павел… Присоединились же к ним и великое множество избранных (преданных мучителям), все по той же *злобе и зависти*… в том числе и слабые жены… претерпев несказанное… увенчались победным венцом". ‹…› Вдуматься надо и в свидетельство Тацита: "Схвачены были сначала те, кто открыто объявил себя христианином, а затем, *по их доносам,* indicio eorum, еще *великое множество",* повторяет Тацит, почти слово в слово, свидетельство Климента: «multitudo ingens, poly plethos, великое множество».

> Нет никакого сомнения, что все эти ‹…› свидетельства ‹…› относятся к одному и тому же – к **доносам друг на друга христиан Римской общины,** во дни Неронова гонения 64 года.
>
> Страшно подумать, что значат эти три слова: «по их доносам». **Мученики вчерашние – сегодняшние доносчики.** Вот когда «сатана сеет их, как пшеницу сквозь сито»».

Мережковскому во время создания «Павла» (первая половина 1930-х годов) «думать об этом» настолько «страшно», что весь финал этого жизнеописания поражает своей безысходностью:

> «Адом на земле сделался Рим для христиан в эти страшные дни. Многие должны были испытывать то же, что испытывали бы, если бы, заключенные в ад, узнали, что **нет ни Бога, ни диавола, а есть только Бог-Диавол:** что до смерти не победил Христос, умер и не воскрес, – в ад сошел и остался в аду; обманул других и обманут Сам. «Еще немного, очень немного, и Грядущий придет, не умедлит» (Евр. 10. 37). Но вот не приходит, и, может быть, никогда не придет. Кажется, были такие минуты, когда вся Церковь могла бы возопить, как Распятый: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
>
> *«Огненное искушение» вынести могли не все. Сам Петр не вынес: бежал из ада».*

Исторические аналогии при создании «Павла» были неизбежны и очевидны. И никакого *подлинного* выхода автор «Павла» и «Августина» не видел, кроме как, закрыв глаза и заткнув уши, «бежать из ада», *не помнить, забыть все, что происходит в «новом Риме» – в России, в Москве.* «Понимая» (хотя, конечно, как и все нормальные люди, с трудом) «страх» мученичества, Мережковский «не понял» (точнее – «не смог понять») *«стыд» мученичества:* он «сломался» при малейшем соприкосновении с ним, от одного лишь «помысла» о чем-то подобном. «Послание митрополита Сергия есть вопль сердца Православной Церкви в России, обращенный к Православной Церкви за рубежом: сделайте, наконец, что-нибудь для нас, для Церкви-Матери, подумайте о нас, облегчите нашу муку, **принесите для Русской Церкви хоть какую-нибудь жертву», –** писал Бердяев и бил прямо в сердце Мережковскому (и не ему одному).

«А что же Церковь, разве не спасала и не спасает мир? В этом вопросе – наша смертная боль, такая рана, что к ней прикасаться, о ней говорить почти нельзя».

Лютерова идея «Невидимой Церкви»,[38] действительно намеченная в финале «Павла» и продолженная в «Августине» (и, разумеется, очень сильно звучащая в последующей трилогии о «Реформаторах»), была для Мережковского тем более трудна, что она противоречила его собственным **взглядам на природу «церковности», как на нечто очень, говоря его словами, «хлебное, чревное, плотяное, кровное».** Эта «православная закваска» все время сохраняется в нем на каком-то инстинктивном и иррациональном уровне, даже когда он хочет избавиться от нее. Для того чтобы убедиться в этом, стоит прочесть хотя бы сцену первого «протестантского» богослужения Кальвина во второй книге «Реформаторов»:

«Первую Тайную Вечерю по обычаю Апостольских времен Кальвин совершил в пещере Св. Бенедикта (St Benoit), близ города Пуатье (Poitiers). В эту пещеру над рекою Клэн (Clain) братья входили сквозь узкую между скалами щель. Главная радость и главный ужас (радость для них сочеталась с ужасом), радость главная для них была в том, что все в этом Таинстве было так просто, буднично, бедно и голо: ни икон, ни свечей, ни ладана, ни торжественных гулов органа, ни сладкозвучного пения, ни золотых священнических риз, ни золотых церковнических сосудов – ничего прошлого, бывшего в Римской Церкви – „Царстве Антихриста“, откуда бежали они. Все знакомое, домашнее: вместо жертвенника – длинный, простой, некрашеный сосновый стол, какой можно видеть в каждой харчевне; вместо чаши – мутного зеленого стекла граненый стакан с трещиной на ножке – едва, должно быть, не разбился в мешке брата, который нес его и, услышав в кустах шорох, побежал, думая, что за ним гонятся сыщики или диаволы; красное вино в бутылке, купленной в ближайшем сельском кабачке; ситный каравай хлеба, купленный в ближайшей лавочке. Все обыкновенное, такое же, как везде, всегда, – и вдруг совсем иное, необычайное, на земле невозможное, как с того света в этот перешедшее, – ужасное. Чувствовали все, и больше всех Кальвин, что никогда и нигде не было того, что будет здесь, сейчас.

Если бы своды пещеры на него внезапно обрушились, они раздавили бы его не большей тяжестью,

чем бремя той ответственности, которая должна была пасть на него в этот миг, когда он произнесет эти для человека невозможные, неимоверные слова:

Вот Тело Мое.
Вот Кровь Моя.

Руки у него дрожали так, что уронить боялся чашу с вином – Кровью, пальцы ослабели так, что едва мог преломить хлеб – Тело».

Вообще, Кальвин с его здравым смыслом, примитивной, чувственной грубостью и прямодушием, деятельным прагматизмом, в том числе и в религиозных вопросах, по-человечески ближе Мережковскому, чем «серафический» мечтатель Лютер, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Отсюда и весьма рискованное с точки зрения «классической» истории религии противопоставление: «Лютер отказался от видимой Вселенской Церкви, Кальвин ее утвердил».

«Мережковский очень пугает ортодоксальных православных своей новой религией Третьего Завета. Но, в сущности, он стоит на той же ортодоксально-догматической почве, что и [Сергий] Булгаков, что и свящ. П. Флоренский и многие другие, – тонко замечал Н. А. Бердяев. – ‹…› Он решительный и крайний материалист, и своим художественно выраженным религиозным материализмом он даже повлиял на современных православных, которые настаивают на святой плоти не менее, чем „неохристиане“».

Интересно, что в 1930-е годы Мережковский с энтузиазмом поддерживал идеи экуменического движения в протестантизме, очевидно, надеясь, что «духовные» протестантскиеконфессии, соединившись с католическим церковным «материализмом», создадут в итоге некий искомый «церковный синтез» (о православии он в это время старается не думать). В 1937 году Мережковский будет горячо приветствовать Эдинбургскую экуменическую конференцию, собравшую 120 христианских конфессий (преимущественно протестантских). Как пишет во вступлении к «Лютеру» Т. Пахмусс, «The Conference on Faith and Order в Эдинбурге в 1937 году служила явным доказательством для Мережковского, что собравшиеся там участники сорока племен и ста двадцати христианских вероисповеданий положили начало Вселенскому Собору, Будущей Церкви Трех – Отца, Сына и Св. Духа». Однако представителей Ватикана на этом «Вселенском соборе» не было, и Мережковский, открывая свое жизнеописание

Лютера, выразил по этому поводу глубокое сожаление.

В общем, можно сказать, что теоретические размышления о возможности «новой, единой, Невидимой Церкви», которая могла бы заменить «неподъемную» для Мережковского в историческом контексте конца 1920-1930-х годов «Видимую Церковь» (то есть, если говорить без обиняков, «сергиевскую» Московскую патриархию), не давали Мережковскому никакой жизненной опоры в грозной действительности «мирного промежутка» между завершившейся, но еще памятной Первой, и неотвратимо надвигавшейся Второй мировыми войнами.[39] И поэтому далеко не случайной кажется потрясающая по своей мрачной «лирической» безнадежности оговорка в финале «Атлантиды – Европы»:

> «Церковь – тело Христово, но, может быть, оно сейчас в гробу, как до воскресения, во время сошествия Господа в ад. А мир – между двумя кругами ада: только что вышел из верхнего – первой всемирной войны и сходит в нижний – вторую войну. Здесь-то, в аду, может быть, он и будет спасен Сошедшим в ад».

* * *

14 декабря 1935 года в Париже прошел торжественный банкет, посвященный 70-летию Мережковского. Присутствовал весь цвет русской эмиграции во главе с нобелевским лауреатом Буниным, председатель французского Союза писателей Гастон Раже, академик А. Бордо и министр народного просвещения Франции М. Рустан (последний объявил о представлении Мережковского к награждению орденом Почетного легиона; эти благие намерения, впрочем, не получили дальнейшего продолжения). Как русские, так и французские газеты откликнулись на событие рядом «юбилейных» статей. Однако настроение в это время у нашего героя было отнюдь не «юбилейное».

В начале 1930-х годов материальное положение Мережковских ухудшается. В письмах этого времени он с тревогой пишет о непомерной плате за квартиру, о налогах, которые виснут «веревкой на шее». Жизнь во Франции дорожала – сказывался начинающийся мировой экономический кризис. Помимо того, «русская тема», бывшая в предшествующее десятилетие одной из «больных» тем в европейском обществе, постепенно отступает на второй план.

В 1931 году начинаются перебои с выплатой пенсий, установленных русским писателям-эмигрантам чешским президентом Т. Масариком («чехи отняли последние гроши», – прокомментировал этот печальный факт наш герой в письме А. В. Амфитеатрову). Оставалось рассчитывать на гонорары за книги, но эмигрантские книгоиздательства не баловали своих авторов, а популярность Мережковского во Франции заметно снижается. Нет, конечно, он не испытывает той нужды, которая преследовала многих его «братьев по изгнанию», но и уверенности в завтрашнем дне – блаженства, о котором он тщетно будет мечтать всю жизнь, – тоже не было. Надежды на Нобелевскую премию, как уже говорилось, также себя не оправдали.

Эмиграция, осознавшая историческую «бесперспективность» своего бытия и не надеясь уже на возвращение в Россию, начинает относиться к «идеализму» Мережковского с растущим раздражением. «Нет сейчас русского писателя более одинокого, чем Мережковский, – писал некогда Г. В. Адамович, один из самых тонких литературных критиков русского зарубежья, – и не было, кажется, никогда одиночества, в котором читательская лень играла бы большую роль. Правда, не столько умственная лень, сколько моральная. Мережковского почти „замолчали“, потому что о нем нельзя говорить, не касаясь самых основных, самых жгучих и „проклятых“ вопросов земного бытия. А кому теперь охота этих вопросов касаться?» В 1930-е годы правота этих слов Адамовича стала очевидно наглядной.

Заседания «Зеленой лампы», прежде собиравшие «весь Париж», теперь еле-еле набирают четверть зала, везде царят уныние и растерянность, и «высокая» проблематика этих дискуссий плохо вяжется с постоянной для подавляющего большинства эмигрантов тревогой за «хлеб насущный» и за свой «завтрашний день». В конце концов «Зеленая лампа» опять сливается с «воскресеньями», ибо круг участников обоих форумов становится одним и тем же. Поэт Борис Поплавский (вскоре он трагически погибнет от передозировки наркотика) печально шутил:

– Три восточных мага приехали на квартиру Дмитрия Сергеевича и завели с ним беседу. «Что есть первая истина?» – осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту истину. «Что есть вторая истина?» – продолжали допытываться мудрецы. И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство. «А куда идут деньги с вечеров „Зеленой лампы“?» – спросили в третий раз маги. Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.

«Тридцатые годы – эпоха американской депрессии, мирового

экономического кризиса, восхождения Гитлера, абиссинской войны, испанской войны, „культа личности“ в Советском Союзе, разоружения одних и вооружения – других, – писала Нина Берберова, вспоминая о тогдашнем положении русской эмиграции. – Страшное время в Европе, отчаянное время, подлое время. Кричи – не кричи, никто не ответит, не отзовется, что-то покатилось и катится. Не теперь, но уже тогда было ясно, что эпоха не только грозная, но и безумная, что люди не только осуждены, но и обречены. Но… что было миру до нас, Акакиев Акакиевичей вселенной? Тише воды, ниже травы… Мы затурканы, мы забиты, подданства нам не дают, в будущей войне пошлют в окопы. Мы чувствуем себя так, как будто во всем виноваты и несем ответственность за то, что творится: за восхождение Гитлера, за культ личности…»

6 мая 1932 года происходит событие, потрясшее парижские эмигрантские круги: русский литератор Павел Горгулов, писавший под псевдонимом Павел Бред, сумасшедший монархист, мечтавший о славе Герострата, убивает французского президента Поля Думера. Горгулов был казнен, а отношение французов к эмигрантам резко меняется. Ходят панические слухи о возможных погромах, политических репрессиях. Жить в Париже становится не только «накладно», но и *«неуютно»*.

– Я понимаю французов, – говорил непременный участник собраний у Мережковских, писатель А. П. Ладинский. – Как мы им всем на-до-ели. Боже, как они устали нас терпеть! Да я бы на их месте давно выгнал бы всех эмигрантов на Сандвичевы острова, со всеми нашими претензиями на безработное пособие, на бесплатное обучение детей, на стариковскую пенсию. Вот будет война…

Он многозначительно умолкал.

На этом достаточно безрадостном *фоне* в жизни нашего героя этой поры ярко выделяется поездка в мае 1932 года на десять дней во Флоренцию, куда его приглашает флорентийское отделение общества «Alta Cultura» и клуб Леонардо да Винчи для чтения лекций о великом художнике. Автора «Христа и Антихриста» итальянцы встречают не просто радушно – восторженно. Вновь перед Мережковским – переполненные залы, неподдельный интерес, внимание прессы – все, от чего он уже успел отвыкнуть во Франции.

В 1934 году Мережковский снова получает приглашение посетить Италию – на этот раз от самого Бенито Муссолини. 4 декабря 1934 года он имел личную аудиенцию у «дуче», в ходе которой тот предложил Мережковскому субсидию от итальянского правительства для работы над книгой о Данте, а

также – свое содействие по устроению Мережковских в Италии на время работы.

Мережковский предложение Муссолини принял, но предупредил, что осуществить это он сможет только через год: неотложные издательские дела удерживают его во Франции. Муссолини не возражал, и Мережковский, окрыленный удачей, возвращается в Париж, где, в преддверии новой большой работы, торопится с завершением биографических очерков о Франциске Ассизском и Жанне д'Арк. Победа коалиции левых сил Франции на выборах весной 1936 года ускоряет отъезд: **Мережковский начинает всерьез опасаться второго коммунистического переворота – уже во Франции.**

Все относительно «благополучные» двадцатые годы он – устно и письменно – предрекал слабость европейских демократий перед натиском коммунистического «экспорта революции». И вот теперь его пророчества как будто начинают сбываться. «Был в Ницце – „День рус. Культуры“, – записывал Бунин в дневнике 14 апреля 1936 года. – Постыдное убожество. Когда уезжал ‹…› за казино (в Ницце) огромная толпа… Все честь-честью, как у нас когда-то – плакаты, красные флаги, митинги. В Grass'e тоже „праздник“. Над нашим „Бельведером“, на городской площадке, тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, „Марсельеза“ и „Интернационал“, на бархатных красных флагах (один из которых держали мальчик и девочка лет по 6, по 7) – серп и молот. ‹…› Надо серьезно думать бежать отсюда. Видел в Ницце Зайцевых. ‹…› Грустные, подавленные тем, что происходит в Париже. Душевно чувствую себя особенно тяжело. Все одно к одному!»

В этих условиях Мережковский невольно обращает внимание на крепнувшие фашистские режимы в Европе, полагая в них силу, способную противостоять «мировой революции».

«Вы однажды мне сказали, – пишет он в Вильнюс своему старому знакомому, профессору Виленского университета М. Здеховскому 1 апреля 1936 года, – что Вы стоите перед дилеммой: „или мир сошел с ума, а я разумен, или разумен мир, а я сошел с ума“. Вот перед такой же дилеммой и я стою… Уж если дошло до того, что один „отвратительнейший“ Гитлер (как Вы верно пишете) знает или смутно (инстинктом животного или насекомого) чувствует надвигающийся ужас – „Мрак с Востока“, ex oriente tene-brae, то каково же сумасшествие мира – или наше с Вами!.. Сейчас поеду в Рим и потом во Флоренцию (месяца на два), куда меня приглашает очень любезно и сердечно Муссолини, чтобы писать книгу о Данте. Будет у меня вероятно любопытное (а м. б. и нелюбопытное) свидание с My Duce,[40] и,

если он… в силах будет со мной говорить разумно (он, вообще, человек огромного ума и, главное, простой), то я задам ему несколько интересных вопросов и помимо Данте: о «сумасшествии» мира и о «тьме с Востока». Но горе в том, что он все-таки «язычник», такой же, как Гёте… – великий «дух Земли», тайна Земли, и потому также в главном слеп».

Встреча с Муссолини получилась на этот раз «нелюбопытная» – в одном из писем Мережковский сравнивал себя с «чижиком, чирикающим в ухо Левиафану», – но планируемые «два месяца» растянулись (с перерывами) почти на два года. Слово свое Муссолини сдержал, и Мережковский получил весьма сносные условия для спокойной работы.

Этот «итало-фашистский» эпизод посмертно повиснет на Мережковском «мертвой хваткой»: несколько поколений зарубежных и советских литературоведов – одни с печалью, другие со злорадством – будут разоблачать «фашистские пристрастия» Дмитрия Сергеевича. Но если руководствоваться простым здравым смыслом, то *ничего предосудительного в действиях Мережковского в 1934–1937 годах обнаружить нельзя.*

Мережковский приезжает в Италию задолго до войны. *Фашизм для него не ассоциируется ни с концлагерями, ни с газовыми камерами, тогда как об ужасах военного коммунизма он знает не понаслышке.* «Громадное большинство русских зарубежников относится к фашизму сочувственно, – писал тогда же А. В. Амфитеатров. – Не по знанию: эмигрантские представления о фашизме смутны и фантастичны. А по инстинкту: эмиграция чутьем берет в фашизме силу созидающей борьбы, сокрушительной для борьбы разрушительной, которая нас в России одолела и выбросила за рубеж, а Россию перепоганила в СССР».

Что же касается лично Муссолини, то он для Мережковского прежде всего – глава итальянского руководства, популярный и сильный лидер нации. Вряд ли во время встреч с Мережковским Муссолини посвящает собеседника в специфические тонкости своей стратегии. А личностная симпатия Мережковского к Муссолини вполне понятна – это самая обычная, естественная благодарность за искреннее участие, которое «дуче» действительно принял в эти годы в судьбе писателя («Италия горда тем, что предоставит возможность жить и работать такому человеку»).

«Что сделал для меня Муссолини? – писал Мережковский в 1937 году. – Эту чужую землю – Италию – он сделал мне почти родною; горький хлеб, чужой – почти сладким; крутые чужие лестницы – почти отлогими. Почти – не совсем, потому что

сделать чужое совсем родным не может никакая сила в мире, а если бы и могла, этого не захотел бы тот, для кого неутолимая тоска изгнанья – последняя родина.

– Может быть, мое единственное право писать о Данте есть то, что я – такой же изгнанник, осужденный на смерть в родной земле, как он, – сказал я Муссолини на прощанье.

– Да, это в самом деле ваше право, и кое-чего оно стоит: кто не испытал на себе, тот никогда ничего не поймет в Данте, – ответил он мне, и я почувствовал, что он все еще помнит и никогда не забудет, что значит быть нищим, бездомным и презренным всеми, осужденным в родной земле на смерть, изгнанником.

– Я надеюсь, что книга моя будет не совсем недостойной того, что я узнал от вас о Данте, – пробормотал я, не зная, как его благодарить.

– А я не надеюсь, – я знаю, что ваша книга будет…

Не повторяю его последних слов: я их не заслужил. Но если моя книга будет чего-нибудь стоить, то этим она будет обязана тому, что не словами, а делом ответил мне Муссолини на мои вопросы о Данте, и что, может быть, ответит миру».

Два итальянских года – время последнего творческого взлета в жизни Мережковского. За это время, помимо книги *«Данте»* (и одноименного киносценария), начаты *«Реформаторы»* («Лютер», «Кальвин», «Паскаль») и задумана *«Маленькая Тереза»*. Увы! Эти книги Мережковскому уже не суждено будет опубликовать. «Данте» будет последним трудом, увидевшим свет при жизни автора. И в итальянском издании эта книга будет посвящена, как и следовало ожидать, – «A Benito Mussolini. Realizzatoro della profezia questo su Dante profeto».[41] И здесь, конечно, Мережковский ошибался. «Пророчество» Данте, о котором он пишет, – пророчество о мирном бытии человечества в лоне всеобъемлющей Божественной Любви.

Муссолини «реализовал» пророчества другого рода.

* * *

Жизнь в Италии (апрель-декабрь 1936 года и май-ноябрь 1937-го) была последним «золотым периодом» в биографии Мережковского. За это время Мережковские посетили Равенну и Верону, подолгу жили во Флоренции и Риме. Их постоянным «римским» собеседником становится давний петербургский знакомец – Вячеслав Иванов, перешедший к этому времени в католичество и работавший библиотекарем в Ватикане. Он

постарел, облысел и стал, по выражению Гиппиус, совсем похож на немецкого профессора: от «оргиаста» легендарных «башенных времен» не осталось и следа. Во время первого визита в уютный домик Иванова, находившийся в живописном районе близ Тарпейской скалы, Мережковский обратил внимание на роскошный книжный шкаф, в котором, наконец, обрели гармонический покой книги Вячеслава Ивановича.

– Шкаф, Вячеслав, шкаф! – воскликнул Мережковский. – Так вот это что! Значит, это теперь все не то? Теперь у тебя завелся шкаф! Шка-а-аф!

Иванов рассмеялся: в хаотическом быте «башни» «книжных шкафов» действительно не полагалось.

Работа над книгой о Данте была завершена весной 1937 года, и рукопись отдана для перевода и издания в издательство R. Ktifferle (Болонья). 29 июня Мережковский встречается с министром иностранных дел Италии Видау и, между прочим, высказывает пожелание лично вручить первый экземпляр книги (выход ее в свет планируется в середине октября) Муссолини. К удивлению Мережковского, реакция министра на эту, достаточно ожидаемую просьбу весьма уклончива: он советует Мережковскому «подождать ответа».

Оказалось, что «мистический энтузиазм» Мережковского во время последней встречи с Муссолини напугал итальянского диктатора, который как раз в это время стремился осторожно «лавировать» между тремя мощными европейскими «силовыми центрами»: гитлеровским национал-социализмом в Германии, сталинской имперской автократией в СССР и блоком европейских демократий во главе с Англией и Францией. Между тем Мережковский уже наяву грезил о всемирном крестовом походе – не только против большевизма, «предельно дьявольского зла в мире», но и против всего «мирового зла», походе – во главе которого должна была встать Италия. Историческая параллель тут напрашивалась сама собой: как некогда император Священной Римской империи Генрих VII рука об руку с Данте шли в безнадежный, но прекрасный Ломбардский поход 1310 года, стремясь восстановить имперское единение христианской Европы, так и теперь «новый Генрих» (Муссолини) с «новым Данте» (Мережковским) должны восстать против демонических сил, вновь рвущих на части «страну святых чудес»:

> «В 1311 году, в самом начале похода пишет он [Данте] такое же торжественное послание „ко всем государям земли“, как двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скорби, а это –

великой радости.

«Всем государям Италии… Данте Алагерий, флорентийский невинный изгнанник… Ныне солнце восходит над миром… Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся… Радуйся же, Италия несчастная… ибо жених твой грядет… Генрих, Божественный Август и Кесарь… Слезы твои осуши… близок твой избавитель».

Может быть, казалось Данте, что в эти дни готово исполниться услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным людям, вечным изгнанникам:

> Любовь сказала: "Поднимите лица,
> Мужайтесь: вот оружье наше…
> Наступит час, когда в святом бою
> Над миром вновь заблещут эти копья!"»

Выслушав монолог Мережковского, Муссолини осторожно заметил, что вооруженные силы Италии несопоставимы по мощи не только с Красной армией, но даже и с армиями Франции и Германии, и перевел разговор на другие темы. Если бы все сказанное осталось между ними, «дантианская эскапада» Мережковского числилась бы Муссолини среди приятных, хотя и курьезных воспоминаний об общении с симпатичным «русским романтиком» – фантазером, но, как уже говорилось (и цитировалось) выше, Мережковский в начале 1937 года стал публично выступать в европейской печати, намекая на некую «тайну», связующую его с итальянским диктатором, и о «миссии», которую «новый Цезарь» имеет осуществить в Европе в ближайшее время:

> «Ко всем государям земли… Ныне солнце восходит над миром…»

В отличие от Генриха VII в 1310-м Муссолини в 1937 году в «Ломбардский поход» отнюдь не собирался, а подобные статьи, публичные выступления и лекции Мережковского – не самого последнего писателя не только в европейской, но и в мировой литературной иерархии тех лет, только что вновь номинированного на Нобелевскую премию, – могли запросто вызвать самые настоящие политические осложнения в отношениях Италии как с СССР, так и с европейскими странами «обоих станов». В канун Второй мировой войны любые намеки на

тайные замыслы «крестовых походов» вызывали у всех европейских лидеров нервную реакцию.

В результате новую аудиенцию у «дуче» Мережковский после выхода «итальянского» «Данте» в октябре 1937 года так и не получил. То, что посвященная ему книга действительно, как и обещал Мережковский, получилась «не совсем недостойной» (в общем, по всей вероятности, это лучшее, что когда-либо было написано о Данте), Муссолини волновало мало: он исходил из соображений не эстетической, а политической целесообразности. Более того, от имени «real-izzatoro della profezia» итальянский министр по делам культуры посоветовал Мережковскому «вести себя потише», то есть в переводе с итальянского дипломатического на русский «прутковский», – «заткнуть фонтан»!

Разумеется, из Италии его никто не выдворял, но Мережковский был оскорблен смертельно.

– Я сначала подумал, что Муссолини – воплощение духа земли и провиденциальная личность, а он оказался обычным политиком-материалистом – пошляк! – воскликнул Мережковский. Обида была настолько сильной, что он снял в русском издании «Данте» (Брюссель, 1939) посвящение Муссолини и выкинул из книги все упоминания об итальянском диктаторе.

20 октября 1937 года Мережковские навсегда покидают Италию и возвращаются в Париж, хотя Дмитрий Сергеевич уже открыто паниковал, опасаясь «шаткости» Французской республики в наступающие неспокойные времена.

Гораздо «надежнее», с его точки зрения, были европейские военные диктатуры, но желательно «умеренные», ибо, как писал он в «Лютере», «противоположнейшие идейности во всем – фашизм и коммунизм – сходятся только в одном – в воле к безличности. Левая рука, может быть, не знает, что делает правая, та разрушает, эта создает, но обе все-таки делают одно и то же дело, борются с Личностью, как с исконным врагом своим, подавляют ее, как ненужную для себя силу». По всей вероятности, такая характеристика «созидательного фашизма» была также навеяна личными впечатлениями от встреч с Муссолини.

«…Следовало бы приготовить новый „приют“, – писал Мережковский в 1939 году Г. Герелль, – может быть, в Испании, ибо я пишу генералу Франко, который, надеюсь, судя по тому, что мне о нем рассказали, мог бы пригласить меня в Испанию для чтения антикоммунистических лекций и работы над книгой о святой Терезе. Я сейчас предпринимаю шаги более или менее конкретные, чтоб это устроилось, но еще не вполне уверен,

удастся ли это».

«Это» – не удалось: Франко письмо Мережковского проигнорировал. По Парижу ходили анекдотические слухи, что, помимо Франко, Мережковский «для подстраховки» также написал письмо и Салазару в Португалию, однако второпях принял название деревни Фатьма (где произошло явление Богородицы) за имя некоей португальской святой, так что проект «биографии Фатьмы» португальский диктатор не утвердил.

Доля истины в подобных анекдотических историях была. После Италии Мережковский стал стремительно дряхлеть, и старость вдруг превращала его всегдашний эгоцентризм в припадки некоего «карамазовского» эгоистического цинизма, когда, по замечанию Ирины Одоевцевой, «ему было на все и на всех наплевать, только бы он и Гиппиус могли пить чай – это казалось ему справедливым и естественным». Беда была в том, что *«пить чай»* становилось все труднее и труднее: многие десятилетия каторжного литературного труда не принесли ему, в сущности, никакого материального благополучия, и теперь, превращаясь в глубокого старика, Мережковский с ужасом предчувствовал, что старость сулит ему только нищету, страх и отчаяние. Величественное угасание незабвенного Алексея Николаевича Плещеева с его «благоухающими сединами» Мережковскому, увы, было не суждено.

Последние книги Мережковского, составившие две заключительные «трилогии» («Реформаторы» и «Испанские мистики»), равно как и книга о Данте, имеют, несомненно, автобиографический, исповедальный характер: герои, избранные им, оказываются своеобразными «зеркалами», преломляющими в своих судьбах те события жизни Мережковского, над которыми он считает нужным поразмышлять «в остаток дней».

Данте – флорентийский изгнанник, в душе которого любовь к родине вечно борется с любовью к свободе и Истине. «Родина для человека, как тело для души. Сколько бы тяжелобольной ни ненавидел и ни проклинал тела своего, как терзающего орудия пытки, избавиться от него, пока жив, он не может; тело липнет к душе, как отравленная одежда кентавра Несса липнет к телу Геракла. „Сколько бы я ни ненавидел ее, она моя, и я – ее“, это должен был чувствовать Данте, проклиная и ненавидя Флоренцию… Но чем больше ненавидит ее, тем больше любит. Главная мука изгнания – вечная мука ада – эта извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей – к проклявшей их матери».

Герои «Реформаторов» – Лютер, Кальвин, Паскаль – мятежники, восставшие против невежества, раболепства и

цинизма Рима, вдруг, в какой-то момент, с удивлением и ужасом видят, что за этим внешним безобразием они не разглядели истинной святости и правоты Церкви и сами стали источником страданий и раздоров.

«…Лютер… пророчески понял, что пламя Крестьянского бунта не потушено, а только на время подавлено и, если вспыхнет снова, то может сделаться началом того „всемирного пожара“, который мы называем „социальной революцией“. – „Но кто же поджигатель этого пожара, великий Сатана, ученый и премудрый богослов, как не сам доктор Мартин Лютер“ – могли бы сказать римские католики. ‹…› „Кто отвергает Закон, пусть уничтожит сначала грехи, – кричит он уже слабеющим, в безвоздушной пустоте или под землей в гробу, задыхающимся голосом. – … Легкие умы думают, что достаточно услышать кое-что о Евангелии, чтобы стать христианином. Нет, познайте и ужас Закона. Благодать и надежда нужны, чтобы родилось покаяние, но и угроза нужна“. – „Это мы тебе и говорили, но ты не слушал“, – могли бы Лютеру напомнить католики. ‹…› „Грешным людям отвергать Закон, без которого нет ни Церкви, ни государства, ни семьи, – ничего, что делает людей людьми, – значит опрокидывать бочку вверх дном; это – невыносимое дело“. – „Мы и это тебе говорили, но ты не слушал“, – могли бы опять напомнить Лютеру католики. Это и значит: „Какою мерою мерите, такою вам и отмерится“.

Во время тяжелой болезни, когда думали все, думал и сам Лютер, что умирает, он воскликнул громким голосом и заплакал так… что слезы катились градом по щекам его: «О, каких только ужасов не натворят после смерти моей ложные пророки-мечтатели, Второкрещенцы и другие бесчисленные бунтовщики!»»

Что же касается «Испанских мистиков», то на создание этой последней трилогии его натолкнуло весьма странное рассуждение, прочитанное им в книге одного из самых ярких деятелей «контрреформации» и замечательного духовного писателя XVI века святого Иоанна Креста «Темная Ночь Духа». Иоанн пишет, что истинно алчущий Истины человек только до тех пор может пребывать в благостном состоянии духа, вере и благочестии, пока он не приблизился к Ней слишком близко. Когда же искания его приблизились к концу и он заметил свет Истины, он… утрачивает веру в Бога, ибо Мудрость Его и Его Величие и неисповедимость Его путей настолько *чудовищно* велики, что человеческое сознание не может это вынести.

– Трудно поверить, чтобы такой великий святой, как Иоанн Креста, мог сказать: *«Чтобы человеку соединиться с Богом, надо ему потерять веру в Бога»,* – удивился Мережковский.

Но какое ему, Мережковскому, казалось бы, дело до этого странного признания испанского монаха – ведь в нем самом с самых детских лет бурная и часто хаотическая динамика того, что называется «душевным», сочеталась с незыблемым покоем «духовного основания», как будто бы недвижно сияющей Полярной звездой в высокой глубине обращающегося вокруг нее небосвода разнообразных созвездий, ибо, независимо от чувственного и рационального опыта, он всегда, что бы ни происходило с ним, знал, **что Бог *есть!***

Через несколько дней после того, как Мережковский начал работу над книгой о святом Иоанне Креста, **началась Вторая мировая война.**

* * *

Состояние Мережковского в трагические дни сентября 1939 года трудно передать. «Всю тяжесть двойного изгнанья, – двойной потери, он по-настоящему начинает чувствовать в 1939 году, когда наступает катастрофа, – свидетельствует В. А. Злобин. – Россия провалилась, но был мир. И вот мир тоже провалился. Царство лжи и человекоубийства – земной ад, в котором он проведет два последних года, пышным цветом расцветает на месте, где некогда была Европа – „страна святых чудес“». Кошмар, от которого он бежал в 1919 году, которого так панически боялся все эти годы, – настиг его, – и он мог бы сказать, подобно Иову (3, 24–26): *«Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье».*

Осенью Мережковские, вместе с десятками тысяч парижан, поддавшись панике (все ожидали бомбардировок, и французское правительство рекомендовало всем покинуть Париж), оставляют свой дом и уезжают в Биарриц. Однако паника скоро улеглась: шла «странная война», армии враждующих сторон бездействовали. В Биаррице, где они провели около трех месяцев, сложилось даже «литературное общество»: Ирина Одоевцева и ее муж, поэт Георгий Иванов, также покинувшие Париж и поселившиеся на авеню Эдуарда VII, в двух шагах от моря, завели здесь свой «салон», который посещали местные и приезжие интеллектуалы, французские военные и союзники-англичане. На этих «приемах» Мережковский, неожиданно для всех, стал провозглашать здравицы за победу французского оружия. Он ругательски ругал Гитлера, называл его гнусным невежественным

ничтожеством, полупомешанным, достойным лишь презрения «маляром, воняющим ножным потом». Эти восторженно-истерические речи настолько не подходили к мрачной, трагической ситуации, складывающейся в Европе, что и хозяева, и сопровождавшая мужа Гиппиус пытались как-то «осадить» Дмитрия Сергеевича.

По возвращении в Париж Мережковские проводят осень и зиму 1939/40 года в «смертной тоске», машинально отслеживая развитие событий (вступление в войну Италии Мережковский коротко комментирует: «Муссолини – идиот»). Весной 1940 года начинается последний акт трагедии. Немцы занимают Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и вторгаются во Францию.

И снова эвакуация, и снова Биарриц, но на этот раз устроиться здесь негде, город наводнен беженцами. Из отеля «Метрополь», где Мережковские сначала остановились, их выселяют: отель был реквизирован под какое-то бегущее из Парижа правительственное учреждение. Два нищих старика – Мережковский и Гиппиус – бродят по улицам, пытаясь найти хоть какое-то прибежище. Наконец они устраиваются в ночлежке для беженцев, организованной в отеле «Maison basque» – без надежды выехать оттуда в ближайшее время. 14 июня 1940 года немцы занимают Париж, а 28-го Биарриц.

Франция пала.

Начинался последний – как он и предчувствовал, безысходный и страшный, – год в жизни Мережковского, точнее, *старческая агония,* растянувшаяся на год.

Деньги, которые они смогли с собой взять, скоро кончаются. О литературном заработке нельзя и помыслить. Они голодают – буквально, как некогда в Петербурге, неделями сидят на чае и хлебе, которыми их снабжают сердобольные соседи-французы. Какой-то человек, пожалев голодающих стариков, несколько раз приносил им манную кашу и кисель. Мережковский назвал его «добрым самаритянином».

Здесь же, в ночлежке, их настигает известие о смерти Философова – и они воспринимают это как должное: все умирает и погибает вокруг.

К счастью, знакомые и поклонники провели сбор в помощь Мережковскому (поводом для сбора послужил его… семидесятипятилетний юбилей) и собрали сумму, достаточную, чтобы покинуть ночлежку и переехать на небольшую пригородную виллу «El Recret». Они вносят задаток, но прямо перед переездом Мережковский заболевает дизентерией. Гиппиус привозит его в «El Recret» полумертвого и от страха сама теряет голову. «Он лежит целый день, – в панике пишет она друзьям, –

целый день боль, боль, боль… Ничего не помогает». Болезнь с осложнениями длится около месяца. Она уверена, что он умрет.

Мережковский поправляется.

Всю зиму они сидят на вилле «El Recret» одетыми – отопления нет, и в декабре холод достигает восемнадцати градусов ниже нуля. Ими владеют бесконечная усталость и отчаяние. Они теряют интерес к окружающему, словно бы отупевают, «окаменевают» настолько, что даже известие о том, что их парижская квартира описана за долги и они, в сущности, стали бездомными, переживается ими равнодушно.

– Состарила нас эта война! – говорил Мережковский.

Удивительно то, что даже в этих условиях Мережковский не утрачивает способности работать. В ночлежке он завершает две части «Испанских мистиков» – рассказ о «Ночи Духа», искусе *богооставленности,* а перебравшись на виллу, только лишь оправившись от болезни и встав на ноги, – немедленно приступает к завершающей части трилогии – «Маленькой Терезе Сердца Иисусова».

К этой католической святой – монахине-кармелитке из Лизье, скончавшейся в 1897 году, двадцати четырех лет от роду, и канонизированной католической Церковью в 1925 году, – у Мережковских было свое, особое отношение, очень похожее не столько на религиозное, сколько на родственное. Для Мережковского простая история жизни Терезы Лизьезской (в пятнадцать лет она поступила в монастырь, где провела девять лет в послушании и молитве, заболела туберкулезом и умерла со словами «Боже мой, я люблю Тебя!») была символом простой, наивной любви к Богу и ближнему, именно простотой и ясностью своей побеждающей самые страшные искусы «Ночи Духа», о которых она пишет в своем «Дневнике» (он был опубликован посмертно).

Сейчас, в безнадежном положении, в оккупированном Биаррице, без гроша в кармане и без будущего, бессильно наблюдая за безраздельно торжествующим вокруг злом, Мережковский перечитывал жизнь Терезы, стараясь уловить главное: «Летчики знают, как опасны провалы в „воздушные ямы“, такие внезапные, что если авион не выправить вовремя, то он падает в яму и разбивается о землю. Есть и в религиозном опыте Терезы, так же, как у всех святых, такие „воздушные ямы“ – потери веры. Каждый раз, в последнюю минуту, перед самым падением выправляет она не чужие, мертвые, как у летательной машины, а свои, живые, как у Ангела, крылья, и, проносясь так близко к земле, что почти касается ее крылом, взлетает снова к небу, как ласточка. Чем больше ужас падения, тем упоительнее

радость взлета. Но перед каждым падением помнит она, что может быть когда-нибудь и такое, что уже не взлетит, а упадет на землю и разобьется до смерти»…

В начале июля 1941 года Мережковских выселяют с виллы за неплатеж. Два месяца они живут в долг в меблированных комнатах, пытаясь достать у знакомых деньги на проезд до Парижа – фактически нищенствуют. Наконец удается занять нужную сумму – и они отправляются в Париж.

В Париж они прибывают 9 сентября.

С концом июня – началом июля 1941 года связана великая трагедия России – начало Великой Отечественной войны и разгром Красной армии на западных границах СССР, и один из самых странных и – до последнего времени – непонятных эпизодов в биографии Мережковского.

Легенда гласит, что после вторжения Германии в СССР Мережковский выступил по парижскому радио, приветствуя начало освобождения России из-под власти большевиков и «сравнивая Гитлера с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола» (Ю. К. Терапиано), после чего оставшиеся в Париже русские эмигранты устроили старому писателю бойкот.

На самом деле все было с точностью до наоборот.

Мережковский действительно произнес речь, в которой упоминались Гитлер и Жанна д'Арк, но не по радио в Париже в июне 1941 года, а в отеле «Maison Basque» в Биаррице, вполне традиционным, «приватным» образом на его юбилейном чествовании 14 августа 1940 года. В эти месяцы как французы, так и русские эмигранты находились под впечатлением речи Шарля де Голля, произнесенной 18 июня 1940 года в Лондоне, куда улетел генерал, восставший против маршала Пэтена, заключившего перемирие с немцами, для организации французского Сопротивления. «Юбилейная» речь Мережковского, разделявшего тогда общее воодушевление, была вполне «голлистской».

«На огромной террасе нашего отеля, – вспоминала Н. А. Тэффи, – под председательством графини Г. собрали публику, среди которой мелькали и немецкие мундиры. Мережковский сказал длинную речь, немало смутившую русских клиентов отеля. **Речь была направлена против большевиков и против немцев. Он уповал, что кончится кошмар, погибнут антихристы, терзающие Россию, и антихристы, которые сейчас душат Францию, и Россия Достоевского подаст руку Франции Паскаля и Жанны д'Арк.**

– Ну, теперь выгонят нас немцы из отеля, – шептали перепуганные русские.

Но присутствовавшие немцы будто и не поняли этого пророчества и мирно аплодировали вместе с другими» (выделено мной. – *Ю. З.)*.[42]

Текст этой речи не сохранился, но **именно она и стала источником для «мифа о радиообращении».** По всей вероятности, эта речь действительно была «фрондерской» и «голлистской»: ведь не надо забывать, что в августе 1940 года Германия была союзницей СССР, с которым год назад, 23 августа 1939 года, был заключен Пакт о ненападении. Так что *и отечественный социал-интернационализм, и германский национал-социализм были тогда для Мережковского двумя однородными «антихристианскими» силами, берущими в смертельное кольцо христианскую Европу – Польшу и Францию.* Еще в 1932 году Мережковский соединял в единую силу «человекообразных варваров» и русских коммунистов и «хитлеровцев»: «Пусть еще не все антихристиане скинули с себя лицо человеческое, но уже все „человекообразные“ явно, не только на словах, но и на деле, как русские коммунисты, или тайно, только на деле, как фашисты и хитлеровцы, скинули с себя маску христианства. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что мир сейчас разделился на два воюющих стана: за и против Человека, за и против Христа» (статья «Что такое гуманизм»).

Однако все эти смысловые «нюансы» в эмигрантских кругах не были отмечены. Говорили, что Мережковский в оккупированном Биаррице отпраздновал свой 75-летний юбилей и в присутствии немцев сказал речь, в которой упоминались Гитлер и Жанна д'Арк. Далее произошла смысловая контаминация, ибо все помнили, как в предвоенные годы Мережковский носился с идеей возрождения дантовской мечты об Империи Мира в Италии, сравнивая Муссолини с автором «Божественной комедии». Так, по иронии судьбы «фрондерская» речь Мережковского 14 августа 1940 года осталась в памяти большинства эмигрантов, судивших об этом *антигитлеровском демарше* писателя по циркулирующим в кругах «русской Франции» слухам, сначала речью «о Гитлере и Жанне д'Арк», а затем и «речью о Гитлере – Жанне д'Арк» (докатился, мерзавец!).

Справедливости ради, нужно отметить, что Мережковский после возвращения из Биаррица в Париж в сентябре-ноябре 1941 года сам подавал в разговорах с прежними знакомыми повод для подобных слухов. Дело в том, что в Биаррице бедствующим Мережковским помогали немецкие солдаты и офицеры – почитатели Мережковского. После юбилейного вечера слух о пребывании в Биаррице литературной знаменитости мгновенно облетел всех находящихся на Ривьере многочисленных

поклонников, желающих, вне зависимости от своего нынешнего «политического статуса», засвидетельствовать ему свое почтение.

«Мало-помалу к ним стали проникать немцы, приходили молодые, из студентов, на поклон к писателю, которого знали по переводам, – пишет в своих воспоминаниях Н. А. Тэффи, часто навещавшая Мережковских в те дни (осенью на „El Recret“, как уже говорилось, Дмитрий Сергеевич тяжело и долго болел). – Они благоговейно просили автографа. Мережковский с ними в беседу не вступал, только изредка кричал по-русски: „Скажите им, чтоб несли папиросы“, или „Скажите, что нет яиц“. Гиппиус иногда разговаривала, но говорила все неприятные вещи.

– Вы все как машины. Вами командуют начальники, а вы слушаетесь.

– Да ведь мы же солдаты. У нас дисциплина. Мы же не можем иначе.

– Все равно вы машины.

Я подшучивала:

– А вам, наверное, хочется, чтоб у них был Совет солдатских депутатов с лозунгом «Бей офицерье!».

– Все равно они машины.

Ее сбить не так-то было легко».

По всей вероятности, эти «немцы» и подкармливали Мережковских в очень трудную для них весну 1941 года, когда собранные по «юбилейной подписке» 7 тысяч франков подошли к концу, и они же помогли летом бедствующим старикам, выселенным за неуплату из «El Recret» в меблированные комнаты, оставить наконец Биарриц и перебраться в сентябре в Париж. Это, разумеется, повлияло на *личное* отношение Мережковского к оккупантам, что и было отмечено мемуаристами, которые общались с писателем в последний, «парижский» месяц его жизни. На востоке в это время уже вовсю шла война между Германией и СССР, и любая симпатия к немцам воспринималась патриотически настроенными «русскими парижанами» в штыки. «Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки, – возмущался, вспоминая последние встречи в парижской квартире на *rue Colonel Bonnet,* бывший посетитель «литературных воскресений» и участник заседаний кружка «Зеленая лампа» писатель В. С. Яновский. – Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским… Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм – антихрист, антимарксизм – антиантихрист, quod erat demonstrandum! ‹…› К этому времени большинство из нас перестало бывать у

Мережковских».

Таким образом, **никакой речи о нападении Германии на СССР по парижскому радио Мережковский не произносил** (да и не мог бы произнести – в июне-августе 1941 года он был в Биаррице, а для такого выступления тогда требовалось личное присутствие выступающего в радиостудии).[43] Все конфликты Мережковского с «левыми» эмигрантами-антифашистами заключались в нескольких домашних спорах «о большевиках и Гитлере» после возвращения «поправевшего» писателя из Биаррица. Мережковский, вероятно, позволял себе вновь поднимать «довоенный» вопрос о необходимости «крестового похода» против «Царства Антихриста». В условиях осени 1941 года подобные беседы многими из его визитеров были (справедливо!) расценены как проявление политической безответственности и существенно повредили репутации престарелого писателя, однако ни о каком «общественном бойкоте» Мережковского, разумеется, говорить не приходится.

Впрочем, долго «конфликтовать» с эмигрантами Мережковский не мог – после возвращения из Биаррица жить ему оставалось менее трех месяцев.

* * *

В Париже оказалось возможным еще «спасти квартиру». Однако на продукты денег не хватает – они живут впроголодь, «позорно» страдая и от нехватки папирос. Но более всего Мережковский боится наступления холодов – памятуя о кошмарной зиме в Биаррице: уголь им тоже «не по карману». Каждый день они выходят гулять, ибо, по мнению Мережковского, «гулянье – свет, а негулянье – тьма», но он от слабости так виснет на руке жены, что у Гиппиус после каждой прогулки отнимается предплечье.

Все эти месяцы он упорно работает над «Маленькой Терезой».

В последний вечер, 6 декабря, вернувшись с прогулки, они спорят, как всегда, «о России и свободе». Ужинать он не захотел, пошел укладываться спать, даже не выкурив традиционную вечернюю папиросу («папиросу надежды», как он говорил). Перед сном Гиппиус заходит к нему в комнату пожелать спокойной ночи. Он вдруг говорит, как будто продолжая завершенный давеча разговор:

– Я, как Блок… «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Ты этого не понимаешь. Но это – ничего…

На следующее утро, в девять часов, Гиппиус будит

приходящая француженка-домработница:

– Venez vite, monsieur est malade![44]

Мережковский сидел в гостиной в соломенном кресле перед потухшим камином. Он был без сознания, едва можно было уловить дыхание. Доктор, вызванный по телефону консьержки, пришел через 15 минут и констатировал кровоизлияние в мозг. Еще через полчаса, не приходя в сознание, Мережковский умер.

На столе остались последние строки, написанные его рукой: «… Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе (Пс. 21, 7). Кутается в темную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь из нее ослепительно белой, как солнце, воскресшею бабочкой».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22 июня 1941 года, узнав о нападении фашистской Германии на СССР, митрополит Сергий (Страгородский) сразу после Божественной литургии, которую он служил в московском Богоявленском соборе, обратился к православным верующим с воззванием, мгновенно разошедшимся по всем уголкам СССР:

«Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству, – писал Сергий. – Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую враждебную силу. ‹…› **Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины».**

Надежды (небезосновательные) фашистов на антисоветскую или хотя бы нейтральную позицию Московского патриархата рухнули уже в первый день агрессии. Православные же по городам и весям вновь собранной к 1941 году имперской территории – как свободные, так и заключенные, как священнослужители, так и миряне – приободрились и откликнулись на зов Сергия.

А было православных много – ибо перепись, проведенная в СССР в 1937 году, сразу же вслед за «пятилеткой безбожия», дала странные результаты: две трети сельского и треть городского населения назвали себя верующими. И ведь нужно еще учитывать оригинальный исторический контекст, в котором та перепись проводилась: далеко не каждый селянин и тем более не каждый горожанин так уж откровенничал, отвечая на параграф об отношении к религии, включенный в опросный лист. Разумеется, результаты переписи сразу же засекретили, но легче от этого главным «переписчикам», конечно, не стало.

Получалось: гора родила мышь. Все мерзости, все чудовищные кощунства, творимые четверть века над беззащитной русской Церковью, – все оказалось напрасно. Все осквернённые, опустошенные раки, из которых напоказ вытаскивались святые мощи, все разрушенные древние храмы и изуродованные бесценные иконы, все перепоганенные и загубленные души тысяч и тысяч доморощенных «гонителей», все десятки тысяч убиенных священников, монахов и монахинь, все сотни тысяч безвинных мирян-страстотерпцев, – всё-всё это море крови, грязи и слез было пролито безо всякого ощутимого прока. Никакого «красного

безбожия» в России не получилось.

Сейчас же, в июне 1941-го, все вдруг вернулось «на круги своя». Наступали враги – и, как и полагается, Патриарх (каковым в этот миг Сергий, конечно, *уже* был в народном разуме) возвышал в Москве голос в защиту Отечества.

«…В условиях войны, – пишет современный историк, – вековые традиции национального и патриотического служения русского православия, которые складывались и проявлялись еще в период ордынского ига в XIII–XV вв., смутного времени в начале XVII в. и т. д., оказались сильнее предубеждений и обид. Как впоследствии вспоминал митрополит Сергий, „нам не приходилось даже задумываться о том, какую позицию должна занять наша Церковь во время войны“ ‹…› Церковь не только утешала верующих в скорби, но и поощряла их к самоотверженному труду в тылу, мужественному и ревностному участию в боевых операциях на фронте и партизанских отрядах, поддерживала веру в окончательную победу над врагом, способствуя тем самым формированию высоких патриотических чувств и убеждений среди тысяч соотечественников».

Это и стало «моментом истины» во всей мрачной истории советской «борьбы с религиозными предрассудками». Летом 1941-го навсегда были разогнаны редакции журналов «Безбожник», «Антирелигиозник» и других подобных изданий. Напротив, уже в июне был разрешен колокольный звон и стали открываться закрытые в «пятилетку безбожия» и ранее храмы. Торжественный молебен о победе над врагом, состоявшийся 26 июня 1941 года в Богоявленском соборе Москвы, «прошел при исключительно большом стечении народа как внутри, так и вокруг храма». Сергий в Москве и митрополит Алексий (Симанский) в Ленинграде, в нарушение всех советских законов того времени, запрещающих Церкви вмешиваться в дела государства, следовали многовековой традиции и пускали «шапку по кругу», призывая всех «трудами и пожертвованиями содействовать нашим доблестным защитникам». И, как и всегда, народные медяки складывались во многие и многие миллионы, обращаясь далее в оружие.

Вот на этом-то фоне, под понятный всем, привычный и призывный русский церковный набат, и прозвучали слова:

– Товарищи! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои…

После этого Гитлер уже в июле 1941 года мог смело стреляться, ибо весь многовековой европейский исторический опыт убедительно свидетельствовал, что победить невероятно живучую и упрямую Россию, *объединившуюся для ведения*

Отечественной войны, практически невозможно. Дубина народной войны, как справедливо писал в свое время Лев Толстой, поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила на этот раз немцев до тех пор, пока не погибло все нашествие. Вековой кошмар цивилизованной Европы – бородатые русские мужички с топорами (и автоматами!) и «козаки» вдруг во множестве явились и теперь из мрачных лесных и степных российских пространств и гвоздили пресловутой дубиной супостата до тех пор, пока чувство оскорбления и мести не заменилось презрением и жалостью к побежденным. И прибавить к этому – ввиду печальных европейских руин 1945-го – по большому счету, нечего.

Поздним вечером 4 сентября 1943 года Сталин принял в Кремле Сергия вместе с митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Согласно преданию, Сталин, в присущей ему манере юмора «макабр», в начале беседы полюбопытствовал: отчего Московской патриархии не хватает священников?

– По разным причинам, – ответил Сергий. – Так, скажем, бывает – готовишь священника, а он вдруг становится Генеральным секретарем ЦК ВКП(б).

Сталин, как известно, был недоучившимся семинаристом.

На этой встрече договорились о беспрепятственном создании духовных учебных заведений на территории СССР, о нормализации управления приходами, об издании ежемесячного церковного журнала. Сергий настаивал на освобождении священников, заключенных в лагерях, тюрьмах и ссылках, и на восстановлении в гражданских правах освобожденных из заключения. Наконец встал вопрос о созыве Собора, призванного избрать после восемнадцатилетнего (!) перерыва Патриарха.

Сталин не возражал. Более того, по его предложению в качестве резиденции будущего главы русской Церкви и служб Патриархии был определен особняк, служивший ранее, до войны… резиденцией германского посла графа Шулленбурга.

8 сентября 1943 года в Москве состоялся Собор епископов, избравший Патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия. Русская Церковь вновь возвращалась к каноническому строю своей организации. Впрочем, сам Сергий говорил на Соборе только о войне. По его настоянию, Собор принял составленное Патриархом постановление о том, что «всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашистов, как противник Креста Господня, да числится отлученным [от Церкви], а епископ или клирик – лишенным

сана».

В 1944 году в стране было вновь открыто более 200 храмов. Разумеется, это был не конец противостояния русской Церкви и коммунистического режима: впереди были новые гонения и испытания, был неугомонный, бодрый разрушитель Хрущев, пообещавший показать всему миру «последнего попа» (наряду с «торжественным обещанием» построить коммунизм для «нынешнего поколения советских людей»), был и муторный, лживый брежневский «застой» с его казенным «государственным атеизмом» и арестами священников-диссидентов» (не по политическим, разумеется, статьям). Собственно «конец» наступил в 1991 году: коммунистическая власть неожиданно пала, увлекая в своем падении и Советский Союз, русская же Церковь, в очередной раз оказавшись в российском разброде, вновь принялась «собирать камни».

Теперь на прозвучавший в 1943 году отчаянный вопрос Зинаиды Гиппиус: *«Если епископ Сергий уже 26 лет проповедует „истину небесного идеала“ – сколько еще лет ему понадобится, чтобы „достичь отмены рабства“ куда горшего, чем старое, крепостное?»* – ее оппонент мог бы четко ответить:

– Еще сорок восемь лет.

В схватке с коммунистическими «безбожниками», применявшими в своих гонениях все мыслимые формы государственного насилия, какие могла изобрести тоталитарная власть в XX столетии, русская Церковь, чьим оружием был только наперстный крест в руках запуганных до немоты приходских священников, *одержала бесспорную и полную победу.*

«…И врата ада не одолеют ее» (Мф. 16. 18).

Патриарх Сергий умер 15 мая 1944 года. 31 января 1945 года в Москве начал свою работу Поместный собор Русской православной церкви, на котором, помимо отечественного духовенства и мирян, присутствовали православные патриархи иих представители из Румынии, Сербии, стран Ближнего Востока, а также зарубежные иерархи Московской патриархии. Всего Собор составили 204 участника. Такого полномочного собрания русская Церковь не знала с 1918 года. 2 февраля 1946 года Собор избрал Патриархом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), который был местоблюстителем престола после кончины Сергия.

Ко времени Поместного собора окончательно развалилось «обновленчество», а оппозиционные «сергианцам» церковные группы «иосифлян» и «катакомбников» начали движение в сторону объединения с Московской патриархией. Впрочем, группы непримиримой «катакомбной», или так называемой

Истинно православной церкви (которые очень жестоко преследовались советскими органами госбезопасности), сохранялись вплоть до конца СССР. Однако смерть «узурпатора» Сергия и утверждение на патриаршем престоле Алексия – героя блокады, избранного Поместным собором, привели к тому, что, оставаясь на нелегальном положении, многие из «катакомбников» стали возносить молитвы за Патриарха, то есть фактически примкнули к Москве, так сказать, «на правах автономии». В дни, когда писалась эта книга, было окончательно решено и объединение Русской православной церкви за рубежом с Московской патриархией. Единство русского православия, прошедшего в XX веке через горнило гонений, восстанавливается сейчас, таким образом, окончательно.

Грандиозную фигуру Сергия в истории новейшей русской Церкви сейчас, созерцая эту историю с рубежей уже завершенного этапа и зная финал всей «советской трагедии», переоценить, конечно, трудно. Тем не менее «стыд мученичества», который претерпели «сергианцы» в 1927–1941 годах, до сих пор омрачает образ Патриарха.[45] Сам Сергий даже не пытался *прямо* объясниться ни с современниками, ни с потомками, но его одинокий, загадочный образ, и сейчас тревожащий воображение многих, остался в народной памяти окруженным таинственными легендами. Рассказывают, например, что некий прямодушный батюшка, решивший в конце 1920-х – начале 1930-х годов порвать с «сергианцами», ругательски ругал «продавшегося большевикам» митрополита, а затем во сне увидел Сергия, коленопреклоненного.

– Вот ты меня ругаешь, а я-то *каюсь,* – промолвил Сергий.

Если же от подобных апокрифов перейти на почву строгого историзма, то, по крайней мере, нельзя не признать, что Сергию удалось практически доказать справедливость своих слов, некогда произнесенных с трибуны Религиозно-философских собраний:

– Церковь *не восставала прямо* против рабства, но *проповедовала истину небесного идеала* и этим, а не чем-либо иным, она *достигла отмены рабства!*

Среди всех участников Религиозно-философских собраний, высказывавших, как мы помним, самые разнообразные версии отечественного «церковного действия» в грядущем XX столетии, Сергий, когда история его вынудила *перейти от слов к делу,* оказался наиболее убедителен. Спорить с этим нельзя – и на этом мы «оставим жгущийся в обе стороны жупел», как говаривал покойный Розанов.

Роль Мережковского – организатора этих самых Религиозно-

философских собраний – оказалась в грядущей трагедии русского православия куда менее заметной, а в последние месяцы его жизни – попросту жалкой. Тем не менее слова Н. А. Бердяева, с которых и начиналось наше повествование, —

> «Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему. В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам… В час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере литературной», —

представляются сейчас, в общем, исторически оправданными. Их правоту может засвидетельствовать и автор этих строк, впервые по-настоящему открывший для себя Мережковского, листая том только что купленного «Иисуса Неизвестного» в зале для встречающих аэропорта «Пулково-2» весной 1997 года, ожидая запаздывающий самолет из Мадрида. Чтение, помнится, увлекло, а «жизненное религиозное возрождение», о котором пророчествовал Бердяев, как всегда в России «со скрипом и издержками», все же шло как раз в эти фантастические годы, так что менее чем через месяц после памятного «пулковского вечера» я вдруг оказался «в процессе воцерковления». Не скажу, чтобы между этими двумя событиями была совершенно прямая связь, но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

Время вообще произвело с наследием Дмитрия Сергеевича странную метаморфозу: если для современников чтение его произведений было скорее знаком религиозного «свободомыслия», то нынешний российский интеллигент, начитавшись Мережковского, с неумолимостью железной оказывается затем если не в лоне, то, по крайней мере, в ограде Московской патриархии и, препоручая себя ее заботам, переключается с традиционных для интеллигенции «духовных поисков» на что-либо более продуктивное. Правило это, насколько я могу судить, без исключений.

Это странно, поскольку собственно содержание большинства книг Мережковского, скажем так, весьма далеко от апологии ортодоксии. Кстати, опять-таки по впечатлению сугубо личному, отношение большинства представителей современного православного духовенства к Мережковскому скорее *сдержанное,* нежели враждебное. Все его «богословские» построения принимаются здесь в качестве «игры ума», не требующей от активной современной православной религиозности сколь-нибудь жесткого противодействия, а только – деликатного *уточнения* при

случае, что если уж оценивать деятельность писателя не с художественно-литературной позиции, а с позиции строгого, догматического православия, то на Дмитрии Сергеевиче все-таки *клейма ставить негде* (что абсолютно справедливо). И тем не менее Мережковский *не чужой* в этом кругу: если и *не по хорошему мил,* так *по милу хорош,* говоря его же словами.

В начале 1970-х Владимир Высоцкий, размышляя над собственной трактовкой роли Гамлета, высказал в стихах, этим размышлениям посвященных, глубокую мысль:

А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.

(«Мой Гамлет»)

Используя афоризм Высоцкого, можно сказать, что Мережковскому все-таки хватило здравого смысла в своих «религиозных поисках» не настаивать на «постановке каверзного ответа». Мережковский действительно какое-то время, по всей вероятности, считал себя «призванным» совершить некое глобальное «религиозное действие», выступая если не в качестве «создателя новой религии», подобно позднему Л. Н. Толстому, то, по крайней мере, в качестве «радикального обновителя» «старой» (христианства или, точнее, православия). На языке святоотеческой сотериологии такое состояние называется состоянием *прелести* и почитается одним из опаснейших духовных заблуждений, ведущих к погибели души. Однако сама история первой половины XX столетия, весьма круто обошедшаяся с нашим героем, в то же время оказалась спасительным «противоядием» против подобных духовных соблазнов. Несмотря на то, что некоторые даровитые историки литературы до сих пор стремятся утвердить за Мережковским «авторство» некоей «собственной церковности», все же вряд ли кому-либо *всерьез* придет сейчас в голову говорить о *«мережковстве»* (!) наряду с «толстовством» или «соловьевством». *Ни о «церкви Мережковского», ни даже о созданной им «секте» говорить, по совести, конечно, нельзя – просто за объективной невозможностью реального осуществления таковых начинаний в историческом контексте 1910-1930-х годов.*

Зато «вопросы Мережковского» оказались в полной мере востребованными его интеллигентными российскими читателями. Можно сказать, что «миссия среди интеллигенции», о которой он говорил в канун Религиозно-философских собраний, действительно удалась и *русская интеллигенция в XX столетии*

практически перестала быть «секулярной». Если в начале XX века Чехов, иронизируя над Мережковским, признавался, что «с недоумением смотрит на всякого интеллигентного верующего», то теперь, в начале XXI века, странной кажется сама эта чеховская сентенция. Нынешнее русское православие *интеллектуально,* и та же русская литература (в которой произведения Чехова играют такую выдающуюся роль) просто непредставима в наши дни вне отечественной религиозно-философской проблематики.

– Мы занимаемся литературой, не желая произносить безответственных слов о религии, христианстве и зная, что **в русской литературе заключена такая сила подлинной религиозности,** что, говоря только словами, мы скажем все, что нужно, и сделаем свое дело, – говорил Мережковский в начале XX века, и в правоте *этих* его слов сейчас, в начале XXI столетия, уже мало кто сомневается.

* * *

Утром 10 декабря 1941 года Дмитрий Сергеевич Мережковский был отпет и погребен по православному обряду на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.

Его жена, Зинаида Николаевна Гиппиус, скончавшаяся 9 сентября 1945 года, была погребена в той же могиле.

Памятник, воздвигнутый над ними, представляет собой белый обелиск, повторяющий контуры византийского православного храма, увенчанный маковкой с «восьмиконечным» православным крестом. В нише обелиска – изображение Пресвятой Троицы с образа преподобного Андрея Радонежского (Рублева). Ее обрамляет прошение молитвы Господней:

ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО [46]

1865-2 августа в семье столоначальника придворной конторы С. И. Мережковского и В. В. Мережковской родился сын Дмитрий. Детские годы проходили в Петербурге, где семейство проживало в казенной квартире в доме близ Прачечного моста (Фонтанка, 2). Летние месяцы юный Мережковский проводил на даче в комплексе зданий Елагина дворца, иногда родители брали его в Крым (Ореанда).

1876 – Д. С. Мережковский поступает в 3-ю классическую гимназию, где начинает писать стихи.

1879 – в июле вместе с отцом побывал в Алупке у княгини Е. К. Воронцовой; прослушав стихи мальчика, она поощряет его к дальнейшему творчеству.

1880 – С. И. Мережковский знакомит сына с Ф. М. Достоевским, который оценивает его творчество как «слабое»: «Чтобы хорошо писать, страдать нужно». В «Живописном обозрении» (№ 40) появляется стихотворение Д. С. Мережковского «Тучка» – это его дебют в печати. Участвует в благотворительном сборнике «Отклик» П. Ф. Якубовича-Мельшина.

1881-31 января Мережковский присутствует на похоронах Ф. М. Достоевского. *1 марта* народовольцами убит Александр II. Отец Мережковского выходит в отставку, и семья поселяется на улице Знаменской, 33.

1882 – осенью Мережковский присутствует на первых выступлениях С. Я. Надсона, пишет ему письмо. Начинается дружба со старшим поэтом.

1883 – в начале года Надсон знакомит Мережковского с А. Н. Плещеевым, который вводит его в литературный круг журнала «Отечественные записки». Мережковский организует в гимназии «молье-ровский кружок», пытаясь поставить на школьной сцене «Тартюфа». Его разбор ролей пьесы Мольера навлекает неудовольствие полиции, как проявление «юношеского свободомыслия». *Весной* Мережковский завершает гимназический курс и *летом* сдает вступительные экзамены на первый курс историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. *Осенью* начинает посещать литературный кружок О. Ф. Миллера. Все это время продолжается дружба с Надсоном,

который оказывает значительное и личное и творческое влияние на юного поэта. В журнале «Отечественные записки» (№ 1) появляются два стихотворения Мережковского – его дебют в «большой литературе».

1884 – Плещеев рекомендует Надсона и Мережковского в Литературное общество и вводит последнего в семью директора Петербургской консерватории К. Ю. Давыдова и А. А. Давыдовой, издательницы и общественной деятельницы. Здесь Мережковский знакомится с Н. К. Михайловским и Г. И. Успенским, под воздействием которых переживает увлечение «народничеством». *Летом* во время студенческих каникул путешествует по Волге, там знакомится с народным проповедником, близким к «толстовству», Василием Сютаевым, который производит на него большое впечатление. Эта встреча подвигает его к изучению работ Л. Н. Толстого, однако толстовское «опрощение» он не принимает.

1885 – Н. К. Михайловский привлекает Мережковского к работе в созданном им вместе с А. А. Давыдовой журнале «Северный вестник». Мережковский публикует здесь стихотворения и пишет по заданию Михайловского аналитическую критику. Тогда же Мережковский увлекается дочерью издательницы «Вестника» Л. К. Давыдовой. *Летом* путешествует с семьей А. А. Давыдовой по Франции и Швейцарии. Однако любовный роман оказался неудачным.

1886 – Мережковский переносит тяжелую болезнь, что производит на него сильное впечатление и служит одной из главных причин «поворота к вере».

1887-19 января в Ялте умирает от чахотки С. Я. Надсон. Мережковский присутствует на его похоронах в Петербурге и читает на литературном вечере стихотворение «Памяти Надсона». Стихи Мережковского начинают появляться в столичной периодике.

1888 – пишет первую поэму «Протопоп Аввакум». *Весной* выходит первая книга Мережковского «Стихотворения». *24 марта* в припадке безумия кончает с собой В. М. Гаршин; Мережковский откликается на эту трагедию стихотворением «Смерть Всеволода Гаршина» и присутствует на похоронах писателя на Волковом кладбище. *В первой половине года* следуют публикации стихотворений Мережковского в «Северном вестнике». *В апреле* он сдает выпускные экзамены в университете и защищает дипломную работу о Монтене. *В начале мая* Мережковский едет в Одессу, оттуда морем – в Сухуми, потом по Военно-Грузинской дороге – в Боржом, куда прибывает *в последних числах мая.* В Боржоме останавливается *на все лето,* пишет драматическую

поэму «Сильвио» («Возвращение к природе»). *В конце июня* знакомится с З. Н. Гиппиус. *11 июля* на детском балу в боржомской Ротонде делает З. Н. Гиппиус предложение. *В сентябре* Мережковский провожает семью невесты в Тифлис и едет в Петербург устраивать предсвадебные дела. *В ноябре* в «Северном вестнике» появляется статья Мережковского о Чехове («Старый вопрос по поводу нового таланта»), обострившая его отношения с Н. К. Михайловским. *23 ноября* Мережковский возвращается к невесте в Тифлис и в ожидании свадьбы поселяется в гостинице, ежедневно бывая в доме Гиппиус. Они читают литературные новинки, бывают в опере.

1889-8 января Мережковский венчается с З. Н. Гиппиус в тифлисской церкви архангела Михаила. *10 января* молодые уезжают по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ, оттуда – в Москву, к родственникам З. Н. Гиппиус, а затем, *в последних числах января, – в* Петербург. Здесь они поселяются на Верейской улице, 12. *В феврале-марте* Мережковский знакомит жену с литературной жизнью столицы, пишет стихи и статьи о В. Г. Короленко и Ж. Ж. Руссо. *20 марта* скоропостижно умирает мать писателя Варвара Васильевна Мережковская (похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря). После похорон Мережковский на месяц впадает в глубокую депрессию. *В начале мая* вместе с женой уезжает из Петербурга в Крым. По пути они заезжают в Москву, куда собирается тогда же переехать из Тифлиса мать З. Н. Гиппиус – Анастасия Степановна с дочерьми, и снимают на подмосковной станции Поварово дачу на лето. *Май* Мережковские проводят в Алупке, где их спутником оказывается Н. М. Минский, затем ненадолго едут на Кавказ, в Тифлис и Боржом, потом – в Москву, откуда отправляются на дачу в Поварово. Здесь они живут *до сентября,* затем возвращаются в Петербург, где поселяются в новой квартире в доме Мурузи на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы (Литейный, 24). *Весной-летом* Мережковским написана статья о Сервантесе («Северный вестник», № 8, 9). *Осенью и зимой* он работает над «повестью в стихах» «Вера», регулярно посещает Литературное общество, тесно общается с А. Н. Плещеевым и Н. М. Минским. *Рождество* чета Мережковских встречает в Москве в семье Гиппиус.

1890 – в первой половине года в «Северном вестнике» печатается «Сильвио», а в «Русской мысли» – «Вера». Помимо того в «Русском обозрении» *в марте* выходит «критический этюд» о Достоевском, а в «Труде» *в июне* – «критический этюд» о Гончарове. *В мае-июне* руководство «Северным вестником» переходит к «молодой редакции» во главе с Б. Б. Глинским. *15*

июня Мережковский получает приглашение сотрудничать в обновленном журнале (но впоследствии фактически теряет в нем всякое влияние). *В этот же день* он получает восторженное письмо от П. П. Перцова – это начало их знакомства, пока «заочное». *Лето* Мережковский проводит с семьей Гиппиус на даче в Поварове, где занимается переводами и делает первые наброски романа «Юлиан Отступник». Но его работу прерывает тяжелая болезнь жены – возвратный тиф. В Петербург Мережковские возвращаются только *в ноябре.* В «Северном вестнике» публикуется перевод Мережковского «Ворона» Эдгара По. Он завершает работу над переводом «Прикованного Прометея» Эсхила (будет напечатан в первом номере «Вестника Европы» *в следующем, 1891 году). Зимой* Мережковский работает над поэмой «Смерть». В этот сезон происходит знакомство Мережковских с К. Д. Бальмонтом.

1891 – в первой половине года в «Северном вестнике» опубликована поэма «Смерть», в «Русской мысли» – поэма «Семейная идиллия», в «Труде» – статьи об А. Н. Майкове, Марке Аврелии, Кальдероне. *Весной* Мережковские совершают свою первую совместную поездку в Европу: Варшава, Вена, Венеция. В Венецию они прибывают *20 марта* и, осматривая собор Святого Марка, встречают также путешествующих по Италии А. П. Чехова и А. С. Суворина, которые на некоторое время становятся их спутниками. Из Венеции все вместе едут во Флоренцию, после – в Рим. В Риме Мережковские получают приглашение А. Н. Плещеева посетить его в Париже. Во Франции Мережковский и Гиппиус пробыли *весь май;* под впечатлением этих дней Мережковский пишет поэму «Конец века. Очерки современного Парижа» (опубликована в сб. «Помощь голодающим». М., 1892). Помимо того они побывали в Швейцарии, на Женевском озере. *Летние месяцы* супруги проводят вместе с семьей Гиппиус на даче в имении «Глубокое» под Вышним Волочком. Мережковский работает над романом о Юлиане Отступнике, который захватывает его всецело. *Осенью* Мережковские возвращаются в Петербург. Роль «добытчицы» в семье переходит к Гиппиус, которая сбывает свою беллетристическую продукцию в многочисленные популярные издания. *Осенью-зимой* Мережковский переводит Гёте («Пролог на небе» из «Фауста») для «Русского обозрения» и «Антигону» Софокла для «Вестника Европы» (обе публикации состоятся *в будущем году). В сентябре,* узнав у А. П. Чехова адрес А. С. Суворина, Мережковский обращается к издателю с предложением выпустить его новую книгу стихов.

1892 – к весне Мережковский завершает «Юлиана

Отступника», но из-за неурядиц в редакции «Северного вестника» оказалось, что публиковать этот «модернистский роман» негде. Мережковский активно общается в это время с А. Л. Волынским, который подает надежду на публикацию «Юлиана Отступника», однако его грубые редакторские замечания и сокращения приводят к разрыву, после чего «Северный вестник» для Мережковского закрывается. У А. Н. Майкова устраиваются читки романа. Помимо публикаций стихотворений и переводов в «Северном вестнике», «Русском обозрении», «Вестнике Европы», сборниках «Нивы» и «Труде» у Мережковского выходит вторая книга стихов «Символы» в издании А. С. Суворина. *В марте* З. Н. Гиппиус в очередной раз заболевает бронхитом, который преследовал ее весь осенне-зимний сезон. *В апреле* Мережковский, одолжив деньги у отца, везет жену в Ниццу, где в это время живет семья А. Н. Плещеева. Здесь Мережковские впервые встречаются с Д. В. Философовым. Из Ниццы Мережковский и Гиппиус уезжают в Италию, а потом морем – в Грецию (огромное впечатление от посещения афинского Акрополя вдохновило Мережковского на очерк об этом путешествии) и Турцию. *В июне* Мережковские возвращаются из Константинополя в Одессу. *Летние месяцы* супруги проводят на даче в имении «Глубокое» под Вышним Волочком вместе с семьей Гиппиус. Здесь Мережковский переводит «Ипполита» Еврипида (выйдет в первом номере «Вестника Европы» *за 1893 год)*. *Осенью* З. Н. Гиппиус сближается с «новой редакцией» «Северного вестника», во главе которой теперь находятся А. Л. Волынский и Л. Я. Гуревич. Происходит знакомство Мережковских с Ф. К. Сологубом, переехавшим в Петербург из Вытигры. В этот сезон супруги посещают Шекспировский кружок. *26 октября* Мережковский делает в Русском литературном обществе доклад «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», который затем повторяет *8 и 15 декабря. Осенью-зимой* пишет «драматические сцены в четырех действиях» «Гроза прошла» (будут опубликованы в первых номерах «Труда» *в будущем году)*.

1893 – в феврале Мережковские побывали в Финляндии у И. Е. Репина. На *зимне-весенние месяцы* приходится сложная интрига З. Н. Гиппиус с Н. М. Минским, А. Л. Волынским, Л. Я. Гуревич и З. А. Венгеровой, что стало оригинальным поводом для последующего включения Мережковских в литературную политику «Северного вестника». Доклад «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» вызвал широкий резонанс в русских читательских кругах и был опубликован отдельным изданием. «Северный вестник» для

Мережковского пока закрыт. Он публикует стихотворения в «Ниве» и «Труде», переводит для последнего «Лигейю» Э. По, а также печатает в «Русской мысли» и «Театральной газете» статьи о Монтене и Тургеневе. Тем не менее материальное положение Мережковских становится крайне тяжелым, и Мережковский, уже замышляя роман о Леонардо да Винчи, берется за любую работу. Для «Вестника иностранной литературы» делает подборку «изречений китайской мудрости». *Осенью* Мережковский работает над переводом «Эдипа-царя» Софокла, который удается пристроить в «Вестник иностранной литературы» (выйдет в первом и втором номерах *за 1894 год). 26 сентября* в Париже скончался А. Н. Плещеев. Мережковский публикует в «Театральной газете» некрологическую статью и присутствует на панихиде по поэту в Казанском соборе. *8 октября* Мережковский знакомится с П. П. Перцовым, который становится его конфидентом и постоянным корреспондентом. *Зимой* семья Гиппиус переезжает в Петербург. *Весь год* Мережковский и Гиппиус продолжают посещать Шекспировский кружок, общаясь с его завсегдатаями – Андреевским, Спасовичем, Кавосом, Урусовым, Боборыкиным, а также бывают на «пятницах» Полонского и собраниях «Литературного фонда». Помимо того Мережковские устраивают журфиксы у себя в доме Мурузи. На них бывает и «мальчик Философов». «Своим» в доме Мережковских вновь становится *с осени* и А. Л. Волынский.

1894 – весь год развивается тайный роман З. Н. Гиппиус и А. Л. Волынского, что дало Мережковскому неожиданный «литературный результат»: «Юлиан Отступник» в конце концов был принят в «Северный вестник». Помимо того в этом журнале вновь появляются стихотворения Мережковского. Однако основными изданиями для него в этом году являются все же второстепенные «Труд», «Вестник иностранной литературы» и «Нива». Здесь выходят стихотворения, переводы и критические очерки. *В мае* Мережковские едут в Берлин, а затем в Италию, где живут в отеле «Великобритания» на побережье Комо. Мережковский захвачен работой над «Леонардо да Винчи». *В середине июня* супруги возвращаются в Петербург. *Лето* Мережковские проводят под Петербургом в поселке Ольгино близ Ораниенбаума. *Осенью* у Мережковских начинаются серьезные финансовые трудности. *В октябре* Мережковские побывали в Москве, где Дмитрий Сергеевич знакомится с Е. И. Образцовой, его многолетней «скандальной» поклонницей. *Зимой* у З. Н. Гиппиус начинается обострение бронхита и кровохарканье, но из-за безденежья и необходимости вычитывать корректуры «Юлиана Отступника» Мережковские зимуют в Петербурге.

1895 – в «Северном вестнике» (№ 1–6) публикуется «Юлиан Отступник». Помимо того, в большинстве номеров за этот год печатаются и стихотворения Мережковского, что приносит долгожданное материальное облегчение. В «Вестнике иностранной литературы» (№ 1) появляются давнишние «Изречения китайской мудрости», а также статья «Желтолицые позитивисты». Стихи, очерки и рассказы Мережковского публикуются также в «Труде» и «Ниве». «Вестник Европы» снова заказывает Мережковскому «античный» перевод, и в седьмом номере появляется «Медея» Еврипида. *В начале года* на квартире А. В. Половцева в Аничковом дворце Мережковский знакомится с А. Н. Бенуа, который вместе с В. Ф. Нувелем, Л. С. Бакстом и Д. В. Философовым начинает посещать дом Мурузи. *Летние месяцы* Мережковские проводят под Ораниенбаумом. *С августа* Мережковский вместе с П. П. Перцовым работает над созданием сборника о философских течениях в русской поэзии и пишет для него большую статью о Пушкине и статью о Кольцове. Работа над «Леонардо да Винчи» вступает в завершающую фазу, и Мережковский планирует на следующий год путешествие в Италию «по следам Леонардо».

1896 – в январе Мережковский читает в «Литературном фонде» доклад о Пушкине. *В апреле-мае* Мережковские и «друг семьи» Волынский совершают давно задуманное путешествие по Италии и Франции «по следам Леонардо да Винчи». *5 апреля* они посещают селение Винчи. *6-18 апреля* Мережковские находились во Флоренции, *19 апреля* осмотрели селение Фаэнци. Далее они следовали по маршруту Форли – Римини – Пезаро – Урбино – Равенна – Мантуя – Павия – Симплоне и завершили путешествие в Амбуазе, побывав в комнате, где умер Леонардо. В ходе этого путешествия произошел первый в ряду скандалов, которые затем будут полтора года сопутствовать Мережковским из-за настойчивой ревности Волынского, решившего «выяснить отношения» с Гиппиус и ее мужем. Волынский оставляет своих спутников на полпути и возвращается в Петербург. *Летом,* в отсутствие Мережковских и Волынского, происходит конфликт редактора «Северного вестника» Л. Я. Гуревич с цензурным комитетом, после чего журнал начинает рушиться из-за непомерных цензурных требований. В Россию Мережковские возвращаются *в начале июля* и оказываются вовлеченными в «двойную» личную и издательскую интригу, которая продолжается и во время пребывания на даче «Аврора» в имении Дылицы под Петербургом. *Осенью* происходит сближение Мережковских с сестрой В. С. Соловьева По-ликсеной (она писала стихи под псевдонимом Allegro) и начинаются встречи с самим

философом у баронессы В. И. Икскуль и у графа М. Э. Прозора, где они часто бывают в это время. *В этом году* впервые в жизни Мережковского его книги преобладают над публикациями в периодике (среди последних перевод «Эдипа в Колоне», появившийся в седьмом номере «Вестника Европы»). Помимо сборника Перцова «Философские течения в русской поэзии», появившегося *в марте,* выходят: отдельным изданием «Юлиан Отступник» (под журнальным названием «Отверженный»), сборник «Новые стихотворения» и перевод романа Лонгуса (Лонга) «Дафнис и Хлоя».

1897 – главное событие в литературной жизни Мережковского – выход книги его статей о литературе и культуре «Вечные спутники», а в личной – противостояние с А. Л. Волынским, которое постепенно приобретает откровенно уродливые формы. *В июне-сентябре* Мережковские живут в имении Шевино возле станции Преображенская (близ Сиверской). *В июне* их навещает там поэт Вл. В. Гиппиус, который восхищен трудоспособностью Мережковского: работа над «Леонардо да Винчи» идет полным ходом. Однако *в сентябре* в «Северном вестнике» появляется статья А. Л. Волынского «В поисках за Леонардо да Винчи». *В октябре* Мережковские возвращаются в Петербург. *В середине октября* З. Н. Гиппиус заболевает сильнейшим плевритом, и Мережковский решает ехать с ней за границу, но денег на путешествие нет. *В ноябре* на банкете в редакции «Северного вестника» Мережковский и З. Н. Гиппиус знакомятся с Максимом Горьким, хотя Мережковский уже исключен из списка сотрудников журнала и вынужден публиковать путевые заметки о прошлогоднем путешествии в журнале «Cosmopolis», куда их пристроил заведующий русским отделом этого международного издания Ф. Д. Батюшков. *27 декабря* Мережковские принимают участие в вечере, посвященном 20-летию со дня смерти Н. А. Некрасова, в зале Кредитного общества; вечер имеет большой успех.

1898 – 27 января Мережковский и Волынский обмениваются крайне резкими письмами, после чего все отношения между ними расторгаются. *12 марта* в «Новом времени» (№ 8275) публикуется анонимное письмо, в котором Волынский обвиняется в плагиате материалов Мережковского. В свою очередь, Волынский активно интригует против Мережковского и З. Н. Гиппиус, используя для этого все свои литературные связи. Из-за травли, развернутой Волынским, для Мережковского закрываются не только «Северный вестник», но и практически все толстые петербургские журналы. *В марте* Мережковские смогли, наконец, вырваться на две недели в Италию, в Таормину, где на вилле Рейф Гиппиус

знакомится с композитором Елизаветой Овербек. *Лето* Мережковские проводят в имении Елизаветино. *18 октября* умирает Я. П. Полонский (его похоронили в Рязани), а с его смертью уходят в прошлое и «пятницы». С другой стороны, после окончательного распада старых знакомств *в этом году* Мережковский формирует новый круг литературного общения. Он сходится с В. В. Розановым (с которым познакомился еще в апреле 1897-го) и группой С. П. Дягилева, создающей журнал «Мир искусства». Тогда же начинается сближение Мережковских с Д. В. Философовым, которого прочат на должность заведующего литературным отделом нового журнала. *8 декабря* Мережковские впервые встретились с приехавшим в Петербург В. Я. Брюсовым, хотя их заочное знакомство состоялось еще в 1895 году. *В декабре* прекращает свое существование журнал «Северный вестник».

1899 – в начале года Мережковским нанесла визит дочь настоятеля парижской русской церкви З. Васильева, которая перевела на французский «Юлиана Отступника» и хлопотала о его публикации во французском издательстве. С выходом *в январе* первого номера «Мира искусства» (в этом и последующем номерах помещена статья Мережковского «Я. П. Полонский») был преодолен «издательский кризис», возникший после катастрофы с «Северным вестником». В этом же журнале опубликованы статьи о Пушкине (№ 5) и о греческой трагедии (№ 7, 8). Помимо того, *в этом году* переизданы «Вечные спутники» и «Философские течения в русской поэзии». *12 января* состоялась премьера «Антигоны» Софокла в переводе Мережковского в МХТ. Правда, была и крупная неудача с журналом «Начало», в первых номерах которого появились главы «Леонардо да Винчи» (под заголовком «Возрождение») и который затем бесславно закрылся. Тем не менее роман удается пристроить *к осени* в журнал «Мир Божий» (он заполнит беллетристический раздел всех номеров журнала *в грядущем 1900 году)*. *Весной* Мережковский с женой уезжает в Бад-Гомбург (курорт близ Франкфурта). Здесь приступает к работе над трактатом «Л. Толстой и Достоевский», который поначалу называл «статьей». *Июнь-сентябрь* Мережковские проводят в Орлине под Сиверской, где *в начале сентября* у них гостил Розанов с женой. *В октябре* в Орлине Мережковский впервые высказал идею «новой церкви». *В 20-х числах октября* Мережковские уезжают в Петербург, откуда *в ноябре,* совершенно больные, отправляются в длительное европейское турне. Через Вену, где Гиппиус сделали небольшую операцию (вскрытие простудного нарыва), они едут в Рим, куда прибывают *в начале декабря.* В это время Мережковский уже полностью захвачен вопросами религиозными, которые он пытается разрешить,

работая над трактатом о Л. Толстом и Достоевском.

1900 – в январе в Литературно-артистическом театре А. С. Суворина состоялась премьера «Антигоны» Софокла в переводе Мережковского. Мережковский с женой живет за границей: сначала в Риме *(до 16 января),* затем в Таормине *(до мая),* затем во Флоренции *(до июня). Июнь и июль* Мережковские проводят в Германии, в Гомбурге. «Юлиан Отступник» печатается в парижском «Journal des Debates» (перевод на французский З. Васильевой). *В этом же году* роман выпущен во Франции отдельным изданием в переводе Ж. Сорреза. Все «заграничные» месяцы Мережковский захвачен работой над «Л. Толстым и Достоевским», регулярно посылает в Россию новые части (которые публикуются в № 1–4 и 7-12 «Мира искусства»). Вернувшись из-за границы *в середине июля,* Мережковские живут *до 14 сентября* с семьей Гиппиус на даче под Сиверской, затем переезжают «на зимние квартиры». После возвращения Мережковских из-за границы в Москве скончался их близкий знакомый князь А. И. Урусов, и Дмитрий Сергеевич помещает в «Мире искусства» некрологическую статью. *Осенью-зимой* на квартире у Мережковских проходит ряд «мистических собраний» по организации «неохристианской общины», причем к своему «религиозному братству» Мережковский пытается привлечь «мирискусников», однако всерьез к этой затее относится только Д. В. Философов.

1901 – год проходит «под знаком» «Л. Толстого и Достоевского» («Мир искусства», № 4-12). В то же время религиозные искания Мережковского, развивающиеся «параллельно» работе над трактатом, начинают приобретать «общественные» формы, особенно после нашумевшего доклада «Отношение Льва Толстого к христианству», прочитанного в Философском обществе при Петербургском университете *6 февраля.* По стечению обстоятельств *23 февраля* вышло «Определение Святейшего Синода за № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом», сообщающее о его отлучении от Церкви, и Мережковский теперь вынужден отстаивать «гражданскую непорочность» своих взглядов. В «Мире искусства» (№ 2, 3) появляется его «письмо в редакцию» «Отцы и дети русского либерализма». *29 марта* (Великий Четверг) Мережковский, Гиппиус и Философов после совместной молитвы обменялись нательными крестами, «преломляли хлеб и пили вино»: так возникло «троебратство». *В начале апреля* в Петербург приезжает почитательница Мережковского Е. И. Образцова, и он неожиданно завязывает с «поклонницей» любовный роман, оправдывая свое

«падение» теорией о «святости плоти». Вместе с Образцовой Мережковский и Гиппиус уезжают на несколько дней в Москву. *В мае,* оставив жену в Петербурге, Мережковский опять уезжает в Москву на три дня, чтобы проводить Образцову в Крым; оскорбленная Гиппиус хочет «уйти» и от Мережковского, и от Философова. Вернувшись из Москвы, Мережковский, примирившись с женой, уезжает с ней и свояченицами в Италию, а затем – в полюбившийся ему Гомбург. *В июне* Мережковские возвращаются в Петербург через Москву и, как обычно, проводят *лето и начало осени* на даче, на этот раз – в Луге. Сюда приезжает Д. В. Философов, увлеченный как «неохристианской» проповедью Мережковского и обетом «троебратства», так и обаянием Гиппиус. В «мужском союзе» «Мира искусства» такое поведение Философова расценивают как «измену», и с этого момента начинается конфликт Мережковских с редакцией журнала (с Дягилевым прежде всего). *1 и 2 сентября* Гиппиус высказывает идею Религиозно-философских собраний, «ядром» которых должно стать «троебратство». *В начале октября* Мережковские уезжают из Луги в Петербург. *8 октября* Мережковский получает разрешение на проведение собраний у обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева и у митрополита Петербургского Антония. *27 ноября* Мережковский читает лекцию «Любовь и смерть у Льва Толстого» в Неофилологическом обществе. *29 ноября* в Малом зале Географического общества на Фонтанке проходит первое Религиозно-философское собрание, имеющее сенсационный успех и общероссийский резонанс. *3 декабря* в Литературном обществе Мережковский повторяет лекцию «Любовь и смерть у Льва Толстого». *Всю осень и зиму* Мережковские и Философов еженедельно встречаются для совместной молитвы. *5 декабря* Мережковский предлагает Философову переехать в дом Мурузи и зажить «общиной». *Вечером того же дня* Мережковский и Гиппиус с «миссионерской» целью едут в Москву. *6 декабря* они встречаются с московскими литераторами на квартире О. М. Соловьевой, где, в частности, знакомятся с Андреем Белым. *8 декабря* в Московском университете Мережковский читает реферат «Русская культура и религия», вызвавший оживленные прения (выступили Н. В. Бугаев, В. И. Герье, С. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский). *В конце года* первый том «Л. Толстого и Достоевского» выходит отдельным изданием. В Лондоне и Нью-Йорке выходит английский перевод «Юлиана Отступника», сделанный Г. Тренчем. В Милане «Юлиан Отступник» и «Леонардо да Винчи» издаются на итальянском языке в переводе Н. Романовской.

1902 – 1 января Мережковские и Философов в доме Мурузи

готовятся к намеченной на завтрашний день «агапе», которая должна знаменовать создание «неохристианской общины». Для этого события Гиппиус шьет «красные одежды» всем троим. *2 января* Мережковский и Гиппиус, заготовив «хлебы и вино», напрасно ждут Философова: он проигнорировал «агапу». Утром *3 января* Мережковский приходит к Философову на службу в Публичную библиотеку, однако тот отказывается дать какие-либо «объяснения». Вечером *того же дня* проходит Религиозно-философское собрание, на котором Мережковский читает реферат «Об отлучении Толстого»; Философов присутствует на этом собрании в компании Дягилева и «мирискусников». *5 января* на вечере в доме Мурузи Розанов сообщает Мережковским, что Дягилев везет Философова за границу «лечиться». *6 января* Философов присылает Мережковским записку: «Я выхожу из нашего союза не потому, что не верю в дело, а потому, что я лично не могу в этом участвовать». *11 января* Философов и Дягилев уезжают из Петербурга. *В этом году* исполнилось 50 лет со дня смерти Н. В. Гоголя. Мережковский, откликаясь на знаменательную дату, работает над исследованием «Судьба Гоголя» и участвует в юбилейных мероприятиях. *17 февраля* он читает в московском Историческом музее доклад о Гоголе, а вернувшись в Петербург, выступает с «гоголевской» лекцией в Тенишевском училище. В февральском номере «Мира искусства» (вышедшем только *в апреле)* завершается журнальная публикация «Л. Толстого и Достоевского». Вместе с ней прекращается и практическое сотрудничество Мережковских с журналом, прежде всего – из-за ревности Дягилева, стремившегося «отделить» от них Философова. Кроме того, *в феврале* скончалась А. А. Давыдова и для Мережковского окончательно закрылся и журнал «Мир Божий». Между тем *8 марта* Мережковский завершает исследование «Судьба Гоголя», и вопрос о публикации заставляет его задуматься о собственном периодическом издании. *В марте-апреле* Мережковские и П. П. Перцов выступают с инициативой создания журнала для объединения «религиозной общественности». С помощью поэта К. К. Случевского и журналиста И. И. Колышко тогда же проходят переговоры с министром внутренних дел Д. С. Сипягиным, затем со сменившим его В. К. фон Плеве и с начальником Главного управления по делам печати Н. В. Шаховским; принципиальное согласие властей на издание журнала «Новый путь» получено. Начинанию способствовало и то, что *всю первую половину года* с огромным успехом проходят заседания Религиозно-философских собраний. *18 марта* на десятом заседании Мережковский делает доклад «Гоголь и о. Матвей», вызвавший большой общественный

резонанс. Обсуждение доклада тогда же состоялось и в резиденции петербургского митрополита Антония в Александро-Невской лавре, причем владыка с одобрением отозвался о «просветительской» миссии Мережковского среди отечественной интеллигенции. *26 марта* Мережковским наносит визит А. А. Блок и скоро становится в их доме «своим». *29 марта* Мережковский и Гиппиус отмечают годовщину возникновения «троебратства» вдвоем, поскольку отношения с Философовым разорваны («Тьма внешняя с нами», – пишет об этом дне Гиппиус). *13 апреля* (Великий четверг) они молятся, поставив к столу третий пустой стул. *В начале июня* Мережковские переезжают на дачу в имение Заклинье под Лугой. *12 июня* Мережковский и Гиппиус с группой православных миссионеров едут на Светлое озеро в г. Семенов, где участвуют в полемике с сектантами. Под впечатлением от этой поездки у Мережковского возникает замысел «русского» романа «Петр и Алексей». В начале и конце поездки их принимает ярославский губернатор Б. В. Штюрмер, у которого они, отправляясь в обратный путь, знакомятся с о. Иоанном Кронштадтским. *3 июля,* накануне возвращения Мережковских в Петербург, П. П. Перцов получил официальное разрешение Главного управления по делам печати на издание журнала «Новый путь». *С 6 июля по 24 сентября* Мережковские живут в имении Заклинье и работают над проектом будущего издания. *14 июля* к ним приезжает книгоиздатель М. В. Пирожков, взявший на себя заботы по организации редакции журнала *(в августе* он снимает помещение в доме на Невском проспекте, 88, где находятся его издательство и книжная лавка). *В эти месяцы* Мережковские встречаются с П. П. Перцовым, А. А. Блоком, П. С. Соловьевой, издателем А. Е. Колпинским, пайщицей журнала В. А. Субботиной. *В конце июля – начале августа* в Заклинье из Москвы приезжает Е. И. Образцова, также пожелавшая стать пайщицей «Нового пути», однако подлинная цель ее визита – «романтическая», и, в конце концов, она со скандалом изгнана Гиппиус. *В начале сентября* на даче Мережковских навещает режиссер Ю. Э. Озаровский, которому поручена постановка трагедии Еврипида «Ипполит». *14 октября* на сцене Александринского театра проходит премьера «Ипполита» в переводе Мережковского, а сам переводчик произносит вступительную речь «Новое значение старой трагедии», которая *на следующий день* выходит в газете «Новое время». Этой премьере способствовал искавший пути примирения с Мережковскими Дягилев (директор театра С. Волконский был его другом). *В ноябре* выходит первый номер «Нового пути». *В декабре* против Мережковского в прессе выступает архимандрит

Михаил, однако затем он неожиданно переходит на сторону оппонента. Тем не менее резкая критика Религиозно-философских собраний нарастает. *В этом году* Мережковский издает отдельными книгами «Юлиана Отступника», «Леонардо да Винчи» (в издательстве М. В. Пирожкова – как первые две части трилогии «Христос и Антихрист»), все переводы греческих трагедий и сборник новелл «Любовь сильнее смерти». В Париже выходит «Леонардо да Винчи» на французском языке в переводе С. М. Пермского.

1903 – в первых трех номерах «Нового пути» публикуется «Судьба Гоголя». Помимо того, наличие «своего» журнала позволяет Мережковскому опубликовать «крамольный» реферат «Толстой и Русская Церковь» (№ 2). Выходит отдельное издание второго тома «Л. Толстого и Достоевского» и переиздается первый том. *В этом же году* трактат «Л. Толстой и Достоевский» издается и во Франции (перевод М. Э. Прозора). Мережковский напряженно работает над «Петром и Алексеем» и публикует отрывок из романа в очередном выпуске «Северных цветов». *В марте* против Религиозно-философских собраний выступает о. Иоанн Кронштадтский. *2 апреля* в газете «Заря» появляется статья писательницы Н. А. Лухмановой «Кто дал им право?» с требованием запретить Религиозно-философские собрания. *3 апреля* (Великий четверг) Мережковский, пытаясь уладить дело, посещает Александро-Невскую лавру и на лестнице проваливается в стеклянный люк, сильно порезавшись. *5 апреля* Мережковским сообщают о намерении властей запретить Религиозно-философские собрания, и *19 апреля* проходит последнее, двадцать второе заседание. Протоколы заседаний *до конца года* появляются в «Новом пути», однако и издание журнала «повисло на волоске»: П. П. Перцов заявил о своем желании «ликвидировать дело». *В середине мая* Мережковский и Гиппиус посещают В. Я. Брюсова в московском издательстве «Скорпион». *Летом* Мережковские снимают дачу под Лугой по соседству с Поликсеной Соловьевой-Allegro. Дмитрий Сергеевич много беседует с ней о ее покойном брате-философе (В. С. Соловьев скончался в 1900 году). *В начале июля* Дягилев предлагает Мережковским объединить «Мир искусства» и «Новый путь», создав новый «большой» журнал. Для переговоров Мережковские приезжают в Петербург, где встречаются с Дягилевым, Философовым и А. П. Чеховым, однако данный «проект» не состоялся из-за нежелания Чехова сотрудничать с проповедниками «неохристианства». *Во второй половине июля* на даче у Мережковских гостит П. П. Перцов, которого они убеждают в необходимости продолжить работу в «Новом пути». *В сентябре*

Мережковские возвращаются в Петербург. *10 октября* скоропостижно умирает А. С. Гиппиус, теща писателя. Во время похорон Мережковскому и Гиппиус много помогает Философов, который теперь окончательно остается в их «орбите». «Дягилевский кружок» к этому времени распался и журнал «Мир искусства» прекратил существование. «Новый путь», несмотря на трудности, решено продолжать: подписку спасает обещанный в новом году роман «Петр и Алексей».

1904 – 14 января японский флот атаковал русские корабли «Варяг» и «Кореец», началась война России с Японией. В Петербурге война *в первые месяцы* не ощущается и продолжается мирная жизнь. В «Новом пути» публикуется «Петр и Алексей» (№ 1–5 и № 9– 12). Помимо того в журнале *в этом году* выходят статьи Мережковского «Новый Вавилон» (№ 3) и «О свободе слова» (№ 10). *Зимой* Мережковский много общается с вдовой Достоевского, которая соглашается отдать в «Новый путь» неизданные материалы писателя и его записные книжки. Это придает журналу особый «академический» статус. Однако все треволнения этих месяцев пагубно сказались на здоровье Мережковского: у него начала развиваться нервная болезнь и по совету известного врача-психиатра И. С. Мержеевского он уезжает из Петербурга. *В начале февраля* Мережковские в сопровождении Философова отбывают на Иматру. После возвращения восстановленного «троебратства» в Петербург Философов занимает в редакции «Нового пути» (переехавшей к этому времени в Саперный переулок, 10) место отошедшего от дел Перцова. *В марте* секретарем редакции «Нового пути» вместо Е. А. Егорова становится поэт Г. И. Чулков. *В мае* Мережковские уезжают в Берхтесгаден (Австрия) и по пути заезжают на два дня *(11–12 мая)* в Ясную Поляну, где беседуют с Л. Н. Толстым. В Россию они возвращаются *в августе* и сразу уезжают на дачу в Гатчину. Сестры Гиппиус Татьяна и Наталья переселяются после смерти матери в дом Мурузи, поэтому вернувшиеся в город *в октябре* Мережковские занимают здесь новую, более просторную квартиру. *Осенью – зимой* особо активизируется их общение с «апокалиптиками» Блоком и Андреем Белым (последний во время частых поездок из Москвы в Петербург останавливается у Мережковских). Если начало японской войны Мережковский встретил равнодушно, то теперь его и Гиппиус охватывает предчувствие грядущей революционной катастрофы. *В этот сезон* фактическое руководство журналом «Новый путь» переходит к группе молодых философов-идеалистов во главе с Н. А. Бердяевым (на *следующий год* они попытаются продолжить журнал под новым названием – «Вопросы жизни»; *февраль-декабрь*

1905). Оставив издательские хлопоты, Мережковские начинают сотрудничать в брюсовских «Весах». *В этом году* отдельными изданиями переизданы переводы греческих трагедий и романа Лонгуса «Дафнис и Хлоя», а также переиздана книга «Любовь сильнее смерти». В «Скорпионе» выходит «Собрание стихов» Мережковского.

1905 – 5 января Философов окончательно переезжает в дом Мурузи. *9 января* после расстрела шествия рабочих Мережковские, Философов и гостивший у них Андрей Белый устраивают с помощью студентов «протест» в Александринском театре, а затем – слушают речь Г. А. Гапона в Вольно-экономическом обществе. Несколько дней после этого Мережковский ожидает ареста. В журналах «Полярная звезда» и «Вопросы жизни» *на протяжении года* появляются первые из его «мистико-революционных» статей, среди них – «Грядущий Хам». *1–2 мая* русский флот разгромлен японским в Цусимском сражении. *В мае* «троебратство» едет в Крым, откуда Философов возвращается в Петербург, а Мережковские отправляются в Константинополь, затем – на Принцевы острова. В Одессе, куда они прибывают из этого морского путешествия, Мережковский встречает раненых офицеров-портартурцев и потрясен их «ненормальным» видом. Летом Мережковские и Философов живут в имении Кобрино под Петербургом. Под воздействием событий лета, прежде всего – поражения России в войне с Японией, Мережковский стремительно «левеет». *29 июля* в беседе с Гиппиус он говорит, что окончательно уверился в «антихристианской» сущности русского самодержавия. Тогда же он высказывает мысль, что для «переоценки ценностей» «троебратству» необходимо на несколько лет покинуть Россию. *Осенью* в Петербурге Мережковские и Философов ведут бурную общественную жизнь, знакомятся с революционерами, в том числе – с А. М. Коллонтай. *17 октября* Мережковский приветствует введение гражданских свобод, однако симпатии его уже на стороне «радикальных» революционеров, прежде всего – эсеров. *С октября* начинает функционировать салон на «башне» Вяч. И. Иванова, который посещают Мережковские. *На эту осень* приходится и внезапный роман Мережковского с «оргиасткой» Л. Н. Вилькиной, из-за которого вновь чуть не рухнуло «троебратство». *В конце года* ведется работа над поэмой «Старинные октавы», публикация которой состоится в московском журнале «Золотое руно» (№ 1–4) *в следующем, 1906 году*.

1906 – в январе Мережковский живет в санатории «Каскад» близ Иматры, где, по заказу А. Г. Достоевской, пишет вводную статью для готовящегося юбилейного собрания сочинений Ф. М.

Достоевского – «Пророк русской революции». *24 января* он возвращается в Петербург на премьеру «Антигоны» в Александринском театре. *18 февраля* Мережковский читает статью «Пророк русской революции» в зале Тенишевского училища, после чего возмущенная Анна Григорьевна аннулирует заказ. Статья публикуется в «Весах» (№ 2, 3), а после издается отдельной брошюрой. Выходят книга «Гоголь и черт» и сборник статей «Грядущий Хам», а также переиздаются прежние издания: «вся» трилогия «Христос и Антихрист», «Вечные спутники», переводы (ежегодные переиздания разных произведений Мережковского *с этого времени вплоть до 1917 года* становятся регулярными, поэтому далее упоминаться не будут). *В первые месяцы года* Мережковские, Философов, Бердяев и С. Н. Булгаков пытаются создать группу «Меч» и проектируют издание одноименного журнала на базе брюсовских «Весов». В. Я. Брюсов такой проект вежливо отклоняет. *Весной* Мережковские и Философов осуществляют прошлогодний план: *в конце февраля* Философов уезжает во Францию, чтобы найти жилье (он снимает квартиру на *rue Theophile Gautier,* 15-bis), а *в марте* Мережковский и Гиппиус отправляются в «добровольное изгнанье». В квартире в доме Мурузи остаются сестры Гиппиус и А. В. Карташев. В Париже Мережковские и Философов *до конца марта* обустраивают новое жилье, а *на апрель* все трое уезжают на Ривьеру, в Сан-Рафаэль и Канны. Здесь втроем встречают Пасху «на горе над морем» («было жутко и одиноко до ужаса», как вспоминал Философов). *В начале мая* «троебратство» возвращается в Париж и приступает к осуществлению «миссии в Европе». За границей Мережковские пытаются создать собственную редакцию «Анархия и Теократия» и в процессе этой работы создают коллективный сборник «Le Tsar et la Revolution» (выйдет в Париже *в 1907 году)*. Второй проект – сборник «Меч» («Der Schwert») в мюнхенском издательстве Пипера – остается неосуществленным. Тогда же Мережковские и Философов начинают сотрудничать в журнале «Mercure de France». В это время они посещают А. Франса и деятелей католического «модернизма». *В июле* ненадолго уезжают в Бретань, а *осенью* снимают виллу в *Pierrefond* в Компьенских лесах. Здесь завершается работа над сборником «Le Tsar et la Revolutions *В ноябре* в Париже к Мережковским и Философову присоединяется Андрей Белый, переживающий глубокий душевный кризис после драматической любовной истории с Л. Д. Блок. *Осенью – зимой* Мережковский знакомится с П. А. Кропоткиным, Г. В. Плехановым, встречается и с «рядовыми» революционерами-эмигрантами, беглыми солдатами, матросами-«потемкинцами» и

др.

1907– «европейский» новый год начинается с трагикомического визита к Мережковским Н. С. Гумилёва *7 января (н. ст.),* закончившегося изгнанием поэта. *17 февраля* Андрей Белый знакомит Мережковских с лидером французских социалистов Ж. Жоресом, с которым соседствовал в парижском пансионе. Мережковские активно общаются с русским литературно-художественным Парижем – К. Д. Бальмонтом, Н. М. Минским, А. Н. Бенуа, М. С. Безобразовой. У них часто бывают Б. В. Савинков и И. И. Фондаминский; общение с этими представителями эсеровского террористического подполья подвигает Мережковского на выступление с лекцией «О насилии», которую он с огромным успехом читает *21 февраля* в *Salle d'Orient. Весной* Мережковские посещают лекцию Р. Штейнера, а после встречаются с основоположником антропософии у М. А. Волошина (Мережковский спорил со Штейнером о Евангелии). Пасху «троебратство» встречает на этот раз по-православному, с куличом и крашеными яйцами. Мережковский начинает вплотную работать над пьесой «Павел I» – первой частью новой трилогии «Царство Зверя». *В июле* Мережковские и Философов едут в Германию: «в горы, потом в Баден, потом в Гамбург». *В августе* Мережковский и Гиппиус поддерживают бойкот журнала «Золотое руно», объявленный «группой Брюсова», и посылают в редакции крупнейших русских газет письма об отказе сотрудничать в издании Н. П. Рябушинского. *Летом – осенью* Мережковский, Гиппиус и Философов пишут драму о русской революции и эмиграции «Маков цвет», которая выходит в «Русской мысли» (№ 11). До того в этом же журнале Мережковский опубликовал статью «Революция и религия» (№ 2, 3) и исследование о Серафиме Саровском «Последний святой» (№ 8, 9). *На осень* приходится и «голубая любовь» Мережковского к «Марусе» (М. П. Данзас). *В конце года* Мережковский читает вторую публичную лекцию – «О самодержавии». Несмотря на успех выступления, он начинает ощущать исчерпанность «миссии в Европе».

1908 – в январе в Париж приезжает Н. А. Бердяев, который видится с Мережковскими, рассказывает об общественно-политической ситуации в России, о создании Религиозно-философского общества и зовет их на родину. *17 марта* в Петербурге умирает отец писателя – Сергей Иванович Мережковский (похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге); Мережковский узнает об этом из телеграммы сестер Гиппиус. После завершения работы Мережковского над «Павлом I» решено возвращаться домой. *В апреле* Мережковские и Философов уезжают в *St. Jean* (близ

Биаррица), затем через Германию едут в Россию. В Петербург прибывают *11 июля* и сразу уезжают к сестрам Гиппиус на дачу в Суйду (под Гатчиной). *В августе* у них гостит Андрей Белый. В город возвращаются *в сентябре.* Начинается так называемый «сезон о Боге». Мережковский активно участвует в работе Религиозно-философского общества, где, в частности, встречается со своим бывшим оппонентом – архимандритом Михаилом, который перешел в старообрядчество и возглавил группу «голгофских христиан». *12 сентября* в распоряжение «троебратства» ненадолго переходят журнал «Образование» и газета «Утро». Помимо этих изданий *в течение года* статьи Мережковского публикуют «Русская мысль» и «Речь». *В конце года* статьи Мережковского последних лет издаются двумя отдельными сборниками: «Не мир, но мечь. К будущей критике христианства» и «В тихом омуте». Отдельным изданием выходят «Маков цвет», а также «Павел I», однако книга была сразу конфискована. *Зимой* Мережковский пишет «исследование» о Лермонтове для «Весов» (оно выйдет в первом номере журнала *за 1909 год,* затем будет переиздано в третьем номере «Русской мысли», а потом выпущено отдельной книгой «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества»). С подачи П. Б. Струве Мережковский *в конце года* становится заведующим литературным отделом «Русской мысли», но вскоре оставляет пост из-за несогласия с главным редактором в оценке произведений А. А. Блока. *Зимой* Мережковские знакомятся с А. И. Введенским, будущим «живоцерковником».

1909 – стараниями Мережковского в «Русской мысли» (№ 1) появляется роман Б. В. Савинкова «Конь бледный» (под псевдонимом В. Ропшин), ставший сенсацией сезона. Однако о Савинкове приходят тревожные слухи из Франции: он пытается оправдать провокатора Е. Ф. Азефа и возобновить террор. Мережковский пишет много статей для газеты «Речь», которые выходят *с января по ноябрь,* а также собирает материалы для романа «Александр I». *15 марта* выходит сборник «Вехи». *21 апреля* Мережковский обрушивается на авторов сборника с разгромной речью на заседании Религиозно-философского общества. *Всю зиму и весну* Мережковский тяжело болеет, жалуется на боли в сердце. *В конце мая* Мережковские и Философов уезжают во Фрейбург, затем в Лугано, где получают телеграмму от Савинкова и едут в Париж; безуспешно уговаривают Савинкова отказаться от планов возобновления террора. *Лето* Мережковский, Гиппиус и Философов проводят в имении Семенцово Новгородской губернии. Здесь Мережковский вплотную приступает к работе над «Александром I». *Осенью*

Мережковские снова в Петербурге. *14 декабря* у баронессы Икскуль на вечере в пользу А. М. Ремизова (в организации которого активное участие принимал Мережковский) давались сцены из «Павла I». *24 декабря* у Мережковского происходит сильнейший сердечный приступ. Доктор Н. Ф. Чигаев ставит диагноз: органические изменения в сердце.

1910 – зимой возобновляется болезнь Мережковского, осложненная многочисленными гриппами. *В январе* выходят его статьи в «Речи» и «Русском слове», после чего наступает перерыв в публикациях. У Гиппиус начинается кровохарканье. Н. Ф. Чигаев советует им надолго оставить Петербург, переселиться на юг Европы и всерьез заняться лечением. *В конце марта* Мережковский, Гиппиус и Философов уезжают на Ривьеру и снимают виллу *Paulette* в Булурисе, неподалеку от Канн. На Пасху к ним приезжают сестры Гиппиус и Карташев. *В мае* Мережковский едет в Париж для консультации с кардиологом Вогезом: тот не находит патологий в сердечной деятельности, но рекомендует лечиться от нервного истощения. В Париже проходят встречи с Савинковым и Фондаминским, потерпевшими крах при организации террористической Боевой группы. *Летом* Мережковские вновь живут в «пьяной Новгородской губернии», в Семенцове. В гости к ним приезжает О. А. Флоренская (сестра богослова) с мужем С. С. Троицким (вскоре трагически погибшим). *7 ноября* в Астапове умирает Л. Н. Толстой, и Мережковский откликается на это известие статьей «Смерть Толстого» («Речь», 9 ноября). *Зимой* состояние Мережковского вновь ухудшается, и по настоянию врачей *на зимний сезон* он с Гиппиус и Философовым уезжает в *Agay. Весь остаток года* Мережковский живет на юге Франции, работая над «Александром I» и собирая материалы для следующего романа «14 декабря». *В этом году* издает «Собрание стихов. 1883–1910», который стал итоговым в его поэтической деятельности, а также очередной сборник статей «Больная Россия». *В декабре* он заключает контракт с издательством М. О. Вольфа на издание Полного собрания сочинений (в 17 томах).

1911 – в феврале, перед возвращением в Россию, Мережковские и Философов приезжают в Париж. Здесь, пользуясь случаем, Гиппиус покупает дешевую квартиру в Пасси на *rue Colonel Bonnet,* 11-bis. Из России приходит паническое письмо от сестер Гиппиус о политических обвинениях, выдвинутых против Мережковского (за связь с террористами). Тем не менее *в начале марта* Мережковский возвращается в Россию с завершенной первой частью «Александра I». *В мае* «Русская мысль» начинает печатать роман «Александр I», публикация которого продлится

весь год. Начинается издание Полного собрания сочинений Мережковского: выходят I–VI тома. *Летом* Мережковский, Гиппиус с сестрами и Философов живут в имении Подгорное вместе с О. А. Флоренской, Поликсеной Соловьевой, А. А. Мейером. Здесь Мережковский завершает «Александра I» и работает над «14 декабря». *Осенью* Мережковские планируют поездку на Украину по местам деятельности декабристского «Южного общества», однако после убийства премьер-министра П. А. Столыпина усиливаются правительственные репрессии и поездку приходится отложить. *Зимой* Мережковские и Философов уезжают в По (Франция).

1912 – в конце февраля скончалась мать Философова, и он срочно выехал в Петербург. Вслед за ним в Россию поехали и Мережковские, однако их промедление стало причиной охлаждения внутри «троебратства». *25 марта* их задержали при пересечении границы и конфисковали рукописи «Декабристов» и заключительных глав «Александра I». После хлопот (Мережковский даже пишет специальное «Письмо в редакцию» «Русской мысли») рукописи удалось вернуть, но Мережковские узнали, что на *16 апреля* назначен суд над автором и издателем запрещенного «Павла I», причем издатель М. В. Пирожков уже арестован. Мережковский по совету друзей телеграфирует прокурору, что явится непосредственно на судебное заседание, и, чтобы избежать ареста, тут же возвращается в Париж. Узнав, что суд перенесен *на осень,* Мережковский и Гиппиус вновь приезжают в Петербург. Здесь, не договорившись с домовладельцем, переезжают из дома Мурузи на улицу Сергиевскую, 83, недалеко от Таврического дворца, где заседала Государственная дума. *Лето* Мережковские проводят в имении Верино близ Ямбурга вместе с Поликсеной Соловьевой. К ним в гости приезжает Федор Сологуб с женой. Мережковский приводит в порядок возвращенный из полиции архив и продолжает работу над романом «14 декабря». *18 сентября* состоялся суд над Мережковским и Пирожковым, которых оправдали «за отсутствием состава преступления». *В этом году* завершается публикация «Александра I» в «Русской мысли» (№ 1, 3, 4, 10, 11, 12), выходит ряд статей в «Русском слове» и VII–XVII тома Полного собрания сочинений. *В конце года* Мережковский увлеченно работает с материалами процесса над декабристами и активно участвует в работе Религиозно-философского общества, где обсуждается проблема сектантства, тесно связанная с «распутинщиной», волнующей тогда всю российскую общественность.

1913 – 12 января Мережковские уезжают в Париж, а

Философов остается в Петербурге: отношения между членами «троебратства» портятся. Из Парижа супруги вскоре перебираются на юг, в Ментону. Здесь вновь встречаются с И. И. Фондаминским, навещают в Сан-Ремо Б. В. Савинкова, у которого видятся с Г. В. Плехановым. В Ментону приезжает Философов, страдающий почечной недостаточностью. Вскоре он поправляется, мир в «троебратстве» восстанавливается. *В конце апреля* все трое возвращаются в Петербург. *Летом* Мережковские недолго живут на даче в Васильевке, а затем едут в Кисловодск, где остаются *до глубокой осени.* В Петербурге разгораются страсти вокруг «дела Бейлиса»: в черносотенной газете «Земщина» со статьями о ритуальных жертвоприношениях у евреев выступает В. В. Розанов. Между бывшими друзьями, Розановым и Мережковским, возникает конфликт: Розанов публично обвиняет Мережковского в попытке «продать родину жидам» и в связях с террористическим подпольем. В ответ на это Мережковский выносит на рассмотрение Религиозно-философского общества вопрос о поведении Розанова. *В течение года* Мережковский публикует статьи на литературные и религиозно-общественные темы в газете «Русское слово». Продолжает работу над романом «14 декабря» и пишет драму «из современной жизни» «Будет радость». *На зиму* приходятся замысел и первые наброски трактата «Тайна Трех: Египет и Вавилон».

1914 – в Религиозно-философском обществе *26 января* состоялся «Суд над Розановым», причем большинство собравшихся выступили против Мережковского и Философова, предлагавших Розанова исключить. Но Розанов сам, добровольно, покидает Общество. К тому же он опубликовал в «Новом времени» (25 *января)* выдержки из писем Мережковского А. С. Суворину, доказывающие, по мнению автора публикации, «двуличие» бывшего друга. *Весной* Мережковские и Философов вновь уезжают через Париж в Ментону, но по настоянию Мережковского раньше запланированного возвращаются в Россию. Мережковский испытывает приступы депрессии, причины которой непонятны его спутникам. Из Петербурга Мережковские сразу же едут на дачу в Сиверскую, где *19 июля* их застает известие о начале войны. Они демонстративно остаются в Сиверской, не желая участвовать в верноподданнических манифестациях в столице: их отношение к войне с самого начала отрицательное. В Петербург они возвращаются *31 июля* на автомобиле, так как железные дороги забиты военными эшелонами. Крайне неодобрительно Мережковский и Гиппиус относятся к переименованию столицы из Петербурга в Петроград. *В ноябре-декабре* проходят заседания Религиозно-философского общества «о войне», которые

Мережковский воспринимает как «болтовню». Большой резонанс имеет его лекция «Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции» (выпущена *в этом же году* отдельным изданием), где прозвучала идея о духовном лидерстве интеллигенции в отечественной истории. Сам Мережковский выдерживает «паузу», старается не участвовать ни в каких общественных акциях, уходит в вычитку корректур 24-томного собрания сочинений, которое выпускается в издательстве И. Д. Сытина. Академик Н. А. Котляревский выдвигает кандидатуру Мережковского в качестве номинанта на Нобелевскую премию.

1915 – в первые месяцы года у Мережковских на Сергиевской часто собираются представители как «приемлющих», так и «неприемлющих» войну общественных группировок (среди «приемлющих» – А. В. Карташев, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок и даже – Д. В. Философов). *18 февраля* Мережковские и Философов присутствуют на премьере пьесы З. Н. Гиппиус «Зеленое кольцо» в Александринском театре вместе с А. Ф. Керенским, который сближается с «троебратством» в военные годы. *Весной* представители «антивоенной» интеллигенции – А. М. Горький, М. Ф. Андреева, Е. Д. Кускова – безуспешно пытаются вместе с Мережковскими создать некое подобие «левопатриотического» общества, целью которого стал бы скорейший выход России из войны с минимальными потерями. *В мае* Мережковским наносит визиты идеолог «толстовства» В. Г. Чертков и знакомит их с неизданными материалами о Толстом. *В июле* Мережковские и Философов выезжают на дачу в имение Койрово близ Петрограда, где живут *до начала сентября.* Известия с фронтов самые неутешительные. *2 сентября* распущена Государственная дума. Эти события утверждают Мережковских в необходимости скорейшего окончания войны «любой ценой», что воспринимается даже их друзьями как «пораженничество». У них часто бывают А. Ф. Керенский и другие «левые думцы». *В течение года* у Мережковского выходят очередной публицистический сборник «Было и будет: Дневник 1910–1914» и «исследование» «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев».

1916 – в январе премьер-министром стал знакомый Мережковских по поездке на Светлое озеро в 1902 году Б. В. Штюрмер, к их неудовольствию – ставленник Г. Е. Распутина. *3 февраля* состоялась премьера пьесы Мережковского «Будет радость» в МХТ. Текст пьесы в этом же году вышел отдельным изданием. *9 февраля* возобновляются заседания Государственной думы. *На весну и начало лета* Мережковские и Философов едут в Кисловодск. Здесь *в мае-июне* разыгрывается последний

«платонический» и безответный роман Мережковского с юной отдыхающей О. Л. Костецкой. *В июле* Мережковские и Философов возвращаются в Петроград и едут на дачу. После возвращения в Петроград *в конце сентября* Мережковский переживает приступ депрессии, старается «никого не видеть»: разгар «распутинщины» действует на него удручающе. *22 октября* состоялась премьера пьесы Мережковского «Романтики» в Александринском театре в постановке В. Э. Мейерхольда. Пьеса имела значительный успех (отдельное издание вышло *в следующем, 1917 году). 29 октября* в Москве скончался в припадке буйного помешательства глава «голгофских христиан» о. Михаил; на Мережковских эта страшная смерть их старого знакомого произвела глубокое впечатление. *14 ноября* Мережковский и Гиппиус (Философов остался в Петрограде) уезжают на зиму в Кисловодск. *На Рождество* к ним приезжают сестры Гиппиус.

1917– 25 января Мережковские возвращаются из Кисловодска в Петроград. *С 23 по 27 февраля* их квартира на Сергиевской становится своеобразным «филиалом» Государственной думы: в период крушения монархии к ним, в перерывах между заседаниями, заходят знакомые «думцы». *28 февраля* к ним приезжает Андрей Белый. *1 марта* Мережковский и Гиппиус гуляют по городу, празднуя победу революции. *3 марта* опубликована декларация Временного правительства (так называемые «8 пунктов»). *14 марта* Мережковским наносит визит А. Ф. Керенский – в качестве главы Временного правительства. Во время визита он просит Мережковского написать популярную брошюру о декабристах для распространения в войсках. *25 марта* Мережковский был на аудиенции у Керенского, который на этот раз произвел крайне удручающее впечатление. С этого дня у Мережковского вновь развивается депрессия и он пророчит скорое падение Временного правительства и диктатуру В. И. Ленина. *29 марта* Мережковский, Гиппиус и Философов участвуют в совещании писателей, актеров и драматургов в Зимнем дворце, на котором решался вопрос об «автономии» театров. *3 апреля* В. И. Ленин приезжает в Петроград и на площади перед Финляндским вокзалом, заполненной огромной толпой, собравшейся для встречи «вождя», произносит знаменитую речь «с броневика»: «Да здравствует социалистическая революция!». *8 апреля* Мережковские и Философов уезжают в Кисловодск. Здесь они общаются с генералом Рузским и офицерами Волынского полка, находящимися на излечении. Мережковский читает публичную лекцию о Петре I. В Петроград они вернулись *8 августа* и сразу были вовлечены в политическую интригу, которую возглавлял Б.

В. Савинков, ставший в месяцы их отсутствия фактически военным министром в правительстве Керенского. *15 августа* в Москве открывается Поместный собор Русской православной церкви, на котором будет избран Патриархом Московским и всея Руси митрополит Тихон (Белавин). «Синодальный» период в истории русской Церкви завершается. Последним обер-прокурором Синода стал А. В. Карташев. Перед отъездом в Москву на Собор Карташев (уже в качестве министра вероисповеданий Временного правительства) наносит визит Мережковским. *23 августа* Мережковский и Гиппиус уезжают на дачу в Дружноселье близ Сиверской, где живут сестры Гиппиус. В этот же день их квартиру на Сергиевской навещает Керенский, которого принимает один Философов. *26–30 августа* происходит так называемый Корниловский мятеж, в результате которого главнокомандующий Л. Г. Корнилов арестован, а Б. В. Савинков, три дня пробывший петроградским генерал-губернатором, подает в отставку. Мережковский во всех этих событиях, по словам Гиппиус, «линии не имел». В дни переворота *24–26 октября* они в городе, им звонят из Зимнего дворца, разыскивая Савинкова. После падения Временного правительства Мережковский и Гиппиус хлопочут за заключенных в Петропавловскую крепость министров. Мережковский выступает с антибольшевистскими лекциями и статьями. *14 декабря* в газете «Вечерний звон» выходит его статья «1825–1917», утверждающая ведущую роль интеллигенции в русском революционном движении. Во многих театрах в этом году проходят постановки «реабилитированного» после революции «Павла I».

1918 – в первые дни года в квартире Мережковских на Сергиевской проводятся конспиративные заседания эсеровской фракции Учредительного собрания и вырабатывается Декларация. *5 января* в Таврическом дворце открывается Учредительное собрание, но в тот же день оно разогнано большевиками. *7 января* убиты арестованные министры Временного правительства А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин; остальных выпускают из заключения *в конце января – начале февраля*. *19 января* патриарх Тихон «анафемствует» большевиков. *21 января* Мережковский участвует вместе с Ф. К. Сологубом и А. А. Ахматовой в вечере в пользу Красного Креста. *3 марта* представители советского правительства заключают в Брест-Литовске сепаратный мир с Германией. *29 апреля* Мережковский читает лекцию «Интеллигенция и народ». *В начале июля* Мережковские и Философов уезжают на дачу в Дружно-селье, где знакомятся с В. А. Злобиным. *6 июля* туда приходит известие о казни в Екатеринбурге Николая II. *12 сентября* они возвращаются в

Петроград, где уже очень ощутимы перебои в снабжении населения продуктами и топливом. После убийства поэтом Л. И. Каннегисером главы Петроградского ЧК М. С. Урицкого (30 *августа)* начинаются открытые репрессии против интеллигенции (расстрелян 521 заложник «из бывших»). *9 ноября* кайзер Вильгельм II бежал в Нидерланды; в Германии начинается революция. *11 ноября* заключено Компьенское перемирие между Германией и Антантой: мировая война завершается победой союзников, но Россия в этом торжестве не участвует. *В декабре* в Петрограде начинаются холод и голод. Газеты и издательства закрываются, и Мережковский оказывается в изоляции от читательской аудитории. *Зиму* он проводит в холодных залах Публичной библиотеки, где изучает материалы по истории Древнего мира. *В этом году* выходит «14 декабря» – последняя книга Мережковского в России.

1919 – зимой-весной Мережковские распродают книги и ценные вещи. *5 февраля* в Сергиевом Посаде умирает В. В. Розанов. *В феврале* Мережковский начинает сотрудничать с горьковским издательством «Всемирная литература», где получает паек и возможность заработка; для «Секции исторических картин» он переделывает «Юлиана Отступника» и «Петра и Алексея» в пьесы. «Царевич Алексей» с успехом идет в Москве и Петрограде *до конца 1920-х годов. Весной и летом* Мережковский участвует в заседаниях «Всемирной литературы». В то же время он активно собирает материалы по истории Древнего мира и современным археологическим изысканиям. Окончательно оформляются замыслы трактатов о дохристианских таинствах и романов на «египетские» сюжеты. *В конце ноября* Философова привлекают на «общественные работы» и заставляют рыть окопы за городом. *14 декабря* Мережковские, Философов и Злобин, воспользовавшись полученным разрешением на чтение лекций в красноармейских частях, бегут из РСФСР.

1920 – в январе, после нелегального перехода границы в районе Жлобина, Мережковские, Философов и Злобин десять дней живут в Бобруйске. *В середине января* вместе с И. И. Дудыревым, содействовавшим их бегству, переезжают в Минск, где останавливаются сначала в гостинице «Париж», а затем минский епископ Мелхиседек устраивает Мережковского и Гиппиус в доме игуменьи местного женского монастыря Анатолии (Злобин и Философов селятся у знакомых в городе). Журналист А. И. Гзовский привлекает их к сотрудничеству в газете «Минский курьер», а директор русской Пушкинской библиотеки Болховец организует две общие лекции Мережковских, Философова и Злобина в городском театре.

Помимо того они выступают на «домашнем» собрании у епископа Мелхиседека, а в доме Болховца Мережковский читает лекцию о Мицкевиче. *16 февраля* Мережковские знакомятся с польским генералом Л. Желиговским, входившим в военную администрацию Минска. С его помощью все четверо *21 февраля* уезжают из Минска в Вильно (Вильнюс), где останавливаются в польской семье Ваньковичей, посещают собрания у профессора Виленского университета М. Здеховского. *24 февраля* Мережковский и Философов посещают редакцию газеты «Nasz Kraj» и дают интервью Ю. Сумороку. *В конце февраля* в Городском зале на улице Островоротной, 5, проходят две общие лекции Мережковских, Философова и Злобина, однако вторая лекция была сорвана местной еврейской общиной, увидевшей в антибольшевизме лекторов проявление «черносотенства». *29 февраля* Мережковский читает лекцию «Россия, Польша и Мицкевич», открывающую цикл его «полонофильских» выступлений. *3 марта* Мережковские, Философов и Злобин прибывают в Варшаву, где им уже забронированы места в гостинице «Краковская» на улице Белянской. Здесь, в очень неудобном номере, Мережковские живут до *середины мая.* Сразу по прибытии в Варшаву Мережковский получает от издателя Бонье крупный аванс и приступает к работе над книгой статей о России и большевиках. В Варшаве продолжаются антибольшевистские лекции: *9 марта* в польском Литературном обществе Мережковский выступает с речью «Нынешняя Россия об идее Мицкевича». *13 марта* в газете «Варшавское слово» публикуется беседа с Мережковским «Большевизм и еврейство» (попытка разъяснения «виленского недоразумения»). Тем не менее следующая лекция Мережковского «Распятый народ» вызывает резкий отклик *27 марта* в «Варшавском слове»: в статье А. Вольского вновь муссируется тема «черносотенства». *6 апреля* в зале варшавского Гигиенического общества проходит «коллективная» лекция Мережковских, Философова и Злобина. Лекция имеет большой успех и будет затем «продолжена» *20 мая.* Помимо того, *9 апреля* при участии Мережковских состоялся Литературно-художественный вечер. *В марте-апреле* Мережковские активно участвуют в работе варшавского Русского комитета. *В апреле* Философов избирается председателем Комитета. *Тогда же* начинаются военные действия на польско-советском фронте. Мережковским наносит визит «зеленый генерал» С. Н. Булак-Балахович. *В середине мая* Мережковский, Гиппиус и Злобин уезжают на две недели в загородное имение Пшеволоцких «Морды», куда их приглашает Ю. Чапский. *В июне* они возвращаются в Варшаву и поселяются в семье Френкелей

(Крулевская, 29-а), напротив Саксонского сада. Начинаются их встречи с Ф. И. Родичевым и Б. В. Савинковым, прибывшими в Варшаву для переговоров с президентом Польши Иозефом (Юзефом) Пилсудским. Савинков привлекает Мережковских и Философова к работе в Русском эвакуационном комитете, который фактически является военно-мобилизационной структурой для формирования белогвардейских частей. *23 июня* они участвуют в тайном заседании Комитета в Брест-Литовске. *25 июня* Мережковский встречается в Бельведере с президентом И. Пилсудским. От имени Комитета Мережковский пишет «Воззвание к русской эмиграции и русским людям», призывающее не сражаться с воюющей с большевиками польской армией. *5 июля* выходит приказ Верховного главнокомандующего И. Пилсудского: «Мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы». *В этот же день* выходит «Воззвание Совета государственной обороны» Польши: «Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, – этот враг большевизм». *17 июля* в Варшаве под редакцией Д. В. Философова и А. И. Гзовского выходит первый номер газеты «Свобода», в которой активное участие принимает З. Н. Гиппиус. Мережковский, как не способный к оперативной журналистской работе, пишет брошюру «Иосиф Пилсудский». *В конце июля* во время встречи в Саксонском саду происходит ссора Мережковских с Савинковым. *31 июля* Польша начинает в Барановичах мирные переговоры с РСФСР, вызванные началом массированного наступления Красной армии на Варшаву. *В этот же день* Мережковский и Гиппиус уезжают из Варшавы в Данциг (Гданьск), где узнают о разгроме Красной армии на Висле в битве под Варшавой *13–25 августа. В начале сентября* Мережковские возвращаются в Варшаву и *до конца октября* живут в гостинице «Виктория», надеясь на развитие польской интервенции. В «Свободе» появляется статья Мережковского «Смысл войны» (подписанная «Юлиан Отступник»). После заключения Пилсудским *12 октября* в Минске перемирия с РСФСР Мережковские разочаровываются в Польше как в «спасительнице России» и разрывают отношения с Савинковым. *26 октября* Мережковские вместе со Злобиным уезжают из Варшавы в Париж. «Троебратство» рушится, так как Философов остается с Савинковым в Польше. *В ноябре* происходит разгром генерала Врангеля в Крыму, означавший завершение Гражданской войны на западе РСФСР. *В конце ноября* в Париж с поручением от Савинкова приезжает из Варшавы Философов; бывших друзей он демонстративно избегает; это – конец «троебратства». В Париже *в конце года* Мережковский

создает антикоммунистический «Религиозный союз» (впоследствии – «Союз непримиримых»). *16 декабря* Мережковский выступает в Зале научных обществ с лекцией «Большевизм, Европа и Россия». *Зимой* профессор П. Бойе организует обед в Интернациональном клубе для встречи французского руководства с представителями русской эмиграции – Мережковскими, И. А. Буниным, А. Н. Толстым. Мережковского представляют премьер-министру Э. Эррио.

1921 – в январе в Париже проходит совещание членов Учредительного собрания в эмиграции, к «примирительным» заявлениям которого Мережковские относятся враждебно. *Весь год* Мережковский безуспешно пытается вербовать «союзников», разделяющих его идеи интервенции против большевиков, публикует обращения к европейской общественности (открытые письма Ф. Нансену и Г. Гауптману), читает антикоммунистические лекции и выступает в газете В. Л. Бурцева «Общее дело». Эти лекции и статьи войдут в коллективный сборник «Царство Антихриста», изданный *в том же году* на французском и немецком языках (в *следующем году* он будет издан на русском). Мережковский и Гиппиус близко сходятся с бывшим революционером-народником Н. В. Чайковским. В издательстве Чайковского «Русская земля» переиздается роман «14 декабря». В Берлине, в издательстве Ладыжникова, переиздается трилогия «Христос и Антихрист». *1-18 марта* в Кронштадте происходит восстание матросов, зверски подавленное большевиками. *18 марта* в Риге подписан мирный договор между РСФСР, УССР и Польшей. *21 марта* правительство Ленина вводит нэп. *Летом* Мережковские едут в Висбаден, где Мережковский возвращается к своим материалам по Древнему миру. Возобновляется работа над книгой «Тайна Трех. Египет и Вавилон». *В июле* с помощью семьи Petit Мережковский устанавливает контакты с мэром Лиона, который обещает оказать помощь русским писателям-эмигрантам. *31 июля* к ним приезжают И. А. Бунин и В. Н. Муромцева-Бунина, с которыми у них *с конца 1920 года* завязывается «дружба семьями». *В сентябре,* после отъезда Буниных, Мережковские встречаются с политическим деятелем и издателем И. В. Гессеном, который с семьей отдыхает в Висбадене, и бывшим министром Кривошеиным. *В конце октября* Мережковские едут в Кёльн на премьеру «Царевича Алексея», а затем возвращаются в Париж. Мережковский «окончательно берется за Египет». Помимо того *осенью* он выступает в прессе против помощи голодающим в РСФСР, поскольку считает, что деньги до голодающего Поволжья не дойдут. Мережковский выступает также против газеты

«Накануне» и А. Н. Толстого, ратовавших за возвращение в РСФСР и примирение с большевиками. *20 ноября* в Сремских Карловцах (Сербия) открывается Общецерковное заграничное собрание, в результате деятельности которого происходит раскол в русской Церкви и возникает Зарубежная русская православная церковь. *В этом году* в Швейцарии покончил с собой старший брат Мережковского Константин Сергеевич.

1922 – в начале января проходит (неудачно) вечер Мережковских в салоне М. О. и М. С. Цетлиных. *В январе* в Париж приезжает Философов, который вновь упорно «уходил от контакта» со старыми друзьями. *8 февраля* у Мережковских отмечает свой день рождения приехавший из Праги П. Б. Струве. Струве становится посредником между Мережковским и чешским политическим деятелем К. П. Крамаржем, что впоследствии сыграет свою роль в установлении пенсий крупнейшим русским писателям-эмигрантам от чешского правительства. *28 марта* в Берлине во время доклада П. Н. Милюкова убит В. Д. Набоков, заслонивший докладчика от выстрелов монархистов-мстителей. *С 10 апреля по 19 мая* в Генуе проходит Международная конференция по экономическим и финансовым вопросам, в которой участвует делегация РСФСР во главе с Г. В. Чичериным. *19 апреля* Мережковские, Бунины и Куприн присутствуют на приеме у мецената Л. М. Розенталя, где встречаются с членами французского правительства. Мережковский обращается с открытым письмом папе Пию XI, протестуя против общения представителей Ватикана с «гонителями христиан». Аббат Ш. Кене публикует в ответ очень грубую брошюру против Мережковского. Между тем *в мае* в РСФСР арестован патриарх Тихон и начинаются массовые гонения на священнослужителей. Одновременно происходит фактический захват Московской патриархии «живоцерковниками» во главе с Александром Введенским и епископом Антонином (Грановским). *В мае* восстанавливаются отношения Мережковского с Философовым: они обмениваются «примирительными» письмами. *С конца июля* Мережковские и Злобин отдыхают вместе с Буниными в Амбуазе. В Париж они вернулись *в октябре. 24 ноября* Мережковские приглашены на венчание Бунина с Верой Николаевной (до этого они жили в гражданском браке). *28 ноября* проходит вечер Мережковских, на котором присутствует премьер-министр Франции. *В конце ноября* происходит открытие гробницы Тутанхамона в Луксоре; Мережковский, вдохновленный сенсационными известиями из Египта, начинает писать, «параллельно» с работой над «Тайной Трех», художественную «египетскую дилогию». *В декабре* происходит ссора Бунина и

Мережковского с Л. М. Розенталем, после чего тот прекращает оказывать писателям материальную поддержку. *Новый год* Мережковские встречают вдвоем: Злобин уехал в Берлин к приехавшей из России матери и вернулся только *в январе следующего года.*

1923 – отвечая на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Geneve» о будущем Европы, Мережковский печатает *в январской* книжке журнала статью «Будущее Европы», в которой предрекает Европе антропофагию, причем в очень близкое время. В «Современных записках» и парижском альманахе «Окна» выходят фрагменты «Тайны Трех». *В этом году* Р. Ролан выдвигает на Нобелевскую премию по литературе М. Горького, К. Д. Бальмонта и И. А. Бунина. *Летом* Мережковские живут на Ривьере, на вилле «Евелина» в Грасе. *4 шюня* Мережковский пишет письмо секретарю ПЕН-клуба Niscott, требуя прекратить контакты клуба с советскими писателями и Горьким. Копия этого письма сохранилась в бумагах Бунина, с которым *этим летом* Мережковский поддерживает тесное общение. Оба писателя играют среди русских писателей-эмигрантов роль не только духовных, но и общественных лидеров. *Осенью* они ведут активные переговоры с J. Jirandaux, который «лоббировал» интересы эмиграции во французском министерстве. *26 шюня* в СССР освобожден Патриарх Тихон и начинается кризис «живоцерковнического» движения. *В ноябре* решается вопрос о пособиях русским писателям от французского правительства. Мережковский работает над «египетскими романами», следя за открытиями в Долине царей по европейской прессе.

1924 – в этом году премьер-министр Франции Э. Эррио устанавливает дипломатические отношения с СССР. *13 февраля* Мережковский пишет письмо чешскому президенту Т. Масарику с просьбой о помощи русским писателям-эмигрантам. Эта просьба была выполнена, и, в частности, Мережковскому и Гиппиус были назначены пенсии по 3 тысячи чешских крон. *16 февраля* в Париже происходит собрание писателей «Миссия русской эмиграции», на котором Мережковский выступает с речью «Слова немых». Наряду с ним выступают И. А. Бунин, А. В. Карташев, И. С. Шмелев, И. Я. Савич, Н. К. Кульман, И. И. Манухин, о. Г. Спасский. Это собрание осуждает «левая эмиграция». *Летом* Мережковские живут на Ривьере, на вилле «Евелина» в Грасе. *16 августа* в Минске арестован Б. В. Савинков. *31 августа* в городе Кобурге (Германия) двоюродный брат Николая II великий князь Кирилл Владимирович провозгласил себя Императором Всероссийским. *9 октября* в Москве умирает В. Я. Брюсов. В «Современных записках» под заголовком «Рождение богов»

печатается «Тутанкамон на Крите». Пражское издательство «Пламя» возвращает Мережковскому рукопись «Тутанкамона…» для исправлений.

1925 – с января по июль Мережковские живут в Париже. *В марте* проходит вечер Мережковского (по оценке Гиппиус, «в средних тонах»). *7 апреля* в Москве умирает Патриарх Тихон и начинается церковное «безвластие», поскольку провести Поместный собор для выборов нового Патриарха в условиях развернувшихся после кончины Тихона арестов и гонений невозможно. *7 мая* в советской тюрьме убит Б. В. Савинков (инсценировано самоубийство). *В середине июля* Мережковские и Злобин едут на Ривьеру на виллу «Альба» *до ноября. Зимой* начинаются «литературные воскресники» у Мережковских (продолжавшиеся в периоды их проживания в Париже *до 1939 года)*. В Праге, в издательстве Е. А. Ляцкого «Пламя» отдельным изданием выходят «Тайна Трех: Египет и Вавилон» и «Рождение богов. Тутанкамон на Крите». В Берлине издательство «Медный всадник» переиздает «Александра I».

1926 – с января по июль Мережковские живут в Париже. *В феврале* завершен роман «Мессия». Отдельные главы из него печатались в «Последних новостях» и «Современных записках». *7 мая* Мережковский произносит речь на поминках, устроенных парижскими русскими эмигрантскими организациями по скончавшемуся в Лондоне Н. В. Чайковскому. *В июле-октябре* Мережковские и Злобин живут на вилле «Альба» на Ривьере. Мережковский начинает работу над «Наполеоном».

1927-5 февраля состоялось первое, «учредительное», собрание общества «Зеленая лампа». Мережковский произносит речь о задачах нового общества. Его содокладчик – В. Ф. Ходасевич. *24 февраля* проходит заседание «Зеленой лампы» на тему «Русская литература в изгнании». *1 марта* – второе заседание «Зеленой лампы» на тему «Русская литература в изгнании». *31 марта* проходит «Стихотворный вечер „Зеленой лампы“», на котором Мережковский читает свои стихи. *Летом* Мережковские уезжают на Ривьеру и живут на вилле *Tranquille* в Канне. Здесь общаются с Буниными, живущими рядом в Грасе, Г. Н. Кузнецовой, Н. Н. Берберовой. *29 июля* в СССР публикуется «Декларация митрополита Сергия». *20 августа* выходит первый номер журнала Мережковских и Злобина «Новый корабль». Возвращаются в Париж *в середине ноября. В течение года* проходят заседания «Зеленой лампы» на темы: «Русская интеллигенция как духовный орден», «Есть ли цель у поэзии?», «Умирает ли христианство?». В журнале «Новый корабль» опубликована глава «Судьи Наполеона» из готовящейся книги.

1928 – в «Современных записках» публикуются фрагменты первого тома «Наполеона». В Париже в издательстве «Возрождение» С. К. Маковского выходит отдельное издание «Мессии» (в двух томах). *18 февраля* состоялось заседание «Зеленой лампы» на тему «Толстой и большевизм»; *27 февраля* – второе заседание на тему «Толстой и большевизм». *В марте* из-за конфликта с Г. В. Ивановым из правления «Зеленой лампы» выходит В. Ф. Ходасевич. *10 апреля* проходит заседание «Зеленой лампы» на тему «"Апокалипсис нашего времени" В. В. Розанова (о Ветхом Завете и христианстве)». *12 апреля* правление «Зеленой лампы» «разрушилось» (З. Н. Гиппиус). С этого времени заседания проходят бессистемно, от случая к случаю. *С 1 июня до ноября* Мережковские живут на Ривьере в Торране, куда к ним на несколько дней приезжает Н. Н. Берберова. Отсюда они выезжают в Югославию. *С 25 сентября по 1 октября* в Белграде проходит Первый зарубежный съезд русских писателей и журналистов. *26 сентября* – пресс-конференция Мережковских и раут в министерстве. *27 сентября* – встреча с королем Югославии Александром. *29 сентября* проходит церемония награждения Мережковского орденом Святого Саввы первой степени и дается заключительный банкет. *8 октября* Мережковский посещает репетицию «Петра и Алексея» в Белградском драматическом театре. *9 октября* Мережковских принял сербский патриарх Немирович. *11 октября* Мережковский читает лекцию в сербской Академии наук. *13 октября* читает лекцию в Загребе. *20 октября* Мережковские возвращаются в Торран. *В декабре* в Париже прочитана лекция «Наш путь в Европу». Шведские академики В. фон Хейденштам и Т. Герберт выдвигают кандидатуру М. Горького на получение Нобелевской премии по литературе.

1929 – с января по июнь Мережковские живут в Париже. В созданной в Белграде при сербской Академии наук серии «Русская библиотека» первой книгой выпущен «Наполеон» Мережковского (в двух томах). В Лондоне выходит английский перевод книги. *25 марта* проходит собеседование в «Зеленой лампе»: «Спор Белинского с Гоголем». *С июня* Мережковские живут на Ривьере в Каннах, общаются с Буниными, Г. Н. Кузнецовой, К. М. Лопатиной. Мережковский увлечен М. Прустом, которого считает «величайшим европейским писателем наших дней». С подачи Мережковского Г. Н. Кузнецова начинает переводить «В поисках утраченного времени» Пруста. В Париж Мережковские возвращаются лишь *в конце ноября.* Проходят «двойной вечер» «Зеленой лампы» в парижском зале «Плейель» на тему «О любви», собравший большую аудиторию, а также заседание, посвященное Джойсу и Прусту. *Весь год* Мережковский

работает над трактатом «Тайна Запада: Атлантида – Европа».

1930 – в первой половине года в Лейпциге выходит немецкий перевод «Атлантиды – Европы», предваряющий «русское» издание в Белграде. *5 марта* проходит заседание «Зеленой лампы» на тему «Отчего нам стало скучно?». *21 марта* проходит заседание «Зеленой лампы» на тему «Символизм», а *15 апреля* – второе заседание на эту же тему. *11 мая* в парижском зале Дебюсси проходит вечер поэтов, организованный журналом «Числа», на котором Мережковский делает доклад о Лермонтове. Вместе с ним выступают Г. В. Адамович, З. Н. Гиппиус, Н. А. Оцуп, Г. В. Иванов. *Лето-осень* Мережковские проводят на Ривьере на вилле *Tranquille* в Канне. В это время намечается некоторое охлаждение в их отношениях с Буниными, вызванное критическими выпадами Гиппиус (очень осторожными) на страницах журнала «Числа». Помимо того профессор славянских языков университета города Лунда С. Агрелл выдвигает кандидатуры Мережковского и Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Начинается «нобелевская гонка» между двумя крупнейшими писателями русского зарубежья. *В августе* Мережковский пишет сценарий по «Борису Годунову» А. С. Пушкина. Тогда же приходит письмо А. В. Амфитеатрова из Италии, в котором содержится просьба выслать биографические и библиографические сведения для составляемой Амфитеатровым «Истории новейшей русской литературы» (неосуществленной). *10 августа* Мережковский высылает все требуемые материалы в Италию. Завязывается переписка, сыгравшая важную роль в жизни и творчестве Мережковского 1930-х годов (сын Амфитеатрова работал в аппарате правительства Б. Муссолини). В Париж Мережковские возвращаются *3 декабря.* В Белграде отдельным изданием выходит «Тайна Запада: Атлантида – Европа». *Всю зиму* Мережковский работает над первой частью «Иисуса Неизвестного». В это время во Флоренции выходит итальянский перевод «Наполеона», однако Мережковский не удовлетворен его качеством. «Рождение богов» выходит на французском языке (перевод был сделан К. Леви и отредактирован самим Мережковским).

1931 – 23 января Мережковский высылает «Наполеона» и «Атлантиду – Европу» итальянскому критику и переводчику русского происхождения Ринальдо Кюфферле. Это – начало активных контактов с литературными организациями фашистской Италии. *В начале года* начинаются задержки с выплатами пособий русским писателям-эмигрантам от Чехии, Сербии и Франции. Гиппиус и Мережковский пытаются протестовать, но безуспешно. В Париже свирепствует «испанка» (тяжелая форма гриппа), и всю зиму и весну стоит очень плохая

погода, пагубно сказывающаяся на здоровье Мережковских. С. Агрелл вновь выдвигает кандидатуры Мережковского и Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Томас Манн выдвигает кандидатуру И. С. Шмелева. *В апреле* Мережковский посылает «Атлантиду – Европу» в Италию Г. Боргезе. *10 июня* проходит заседание «Зеленой лампы» на тему «У кого мы в рабстве? (О духовном состоянии эмиграции)». Из-за крайне тяжелого материального положения *на лето* Мережковские вынуждены остаться в Париже, хотя дождливое и холодное лето плохо сказывается на здоровье супругов. Мережковского мучают боли в плечевых суставах. Только *осенью* они смогли покинуть Париж: *в сентябре-октябре* им удается уехать в Шато Клозон, где их знакомая К. М. Лопатина организовала приют для русских детей (Мережковские активно участвовали в этом благотворительном начинании). Мережковский *весь год* работает над «Иисусом Неизвестным». В Нью-Йорке выходит на английском языке «Атлантида – Европа» в переводе Дж. Куртиса, в Париже – на французском в переводе К. Леви.

1932 – весь год материальное положение Мережковских продолжает оставаться тяжелым («мы обнищали до полной невозможности» – Гиппиус в письме Амфитеатрову). С. Агрелл вновь выдвигает кандидатуры Мережковского и Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Помимо них нобелевским номинантом является и И. С. Шмелев, номинатор – профессор славянских языков Н. ван Эйк (Лейден). В этот год шансы на получение премии русским писателем очень велики. *14 апреля* Мережковский во время визита Бунина к нему предлагает поделить премию пополам. Бунин отказывается. *6 мая* происходит трагедия, осложнившая жизнь русской диаспоры в Париже: писатель П. Горгулов (Павел Бред) убивает французского президента П. Думьера. Среди парижан возникают «погромные настроения». Заседание «Зеленой лампы», назначенное на этот день, отменяется. *В мае* Мережковский с женой едет на десять дней во Флоренцию, куда их приглашает флорентийское отделение общества «Alta Cultura» и клуб Леонардо да Винчи для чтения лекций о великом художнике. Помимо того их приглашает «Union» и чета Строцци. Во Флоренции супруги живут в отеле «Великобритания». Лекции проходят с огромным успехом (отзывы о выступлениях Мережковского – *La Nazione (Firenze). 17 и 20 мая). 16 мая* во дворце Строцци был дан обед в честь Мережковского. *21 мая* они выехали из Флоренции в Париж. Парижский быт резко контрастировал с итальянскими впечатлениями. Страх перед возможными репрессиями против русских эмигрантов парализовал общественную и культурную

жизнь эмиграции. Круг общения Мережковских после возвращения в Париж резко сокращается («почти ни с кем не видимся», пишет Гиппиус Бунину *в июле)*. Из-за нехватки денег Мережковские вновь остаются на лето в Париже. *7 августа* они вынуждены рассчитать прислугу. Поездка в Клозон, которую они запланировали на осень, также не состоялась из-за недостатка средств. *9 ноября* Гиппиус пишет В. Н. Буниной о том, что Нобелевский комитет выступает против кандидатуры Мережковского из-за его «антикоммунизма» и что шансы Бунина на премию предпочтительнее. Информацию из Стокгольма ей передает знакомая Мережковских шведская художница Г. Герелль, подруга великой шведской писательницы С. Лагерлеф, которая входила в Нобелевский комитет. Однако на этот раз Нобелевскую премию по литературе получил Дж. Голсуорси. В Белграде в двух томах выходит «Иисус Неизвестный» (№ 36/37 и 39/40 «Русской библиотеки»). *В декабре* выходит и его итальянский перевод во Флоренции. Мережковский начинает работу над трилогией «Лица святых от Иисуса к нам».

1933 – весной Мережковский и Гиппиус едут с чтением лекций в Страсбург и Вену, однако эта поездка «не принесла ни копейки», поскольку их антрепренер скрылся с выручкой. Пришлось утешаться лишь обилием «банкетов и автографов» в Вене. *В конце мая* они возвращаются в Париж. С. Агрелл в четвертый раз выдвигает кандидатуры Мережковского и Бунина на Нобелевскую премию по литературе, добавляя к ним третьего номинанта – Горького. На этот раз Бунина поддерживают еще четыре номинатора. Несмотря на то, что доктора настаивают на поездке на юг (у Гиппиус резко прогрессирует глухота), Мережковские вновь, в третий раз, остаются *на лето* в Париже. *10 ноября* И. А. Бунину присуждают Нобелевскую премию по литературе. *10 декабря* в Стокгольме происходит церемония награждения. *Зимой* у Мережковских возникает интерес к святой Терезе Авильской и святому Иоанну Креста, крупнейшим деятелям испанской Контрреформации. Очевидно, уже тогда у Мережковского появляется замысел «Испанских мистиков». Однако главной его работой остается книга о Павле и Августине.

1934-1 января вернувшийся в Париж после стокгольмских торжеств Бунин наносит «визит вежливости» Мережковским. *8 января* в Москве умирает Андрей Белый. *6-12 февраля* в Париже проходят столкновения фашистских и «левых» группировок, в ходе которых бывший президент Г. Думерг образует правительство «Национального единства». Эти события Мережковские воспринимают как начало новой «социалистической революции». С. Агрелл вновь выдвигает

кандидатуру Мережковского на Нобелевскую премию по литературе, хотя теперь шансы на ее получение ничтожны. *9 октября* хорватские террористы убивают в Марселе короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, который покровительствовал Мережковским. *Осенью-зимой* Мережковские живут в Риме и совершают поездку в Цюрих, где Мережковский читает лекцию. *4 декабря* Мережковский встречается с Б. Муссолини и получает приглашение приехать в Италию для работы над биографией Данте. *9 декабря* Мережковские возвращаются из Рима в Париж. Мережковский становится парижским редактором еженедельника «Меч» (варшавским соредактором был Философов). *В течение года* проходят два заседания «Зеленой лампы». В Берлине выходит перевод «Иисуса Неизвестного» на немецкий язык. Продолжается работа над второй частью трилогии «Лица святых от Иисуса к нам» – «Франциском Ассизским».

1935 – С. Агрелл вновь выдвигает кандидатуру Мережковского на Нобелевскую премию по литературе. В «Современных записках» (№ 58) выходят фрагменты «Франциска Ассизского» (под заголовком «Коммунизм божественный»). *9 октября* от передозировки наркотика погибает активный участник заседаний «Зеленой лампы» поэт Б. Ю. Поплавский. *14 декабря* проходят торжества по случаю 70-летия Мережковского, в которых участвуют И. А. Бунин, М. А. Алданов, министр народного просвещения М. Рустан, председатель французского Союза писателей Г. Раже, академик А. Бордо и др. *В течение года* проходят два заседания «Зеленой лампы». Мережковский работает над «Жанной д'Арк» и собирает материалы для «Данте».

1936 – в первые месяцы года – работа над «Данте». С. Агрелл вновь выдвигает кандидатуру Мережковского на Нобелевскую премию по литературе, рассчитывая, очевидно, провести и «второго кандидата». Однако эти ежегодные номинации уже не производят на Мережковских никакого особенного впечатления. Главой французского «Правительства национального доверия» становится социалист Л. Блюм, что было для Мережковских, Бунина и других «правых» русских эмигрантов знаком близкой «катастрофы». *В апреле,* когда книга о Данте «на две трети готова», они уезжают в Италию. *15 апреля* Мережковские останавливаются в отеле «Бостон». Мережковский передает написанные части «Данте» Р. Кюфферле для перевода. Тогда же издатель Монтадори берет для перевода на итальянский и издания «Франциска Ассизского». *30 апреля* проходит краткая встреча Мережковского с Муссолини. *12–31 мая* Мережковские проводят во Флоренции и опять возвращаются в Рим. *11 июня* –

еще одна встреча с Муссолини, во время которой диктатор подает писателю надежду на свое покровительство и вручает крупный денежный аванс за создаваемую книгу. Проживая в Риме, Мережковские постоянно встречаются с Вяч. И. Ивановым, литературоведом и переводчиком Э. Логатто, художником А. Я. Белобородовым, археологом Т. С. Варшер и Т. Л. Сухотиной-Толстой. *25 июня* Мережковские уезжают из Рима во Флоренцию, откуда совершают поездки «по следам Данте» в Равенну и Верону, а *в ноябре* вновь возвращаются в Рим. Здесь они встречаются с Буниным, который советует им остаться в Италии: во Франции «социалистическая революция». Мережковский надеется на новую встречу с Муссолини, чтобы просить об «убежище» в Италии, однако на этот раз аудиенция не состоялась из-за занятости «дуче». Зато *7 декабря* происходит чествование Мережковских в «Синдикате итальянских писателей и переводчиков». *24 декабря* они вернулись в Париж. Заседания «Зеленой лампы» *в этом году* не проводятся. *Летом* в брюссельском издательстве «Петрополис» выщла первая книга трилогии «Лица святых от Иисуса к нам» – «Павел. Августин».

1937 – зиму Мережковские проводят в Париже. *13 февраля* в «Иллюстрированной России» (№ 8) появляется статья Мережковского «Встречи с Муссолини», которая после будет служить неопровержимым доказательством «коллаборационизма» Мережковского. Весной С. Агрелл вновь выдвигает кандидатуру Мережковского на Нобелевскую премию по литературе. Это последняя, восьмая в жизни Мережковского номинация на высшую литературную награду, которую он так и не получил. *Весной* проходят пять заседаний «Зеленой лампы». *В мае* Мережковский завершает «Данте» и *в июне* едет вместе с женой в Италию. *16 июня* они приезжают в Рим. *29 июня* он встречается с итальянским министром иностранных дел Видау. Мережковские снимают виллу «Флора» неподалеку от летнего дворца папы. Здесь Мережковский пишет первую книгу трилогии «Реформаторы» – «Лютер», а также изучает биографические материалы о святой Терезе Лизьесской. В это время в Эдинбурге происходит экуменическая конференция, за событиями которой Мережковский внимательно следит. *Летом* Мережковский пишет киносценарий «Жизнь Данте» и посылает его в Голливуд, но *в сентябре* приходит отказ. Попытки обсудить возможность работы над фильмом о Леонардо да Винчи в Италии также оказываются бесплодными. *15 октября* в издательстве *R. Kufferle* (Болонья) выходит итальянская версия книги «Данте» с посвящением Муссолини (на обложке – 1938). Однако напуганный восторженными выступлениями Мережковского в европейской

печати, которые могли быть истолкованы как «объявления о намереньях», Муссолини отказывает ему в аудиенции и рекомендует прекратить «шум» в прессе. *21 октября* Мережковские возвращаются в Париж, где Мережковский говорит о своем разочаровании в Муссолини (называя его «политиком-материалистом» и «пошляком») и безуспешно пытается связаться с диктатором Франко. Испания кажется Мережковскому возможным убежищем от «коммунистической экспансии» в Европу.

1938 – 28 января проходит заседание «Зеленой лампы» с обсуждением романа Г. Иванова «Распад атома». *21 февраля* в Париже при участии Мережковских открывается Клуб читателей и писателей. *18 марта* проходит заседание Клуба. *29 марта* на заседании «Зеленой лампы» обсуждается тема «Одиночество». *8 апреля* проходит заседание Клуба читателей и писателей. *26 апреля* Мережковский завершает «Лютера». *Весной* у Мережковского и Гиппиус возникает идея альманаха молодой эмигрантской литературы (будущий «Литературный смотр»). *Тогда же* в издательстве «Петрополис» (Брюссель) выходит вторая книга трилогии «Лица святых от Иисуса к нам» – «Франциск Ассизский». Третья книга – «Жанна д'Арк» выйдет в «Петрополисе» *во второй половине года.* Мережковский работает над «Кальвином» и «Паскалем». *Осенью* фашистская Германия аннексирует Австрию, захватывает Судеты, потом – всю Чехословакию. «Мюнхенский сговор» Мережковский и Гиппиус категорически осуждают.

1939 – в первой половине года Мережковский завершает трилогию «Реформаторы» и начинает работать над «Святым Иоанном Креста». *21 (8 по ст. стилю) января* Мережковские очень скромно празднуют «золотую свадьбу». *В январе* у них на «воскресниках» собираются преимущественно молодые писатели – В. А. Мамченко, Ю. К. Терапиано, Л. Д. Червинская, Ю. В. Мандельштам (однофамилец акмеиста-классика), В. Н. Емельянов. Составляется альманах «Литературный смотр» (выйдет *в начале июня).* Мережковские *в эти месяцы* регулярно посещают католический храм Святой Терезы Лизьесской на улице Лафонтен. Их увлечение этой католической святой не означает приход к католичеству. *С 3 марта по 5 апреля* у Мережковских гостит шведская художница Г. Герелль. *30 марта* Мережковский избирается председателем правления Союза русских театральных и кинематографических деятелей. *Весной* материальное положение Мережковских крайне тяжелое: не имея денег на найм дачи, они опять остаются в Париже *на лето. 14 июня* после тяжелой продолжительной болезни умирает В. Ф. Ходасевич.

Мережковский и Гиппиус пишут некролог для журнала «Возрождение», а *16 июня* присутствуют на отпевании поэта. *В июле* в фашистской Германии запрещено издание «Жанны д'Арк». В Брюсселе, в издательстве «Петрополис», на русском языке выходит «Данте» без посвящения и без всех упоминаний Муссолини во вступительной статье. *23 августа* СССР и Германия заключают Пакт о ненападении («пожар в сумасшедшем доме», по словам Гиппиус). *1 сентября* в Париже Мережковские встречают начало Второй мировой войны. Перед самым началом войны Мережковский передает Л. М. Лифарю рукопись эссе «Тайна русской революции». Между тем *летом* американская киностудия «Paramaunt» и французская «Association des Auteurs de Films» принимают к постановке сценарий Мережковского «Жизнь Данте», но из-за войны съемки не состоялись. *9 сентября,* опасаясь бомбардировок, Мережковские вместе с массой беженцев уезжают из Парижа в Биарриц. В Биаррице они живут три месяца, посещая салон Г. В. Иванова и И. В. Одоевцевой, где, помимо представителей творческой интеллигенции, бывают французские и английские высшие офицеры. Идет «странная война», и, в отсутствие боевых действий как с немецкой, так и с французской стороны, *в декабре* Мережковские возвращаются в Париж. Мережковский строит неосуществимые планы поездки в Испанию.

1940 – зиму и весну Мережковские проводят в Париже. *23 мая* создается юбилейный комитет по празднованию 75-летия Мережковского, в который вошли П. Н. Милюков, И. А. Бунин, В. А. Маклаков и М. А. Алданов. *В начале июня* начинаются бомбардировки Парижа. «Странная война» кончается массированным наступлением гитлеровских войск в обход «линии Мажино». *5 июня* Мережковские вновь «эвакуируются» в Биарриц. *15 июня* немцы захватывают Париж, *27 июня* – Биарриц. Франция пала. Жизнь Мережковских первое время крайне тяжела, они вынуждены ночевать у знакомых и жить в приюте для беженцев. *4 августа* в польском курорте Отводске умирает Д. В. Философов. *14 августа* проходит чествование Мережковского по случаю его 75-летия под председательством Клода Фаррера. Юбилейное торжество имеет успех и приносит 7 тысяч франков, на которые Мережковский и Гиппиус снимают виллу «El Recret». *22 августа* Я. М. Меньшиков сообщает Мережковским о смерти Философова. *В августе-сентябре* Мережковский заболевает тяжелой формой дизентерии и находится при смерти, но *в октябре* поправляется. *Зимние месяцы* Мережковские переживают крайне тяжело из-за нехватки топлива. Тем не менее *всю зиму* на «El Recret» Мережковский упорно работает над «Испанскими мистиками».

1941 – 1 января Мережковский завершает «Святого Иоанна Креста» и сразу же начинает работать над «Святой Терезой Авильской» и «Маленькой Терезой». Первую ему удастся завершить *к осени,* вторая останется незавершенной. Помимо того Мережковский читает публичные лекции о Леонардо да Винчи и Паскале. Лекция о Наполеоне запрещена оккупационными властями. *К июню* у Мережковских кончаются деньги и их выселяют из виллы за неуплату. *Летом* они живут в меблированных комнатах. *22 июня* Германия напала на СССР. *В сентябре,* заняв деньги у знакомых, Мережковские возвращаются в Париж, где за ними сохранилась квартира в Пасси. Мережковский крайне истощен как физически, так и морально, но до последних дней пытается работать над «Маленькой Терезой». *7 декабря* Дмитрий Сергеевич Мережковский умирает у себя дома от кровоизлияния в мозг. *10 декабря* состоялись отпевание в православном храме Святого Александра Невского на улице Дарю и похороны на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. *В этом году* на французском языке выходят «Лица святых от Иисуса к нам» в переводе Ж. Шюзевиля и Г. Толстого и «Реформаторы» в переводе К. Андронникова.

БИБЛИОГРАФИЯ [47]

I. МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ

Адамович Г. В. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

Андрущенко Е. А. Мережковский неизвестный. Харьков, 1997.

Белый Андрей. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3 т. Кн. 1 / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. А. Лаврова. М., 1989 (Серия литературных мемуаров).

Белый Андрей. Начало века. Воспоминания. В 3 т. Кн. 1 / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. А. Лаврова. М., 1989 (Серия литературных мемуаров).

Белый Андрей. Между двух революций. Воспоминания. В 3 т. Кн. 1 / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. А. Лаврова. М., 1989 (Серия литературных мемуаров).

Белый Андрей. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. статья и прим. Л. А. Сугай. М., 1994 (Мыслители XX века).

Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобиография. В 2 т. New York, 1883.

Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991.

Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910. Благая весть. М.; СПб., 2000.

Блох А. М. Советский Союз в интерьере Нобелевских премий. Факты. Документы. Размышления. Комментарии. СПб., 2001.

Брюсов В. Я. Дневники. 1891–1910. М., 1927.

Бунин И. А. Полное собрание сочинений. В 13 т. М., 2006–2007.

В. В. Розанов: pro et contra. В 2 кн. СПб., 1995 (Серия «Русский путь»).

Валерий Брюсов. М., 1976 (Лит. наследство. Т. 85).

Валерий Брюсов и его корреспонденты. Книга первая. М., 1991 (Лит. наследство. Т. 98).

Валерий Брюсов и его корреспонденты. Книга вторая. М., 1994 (Лит. наследство. Т. 98).

Венгеров С. А. Основные черты истории новейшей русской литературы. СПб., 1909.

Вехи. Из глубины. М., 1991.

Вехи: pro et contra. СПб., 1998 (Серия «Русский путь»). Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент.

В. Крейд. М., 1993.

Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. *Гиппиус З. Н.* Алый меч. Рассказы. СПб., 1906.

Гиппиус З. Н. Арифметика любви (1931–1939) / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. СПб., 2003. *Гиппиус З. Н.*

Дневники. В 2 кн. М., 1999.

Гиппиус З. Н. Живые лица. В 2 кн. Тбилиси, 1991 («Россия – Грузия: сплетение судеб»).

Гиппиус З. Н. Мечты и кошмар (1920–1925) / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. СПб., 2002.

Гиппиус З. Н. Новые люди. СПб., 1896.

Гиппиус З. Н. Опыт свободы / Подг. текста, сост., предисл. и прим. Н. В. Королевой. М., 1996.

Гиппиус З. Н. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978.

Гиппиус З. Н. Серое с красным: дневник 1940 г. // Новый журнал (Нью-Йорк). 1953. ‹33. С. 210–221.

Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. II. Munclien, 1972.

Гиппиус З. Н. Чего не было и что было (1926–1930) / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. СПб., 2002.

Грифцов Б. Три мыслителя. В. Розанов. Д. Мережковский. Л. Шестов. М., 1911.

Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб., 2001 (Серия «Русский путь»).

Духовная трагедия Льва Толстого. М., 1995.

Жизнь Николая Гумилёва. Воспоминания современников. Л., 1991. *Зайцев Б. К.* Мои современники. Лондон, 1988. *Злобин В. А.* Тяжелая душа. Вашингтон, 1970.

Знаменский П. В. История русской Церкви. М., 1996 (Материалы по истории Церкви. Кн. 10).

Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992.

Иванов Вяч. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994 (Серия «Античная библиотека»).

Иванов Вяч. И. Родное и вселенское / Сост., вступ. статья и прим. В. М. Толмачева. М., 1994 (Мыслители XX века).

Иванов Вяч. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья С. С. Аверинцева; сост. и прим. Р. Е. Помирчего. Л., 1976.

Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994.

Игнатий (Брянчанинов). О прелести. СПб., 1998.

Из истории христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии. М., 1995 (Материалы по истории Церкви. Кн. 5).

Ириней Лионский. Творения. М., 1996 (Библиотека отцов и учителей Церкви).

Их страданиями очистится Русь. Сборник. М., 1996. К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1995 (Серия «Русский путь»). *Керам К.* Боги, гробницы, ученые. Роман археологии. М., 1960. Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.

Колоницкая А. Все чисто для чистого взора… Беседы с Ириной Одоевцевой. М., 2001.

Лавров В. В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции. 1920–1953. М., 1989.

Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.

Лундберг Г. Мережковский и его новое христианство. СПб., 1914.

М. Горький и его эпоха. Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1995.

Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962.

Максим Горький: pro et contra. СПб., 1997 (Серия «Русский путь»).

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Книга первая. Париж, 1982.

Мережковский Д. С. Атлантида – Европа. М., 1992.

Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет / Сост. Е. Данилова. М., 1991.

Мережковский Д. С. Грядущий Хам / Сост. и коммент. А. Н. Николюкина. М., 2004.

Мережковский Д. С. Данте. Томск, 1997.

Мережковский Д. С. Данте. Наполеон / Ред. кол.: О. А. Коростелев и др.; вступ. статья А. Н. Николюкина. М., 2000.

Мережковский Д. С. Испанские мистики. Томск, 1997.

Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995 (Прошлое и настоящее).

Мережковский Д. С. Маленькая Тереза / Под ред., со вступ. статьей и коммент. Т. Пахмусс. Анн Арбор, 1984.

Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. В 24 т. М., 1914.

Мережковский Д. С. Реформаторы. Испанские мистики / Ред. кол.: О. А. Коростелев, А. Н. Николюкин, С. Р. Федякин. М., 2002.

Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль / Под ред. и с предисл. Т. Пахмусс. Брюссель, 1990.

Мережковский Д. С. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1990.

Мережковский Д. С. Собрание стихотворений. СПб., 1999.

Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Иисус Неизвестный. М., 1996.

Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Лица святых от Иисуса к нам. М., 1997.

Мережковский Д. С. Эстетика и критика. В 2 т. М.; Харьков; СПб., 1992. Т. 1.

Н. А. Бердяев: pro et contra. СПб., 1994 (Серия «Русский путь»).

Н. С. Гумилёв: pro et contra. СПб., 1995 (Серия «Русский путь»).

На рубеже XIX и XX веков. Из истории международных связей

русской литературы. Л., 1991.

Надсон С. Я. Стихотворения / Сост., вступ. статья и прим. Е. В. Ивановой. М., 1987 (Поэтическая Россия).

Носик Б. Привет эмигранта, свободный Париж! М., 1992.

Огицкий Д. П., священник Максим Козлов. Православие и западное христианство. М., 1995.

Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 2005.

Одоевцева И. В. На берегах Сены. М., 2005.

Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902. М; Л., 1933.

Писатели символистского круга. Новые материалы. СПб., 2003.

Розанов Н. П. О «новом религиозном сознании»: Мережковский и Бердяев. М., 1908.

Российская церковь в годы революции (1917–1918). М., 1995 (Материалы по истории Церкви. Кн. 8).

Русская литература в эмиграции. Питсбург, 1972.

Русская литература XX века / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1915.

Русские писатели. 11–20 вв. Биографический словарь. М., 1992–1997. Т. I–IV.

Русские писатели XX века. Биобиблиографический словарь. В 3 т. М., 2005.

Русский эрос, или Философия любви в России. М., 1991. *Серафим (Соболев).* Искажение православной истины в русской богословской мысли. М., 1997.

Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. 4-е изд. СПб., 1910.

Сто русских философов. Биографический словарь. М., 1995.

Струве Г. П. Русская литература в изгнании / Глеб Струве. 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический словарь русского зарубежья / Р. И. Вильданова, В. Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-Данилевский. Вступ. статья К. Ю. Лаппо-Данилевского. Париж; М., 1996.

Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж-Нью-Йорк, 1987.

Толстой И. Курсив эпохи. Литературные заметки. СПб., 1993.

Федор (Поздеевский). Смысл христианского подвига. М., 1995.

Феодосий (Алмазов) Мои воспоминания. М., 1997 (Материалы по истории Церкви. Кн. 13).

Франк С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910.

Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. М., 1991.

Хрисанфов В. И. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус: из жизни

в эмиграции. СПб., 2001.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Серия вторая. Письма. Т. XIV. М., 1949.

Чеховиана. Чехов и «серебряный век». М., 1996.

Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991.

Шкаровский М. В. Русская православная Церковь и Советское государство в 1943–1964 годах. СПб., 1995.

Щеглова Л. В. Мережковский. СПб., 1909.

II. СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Богомолов Н. А, Котрелев Н. В. К истории первого сборника стихов Зинаиды Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3. С. 121–132.

Д. С. Мережковский / Публикация М. Ю. Корнеевой // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб., 1992. С. 340–346.

Д. С. Мережковский и М. Э. Здеховский. Письма из Парижа в Вильнюс / Вступ. статья, публ. и прим. А. Йокубайтиса // Вильнюс. 1990. № 1. С. 147–156.

Записные книжки и письма Д. С. Мережковского / Публ. Е. А. Андрущенко, Л. Г. Фридмана // Русская речь. 1993. № 4. С. 30–35; № 5. С. 25–40.

Зинаида Гиппиус / Публ. А. П. Соболева // Русская литература. 1991. № 2. С. 181–190.

Злобин В. А. Д. С. Мережковский // Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180. С. 204–206.

Злобин В. А. Мережковский о свободе // Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180. С. 206–207.

Иванов-Разумник. Мертвое мастерство // Иванов-Разумник. Творчество и критика. СПб., 1911. Т. 2. С. 110–179.

«Как бы мне хотелось с Вами много и много поговорить…». Письма Д. С. Мережковского М. Н. Ермоловой // Театр. 1993. № 7. С. 95–97.

Козловский Л. Д. С. Мережковский как художник и мыслитель // Журнал для всех. 1910. № 8–9. С. 120–147.

Колоницкий Б. А. Ф. Керенский и Мережковские в 1917 году // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 98–106.

Мачтич О. Суета вокруг кровати: Утопическая организация быта и русский авангард // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 80–84.

Мережковский Д. С. Будущее Европы. Лекция 1920 г. // Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180. С. 200–203.

Мережковский Д. С. Записная книжка 1919–1920 // Вильнюс. 1990. № 6. С. 130–143.

Мережковский Д. С. Россия будет (интеллигенция и народ) // Дружба народов. 1991. № 4. С. 204–213.

Пахмусс Т. Из архива Мережковских [Письма Гиппиус и Мережковского к И. А. Бунину] // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. Vol. XXII(4). Octobre-Decembre. 1981. Pp. 417–470.

Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Публ., коммент. М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4; 1992. № 1. С. 134–

157.

Письмо Д. С. Мережковского к А. Л. Волынскому (19 октября 1891) // Российский архив. М., 1992. С. 245–247.

Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и прим. М.Ю.Кореневой // Русская литература. 1991. № 2. С. 156–181; № 3. С. 132–159.

Письма Д. В. Философову (1920–1922) // Europa orientalis, Roma, 1994. Vol 13. № 1. Pp. 298–301.

Письмо Д. С. Мережковского М. Л. Кантору (12.11.27) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1973. № 112. С. 235.

Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 12. М., 1993. С. 274–341.

Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и прим. М.М.Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124–159; 1992. № 1. С. 134–157.

Письма Д. С. Мережковского А. В. Амфитеатрову / Публ., вступ. заметка и прим. М. Толмачева, Ж. Шерона // Звезда. 1995. № 7. С. 158–169.

Последнее письмо Розанова // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84.

Письма Брюсова к Л. Н. Вилькиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 126–135.

«Распоясанные письма» В. Розанова / Вступ. статья, публ. и прим. М. Павловой // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 67–71.

Соболев А. Л. Мережковские в Париже (1906–1908) // Лица: Биографический альманах. Вып.1. М.; СПб., 1992. С. 319–371.

Спасович В. Д. С. Мережковский и его «Вечные спутники» // Вестник Европы. 1897. № 6. С. 559–603.

Фельзен Ю. У Мережковских по воскресеньям // Даугава. 1989. № 9. С. 104–107.

III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Письма З. Н. Гиппиус к З. А. Венгеровой // РО ИРЛИ.[48] Ф. 39. Оп. 2. Ед. хр. 542–542(а).

Письма З. Н. Гиппиус к Н. М. Минскому // РО ИРЛИ. Ф. 39. Оп. 2. Ед. хр. 205.

Письма З. Н. Гиппиус к Ф. К. Сологубу // РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 183.

Письма Д. С. Мережковского к В. Я. Брюсову // РГБ.[49] Ф. 386. Карт. 94. Ед. хр. 44.

Письма Д. С. Мережковского к П. В. Быкову // РО ИРЛИ. Ф. 273. Оп. 1. № 723, 391.

Письма Д. С. Мережковского к П. И. Вейнбергу // РО ИРЛИ. Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 22; Оп. 3. № 327; РШ. Оп. 2. № 269.

Письма Д. С. Мережковского к З. А. Венгеровой // РО ИРЛИ. Ф. 39. Оп. 2. Ед. хр. 604.

Письма Д. С. Мережковского к Л. Н. Вилькиной // РО ИРЛИ. Ф. 39. Оп. 3. Ед. хр. 882.

Письмо Д. С. Мережковского к Б. Б. Глинскому // РО ИРЛИ. Ф. 563. № 1.

Письмо Д. С. Мережковского к М. Л. Гофману // РГБ. Ф. 386. Карт. 94. Ед. хр. 46.

Письма Д. С. Мережковского к А. Г. Достоевской // РГБ. Ф. 93/II. Дост., карт. 6. Ед. хр. 74.

Письмо Д. С. Мережковского к М. К. Лемке // РО ИРЛИ. Ф. 661. № 734.

Письма Д. С. Мережковского к Н. М. Минскому // РО ИРЛИ. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 279.

Письмо Д. С. Мережковского к Н. К. Михайловскому // РО ИРЛИ. Ф. 266. Оп. 3. № 317.

Письма Д. С. Мережковского к С. Я. Надсону // РО ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 4. Ед. хр. 63.

Письма Д. С. Мережковского к С. А. Полякову // РО ИРЛИ. Ф. 240. Оп. 1. № 79–82.

Письма Д. С. Мережковского к Я. П. Полонскому // РО ИРЛИ. Архив Полонского Я. П. Ед. хр. 12261.

Письма Д. С. Мережковского к В. В. Розанову // РГБ. Ф. 249. Карт. М. 3872. Ед. хр. 1.

Письма Д. С. Мережковского к А. М. Скабичевскому // РО ИРЛИ. Ф. 283. Оп. 2. № 135.

Письма Д. С. Мережковского к Ф. К. Сологубу // РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 184, 456; Архив Д. С. Мережковского. Ед. хр. 24380.

Письма Д. С. Мережковского к А. С. Суворину // РГАЛИ.[50] Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 2630.

Письмо Д. С. Мережковского к А. А. Тихонову // РІ. Оп. 17. № 192.

Письмо Д. С. Мережковского к Ф. Ф. Фидлеру // РО ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 3. Ед. хр. 62.

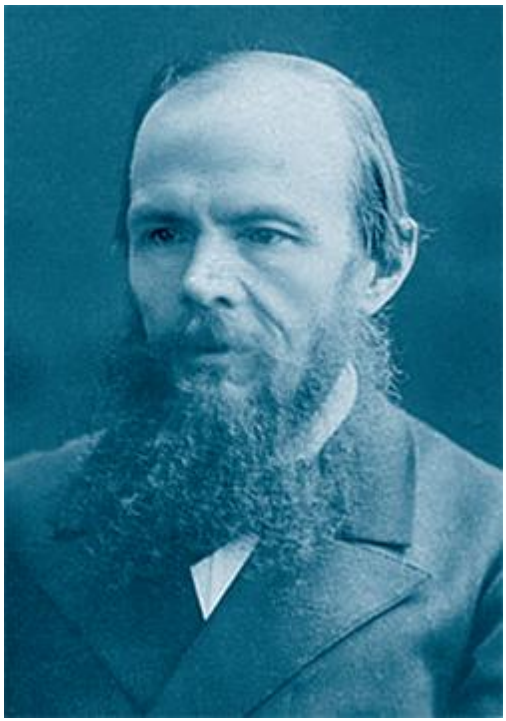
Письма Д. С. Мережковского к А. П. Чехову // РГБ. Ф. 331. Карт. 51. Ед. хр. 58.

Юношеские материалы Д. С. Мережковского // РО ИРЛИ. Архив Д. С. Мережковского. 24 350, 24 351, 24 356, 24 357, 24358 [CLXiV6. 21]; 24269[CLXiV6. 13]; 24 271[CLXiV6. 15].

Елагин дворец в Петербурге.
В одном из его флигелей родился Дмитрий Мережковский

Дом, где прошли детские и отроческие годы будущего писателя.

Петербург, наб. Фонтанки, 2. Современное фото



Федор Достоевский:

«Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!»

Елизавета Воронцова.

«Я не знал, что имею счастье целовать ту руку, которую полвека назад целовал Пушкин»

Здание 3-й Классической гимназии. *Петербург, Гагаринская ул., 23.Современное фото*

Константин Мережковский, старший брат писателя.
«“Мудрый змий-искуситель” при “Адаме в райской сени”»

Семен Надсон.

«Он стал первым и единственным другом юного Мережковского»

Здание Санкт-Петербургского университета («Двенадцать коллегий»). *Университетская наб., 7/9*

Н. К. Михайловский.
«Мережковский всегда называл его первым в ряду своих

учителей»

А. Н. Плещеев.

«Он был для поколения Мережковского живым символом рыцарственного литературного “свободомыслия” незапамятных дореформенных времен…»

Цареубийство 1 марта 1881 года. *«…страшная гибель*

Александра II произвела на Мережковского тягостное впечатление»

Развалины собора в Кутаиси. *«Вчера только я отправился с некоторой опасностью сломать себе шею, чтобы взглянуть на развалины при луне. Это лучшее, что я видел в архиромантическом вкусе»*

Военно-Грузинская дорога. *«Что я пережил – не передать никакими словами… опьянение миром… опьянение, доступное лишь богам и поэтам!..»*

Дмитрий Мережковский. *1890-е гг.*

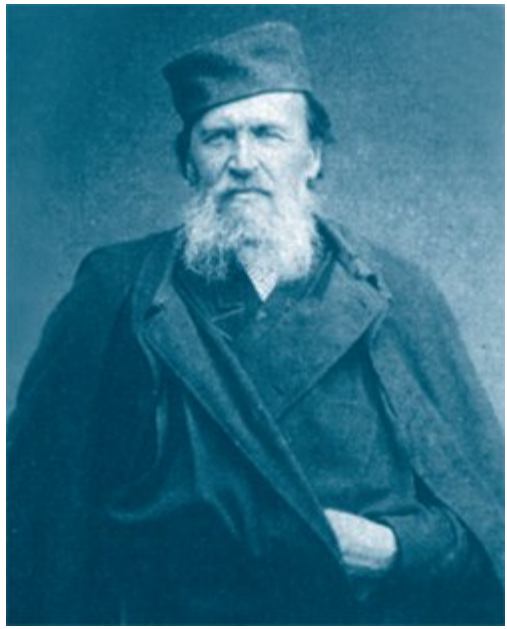
Зинаида Гиппиус. *1890-е гг.*

Вид на Боржоми

Зинаида Гиппиус – жена Мережковского. *«…он обрел единомышленника, понимающего с полуслова то, в чем он сам еще не был до конца уверен»*

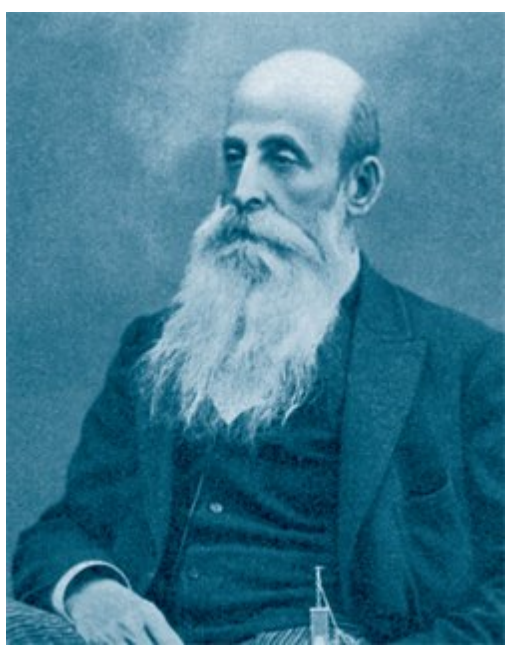
Первый адрес молодоженов в Петербурге: Верейская ул., 12. *Современное фото*

Дом Мурузи, где Мережковские жили с 1889 до 1906 года. *«На “литературной” карте Петербурга это – одно из самых почетных мест…» Литейный пр., 24. Современное фото*



Я. П. Полонский.

«В 1890'е годы Мережковский и Гиппиус становятся постоянными посетителями на знаменитых “пятницах” в квартире поэта Якова Полонского…»

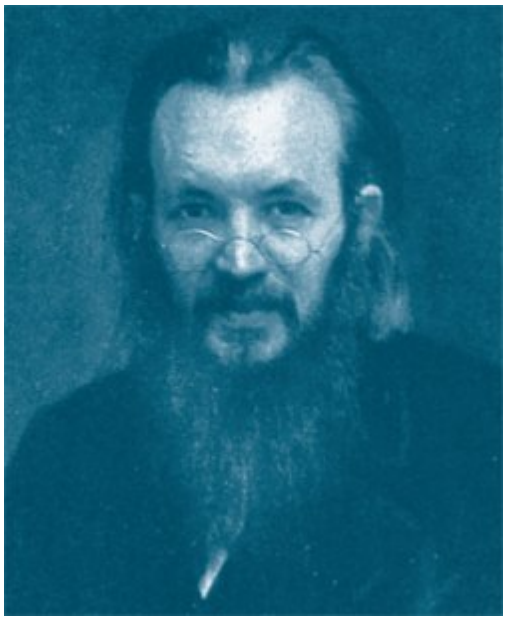


П. И. Вейнберг.

«…так нежно, так верно любивший литературу старую… интересовался и новым, и, пожалуй, более других».

Антон Чехов.

«Мне было досадно, – вспоминал Мережковский о своих беседах с Чеховым, – я ему о вечности, а он мне о селянке»



А. С. Суворин.

«Случайная встреча с великим журналистом и издателем во время итальянского путешествия 1891 года сыграла важную роль в жизни Мережковского»

Здание Государственной художественно-промышленной академии им. барона А. Л. Штиглица. *«Впервые о новых задачах искусства Мережковский заговорил в лекциях, объединенных названием “О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы”, 8 и 15 декабря 1892 года в аудитории Соляного городка (здании нынешней Академии). Это и было началом серебряного века». Петербург*

Здание гостиницы «Пале Ройяль», где помещалась редакция журнала «Северный вестник». *«С 1890 года журнал под руководством А. Волынского и Л. Гуревич становится своеобразным форпостом русского модернизма». Петербург,*

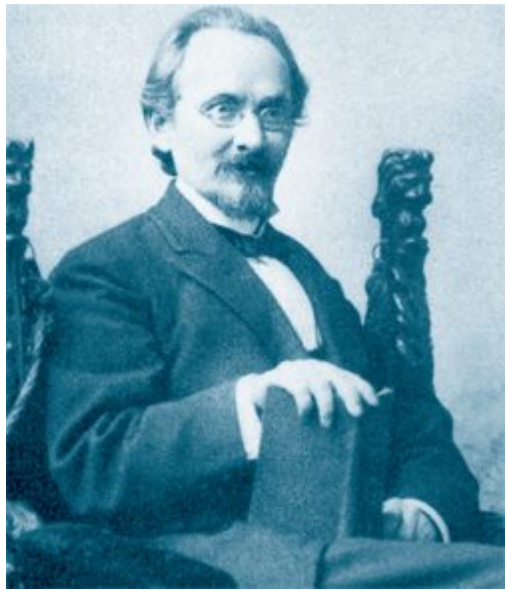
Пушкинская ул., 20

Дмитрий Философов.

«…играл одну из главных ролей в “дягилевском кружке”… С 1903 года становится постоянным спутником Мережковского и Гиппиус»

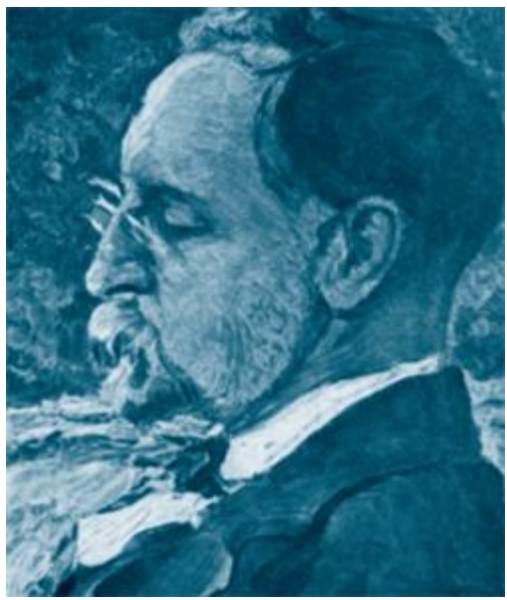
Сергей Дягилев.

«В 1897 году в петербургских богемных кругах появилось движение “Мир искусства”. Это было странное сообщество молодых эстетов – художников, театралов и музыкантов…»



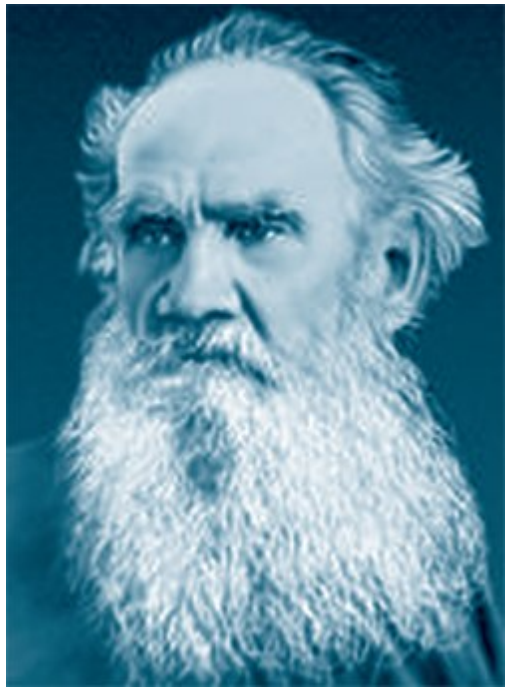
Василий Розанов.

«Розанов, с которым Мережковский сходится накоротке “на рубеже столетий”, уже был известен как талантливый публицист, смело обращавшийся к рискованным проблемам истории религии»



Петр Перцов.

«Обладающий безупречным литературным вкусом, Перцов более чем на двадцать лет становится самым доверенным лицом в обширном круге “литературных знакомств” Мережковского»



Лев Толстой.

«Мережковский был автором одного из лучших исследований творчества Л. Н. Толстого. Однако в разгар конфликта Толстого с Русской православной церковью Мережковский был на стороне Церкви»

К. П. Победоносцев.

«Обер-прокурор Святейшего Синода, он был убежденным консерватором и противником нововведений, однако Религиозно-философские собрания в 1901-м разрешил: начинайте, мешать не буду, а там посмотрим…»

Министерство просвещения. В этом здании проходили Религиозно-филофские собрания. *Петербург, пл. Чернышева (ныне Ломоносова), 2*

Андрей Белый:

«В метелях вставал передо мной облик Мережковского в дни моей юности. Его сочинение “Толстой и Достоевский” было для меня призывом февральской вьюги предвесенней, поющей о дне восстания из мертвых»

Александр Блок.

«Он всегда будет называть “Новый путь” своей “литературной родиной”, а знакомство с Мережковскими – одним из “событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших” на его развитие»

Здание, где размещалась редакция журнала «Новый путь». *Петербург, Саперный пер., 10*

Здание Тенишевского училища. *«18 февраля 1906 года в зале училища Мережковский прочитал свою знаменитую речь о Достоевском “Пророк русской революции”…» Петербург, Моховая ул., 33–35*

Кровавое воскресенье. *«“Нет больше Бога! Нет больше царя!” – кричал утром 9 января 1905 года чудом уцелевший в свалке у Нарвских ворот Георгий Гапон, срывая с себя рясу. К тому же выводу приходила после январской катастрофы стремительно “левевшая” русская творческая интеллигенция»*

Анна Григорьевна Достоевская.

«После лекции в Тенишевском училище “знакомые и незнакомые” говорили вдове писателя о противоположности выступления Мережковского всем тем идеям, которые высказывал покойный писатель»

Вячеслав Иванов.

«Блестящий ученый, долгое время живший за границей, снимает квартиру в доме близ Таврического сада. Там образуется модернистский художественный салон, постоянными посетителями которого оказываются Мережковские»

Борис Савинков.

«В годы “первой эмиграции” Мережковский близко сошелся с организатором революционного террора… Савинкова мучилскепсис, он искал религиозногооправдания террора…»

Жан Жорес:

«У вас, русских, все – порыв. Вы готовы прыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того, чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать умеетелучше, чем жить…»

«Составив “троебратство”, Мережковский, Гиппиус и Философов уверовали, что они избраны Провидением как провозвестники нового состояния жизни, завершающего человеческую историю. Это состояние “преображения плоти”, уходящей от “любви” к “сверхлюбви”, предвосхищающее райское единение человечества»

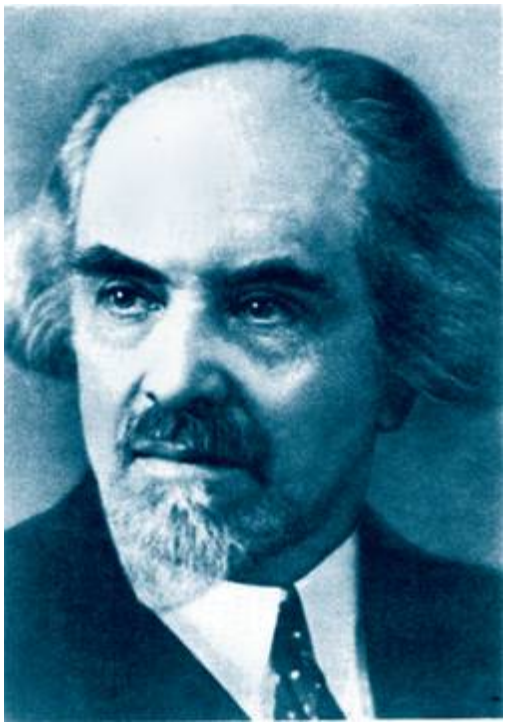
Дмитрий Сергеевич Мережковский. *1910-е гг.*

Петербург, Сергиевская улица. *«В квартире Мережковских на Сергиевской улице, в двух шагах от Таврического дворца, Государственной думы, в предвоенные и военные годы собирались лидеры Думы, общественные деятели, актеры, литераторы, журналисты». Ныне ул. Чайковского, 83. Современное фото*

Таврический дворец в дни Февральской революции.

«Всю великую российскую “трагедию власти” Мережковские видели “из окна квартиры… порог которой не переступала ни распутинско-пуришкевичевская, ни, главное, комиссаро-большевицкая нога” (З. Н. Гиппиус)»

Петр Струве

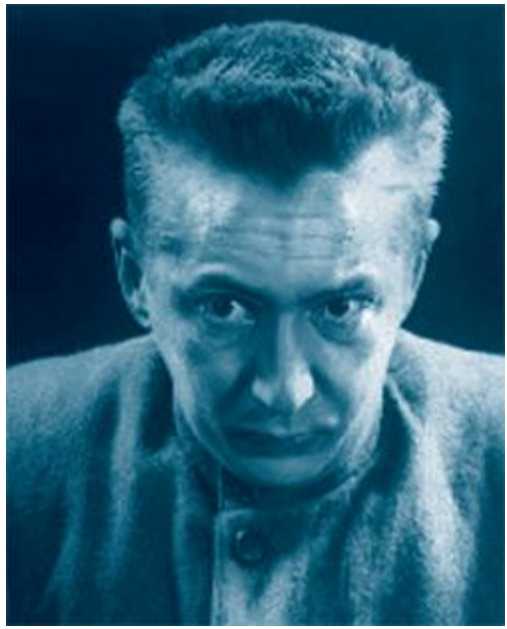


Николай Бердяев

«В 1909 году русское общество было потрясено выходом сборника “Вехи”, авторы которого переоценивали “миссию интеллигенции” в новейшей истории России. Полемика с “веховцами” стала главным событием в жизни Мережковского в этот год»

Отец Сергий Булгаков

Михаил Гершензон



А. Ф. Керенский.

«Мережковский, вызванный по требованию Керенского в министерство, был в полном смятении: тот производил впечатление деморализованного человека»

А. В. Карташев.

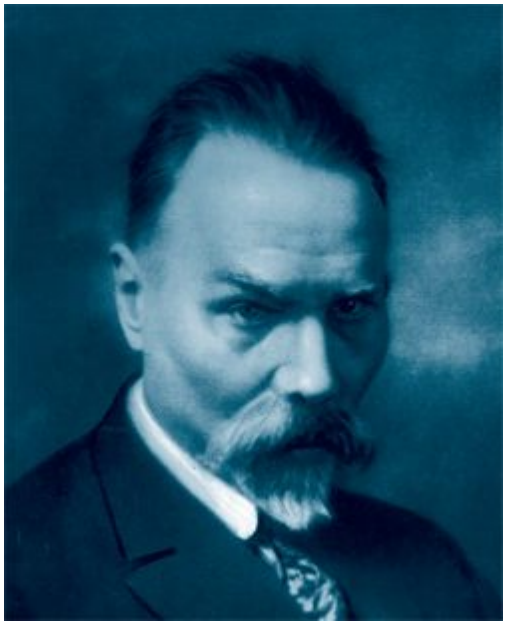
«Бывший председатель Религиозно-философского общества сделал в 1917 году невероятную “карьеру”, став последним обер-прокурором в истории России, а по упразднении поста – министром

исповеданий Временного правительства»

И. И. Фондаминский. *«Он пригласил Мережковских из Варшавы в Париж и привлек их к сотрудничеству в “Современные записки” – лучшее издание русского зарубежья»*

Максим Горький.

«В “Новом пути” появлялись весьма резкие статьи Мережковского против “певца босяков”, но одна из лучших работ о творчестве Горького – “Несвятая Русь” тоже принадлежит ему»

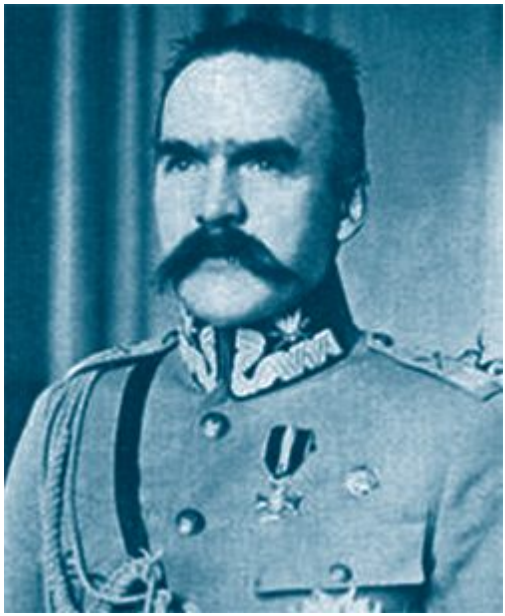


Валерий Брюсов.

«После 1917 года противостояние Мережковских и Брюсова из эстетического перешло в общественное»

В. И. Ленин.

«Нашу судьбу будет решать Ленин, – в ужасе пророчил Мережковский в марте 1917 года»



Маршал Юзеф Пилсудский.

«Советско-польский конфликт 1920 года был, по мнению Мережковского, последним шансом России сбросить “власть Антихриста”. Пилсудский объявил в приказе по армии, что Польша воюет не с Россией, а с большевизмом»

Дом на Rue Colonel Bonnet, 11-bus, в Париже, где была квартира Мережковских во время «второй эмиграции». *Современное фото*

Георгий Иванов

Ирина Одоевцева

«Литературный вечер “Зеленой лампы” 31 марта 1927 года, где выступили Г. Иванов, И. Одоевцева, В. Ходасевич, Н. Берберова,

Г. Адамович, другие “и старые, и юные поэты”, вызвал у собравшихся эйфорию: “Отныне столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж!”»

Владислав Ходасевич и Нина Берберова

Георгий Адамович

Александр I Карагеоргиевич, король Югославии. Под его патронажем в 1928 году прошел Съезд русских писателей в

Белграде

Борис Зайцев, участник белградского Съезда русских писателей

Вид Белграда со стороны реки Савы

Дмитрий Мережковский

Иван Бунин

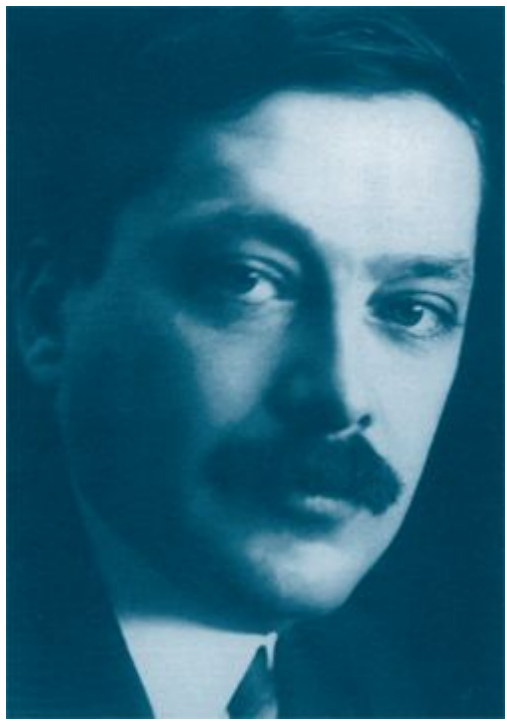
«Бунин был счастливым соперником Мережковского в “нобелевской гонке”»

Шведский король Густав V вручает И. А. Бунину диплом нобелевского лауреата и золотую медаль. *Стокгольм. 1933*

Париж. Остров Ситэ

Вид на Французскую Ривьеру

Надежда Тэффи



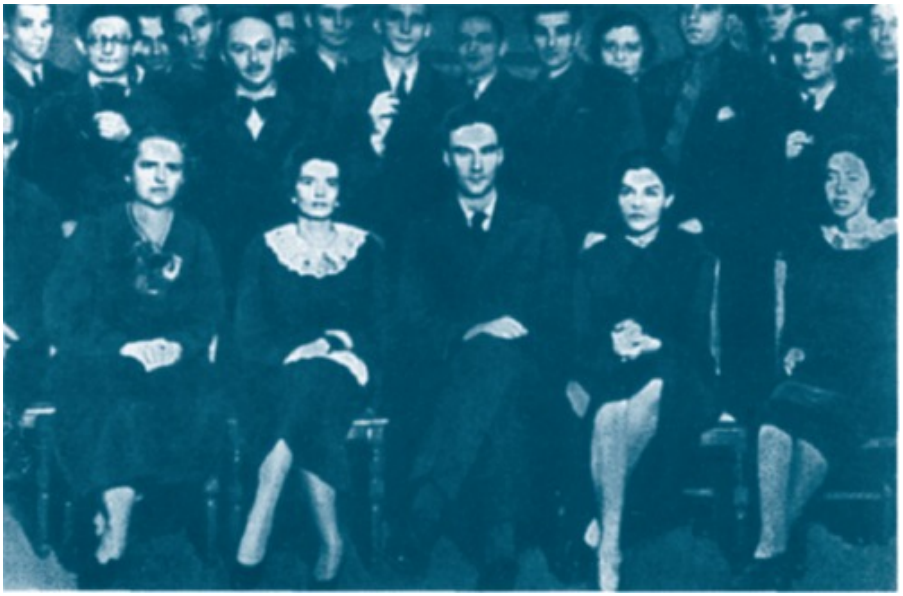
Марк Алданов

«В эмиграции Мережковские вновь собирают у себя литературный салон, где бывают крупнейшие представители культуры русского зарубежья»

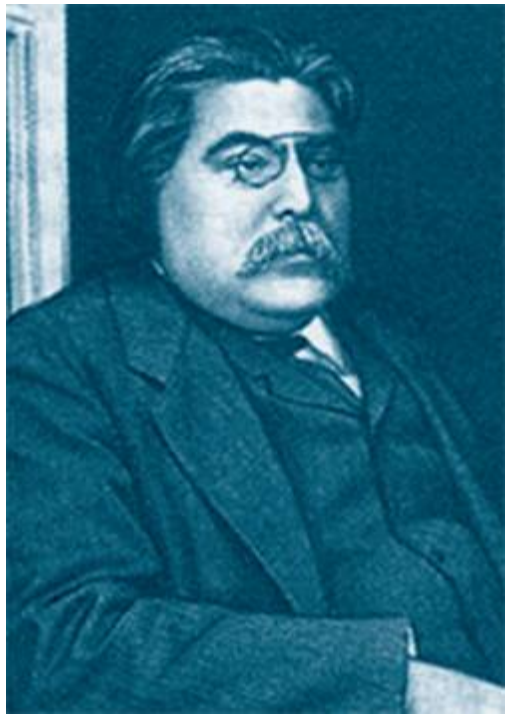
Павел Милюков

Александр Куприн

Владимир Злобин, поэт, писатель, секретарь Мережковских



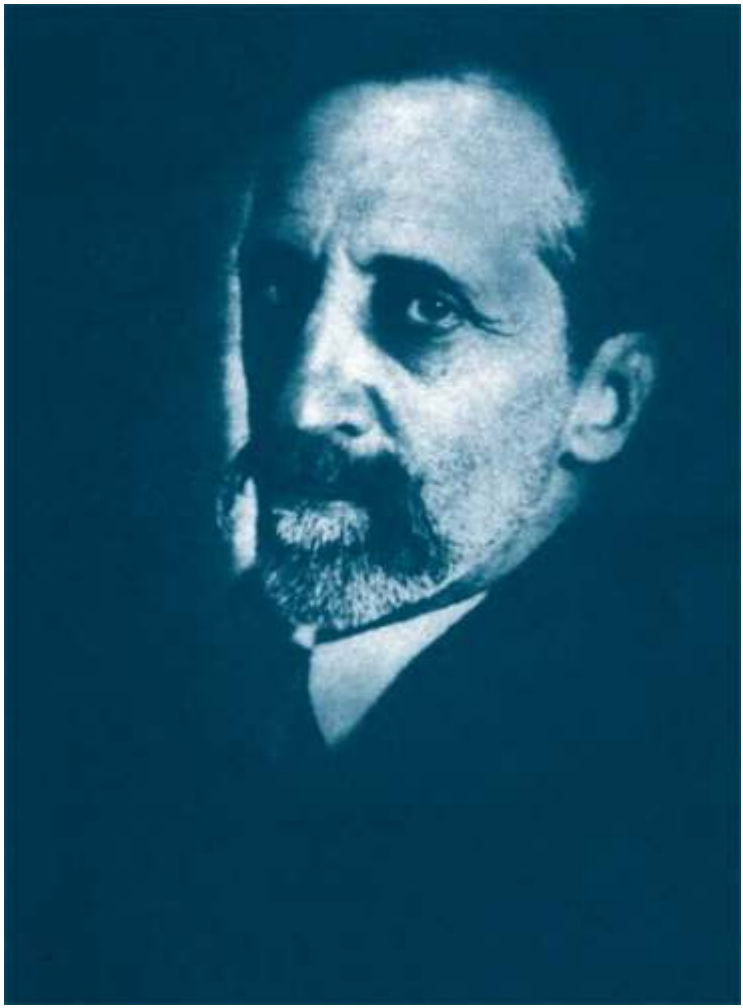
Союз молодых писателей и поэтов. С и д я т: Софья Прегель, Алла Головина, Леонид Зуров, Лидия Червинская, Анна Присманова; с т о я т: Виктор Емельянов, Борис Закович, Юрий Мандельштам, Владимир Смоленский, Юрий Фельзен, Георгий Адамович, Анатолий Штейгер, Елена Бакунина, Георгий Раевский, Юрий Бек-Софиев, Перикл Ставров и др. *Париж. 1930-е гг.*



А. В. Амфитеатров

Бенито Муссолини

Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов в Риме. *1930-е гг.*



Дмитрий Мережковский. *1935*

Митрополит Сергий (Страгородский). *«“Церковь, – говорил Сергий Страгородский, выступая в 1901 году на Религиозно-философских собраниях, – не восставала прямо против рабства, но проповедовала истину небесного идеала и этим, а не чем-либо иным, она достигла отмены рабства!” Став в 1926 году во главе Московской патриархии, он доказал правоту своих слов на практике»*

Место упокоения Дмитрия Сергеевича Мережковского и Зинаиды Николаевны Гиппиус на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. *Франция*

notes

Примечания

1

Данное стихотворение, как и стихи «На смерть Достоевского», взято из рукописного сборника Д. С. Мережковского «Юношеские стихотворения» (РО ИРЛИ).

2

Сюжет повести таков: человеку XIX столетия снится, будто он тонет, почти теряет сознание, но нахлынувшая волна выбрасывает его на берег у одного из островов Тихого океана из группы Таити. На этом острове обитают люди XXVII века, среди которых герой проводит два дня. Островитяне, хоть и сохранившие пол, мало похожи на современных людей, ибо делятся на три качественно разнородные группы: «покровителей», «друзей» и «рабов». Покровители единственные из «людей XXVII века» сохранили способность к волевой, сознательной деятельности и управляют всем общежитием. «Рабы» предназначены к физическому труду, причем этот труд осуществляется ими инстинктивно, без тягости, как пчелами и муравьями. Фабрик и заводов в этом «земном раю» мало, так как люди в тропическом климате нуждаются в немногом. Основной же массе населения «райского острова» – друзьям – остается наслаждаться «счастьем», проводя жизнь в бесконечных играх и наслаждениях. «Это куст, весь покрытый красивыми, пахучими цветами, с ярко раскрашенными бабочками, порхающими с цветка на цветок, с весело поющими птичками, вьющими свои гнезда в его ветвях, весь полный жизни и оживления, весь залитый лучами солнца», – пишет К. С. Мережковский, передавая впечатления героя от жизни среди «друзей». Старости и болезней они не знают: когда им исполняется 35–40 лет, «покровители» дают им особый напиток – «нектар», – погружающий их в сладкий сон, во время которого они умирают. Смерть их держится «покровителями» в секрете: на вопросы «друзей», куда делись их товарищи, следует ответ, что они уехали путешествовать. Смысл бытия «острова блаженных» поясняет герою один из «покровителей», Эзрар, указывая на исторически неизбежную трансформацию человечества: «… Мысль, счастье и труд – это три такие элемента, которые не соединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несовместимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетворился, один – в покровителях, другой – в друзьях, третий – в рабах, стало возможным появление на земле и самого счастья в чистом его виде. Насильственно соединенные, они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос…»

3

Здесь и далее слова в цитатах выделены автором настоящей книги, кроме специально оговоренных случаев.

4

Эпифания *(греч.* являться, показываться) – ощутимое проявление некоей силы, прежде всего Божественной. – *Прим. ред.*

5

Здесь – юношеское стихотворение. – *Прим. ред.*

6

Н. К. Михайловский (1842–1904) происходил из мелкопоместных дворян Калужской губернии. Учился он в Костромской гимназии, завершив которую, поступил в Петербургский институт корпуса горных инженеров, однако в 1863 году вынужден был уйти из института до окончания курса, поскольку был замешан в «беспорядках». Во время обучения в институте он увлекся идеями Ч. Дарвина, Л. Бюхнера, Л. Фейербаха, Ш. Фурье и, оказавшись вне стен учебного заведения, решил дебютировать в столичной периодике в качестве либерального публициста, благо эпоха великих реформ Александра II давала широкие возможности для деятельности на поприще «общественного служения». Первые годы работы Михайловского-журналиста были весьма тяжелыми: несмотря на кстати полученное небольшое наследство, он был вынужден работать корректором в типографии, ведя жизнь «литературной богемы». Первые его статьи появились в начале 1860-х годов во второстепенных изданиях (журналы «Рассвет», «Русь», «Якорь», газета «Современное слово»), в 1865–1867 годах он сотрудничал в журнале «Книжный вестник», который закрылся из-за недостатка подписчиков. И только в 1868 году, став сотрудником «Отечественных записок», Михайловский становится, по его собственным словам, «настоящим журналистом». Однако столь долгая «школа журнальной жизни» сослужила Михайловскому хорошую службу: он выработал способность «работать» с различной читательской аудиторией, находя доступные и увлекательные формы повествования для очень сложных проблем современной политики, экономики, культуры. Можно сказать, что Михайловский одним из первых в отечественной словесности XIX века в совершенстве овладел жанром «эссе» (Мережковский – первый великий русский «эссеист» – многим обязан Михайловскому в работе над овладением «тайнами жанра»). Первые статьи Михайловского в «Отечественных записках» (и, в особенности, его программная статья 1869 года «Что такое прогресс?») имели шумный успех, и с 1872 года он уже ведет постоянные обзорные циклы (становится «колумнистом», говоря современным языком) в «Отечественных записках»: «Литературные и журнальные заметки» (1872–1874), «Из дневника и переписки Ивана Непомнящего» (1874–1875), «Записки профана» (1875–1877), «Письма о правде и неправде» (1877–1878). В 1877 году, тридцати пяти лет от роду, он становится одним из трех «соредакторов» «Отечественных

записок», заменив на этом посту скончавшегося Некрасова (!). Михайловский показал себя, помимо прочего, и как чуткий литературовед, впервые заговоривший об особой «философии» русской литературы, содержащейся прежде всего в творчестве Л. Толстого (статья «Десница и шуйца гр. Толстого») и Достоевского (статья «Жестокий талант»). Трактат Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» – непосредственное «продолжение темы», заявленной Михайловским. Михайловский же первым начал борьбу против «эстетического нигилизма» в демократической критике, который насаждали Писарев и его последователи (отношение Писарева к Пушкину – «Сапоги выше Пушкина!» – Михайловский назвал вандализмом, столь же бессмысленным, как разрушение Вандомской колонны во время событий Парижской коммуны в 1871 году). «Эстетизм» Мережковского, проявившийся в «Вечных спутниках», был сформирован, как и у многих представителей его поколения, именно статьями Михайловского. Наконец, в статьях «Борьба за индивидуальность», «Герои и толпа» Михайловский выступал с утверждением индивидуалистических ценностей, предвосхитивших «русское ницшеанство» серебряного века, которому Мережковский отдал обильную дань в романах «первой трилогии».

Личные отношения Михайловского с писателями-«декадентами» 1890-х годов, лидеры которых считали себя его учениками, складывались непросто. Это было, в частности, обусловлено тем, что в последний период жизни Николай Константинович был гораздо более «политизирован» в своем творчестве, нежели во времена расцвета своего таланта, и, в качестве одного из общественно-политических лидеров отечественной интеллигенции, судил о всех явлениях культурной жизни страны с «партийной» позиции (хотя ни в какой «партии» сам формально не состоял). В царствование Александра III он дважды подвергался административной ссылке за антиправительственную деятельность. «Либеральное народничество» Михайловского непосредственно предвосхищало программные положения «социалистов-революционеров», хотя, как и в литературе, здесь Михайловский всегда отвергал радикализм своих «наследников». Известна его критика «русского марксизма». Против Михайловского направлена ранняя книга Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894). До революции 1905 года Михайловский не дожил, уйдя из жизни с незапятнанной репутацией «честного русского либерала».

7

Помимо того, что Надсон, воспитывавшийся после смерти матери на деньги дяди, крайне болезненно относился к любой форме материальной зависимости, масла в огонь подлили и статьи критика В. П. Буренина. Он писал, что Литературный фонд, ссужая Надсону 500 рублей, игнорирует нужды других бедствующих писателей, тогда как опасность болезни молодого поэта… преувеличена. Несмотря на то, что репутация Буренина как «желтого» журналиста к этому времени была уже вполне определенной, эти бредовые инсинуации произвели тягостное впечатление на умирающего Надсона. Деньги он успел фонду вернуть и даже завещал ему (для нуждающихся писателей) все гонорары за свои будущие издания. Между прочим, общая сумма, доставшаяся Литературному фонду по этому завещанию, уже к 1892 году составила 38 486 рублей, так что, ссужая в 1886 году Надсону на лекарства 500 рублей, фонд не прогадал.

8

Сколько? *(шт.)*.

9

Пять *(ит.)*.

10

Права в этом споре оказалась Гиппиус, проявившая даже в 1889 году задатки феноменального критического «чутья»: поэт Константин Николаевич Льдов (настоящая фамилия – Розенблюм, 1862–1937) так и не смог обрести художественную индивидуальность, несмотря на несомненные приметы литературного дарования. Его книги стихов, выходившие до 1926 года, остались на периферии литературного процесса. В середине 1890-х годов он будет играть заметную роль в обновленном «Северном вестнике», став секретарем редакции. Помимо стихов Льдов писал критические статьи, рассказы для детей, а также занимался композиторской деятельностью и закупал картины для Эрмитажа, однако и на этих многочисленных поприщах сколь-нибудь заметного успеха он не добился. Самым удачным из его предприятий стал перевод рассказов В. Буша о приключениях Макса и Морица, которые пользовались большой популярностью среди подростковой аудитории в дореволюционные годы.

11

Отхожее место *(фр.)*.

12

Лифт *(фр.)*.

13

П. И. Вейнберг (1831–1908) родился в семье нотариуса. Вырос в Одессе, где учился сначала в гимназии при Ришельевском лицее, а затем на юридическом факультете лицея. Не окончив курса, уехал в Харьков, поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета. В студенческие годы он много писал и переводил, опубликовал переводы из Жорж Санд и В. Гюго, а в год выпуска из университета (1854) вышла первая книга его стихов. Прослужив некоторое время чиновником особых поручений при тамбовском губернаторе (отсюда его постоянный псевдоним – «Гейне из Тамбова»), Вейнберг в конце 1850-х годов оказался в Петербурге, где вскоре получил известность как критик, фельетонист и сатирик журнала «Искра». Широкую популярность обрело его стихотворение «Он был титулярный советник…», положенное на музыку А. С. Даргомыжским. Однако большинство его стихов не поднималось над уровнем злободневной сатиры «эпохи реформ»: «Я люблю смотреть, как гнется – / Но не ива в роще темной; / Мне милей сгибанье тела / У начальника в приемной…» и т. д.

В конце концов Вейнберг сам пал жертвой обличительной кампании этих лет. В 1861 году он поместил в журнале «Век», который издавал вместе с А. В. Дружининым и В. П. Безобразовым, статью «Русские диковинки», где высказал сомнение в целесообразности публичных выступлений женщин-чтецов с текстами фривольного содержания (речь шла о «Египетских ночах» Пушкина: «Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю…»). Либерально-демократическая пресса усмотрела в статье Вейнберга выпад против женской эмансипации, и «безобразный» поступок «Века» был многократно заклеймен позором в статьях М. Л. Михайлова, Д. И. Писарева и др. Вейнберг подвергся остракизму и вынужден был оставить оригинальную литературную деятельность, переключившись на переводы. С этого времени художественный перевод стал основой его литературного творчества. В числе более 60 авторов, переведенных им, – Шекспир, Гёте, Данте, Лессинг. За перевод «Марии Стюарт» Шиллера Вейнберг получил в 1895 году Пушкинскую премию. Он занимался и педагогической деятельностью, писал учебники по истории литературы и критико-биографические очерки о писателях, был членом Театрально-литературного комитета, председателем Союза взаимопомощи русских писателей и председателем Литературного фонда.

14

Большой знаток античной культуры А. В. Амфитеатров откликнулся на выход отдельного издания «Юлиана Отступника» («Смерть богов», 1902) очень содержательной статьей «Русский литератор и римский император», в которой поставил целью «исследование приемов, которыми пользовался г. Мережковский, извлекая из источников и группируя богатейший историко-литературный материал, сохраненный нам древностью и усердно комментированный наукою последних двух столетий». «…На страницах 241–246 Мережковский изображает бурную народную сцену в Антиохии: возбужденная толпа слушает обличительную проповедь пустынника Памвы против Юлиана и язычников. Проповедь великолепна по фанатическому тону, по энергии ненависти, ее одушевляющей. ‹…› Это истинный язык фанатической веры, распаленной аскетизмом до изуверства, до жажды мученичества. Но г. Мережковский менее всего повинен в творчестве приведенных текстов. Его Памва не сказал ни единого слова от себя. Вся проповедь – дословный перевод из Тертуллиана. Первый отрывок – из тридцатой главы трактата „О зрелищах“, второй – из 37-й главы „Апологии“. ‹…› Если христианин Памва занимает доводы у Тертуллиана, то и язычник Юлиан не лучше отвечает ему, восклицая к жаждущим мученичества, к „мухам, летящим на мед“:

– Несчастные, если жизнь вам надоела, разве трудно найти пропасти и веревки?

Восклицанию этому в эпоху Юлиана было уже много 200 лет: оно раздалось впервые еще во время Троянова гонения из уст азийского проконсула, впоследствии императора Антонина Пия. ‹…› С особенным усердием углубился Мережковский в золотоносный рудник Петрония. Шестая глава первой части «Смерти богов» изображает скитания переодетого цезаря Галла по Селевкии Сирийской. Картина порта и рынка, как и все декорации г. Мережковского, написана живо и легко. Эпизод, как цезарь, влюбясь в танцовщицу, увлекает ее в храм Приапа, а там нападают на них священные гуси и драка с ними вызывает огромный уличный скандал, очень удачен и дышит древностью. Но «Сатирикон» рассказывает этот эпизод еще забавнее и несравненно талантливее. У Петрония взял г. Мережковский для той же главы фигуру старого плясуна и его песенку ‹…›… Характеристика офицера Анатолия, blase в античном вкусе, сделана по чертам Аннея Серена, которому Сенека посвятил известный трактат свой «De tranquillitate animi». Описывая в

шестой главе второй части собор, на котором Юлиан предательски свел епископов всех христианских сект с целью компрометировать их взаимными раздорами, г. Мережковский сообщает: «Даже ничтожнейшая церковь, затерянная в отдаленнейших пустынях Африки, – рогациане, и те уверяли, будто бы Христос, придя на землю, найдет истинное понимание Евангелия только у них, в нескольких селениях Мавритании Кесарийской – и нигде более в мире». ‹…› Эти строки дословно переведены г. Мережковским из 21-й главы второго тома Гиббоновой «History of the decline and fall of the Roman Empire»» и т. д. Амфитеатров относится к методу Мережковского неоднозначно. Упрекая автора в «профанации» истории во имя «художественности», в том, что он «не нашел нужным посвятить читателей, не специалистов, в различие того, что они имеют дело с творчеством его, г. Мережковского, или где он поручает вести свой роман красноречию и таланту древних авторов», Амфитеатров признает художественную состоятельность «Юлиана Отступника»: «Роман не строго научное исследование: какие бы серьезные цели он ни преследовал, все-таки он прежде всего должен быть занимательным и легко читаемым, и неопровержимо старое правило, что в беллетристике все роды хороши, кроме скучного».

15

Комедии масок *(фр.)*.

16

Святая простота! *(лат.)* – последние слова Яна Гуса на костре при виде старушки, пришедшей со своей вязанкой дров.

17

Крах «Северного вестника» был действительно неожидан для всех его авторов и читателей. Летом «рокового» 1896 года Л. Я. Гуревич, которая была официальным редактором журнала, улаживала цензурные проблемы с начальником Главного управления по делам печати М. П. Соловьевым. Молодая и привлекательная Любовь Яковлевна активно использовала свое обаяние в общении с «официальными инстанциями», принимая в беседе непринужденный «светский» тон, благотворно действующий на суровых чиновников. Так было и на этот раз. «Соловьев, – вспоминает Л. Я. Гуревич, – рассмотрел зачеркнутое [цензурой] и с характерной для него желчной игривостью заметил, что тут, по обыкновению русских радикалов, обнажаются грехи нашей матери России, подобно тому, как неблагодарный сын Ноя обнажал своего охмелевшего отца. Я, тоже в шутливом тоне, ответила, что сравнение неудачно, ибо Россия, во-первых, молода, а не стара, и, во-вторых, „напивается“ систематически, а не случайно, и потому Хамами естественнее считать тех, которые потакают ее безобразиям. Соловьев рассмеялся и выкинутое цензурой место восстановил». И все бы было хорошо, но Соловьев рассказал об этом разговоре знакомому журналисту, и этот рассказ, трансформируясь по алгоритму «испорченного телефона», как пикантная сплетня стал гулять в окололитературных кругах Петербурга. История с «обнажением срама» в кабинете начальника Главного управления по делам печати попала в прессу, в том числе – и в нелегальную. Соловьев рассвирепел и стал сознательно «душить» «Северный вестник». В результате подписка на 1897 год была сорвана, а на журнале «висели» большие долги, которые Гуревич рассчитывала заплатить из «подписных» сумм. Гуревич не сдавалась, и в 1897 году предварительная цензура с журнала была снята. Вот когда бы пригодился «Леонардо» Мережковского! Но именно в это время конфликт с Волынским был в разгаре и привел к бойкоту Мережковских со стороны журнала. Подписка на 1898 год была совсем маленькой, и в январе этого года один из векселей журнала был опротестован, после чего во всех банках кредиты для «Вестника» были закрыты. Все же Гуревич умудрилась издать полный комплект номеров (хотя и в «сокращенном», удешевленном виде). После этого издание журнала прекратилось, а Л. Я. Гуревич осталась с 155 тысячами рублей долга, которые она после долго, с большими затруднениями выплачивала. Что касается Волынского, то его позднее творчество обращено к

театру; в историю русской культуры он вошел прежде всего как блистательный знаток балета, создатель «Книги ликований», которая остается актуальной и для современной хореографии.

18

Земную жизнь пройдя до половины… *(ит.)* – Данте «Божественная комедия» *(Пер. М. Л. Лозинского)*.

19

В одном из писем 1881 года Лев Николаевич сравнивает свои религиозные искания с деятельностью человека, упорно пробивающего пешней лед, чтобы проверить его крепость, – если проломится, то лучше идти материком. «Я пробил до материка все то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чем я стою; стало быть, оно настоящее» (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 328). Вывод, конечно, не очень логичный – если у тебя не хватает сил нечто «разбить», то вполне возможно, что у кого-нибудь другого такие силы найдутся и твое «настоящее» в таком случае окажется «не настоящим». Но все становится ясным, если понять, что, говоря о «вере», Толстой *de facto* имеет в виду «веру в чудо» или, точнее «веру через чудо».

Уже юный Толстой – как это мы находим в его автобиографической «трилогии» – связывал (очень смутно, бессознательно) свою духовную жизнь (протекающую тогда вполне «церковно») с некими долженствующими быть «знаками отличия», которые должны отмечать его особенное молитвенное усердие. Так, он вспоминает, что, забыв рассказать на исповеди о каком-то грехе, он вновь поехал исповедоваться и был так доволен этим, что сразу же рассказал о своем «подвиге»… извозчику. «"Так-с", – сказал извозчик недоверчиво… Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, – то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете…» («Исповедь»).

В обширной «религиозной» переписке молодого Толстого с его двоюродной теткой, камер-фрейлиной императрицы графиней Александрой Андреевной Толстой (одной из умнейших женщин своего времени), повсюду возникает странный мотив «разочарования в результатах» своего «духовного деланья»: как же так, я стараюсь жить так, как учит Православная церковь, прилежно выполняя при том все требования православного жизненного обихода (посещение богослужений, пост, принятие таинств и т. д.), и… ничего не происходит. Эта жажда «иного» приобрела болезненные формы в 1876–1880 годах, когда на вершине мыслимой человеческой славы и на вершине же мыслимого человеческого благополучия он вдруг однажды подумал о смерти: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губ., триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, ну и что же? Что

потом?» («Исповедь»). «Мне было около 7–8 лет, – вспоминал третий сын Толстого, Лев Львович, – во время того периода страшного кризиса отчаяния и ужаса перед лицом жизни, лишенной разумного смысла, который переживал отец. ‹…› Я помню отлично это время. На балку между гардеробом и спальней, на которой он хотел повеситься, мы смотрели с ужасом, так как мы всегда были в курсе того, что происходило в семье. В течение этого периода мой отец неожиданно погрузился в верования Православной Церкви».

И с этого момента отношения Толстого с Церковью принимают, так сказать, «ультимативный» (разумеется, в восприятии Толстого) характер. Лев Николаевич «брал на себя обязательства» предельно строго следовать «православному канону» бытия, а за это Церковь должна «явить» ему нечто такое, что «упразднит» его «страх перед лицом жизни, лишенной разумного смысла».

20

Изабелла (в крещении – Людмила) Николаевна Вилькина (1873–1920) вошла в историю русской литературы прежде всего как талантливая переводчица Метерлинка и одна из самых ярких «декадентству-ющих» петербургских «литературных дам» эпохи «бури и натиска» русского литературного модернизма. Родилась будущая «женщина русского декадентства» в Петербурге, в семье чиновника, училась в женской гимназии княгини А. Л. Оболенской, где, по ее собственным словам, «изведала бесплодную тоску зимнего раннего вставания и ненавистную скуку вечерних тетрадок». Выйдя из гимназии в 1889 году, она уехала в Москву и поступила в театральное училище. «Там познакомилась с драмами Ибсена, – писала Вилькина З. А. Венгеровой, – который определил все мое дальнейшее отношение к искусству и жизни». И хотя профессиональной актрисой она не стала, элемент театральной игры – то драматической, то комической, то трагедийной – ярко ощущается во всей ее последующей жизни, которую она сознавала как «жизнетворчество». В 1890-х годах Л. Н. Вилькина участвовала во всех изданиях русских символистов со стихами и рассказами, однако гораздо больший успех она имела не как автор, а как адресат стихотворений и писем крупнейших художников раннего русского символизма – Бальмонта, Брюсова, В. Розанова (последний состоял с ней в переписке крайне фривольного толка). В 1900-х годах вместе с Н. М. Минским (с которым в 1905 году заключила официальный брак) «Бэлла» Вилькина содержала знаменитый литературный салон в своей квартире на Английской набережной, д. 62), где проходили «радения» с участием многих, увлеченных «богоискательством», писателей. Брюсов называл Вилькину, некогда уговаривавшую его «полюбить страшное», «новой египетской жрицей», намекая на «святых распутниц», обретавшихся в древнеегипетских храмах. «…Я думаю, что все в живой жизни подлинно и все принимаю одинако, – писала Вилькина А. Н. Чеботаревской. – Затем в жизни отдельного человека не вижу ничего, что может его „уничижать“. Всякое мгновенье жизни соответствует полной жизни того человека, который переживает это мгновение тем или другим образом. Апаш не может преисполниться религиозным пафосом, а святой ни на мгновение не отдастся разгульным движениям. Потом: разве можно „делать гордо“? Надо быть гордым или им не быть. Да – и то, и другое одинаково ценно. Был ли Христос гордым? Данте? Нерон? Шопенгауэр? Не знаю. Какое-то другое, более

явное и более *последнедневное* слово у меня для этого. Что же касается мужчин и женщин ‹…› я знаю различие только физическое, половое, что в мужчинах очень ценю».

Мережковский, по признанию Л. Н. Вилькиной, был, наряду с Ибсеном и Ф. И. Тютчевым, писателем, которому она «обязана многим, что считаю среди сокровищ души». Следует заметить, что эротическая страстность сочеталась в ней с неподдельной религиозной экзальтацией (в 1891 году она приняла православное крещение и, в отличие от своего мужа «мэониста» Н. М. Минского, равнодушного к любым «историческим церквам», считала себя безусловно принадлежащей русской Церкви). Подробнее с историей этого странного любовного романа, столь характерного для невероятных исторических и личных коллизий этой фантастической эпохи, с легкостью сочетавшей все мыслимые «противоположности», любопытствующий читатель может познакомиться, обратившись к работе В. Н. Быстрова, опубликовавшего переписку Мережковского и Вилькиной в Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома за 1991 год (СПб., 1994).

В 1910-е годы Л. Н. Вилькина отошла от литературной деятельности, жила в Париже, где и скончалась в 1920 году.

21

Чистый лист; букв. – чистая доска [для письма] *(лат.)*.

22

Имеются в виду так называемые «Апрельские тезисы» Ленина, то есть вышедшая 7 апреля 1917 года программная статья «О задачах пролетариата в данной революции», где главной целью большевиков объявлялось немедленное превращение буржуазно-демократической революции в социалистическую.

23

Яков Вилимович Брюс (1670–1735) – граф, государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, ученый, занимавшийся математикой, физикой, астрономией. По его фамилии назван календарь, выходивший с 1709 года; с 1866 года «Брюсов календарь» (с астрономическими сведениями и предсказаниями погоды, урожаев, войн, болезней по положению небесных светил) выпускал частный издатель А. А. Гатцук. – *Прим. ред.*

24

В обществе Мережковских Брюсов всегда «бравировал» своим индифферентным отношением к «проклятым вопросам». Однажды он даже специально «подыграл» Зинаиде Николаевне, написав на заданные ею «трудные рифмы» ужаснувшее «религиозных общественников» стихотворение:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и Дьявола
Хочу прославить я.

Когда же в белом саване
Усну, пускай во сне
Все бездны и все гавани
Чредою снятся мне.

«Ну, конечно, – комментировала Гиппиус, – не все ли равно, славить ли Господа или Дьявола, если хочешь – и можешь – славить только Себя? Кто в данную минуту, как средство для конечной цели, более подходит – того и славить». Но насколько в этом «разрушительном» тексте сказалось *подлинное* мировосприятие Брюсова, любившего «позлить» своих «вечных оппонентов», сказать трудно.

25

В. А. Злобин (1894–1967) дебютировал как поэт, будучи студентом историко-филологического факультета Петроградского университета. Он был участником литературного кружка «Арион», издавшего в 1918 году одноименный стихотворный сборник. В 1919 году Злобин становится секретарем Мережковских и эмигрирует вместе с ними. В эмиграции Владимир Ананьевич был влиятельным участником литературной жизни «русского Парижа», секретарем собраний «Зеленая лампа», соредактором журнала «Новый корабль», входил в Союз русских писателей и журналистов. Злобин оставил книгу воспоминаний о З. Н. Гиппиус «Тяжелая душа».

26

Мережковский цитирует стихотворение Гиппиус «14 декабря 1917 года» (посвященное ему):

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.

Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза. Пришла Невеста.
И невесте Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,

Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине.

Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян…
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

27

По другой версии, в ходе операции «Трест» чекистами была создана фиктивная Монархическая организация Центра России (МОЦР), с помощью которой Б. В. Савинков был завлечен на территорию СССР, арестован на границе, содержался во внутренней тюрьме ОПТУ, где покончил с собой, выбросившись из окна (см.: *Долгополое Н. М.* Гении внешней разведки. М., 2004).

28

В. Л. Бурцев (1862–1942) окончил 1-ю Казанскую гимназию (1882), учился в Петербургском и Казанском университетах, однако курса не кончил, так как в 1885 году был арестован за участие в «Народной воле» и сослан в Сибирь. Из ссылки Бурцев бежал за границу, где начал издавать журналы «Свободная Россия» и «Народоволец». В последнем он помещал статьи, призывающие к цареубийству и террористическим актам, устрашающим «буржуев», за что был арестован уже английской полицией и приговорен к полутора годам каторжных работ. В 1900 году под редакцией Бурцева вышел первый выпуск сборника «Былое», содержащего документы, связанные с историей русского революционно-освободительного движения (эти сборники станут целым этапом в отечественной исторической науке). В 1905 году Бурцев вернулся в Россию, но после поражения революции вновь эмигрировал и начал издавать за границей журнал «Общее дело», на страницах которого в 1908–1909 годах поместил целый ряд сенсационных материалов, разоблачающих революционеров-провокаторов – Е. Ф. Азефа, А. М. Гартинга, З. Н. Гернгросс-Жученко. После начала мировой войны Бурцев вернулся в Россию и сдался правительству, был амнистирован и поселился в Петрограде. В 1917 году он разоблачал связь Ленина с немецкой разведкой и его провокационную роль по отношению к вопросу о войне. После октября 1917 года Бурцев был за это брошен в Петропавловскую крепость, однако в память о прошлых революционных заслугах выпущен и весной 1918 года эмигрировал.

29

Для двух великих русских писателей *(фр.)*.

30

Максим Моисеевич Винавер (1862–1926) – лидер партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы. Юрист по образованию, в дореволюционные годы активно участвовал в общественно-политической деятельности, был одним из основателей Еврейской народной группы и председателем Еврейского историко-этнографического общества. В 1918–1919 годах был министром внешних сношений Крымского правительства. Салон Винавера стал первым «регулярным» литературным салоном «русского Парижа», где проводились лекции, концерты, вечера, на которые был открыт доступ широкой публике. Салон Мережковских, существовавший с конца 1925 года, был своего рода продолжением этих собраний.

31

Фабий Максим Кунктатор (275–203 до н. э.) – римский военачальник. Во время 2-й Пунической войны применял тактику постепенного истощения сил карфагенской армии Ганнибала, уклоняясь от решительного сражения, за что получил прозвище «Медлитель» (Кунктатор букв. – медлитель). Медлителем, к примеру, называли М. И. Кутузова. От имени Фабий произошло понятие «фабианизм», означающее политику осторожного продвижения к цели. – *Прим. ред.*

32

С этими двумя Введенскими не следует путать *Алексея* Ивановича Введенского (1861–1913) – богослова, критика и публициста, наставника о. Павла Флоренского.

33

Свои таланты оратора и полемиста А. И. Введенский широко использовал в советские годы в знаменитых «диспутах» с наркомом просвещения А. В. Луначарским, с которым он «гастролировал» по стране, собирая громадные аудитории.

34

Вениамин, которому Введенский предъявил полученное в Москве удостоверение о своем назначении в Высшее церковное управление, заподозрил неладное и, не получив удовлетворительных объяснений, объявил бывшего ученика «отпавшим от общения со св. Церковью, доколе тот не принесет покаяния перед своим епископом». Вместо покаяния Введенский донес на митрополита в губком ВКП(б), и те, запросив Москву, получили 1 июня 1922 года телеграмму за подписью В. Менжинского об аресте Вениамина и его ближайших помощников. Легенда, упоминаемая Гиппиус, страшнее: прямо перед арестом митрополита в приемную к нему зашел Введенский и… попросил благословения. Ответ митрополита обошел весь город: «Отец Александр, мы не в Гефсиманском саду».

35

А. И. Введенский скончался 26 июля 1946 года, и после смерти «первоиерарха» обновленческое движение, утратившее, впрочем, к этому времени всякую поддержку «в верхах», перестало существовать.

36

Краткое изложение христианского вероучения (Символ Веры) состоит из двенадцати членов (истин) и читается по-разному в Восточных и Западных христианских церквах. На православном Востоке член Символа Веры о Святом Духе читается: «[Верую] И в Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшего пророки». На католическом Западе в этот член добавляется утверждение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына – «Иже от Отца и Сына исходящего» («и сына» по-латыни – «filioque», поэтому такая добавка называется «филиоквийской»). Филиоквийская добавка вкупе с учением о папе римском стала поводом для разделения церквей в 1054 году. Сергий выводил из наличия филиоквийской добавки учение о «правовых» отношениях между Богом и человеком в богословии Запада, тогда как на Востоке, по мнению Сергия, эти отношения строятся на любви.

37

Приведенные данные, равно как и другие подробности «русского гонения», см.: *Кашеваров А. Н.* Государство и Церковь. Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской Православной Церкви. СПб., 1995. С. 110–118; *Шкаровский М. В.* Русская Православная Церковь и Советское государство в 1943–1964 годах. СПб., 1995. С. 8–9;

38

Изначально идея «Невидимой Церкви» возникла у Лютера из-за необходимости оправдать наличие Божественной благодати в протестантских богослужениях при продекларированном им же отсутствии видимой преемственности в рукоположении церковных иерархов-католиков от «апостольской церкви». Лютер учил, что «недостойный» священнослужитель лишается благодати и осуществляемые им Таинства – недействительны. Поскольку «недостойной» им была объявлена вся «погрязшая в грехах» Римская церковь, то между первохристианами и «лютеранами» образовался временной «провал» в несколько веков. Согласно Лютеру, в это время подлинная Церковь существовала «невидимо», таинственно осуществляясь Святым Духом в бытии немногих «достойных», помимо «видимой» жизни католического духовенства и большинства мирян.

39

По материалам, имеющимся в распоряжении Т. Пахмусс, Мережковский и Гиппиус так и не смогли найти общего языка ни с одной из христианских конфессий, и все кончилось «личным примирением Мережковских с преследуемой в Советском Союзе Православной Церковью» (см.: *Мережковский Д. С.* Маленькая Тереза / Под ред., вступ. статья и коммент. Т. Пахмусс. Ann Arbor, 1984. С. 75). К этому можно прибавить, что под юрисдикцию Московского патриархата перед смертью перешел и митрополит Евлогий, который, примиряясь с «сергианцами», писал: «Прекрасна идея вселенского Православия, но путь к ней через национальное Православие».

40

Мой вождь *(ит.)* – официальное обращение к Муссолини в фашистской Италии.

41

Бенито Муссолини, исполнителю пророчества, книга о Данте-пророке *(ит.)*.

42

Ср. с рассказом И. В. Одоевцевой о том же «случае в Биаррице»: «Мережковский произнес очень высокопарную, очень замысловатую речь, что-то про Атлантиду, про гибель ее. Для тех, кто хорошо знал русский язык, было понятно, что говорил он о гибели Германии и неизбежной победе России. Немцы, однако, ничего не поняли и аплодировали ему» *(Колонщикая А.* «Все чисто для чистого взора…»: Беседы с Ириной Одоевцевой. М., 2001. С. 133).

43

Долгое время «текстом радиообращения» Мережковского считалась статья «Большевизм и человечество», опубликованная в январе 1944 года (три года спустя после смерти писателя) в профашистской русскоязычной газете «Парижский вестник», издаваемой оккупационным Управлением делами эмиграции во Франции. На самом деле эта статья представляет собой изготовленную в пропагандистском ведомстве фашистской Италии компиляцию из фрагментов искаженного текста неопубликованного эссе Мережковского «Тайна русской революции» (о «Бесах» Ф. М. Достоевского) с включением инородных фрагментов, превращающих целое в военную «агитку».

Как сейчас становится ясно, Мережковский написал это эссе в 1939 году и подготовил *две* беловые рукописи. Одну передал Л. М. Лифарю для публикации на русском в Париже в типографии «Imprimerie de Navaer», вторую же послал в Италию для перевода и публикации на итальянском языке (по всей вероятности – в Милан, своему постоянному переводчику Р. П. Кюфферле). Перевод «Тайны русской революции» на итальянский был сделан и, вероятно, отдан в издательство, однако, как и «русский текст» в Париже, остался без движения из-за начавшейся в сентябре 1939 года войны. Но если «русская» рукопись так и пролежала в редакционных бумагах до 1990-х годов, то итальянский перевод оказался востребован издателями уже в 1942-м, правда, совсем не так, как то мыслил покойный к этому времени (и потому безответный) автор.

Весной 1942 года Муссолини впервые направляет на Восточный фронт под командование генерала Ф. Паулюса итальянские военные части (так называемую «Голубую бригаду»). Популярностью среди итальянцев это решение «дуче» не пользовалось: война против России (в отличие, например, от африканской кампании) казалась безумной авантюрой, не обусловленной ни политическими, ни экономическими интересами страны. Требовалось солидное «идеологическое обеспечение», тут-то и вспомнили о неизвестном читателю тексте очень популярного в Италии русского писателя-антикоммуниста.

Естественно, «Бесы» Достоевского (как и вообще «Тайна русской революции») интересовали итальянских пропагандистов в последнюю очередь. *Нужна была публицистическая статья,* свидетельствующая, что лучшие представители русской творческой интеллигенции (каковым, несомненно, был в глазах большинства итальянцев Мережковский) поддерживают войну

Германии против СССР и видят в союзниках Гитлера освободителей. *Из перевода были вырезаны соответствующие фрагменты, к ним добавлены «актуальные» пассажи о «священной миссии Германии», и под заголовком-реминисценцией («Большевики, Европа и Россия» – «Большевизм и человечество») этот «новодел» увидел свет в 1942 году,* как явствует из редакторской врезки к публикации в «Парижском вестнике», – «в одном из итальянских изданий» (на настоящий момент оно не установлено). Вероятно, данный текст был «озвучен» и по итальянскому радиовещанию: его слышал, например, Ю. К. Терапиано в Париже. В конце 1943 года итальянский перевод сфабрикованной из «Тайны русской революции» агитки попал в редакцию «Парижского вестника» уже в качестве «неизвестной статьи Мережковского». О существовании в архиве Л. М. Лифаря авторского русского «первоисточника» (точнее, исходного материала) никто не знал, поэтому текст заново перевели на русский язык и опубликовали. Статья-мистификация «Большевизм и человечество», к появлению которой писатель не имел никакого отношения, в качестве «текста радиообращения Мережковского» была перепечатана в наши дни в «Независимой газете» (1993. 23 июня) и даже, к сожалению, в авторитетном сборнике эмигрантской публицистики Мережковского «Царство Антихриста» (СПб., 2001), в состав которого входит и… «Тайна русской революции». Впервые это написанное в довоенные месяцы 1939 года эссе увидело свет только в 1998 году: рукопись, переданную в Библиотеку-фонд «Русское зарубежье» вдовой Л. М. Лифаря, опубликовал отдельным изданием А. Н. Богословский *(Мережковский Д. С.* Тайна русской революции. Опыт социальной демонологии. М.: Русский путь, 1998).

Идите скорее, господин болен! *(фр.)*.

45

В 2005 году спецкомиссии Русской православной церкви и Русской православной церкви за рубежом, подготовлявшие объединение, признали «Декларацию митрополита Сергия» «трагическим компромиссом».

46

До 1918 года даты, относящиеся к событиям в России, указываются по юлианскому календарю (старый стиль), с 1918-го – по григорианскому (новый стиль).

47

В данный библиографический свод включены только те издания (монографии, сборники, статьи, публикации) и архивные материалы, которые были непосредственно использованы при работе над данной книгой. Весь материал расположен по рубрикам в алфавитном порядке. В библиографии не отражены источники, указанные в ссылках по тексту.

48

Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) (Санкт-Петербург).

49

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).